

Н О В Ы Й
М И Р

8



1976

|| ∞ ||

Н О В Ы Й
М И Р

|| 1976 ||



НОВЫЙ МИР

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й
Л И Т Е Р А Т У Р Н О - Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й
И О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К И Й Ж У Р Н А Л

Издается с 1925 г.

№ 8

Август, 1976 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
ДАНИИЛ ГРАНИН — Обратный билет, повесть	3
СЕРГЕЙ МАРКОВ — Стихи разных лет	49
ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ — Круглые сутки нон-стоп. Впечатления, размышления, приключения	51
Л. ЛАВЛИНСКИЙ — Из книги стихов	123
ЮСТИНАС МАРЦИНКЯВИЧЮС — Две поэмы. Перевел с литовского А. Межиров	127
ТОРНТОН УАЙЛДЕР — Мартовские иды. Роман. Окончание. Перевела с английского Е. Гольшева	145

О Ч Е Р К И Н А Ш И Х Д Н Е Й

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ	
В. ДЖАЛАГОНИЯ, Б. ЧЕХОНИН — Групповой портрет	186

Н А З А Р У Б Е Ж Н Ы Е Т Е М Ы

ВЛАДЛЕН КУЗНЕЦОВ — Европа в разрядка. К первой годовщине Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе	205
--	-----

Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я К Р И Т И К А

И. ГРИНБЕРГ — Труды и дни стиха	221
Н. АНАСТАСЬЕВ — Массовая культура и индивидуальность таланта	242

К Н И Ж Н О Е О Б О З Р Е Н И Е

<i>Литература и искусство</i>	256
Вл. Разумневич. Во имя дня грядущего.— Елена Клепикова. «Всей глубиной времени...».— Ольга Кожухова. Дух сурового времени.— Г. Петрова. «Оставляет человек имя доброе свое...».	

Политика и наука 269

А. Яковенко. Расти быстрее колоса.— В. Пашуто. «Се бо суть реки, напаяюще вселеную...»	269
--	-----

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Стр

КОРОТКО О КНИГАХ: Ю. Ляхов.—З. Фазин. Железный перстень. Повесть. ♦ Н. Макарова.—Николай Самохин. Где-то в городе, на окраине. Повесть. ♦ Ю. Кожевников.—Агнесса Рощка. Огниво и кремень. Стихи. ♦ Андрей Никитин.—Е. С. Котляр. Миф и сказка Африки. ♦ Е. Львова.—М. И. Земская. Александр Волков. Мастер «Гранатовой чайханы». ♦ А. Майкацар.—С. Морозов. Бах. ♦ В. Скиба.—И. С. Андреева. Проблема мира в западноевропейской философии. ♦ Ник. Смирнов.—Альманах библиофила. ♦ В. Гербачевский.—Леонид Репин. Трое на необитаемом острове. ♦ Н. Яковлев.—Б. И. Марушкин. Советология: расчеты и просчеты. ♦ Р. Португальский, В. Назаренко.—И. И. Якубовский. Земля в огне	275
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	284
ПРОСПЕКТ	287

ДАНИИЛ ГРАНИН

★

ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ

Повесть

I

Вернулся я из Кислиц расстроенный, сказал Андриану, что ужинать не пойду, ничего не хочу, а отправлюсь-ка я в дом Федора Михайловича Достоевского.

— Его там нет, — остроумно заметил Андриан. — Уже поздно, сейчас там никого нет, и вообще только сытый человек ценит одиночество.

Я знал его гостеприимство плюс уютное гостеприимство его жены, покой его просторной квартиры, знал, вздохнул и отказался. Я представлялся себе кротким и смиренным, но Андриан сказал:

— О, если бы люди могли видеть себя не только изнутри, но и снаружи! Иди, но помни, пожалуйста, что судьба каждого человека — это невыполненное обещание. Никому еще не удавалось сделать все, что он хотел или к чему был предназначен.

Из голубеньких глаз Андриана смотрел не сам Андриан, а какой-то другой человек, и этот человек, что бы там Андриан ни говорил, смотрел в эти щелки и посмеивался. Причем посмеивался он над собеседником и одновременно над самим Андрианом и как бы вместе с ним над чем-то еще. И от этого смысл слов Андриана двоился, раздражал неуловимостью — не то сказано в шутку, а может, и всерьез.

По набережной Перерыгицы я отправился к дому Достоевского. Мне хотелось побыть одному, хотелось посидеть именно у этого дома, одного из немногих, какие остались на белом свете от прежней моей детской жизни.

Итак, край моего детства был уничтожен. Детство мое погибло. Я-то думал, что оно живет там, в Кислицах, на голоногих тропках вдоль малой и путаной речушки с заводами, полными головастика, с висячими стрекозами, с коричневыми омутами, где взблескивает уклейка, что оно дожидается меня среди путей к лесобирже, заваленных толстым слоем серебристо-серой щепы.

Для Андриана дорога в Кислицы в сто двадцать километров показалась долгой. Пыльная, местами вязко-песчаная, местами вымощенная камнем еще во времена министра путей сообщения графа Клейнмихеля, а затем графов Бобринских, дорога эта ныряла в деревушки, названия которых отдавались толчком в сердце, — Хахили, Вилючий Бор, Лазенки. Прочтешь и вдруг услышишь, как где-то там, в заброшенных подземельях памяти, куда давно не спускался, где, казалось, все истлело, в ответ что-то шевельнется слабо, еле-еле вздохнет, подавая знак жизни.

От этого шевеления становится почему-то больно душе. О чем она, эта боль? И как уцелела память на эти места, за счет чего она там, под спудом, живет, ничем не питаемая память тех детских лет? Даже не память, потому что не помню начисто, как мы с отцом бывали здесь, но все же, значит, проезжали, тряслись на телеге по отцовским лесным делам, иначе бы не щемило от этих названий — Цеменка, Селицы, Беглово...

II

Я подумал о своем внуке. До сих пор я полагал, что наши с ним игры и походы в лес, путешествия по болотам за жуками — все это с годами вовсе сотрется из памяти трех-четырёхлетнего ребенка. Ведь даже от шести-семилетнего возраста у меня самого сохранились лишь отдельные картинки, неподвижные кадры без начала и конца. Так было у моих детей, я проверял, так, значит, будет и у внука. Так происходит со всеми поколениями. А жаль. Хотелось, чтобы в памяти внука сохранились наши грибные походы, первая поездка на велосипедах, сказки, которые я сочинял этому маленькому человеку. Чтобы веселая эта, счастливая пора вспоминалась в его взрослой жизни. И, конечно, чтобы через это вспоминался и я. Ибо, как сказал Андриан: «Мы стремимся прежде всего остаться в памяти наших детей, тем более — внуков. Хочется таким образом продлить себя. Причем в наилучшем виде, поскольку с ними мы делаемся куда лучше, чем со всеми... Для них мы всегда сильные, мудрые, честные, мы все умеем. Они не видят и не знают наших недостатков».

Но в том-то и хитрость природы, что в детской памяти она ничего этого не оставляет. Куда ж она все это девает? Может, закладывает в подсознание, перерабатывает в тот фундамент природы, то есть характер, который как раз до пяти лет и складывается? Я утешал себя тем, что первые годы жизни остаются в ребенке чем-то более важным, чем просто воспоминания о бабушках и дедушках. В будущей его жизни беспомытные эти, вроде совсем забытые годы участвуют незримо, сказываются неожиданно — добротой, чуткостью к слову, к красоте. И наши походы останутся и откликнутся когда-нибудь вздохом перед чудом цветка, жалостью к больному псу.

Это было утешение скудное, но другого не было.

Первые годы жизни, казалось бы, бесследно стерты. У младенца в утробе, у того вообще нет своей памяти, он живет памятью матери, в нем — память природы, ее инстинкты, ее законы, он как бы часть неотделенной природы. Его рождение — это рождение «я». Появляется окружающий мир, и появляется свое, отдельное, никогда не бывшее ни с кем другим. С той минуты, как открываются глаза, как уши начинают слышать, как раздается крик, с того момента, как младенец ощущает грудь матери, вкус, запах ее молока, начинает складываться личность. Пока что все эти ощущения проваливаются куда-то в подсознание, наполняя его пустые соты. Потом, спустя время, в какой-то непонятный момент что-то начинает задерживаться в памяти, уже той памяти, которой мы можем пользоваться, перебирать, листать, как страницы старой книги. На первых же листах ее — картинки без подписи, без объяснения, еще вне сюжета.

Но вот тряская эта пыльная дорога в Кислицы показала, что из того раннего что-то осталось — какие-то звуки, касания, названия деревьев... Легкие прерывистые следы вели куда-то в самую рань, в пяти-четырёхлетнюю рассветность. Где-то там пребывали, я это чувствовал, рассказы моего отца, наши с ним хождения к смолокурам, лесные ночевки... Если бы я знал, как устроена память, чтобы извлечь,

вытащить из ее сундуков погребенное имущество! Там за семью печатями наверняка хранилось и как отец учил меня азбуке, и то, что он мне говорил, нашептывал, когда мы лежали с ним на печи под щекотной овчиной. Существует какой-то пустяк — звук, картинка, слово, — который может стронуть с места, подтолкнуть — и память очнется. Сезам откроется.

Машина везла меня в страну моего детства, где все так и может произойти и одна за другой станут проступать забытые подробности...

Когда-то я пытался изучать проблемы памяти, убежденный, что с памятью связан секрет становления человеческой личности, что человеческое «я» не может существовать без памяти.

Теории памяти оказались слишком противоречивы. Механизм памяти и до сих пор малопонятен, плохо изучен.

Из кирпичиков памяти складывается индивидуальность. Обращение к памяти, к своему прошлому — это восстановление своего «я», проявление его. И чем дальше уходишь во мглу прошлого, туда, к детству, тем лучше ощущаешь себя. В этом смысле удивительный опыт над собою проделал Михаил Михайлович Зощенко в своих повестях «Перед восходом солнца» и «Повесть о разуме». Он работой воли, ума вызвал из своей детской памяти картины своего самого раннего детства, восстановил, извлек то, что обычно так и остается скрытым за горизонтом воспоминаний. Это была чрезвычайно поучительная работа. Осознавая свою собственную историю, человек понимает себя, свой характер, свою душу и других, значит, тоже понимает лучше.

Вот и сейчас на подъезде к околице припомнилось, что тут стояли ворота... Как-то они назывались, было какое-то здешнее словцо, я спросил у Андриана, но и он забыл. Поскотин перед деревней давно уж не было, ворот тоже. А я вспомнил нудную свою мальчишечью обязанность соскакивать с телеги, бежать открывать те жердяные ворота на лыковых петлях, затем закладывать их деревянной щеклодой или подтыкать колом, догонять телегу, вскакывать и то же самое повторять при выезде. Так всю дорогу, через все большие и малые деревни, опоясанные жердяной городьбой. Раньше, когда я был поменьше, открывали мальчишки, привлеченные колокольцем, и отец кидал им медяк

Куда мы ехали? На лесосеку, к сплавщикам, к лычникам... Я то и дело вспоминаю себя на телеге, на саях, реже на рессорной бричке, на возу...

Андриан так и не вспомнил названия тех ворот.

— Наименования исчезают вместе с вещами, — рассуждал он. — Сколько их кануло из нашей жизни! Гуменка, заградка, буржуйка. Что такое ренсковый погреб? А ведь у нас на улице, говорят, их было два!

Мы ехали и ворошили осевшие на дно памяти умершие слова. При виде желтеющего льняного поля я вспомнил — «околоколится», так говорили про лен. Высушенный, он бречит семенами в коричневой головке — колоколится.

— Белая смола, — произнес Андриан, а что это такое, белая смола, не пояснил.

Дорога была не в сто двадцать километров, а в целую жизнь. Меня отделяло от Кислиц несколько десятков лет, а ехал я сюда уже лет двенадцать. Не уследил, с чего началось, но стали сниться мне эти места. Настойчиво, тревожно. Потянуло. Несколько раз собирался. Отпугивало расстояние, оттягивали дела. Андриан тоже высмеивал.

— Поездка в родные места, — говорил он. — Неужели нет у тебя темы посвежее? Пусть об этом пишут литературные молодцы, кото-

рым больше нечего сказать. Они лелеют тоску по деревне, поскольку выбили себе шикарные городские квартиры и теперь вынуждены ездить на лифте и мыться в ванне. Бедняги, они приезжают в родимые места повздыхать! — Нарушая свою философскую невозмутимость, он материл этих литературных шулеров, этих лицедеев. — Ходят в сауну, но воспевают баню по-черному, с кваском, воспевают старух — носительниц трудолюбия и нравственности, а сами небось на уборочную не едут. И ты к ним пристраиваешься?

Год от году независимо от этих повестей меня тянуло в Кислицы. Мне упорно снился омут, один берег высокий, с которого мы ныряли, с которого отец меня впервые толкнул в воду и я выплыл, второй берег низкий, обрывистый, залив, поросший рогозой с черными бархатными шишками. Я просыпался, продолжая вспоминать жизнь разъезда, бедную и веселую, дощатую платформу, на которой за час до прихода вечернего скорого собирались и гуляли все местные: мастера с лесопилки, десятники с лесобиржи, станционные служащие, леспромхозовцы в галстуках, вышитых косоворотках, приходила из чайной высокая красивая буфетчица, стриженная, с челкой, и ее муж, бывший циркач, в шляпе с пером, с улыбкой клоуна и печальными глазами помешанного, он раздавал нам звездочки из красного постного сахара, которые сам готовил, приходили какие-то девицы с парнями, мой отец с матерью, главный бухгалтер, толстый, в белом пиджаке из чесуцы. Все чинно прогуливались по дощатому высокому перрону, мужчины курили, пользуясь мундштуками, из кармашков у них торчали карандаши с железными наконечниками, у отца был красно-синий карандаш с наконечником и зажимом. Женщины ходили в баретках. Каблуки звонко стучали по доскам, вечернее небо горело над головами, далеко-далеко блестели рельсы, рассекая темную стену леса. Все лузгали семечки, смеялись, пели. Обсуждали погоду, план заготовок, вывозку, погрузку. Потом проходил скорый. Поезд останавливался на минуту. Начальник разъезда отдавал жезл машинисту, из почтового вагона кидали мешок с письмами и газетами, паровоз пускал белый пар и рвался дальше. Редко кто сходил с поезда. Обычно двери вагонов оставались закрытыми. На разъезде нашем не было колокола, не было и торговли: не успели бы, да и нечем было торговать — разве земляничкой, семечками?

И все не спеша расходились по домам. Это было в те допотопные времена, когда не существовало телевизоров, радиоприемники стояли дорого и были редкостью, делали их со стеклянными лампами, а были и детекторные, людям приходилось общаться друг с другом, разговаривать, парни вели беседу с девушками — придумывали частушки, говорили всякие слова, вместо того чтобы включить электронику.

Поселок со всех сторон был окружен лесами. Когда поезд уходил, клочья дыма еще долго плавали меж деревьев, и запах паровозного дыма был запахом путешествий, дальних городов.

Вот какие идиллические картины проплывали передо мною в ночной тиши. Несмотря на Андриановы насмешки, мне мечталось приехать и пойти на речку, окунуться в тот коричневый омут. Я слышал, что в Кислицах многое изменилось. Слышал, что чайной, напротив которой мы жили, нет, что дом Петряковых сгорел еще перед войной. Были там в войну немцы или нет, я в точности не знал, линия фронта петляла, а Кислицы ни в каких сводках Информбюро не отражались.

Тянуло, тянуло — и вот нынче приспичило. Какое мне дело до писательской моды, до чужих повестей, смакования прошлого, до чьих-то удач и просчетов? У меня были своя речка, свой разъезд, и жизнь у меня шла своя, единственная, коротенькая: если я не поеду

в свое детство, никто другой его не посетит, никому, кроме меня, нет до него дела, даже самым близким людям было неинтересно слушать про этот разъезд. Андриан взялся меня провожать из Старой Руссы единственно по нашей дружбе. Я был рад, что он рядом, все же не так было боязно.

Родных у меня в Кислицах не было. Место это было одно из тех, где приходилось работать отцу, которого переводили время от времени из леспромхоза в леспромхоз: то в Новгородчину, то на Псковщину, то отправляли куда-то в Бийск, в Невьянск, в Вятку, затем опять под Кингисепп. Не знаю, почему так получалось. Был он человек счастливой мягкости и доброты, счастливой, потому что не страдал от своей мягкости, не считал ее слабостью. Всего, чего он добивался в спорах своих с начальниками, с настырными лесозаготовителями, он добивался добротой. Доброта была его слабостью и силой. Его старались не обижать. Может, скитания наши происходили из-за его покладистого характера? Дети мало что знают про работу своих отцов.

Леспромхозовцы связаны друг с другом. После войны вплоть до смерти отца к нам наезжали, останавливались лесовики, рассказывали новости, и Кислицы продолжали жить для меня в том же детском виде, хотя что-то и менялось. Боярцев --- лесоруб — стал главным инженером, вырубка в Залучье пошла сплошняком, были и другие сведения, но в том-то и штука, что тогда это меня никак не интересовало.

Мы ехали, и я пытался вспомнить те давние новости.

Деревни, не обвешанные изгородями, расплзались по зеленой земле, машины неслись сквозь них навывлет, придерживаемые лишь колдобинами тракторных следов.

Красноземные поля, красноземные косогоры сменялись бедным серым суглинком, позолоченным стерней.

В Лычкове я ничего не узнал. Лычково в мои годы было райцентром. Мы ходили туда пешком по шпалам. На откосах железной дороги росла земляника. Почему-то земляники тогда было много.

— И волос было много. И зубов, — сказал Андриан. — Цветы как пахли! А какие были высокие люди! И какое вкусное молоко!..

Теперь Лычково было просто поселком. Демянск, тот выставил на дороге горделивую надпись: «Основан в 1406 году». Был знаменитый демянский котел в эту войну, из-за которого Демянск упоминался в книгах по истории войны. А у Лычкова ничего такого не было, хотя появилось оно тоже давным-давно. В нем ничего не сохранилось от минувших веков, от крепостного права, от аракчеевских поселений, даже от довоенных лет ничего не было. Что-то, конечно, осталось, но запрятано было слишком глубоко.

Я приготовился к тому, что и в Кислицах все должно измениться. Единственное, на что я надеялся — на речку. Речка-то должна была остаться, значит, и омут остался, а может, и тропка к нему. Посидеть на том высоком бережку, ничего больше и не требуется. А там уж нахлынет, вспомнятся и отец и друзья его, послышатся слова, воскреснут и другие знаки ушедшего; пусть одна часть минувшего фильма, но все же прокрутится перед глазами.

III

Не несколько домиков, а большой поселок стоял перед нами. Там было много магазинов, универсам, Дом культуры, асфальт — вот какими стали Кислицы. Все, все было неузнаваемое, не мое. Дома, нарядные, обшитые вагонкой, свежеокрашенные, стояли тесно, длин-

ными улицами. Где была лесопилка, никто в точности не помнил. Одни показывали за железную дорогу, другие за шоссе. «И праха от нее не осталось», как пояснил один местный. А местными считались те, кто приехал сюда после войны.

Большая контора леспромхоза была совсем новая. Но что-то в ней чувствовалось от прежних барачков и от всех прежних лесоконтор, какие были и сорок и тридцать лет назад. Над крыльцом кумач, такой висел и при моем отце; стояла знакомо крашенная багровым фанерина с именами лучших и цифрами плана и голубая фанерина с пунктами обязательств. Кубы, заготовка, вывозка. Все узнавалось, несмотря на то, что в кабинетах стучали электрические пишущие машинки, звонили телефоны и вместо щелкания деревянных костяшек счетов потрескивали арифмометры.

В коридоре витал привычный запах, составленный из запахов дегтя, сырых полов, подметенных вениками, запахов бумаг, бензина и здешнего леса. Все вместе это и было запахом отца.

Запахи неизменны. Есть запахи, которые не меняются из века в век, — запахи печей, дорог, хлеба. Повсюду пахнут одинаково столовые, общежития, во всем мире одинаково пахнут гостиницы, отели — и в Японии и в Архангельске. То же и с людьми. Лесорубы на Сахалине пахли как и здесь, в Кислицах, как и когда-то, когда отец приезжал из леса, а я сидел у него на коленях, уткнувшись ему в жилет.

И эти конторы, самые разные (сколько я их повидал!) — и маленькие конторы сплавщиков с керосиновыми лампами, и лесные, и районные, — хранили тот же запах: бумаг, железных ящиков, клея.

Память на запахи — особый раздел или аппарат памяти. Они помнятся десятилетиями — запахи тола, горелой брони, запахи шинели, госпиталя, не определенные никакими словами, таблицами, приборами. Запахи прошлого.

А ведь казалось бы — вместо лошадок, саврасых и чалых, ревели огромные трактора, выли бензопилы «Урал», всюду были рации, а в чистой просторной столовой высился заграничный автомат по изготовлению мороженого: никелированный куб, который, пробурчав, выдавливал из себя спиральный завиток бело-желтого пломбира. Таких роскошных автоматов не было еще ни в Москве, ни в Ленинграде. А местный Дом культуры! Стены его были разрисованы абстрактными панно. А в универсаме стояли лучшие коньяки, шампанское, токай, вермут и прочие вина виноградных стран. Кислицы вышли на передний край благополучия. Но это были не мои Кислицы.

Омута не было. Я бродил по улицам и переулкам, ничего не узнавая. Я прошел к вокзалу, чтобы искать от него, но и вокзал вызывал сомнения. Он стоял не с той стороны путей. Платформа была не деревянная, а асфальтированная. Здание было не то. Дороги были не те. Лесосклад не там. Я пошел вдоль ручья, вдоль какого-то усохшего вялого водотока, зашел в болотистый кривой лесок, там была зацветшая ряской не то промоинка, не то мочага, пахнувшая гнилью. Вернулся в поселок. В центре, у промтоварного магазина, раскинулась мутно-желтая запруда. Я постоял у нее, случая и не соглашаясь с тем, что это и есть мой омут. Один из местных сказал, что послевоенные Кислицы, кажется, сдвинуты немного в сторону, это можно уточнить. Как уточнить? И для чего мне надо было это уточнять? «Не знаете ли вы, куда делся омут, который был до войны?»

Я посмотрел на себя в зеркальное стекло витрины. Тоже не узнать — не тот, никаких следов того мальчишки.

Слева от входа в Дом культуры висела мраморная доска: «На

этом рубеже 12 сентября 1941 года воины 202-й стрелковой дивизии остановили наступление немецко-фашистских войск».

— Да,— сказал Андриан,— только нам, знающим язык тех лет, понятно, что немцы вошли в Кислицы двенадцатого сентября сорок второго года. Дальше, видимо, их уже не пустили.

12 сентября... В этот день мы дрались на подступах к Пушкину, отходя к Александровке, а потом и в самый Пушкин, в парк, ко дворцу. Я запомнил эти дни с 1 по 17 сентября 1941 года, потому что тогда ранило полковника Лебединского и я остался в штабе за командира полка, поскольку никого из офицеров не было, и начальник политотдела дивизии Саша Михайлов сказал мне по телефону: «Побудь там за старшего, пока мы не подошлем кого-нибудь». Они никого не подослали. Почти сразу штаб дивизии отрезали, и я так и остался за старшего.

В эти самые часы здесь наши тоже отходили, оставляя Кислицы, мой дом, мой омут, мою платформу.

По другую сторону от входа на ДOME культуры висела доска: «19 февраля 1943 года воины 202-й стрелковой дивизии освободили поселок Кислицы от немецко-фашистских захватчиков».

Вскоре я нашел старика, который утверждал, что он все помнит — и лесопилку, и отца, и даже меня. Он был в черной шелковой рубашке, на которой лежала белая борода. Он вспоминал медленно и ровно, сведения выползали из него, как телеграфная лента. Может, и я его знал, но вспомнить не мог — слишком велика была мутная толща времени. Встреча с ним ничему не помогла. Кислицы гибли, таяли и от его слов тоже. Омут мой исчезал. Теперь кругом него будут стоять дома, промтоварный магазин, будут идти ребята с завитками сливочного мороженого.

— Банальная история,— сказал Андриан.— Не случайно в процессе эволюции человек приобрел аппарат забывания. Нечего над ним насильничать. Забывание — это здоровье памяти. Если память у тебя нездорова, надо лечить ее не поездкой в минувшее. О чем, собственно, ты скорбишь? Что Кислицы не остались такими же? Но они ведь стали лучше. Я никогда здесь не был, однако для нашей области это отличный благоустроенный поселок. Чего ты требуешь? Какие у тебя претензии? Не ради ж этого твоего посещения должны были оставить все как было? Тебе следует радоваться за свой паршивый разъезд — такой прогресс!

IV

Он прав, великий философ Андриан. Почему мне грустно? Почему мне плохо, если жителям этих залитых асфальтом Кислиц хорошо? Разве отец не обрадовался бы, увидев нынешние Кислицы? Почему, наконец, мне так приятны те несколько примет знакомого прошлого, что уцелели и тихо доживали среди нового быта? Это упругие мостки на улицах, мостки, которые заменяли панели. Дощатые, высокие — из-за осенней распутицы и весенней воды, что стоит здесь по долгу. С них такие же дощатые сходни во двор. Осталась и серая блестящая щепка вдоль узкоколейки, остался лес, запущенный, нечищенный, заваленный гнилыми жердями, однако узнаваемый по плотным березовым толпам среди осин, лип и особых здешних елей. Августовский его запах напомнил мне летние лесные дороги-лежневки, по которым вывозили лес с глубинных лесосек.

Мы садились на высокие вагонетки и катились на далекие делянки. Отец постоянно хитрил, торговался с заготовителями, подрядчиками, стараясь всучить им лесосеки подальше от железной дороги,

чтобы рубить все же выборочно, а не сплошняком. Лесорубы за это тоже сердились на него, предприятия жаловались, особенно экспортные. Экспортлес — был такой толстый дядя в жилете с манишкой. Все были против отца, не пойму, как он держался.

Больше помнились не люди, а сама лежневка, ее разлохмаченные деревянные рельсы, чалье лошади, впряженные в вагонетки. Еще ручная дрезина, на которой мы неслись по главной магистрали — железной узкоколейке. И сами переводили стрелки...

А теперь я еду на «Волге». Куда ж я еду? Возвращаюсь из Кислиц? Но из каких? Или возвращаюсь в те уже не существующие Кислицы?

Что будет теперь с моим детским омутом? Сохранится ли он в памяти? Не заслонит ли его запруда с промтоварным магазином?

Если бы я попал в старые Кислицы, мне бы взгрустнулось, припечалилось. Затем ведь и ехал. А ведь как странно устроен человек. Прodelать такой путь, чтобы погрустить. И теперь досадовать оттого, что грусти не получилось.

Где-то в лесу стояли деревья, сохраненные отцом. Уже здоровенные деревья.

— Порублены, все они порублены, — сказал Андриан. — Не надейся. Ничего не осталось, рубят без пощады. Пока что лучший лесоруб важнее самого лучшего лесника. Все еще покоряем природу, побеждаем ее. Ты знаешь, я иногда ненавижу природу за ее бессилие и незащитность. Она сопротивляется самоубийством. Надеется на наше милосердие. А мы-то... Мальчишка-сопляк сидит на оранжевой громадине трактора и чувствует свое превосходство над лесом. Как же, все падает, трещит под ним. Его убедили, что он властвует над природой. Но ведь властвовать еще не значит понимать природу. Да и кто нам дал такое право — властвовать? По праву сильного, да? Какое же это право!

— А что такое понимать природу?

— Не знаешь? — Андриан покачал головой. — Понимать значит сочувствовать.

— Кому, лягушке?

— Да, лягушке. И зяблику. И дереву. Ты думаешь, прогресс — это универсам? Прогресс к тому направлен, чтобы заполнить пропасть между природой и человеком. До сих пор мы пропасть создавали, теперь начинаем уничтожать ее, и это и есть начало прогресса. Понимать все живое, осознать наше родство со всем живым, с зябликом, с волком, с ольхой. Понимать значит любить. В этом наше будущее. В этом, если хочешь, я вижу коммунистическую жизнь.

— Похоже на библейский рай.

— Примерно. Только не получим мы его в награду от господ бога, а придется устраивать самим.

V

На шоссе от свертыша донесся кислый запах мочевила. Выкопанные вдоль дороги ямы заполняла стоячая пенно-мутная вода. В ней мокли липы. Месяцами лежали они там на березовых плахах. Запах я узнал сразу. Мы остановились, и я спустился туда, где женщины снимали лыко с липовых стволов. Я смотрел, как они это делали, движения вспоминались, отгадывались, и я не заметил, как руки мои произвольно подхватили содранное лыко, ничего не объясняя, я понес лыко на подводу, чувствуя, что я уже когда-то это делал, вот так носил, кожа моя узнавала мыльную скользкость лычин, этого размокшего разодранного луба.

Когда-нибудь изобретут способы оживлять детские воспоминания. Присоединят электроды, включат поля — и в мозгу медленно, как на понтонах, начнут всплывать картины детства, голоса родных, их лица, слова, прикосновения. Я услышал бы, как пела мать, где-то здесь она ходила и пела. Голос у нее был сильный, чистый, помню, она упрекала отца: если б не его лесная жизнь, она могла стать певицей.

Способа этого еще нет. Надо самому каким-то образом стараться сдвинуть слезавшиеся пласты памяти, спуститься поглубже, в те годы, когда мы еще жили в Старой Руссе и мама была совсем молодой. Пожалуй, два или три места всего я и помню из всей скитальческой работы отца — Кислицы, Старую Руссу и, может, еще Рогавку. Видимо, там он работал подольше.

Река потекла вспять, холмы побежали вниз.

Обратная дорога не возбуждала воспоминаний.

Стоило ли ехать сюда, разрушать то немного, что каким-то чудом я сохранил, пронес сквозь годы, фронты и всю нынешнюю жизнь, которая никак, ничем, совсем ничем не связана была с этими местами?

...Зашел в лес. Там было тихо, жужжали, гудели мухи и еще какие-то насекомые. Березы не шелохнулись. Сперва как войдешь в лес — прохладно, а потом и тут своя духота настаивает. Лесная жара не то что полевая. В поле потная, с пылью. Здесь же, в лесу, доходишь, как в духовке.

Кто-то окорил березку. Испод у нее гладко-бордовый, с шелковым блеском, она и в изувеченности своей прекрасна.

Это даже не лес, а роща, она как островок среди клеверных полей.

Красиво — холмы, поля, вдали синий-синий, там-то уж, конечно, прохладный лес. Красиво, а не волнует, не томит, как в молодости. Знаю, что это прекрасно, но знаю это больше памятью молодых, мучительных до слез любований. И за то спасибо. Слава богу, что страдал от этой непередаваемой красоты в молодости и теперь могу понимать и помнить разумом. Так с годами все, что было в сердце, переходит в ум. А ум этим не волнуется, он знает лишь, что это волнует.

VI

В Лазенках мы остановились у старого знакомого Андриана. Изба была полна детей. Хозяин нянчил младшего своего внука, седьмого. Мы сидели, пили молоко. Андриан так расспрашивал Василия Ивановича, что вскоре и я знал, что здесь, в этой деревне, Василий Иванович учительствует почти сорок лет. В сущности, он никуда отсюда не выезжал, кроме как на учебу в институт. В этой деревне, в этой школе, в этом доме прошла его жизнь. И дочери его тоже учительствуют.

Василий Иванович был худенький, застенчивый, и отвечал он больше мимикой, чем голосом. Невозможно было представить его на трибуне, в кабинете начальника, руководителем. Вот с детьми или в поле, на речке — тут он вписывался.

Когда-то мне казалось: чем больше я езжу, тем больше вижу; чем больше стран вижу, тем больше узнаю мир. Казалось, что путешествия обогащают ум, сердце, что новые города — это новые впечатления, новые мысли, что никогда не живешь так полно, как путешествуя.

Поначалу так и было. Преимущества жизни подвижной казались мне бесспорными. Я жалел людей, которые не были в Сибири, не видели Курилы. И они жалели себя и завидовали мне. Но сейчас, слу-

шая Василия Ивановича, я думал о преимуществах его жизни. Мысль эта явилась не впервые. Я думал об этом в Японии, в саду камней. Неподвижность тоже способ познания. Японец, сидящий в саду камней, среди неподвижного, неизменного сада, погружается в глубины своей души, может ощутить ее. Смена впечатлений происходит не только от меняющегося пейзажа. Неподвижность мира позволяет пристально взглянуть на него. Через камень можно увидеть горы, целые хребты.

В огороде Василий Иванович угостил нас яблоками. Яблоня стояла тяжелая, обвислая от урожая. Лето было засушливое, и яблоня, по словам Василия Ивановича, сдвинулась поближе к колодцу. Яблони двигаются, чуть-чуть, но двигаются, и кусты смородины у него тоже двигались, корни их неизвестно как узнавали, где выкопана яма с компостом, и направлялись туда. Корни под землей рыщут...

Я завидовал его умению видеть эти незаметные движения. Он жил вглубь, а не вширь. В своей деревне он мог чувствовать всю страну, на огородных грядках ему открывалась Природа. В том, что окружало его, в этих нескольких сотках огорода, среди нескольких десятков школьников, содержалось, оказывается, все многообразие мира, бесконечно малое становилось бесконечно большим. Становилось не само по себе, а раскрывалось его грудом, его наблюдательностью. Он пробивал свою штольню к центру Земли. При такой сосредоточенной жизни человек ближе к себе и ко всему человечеству. Он меньше истребляет и больше дает. «Истребители» — это термин Андриана, непризнанного философа нашего времени.

— Мы, брат, не столько потребляем, сколько истребляем. Истребители жратвы, питья, промтоваров. Истребляем больше, чем нашему организму положено: ведь только человек, единственное существо в природе, страдает ожирением... Мы — истребители живого, природы, времени, часто безо всякого следа в смысле полезных результатов. Возьмем книги, ведь часто мы читаем их не для того, чтобы возбудить свою мысль, а для того, чтобы не думать, следовательно, истребляем и время и саму книгу, да еще мысль. Отвлечься! Слыхал такое словечко? Ты, писатель, должен вдумываться в слова. От чего, спрашивается, отвлечься? От себя! От своих переживаний, мыслей! Будто уж так много у нас этих мыслей. Фактически только и делаем, что отвлекаемся. Мыслей давно нет, а все отвлекаемся. Боимся, как бы не начать думать. Одно слово — истребители...

Действительно, подумал я, мы как-то стараемся избегать переживаний — внутренних, идущих от недовольства собою, от тоски невесть по чему. Мы натренировались избавляться от них, считая это блажью, мутью, результатом высокого давления, плохой погоды, усталости. Что угодно, только не томление души! Придавить ее каблуком, чтобы не дымила, ее вообще нет, не существует, а если есть, то лучше, чтоб ее не было...

VII

А если не искать утешения, думал я, не бежать тоски и мучений? Может, это оживит воспоминания? Человеку нужно все — и тоска, и страх, и скука. Вообще все, что есть в природе, все это нужно. И любые животные нужны, и гроза, и василек, и даже вечная мерзлота.

Отец показывал мне, как нужны лесу пни, старые трухлявые пни, где живут всякие гучки и букашки.

Понимал ли он лес? Не знаю, слишком мало я вникал в его жизнь. Но пользоваться им старался очень осторожно. Живицу, например, гнать, он считал, надо бережно, как корову доить. Но отношение у

него было не к дереву, а к лесу целиком. Были леса, которые он любил, а были нелюбимые...

Между прочим, почему-то любил он совершенно неделовую, нетоварную осину. Самое легкое дерево в наших лесах и самое дешевое, что и на дрова не шло. Зато делали из осины лучшую дранку, я помню, с каким трудом отец налаживал драночные станки в колхозе да еще хотел наладить рогожное производство из молодой осины.

Дранка, щепка, клепка... И сразу посыпались вразнобой отцовские слова: накат, баланс еловый, слипер, рейка, швырок, подтоварник, грядки. Слова означали разные сорта леса, никогда и нигде больше, ни по какому поводу я не слышал их, они сохранились как бы в том детском виде: баланс — обструганная, окоренная коротышка, розоватая, с нежно-пленочными остатками кожицы; пропс — вот этого не помню, зато помню горбыли, удобные для наших мальчишеских построек, и рейки — длинные, ломкие, которыми мы сражались. Кряжи, шпалы, дрючки, капбалка. Эти удивительные слова, то красивые, то некрасивые, произносились на лесобирже, где отец ходил с деревянным метром в руке, а в лесу он был с рулеткой, и там были другие слова — живица, сеянцы, делянка, бонитет. Были волшебные слова, которыми он заставлял деревья расти быстрее или же лечил их; он шел и выстукивал и выслушивал их на ходу, как врач, а иногда останавливался и слушал, как они дышат. Он по срезу рассказывал жизнь дерева, когда была сушь, когда угнетали соседи, казалось, он знал все, что творилось в этом лесу давно, еще до революции и до его рождения. А каким он был сам? О чем мечтал, чего добивался, что думал? Воспитывал меня, а как, каким образом? Ведь помню, что не бил и не задаривал. Что-то говорил, находил какие-то слова, больше же всего показывал работу. В лес брал, на лесосеки и дома работал, графил ведомости, вычислял прирост леса, кубатуру.

Вот линейку его помню, лиловые копирки, карандаши, резинку — незначачие эти мелочи, они зачем-то сохранились и пребывают во мне.

Внешнюю сторону жизни я запомнил лучше — не потому ли, что на нее больше внимания обращал? А состояние души, внутренний мир проходили как-то мимо меня, не вызывали интереса — почему?

Мальчик Алеша Пешков в «Детстве» Горького рассказывает о множестве людей, их десятки и десятки, и каждый запомнился ему и словечками и философией своей, всей натурой. Алеша с ребячьей точностью помнит красильные чаны и запахи краски, но это попутно. И у Толстого в «Детстве» главное тоже — духовное наполнение, образы людские во всех особенностях их внутреннего мира. Все это не сочиненное, а сохраненное. В моей же памяти осталось чисто внешнее. Люди различались главным образом внешне, служебно — один прораб, другой пильщик, — говорили они на разные голоса, но одними и теми же словами, и, может, от этого казалось мне, что и в душе у этих людей все устроено одинаково и отец мой хотя и добрее остальных, но, наверное, с той же начинкой. Как в анатомическом атласе, который был у моей старшей сестры и который мне иногда позволяли смотреть. Там был изображен человек, его можно было разять, отгибая сперва кожные покровы, тогда обнажались мышцы, потом отогнуть мышцы, открывался желудок, кишки, сердце, легкие. Все это хоть и бумажное, но было раскрашено, извивы кишок можно было приподнять, открыть сердце, почки... С трудом, неохотно, но я все же усвоил, что так, одинаково, устроен внутри каждый человек. Разнятся люди лишь ростом, походкой, цветом волос и глаз, то есть снаружи. Почему-то люди не запоминались мне своими идеями, необычными

дерзкими мыслями. Они слиплись в неразличимую массу, прикрытая разница увиделась куда позже.

Иногда мне кажется, что человек — как песочные часы. Природа ставит нас, чтобы отмерить какие-то миги истории. Сам я состою из тех же песчинок, которые тянутся через меня. Бывает — и с годами все чаще, — что я слышу этот шуршащий ток времени, уносящий мою жизнь, мое «я», ощущаю временное, быстро тающее свое состояние, краткость пребывания на земле.

Вообразите фильм, где вся жизнь от рождения до смерти прокручивается за сеанс. Полтора часа. Значительные, но краткие миги опускаются, остаются наиболее длительные, долгодействующие факторы: сон, работа. Фильм, подобный научно-популярным лентам о росте хлебного колоса или о превращении личинки.

Можно вообразить фильм с еще большим захватом времени, снятый несколькими — многими — поколениями операторов, скажем, о судьбе маленького российского городка: как появляются, ветшают и рушатся его дома, как городок растет, меняется, вокруг него тают и вновь появляются леса. Жизнь отдельных людей в этом масштабе вспыхивает и гаснет сигнальными огнями, смысл которых неясен, хотя может и обнаружиться при таком взгляде издалека.

Возьмите, к примеру, ту же Старую Руссу. Допустим, с X или XI веков. И представьте этот фильм. Как нападали на город то половцы, то литовцы да ливонцы, то свои соседние удельные князья. Город этот всегда был мал, малочисленны были его дружины, они защищались как могли и гибли под напором тысячных ратей пришельцев. Наводнения разоряли город, нападала моровая язва, уничтожая всех подряд без различия звания и возраста, уцелевшие разбегались, так что город пустел на много лет и «там жили и плодились дикие звери». Доставалось городу от пожаров, от засухи. Голод обрушивался часто и страшно, выкашивая одним махом тысячи горожан. Посвист этой косы не различить в мелькании кадров, разве что увиделось бы на минуту голодное десятилетие с 1446 по 1456 год, когда люди питались чем попало, дичали, продавали себя в рабство.

Впрочем, историю той жизни мы знаем больше по войнам и всяческим катастрофам. Историки упоминали о Руссе лишь попутно, в связи с историей Новгорода или московских походов и завоеваний. Сама по себе трудовая жизнь как бы утекала сквозь сита исторических летописей.

Разоренный, сожженный, выморочный город снова возрождался, начинал варить соль на своих соленых озерах, дубить, выделывать кожи, строить ладьи и корабли. И снова приходят воины, приходят литовские воеводы, польские, шведские, снова жгут, грабят, убивают. То Русса оказывалась на пути к Новгороду, то на пути врагов в Москву, она защищалась, она защищала. Войны, эпидемии и пожары воспринимались как бедствия стихийные, наиболее тяжелый след в народной душе оставляли события иные, покушавшиеся изменить естественный характер жизни, такие события, как устройство аракчеевских поселений. Зверское самодурство, насильственность, лицемерие, лживость вызвали в тридцатые годы прошлого века бунты, слепые и яростные.

Может, оттого Октябрь пришел в Старую Руссу так естественно и советская власть укрепилась сразу и прочно.

Однако если представить себе фильм в масштабе времени десять веков (тысяча лет) за полтора часа, то мы увидели бы не пожары, не войны, а упорный постоянный труд быстро сменяющихся поколений, которые строили все быстрее и ловче дома, прокладывали дороги, делали машины, обставляли свою жизнь разумнее, спасая своих де-

тей от голода и мора. Звон мечей заглушался непрерывным стуком молотков, топоров, цепов, скрипом колес. Неизменным оказывался труд. Он составлял основу жизни. Что бы ни происходило, а каменщик брался снова месить глину и разводить в яме известь.

Песчинка необычных часов была вечна. Человек тоже состоит из таких вечных частиц материи, в которых словно была заложена самой природой потребность труда и счастья труда. Казалось, частицы эти передаются из века в век, до нас они составляли других людей, и, может, поэтому иногда странное чувство охватывает нас: как будто все это было уже когда-то с нами, что-то похожее, какой-то древний опыт, то, что называют зовом предков или голосом крови.

Где находится память — неизвестно. Если она не сосредоточена в каком-то специальном органе памяти, а разлита по всему мозгу, а может, и по всему организму, то, значит, каждый орган как бы помнит. Есть память у мышц, у ног, память у обоняния и вкуса. А может, есть память и у частиц? Не знаю, на каком уровне существует память, но ведь, может быть, и как память клеток, или молекул, или атомов? Что, если наша память складывается из их памяти, наше «я» складывается из неповторимого сочетания их бесчисленных «я»?

Не торопясь я шел по набережной.

От Перерытицы исходило тепло перегретой воды. На крутых травяных берегах редко стояли рыболовы, а чаще одевались и раздевались купальщики. Кто спешил окунуться по дороге с работы, кто, уже отдохнув, захватив полотенчико, выбирал местечко и не торопясь, со вкусом входил в воду. Дневной тяжелый зной спал. Наступали блаженные в это жаркое лето вечерние часы, когда цветы раскрывались, оживала листва, люди показывались на улице. Из тени появлялись собаки, кошки, куры, всякая живность спешила насладиться короткими часами предзакатной свежести. Собаки бежали по тенистой аллее, тормозя для сбора информации у подножья каждой из старых лип, обмоченных многими поколениями дворняг.

Голые люди стояли посредине Перерытицы по пояс в коричневой воде, неподвижно, как белые статуи.

Все отдыхало. Замерло, словно задумалось о главном в своей жизни. Передышка после потной долгой дневной жары была наполнена покоем, такой легкостью воздуха, что собственная голова казалась воздушным шаром, легко плывущим в небе. Человек растворялся, чувствуя себя частью реки, земли, зелени. Ничего другого и не надо было, так мудры и полноценны были эти минуты. Чтобы их ощутить, не требовалось ни шезлонгов, ни красивых купальников, ни махровых халатов.

Набережная была полна утихшего солнца, теплого, как сено. Камни мостовой остывали. Косые лучи подпирали деревья, высвечивали сквозь окна дальние углы комнат.

Деревянные дома с мезонинами, с фальшивыми балкончиками (все послевоенной постройки) выглядели примерно так же, как и до войны. Здесь всегда стояли такие дома, одно- и двухэтажные, но нынче во дворах блестели «Жигули», мотоциклы, на крышах высились телевизионные антенны. Но это не мешало мне, я вполне мог представить, что иду на довоенный курорт, где у эстрады сидит мама, слушающая оркестр. Вознесенский собор уцелел, все так же величаво возвышаясь над излучиной реки. В городе, даже разрушенном так, как Старая Русса, все же сохраняются его прежние черты, особый дух, природная физиономия, которая складывается из расположения его площадей, вокзалов, набережных и еще каких-то неизвестных составляющих. Так было в Минске, Пскове, Ленинграде.

Дом, где мы жили, на улице Володарского, сгорел, сгорело и лесничество с большим запущенным садом, местом наших игр. Вся улица была разрушена. Осталось в целости на весь город несколько домов, всего четыре, как утверждает Георгий Иванович, в том числе и дом Достоевского.

Когда я приехал сюда в середине пятидесятых годов, я побывал у этого дома. Там помещалась школа и, кажется, библиотека. Пришел я вот так же под вечер, на лавке у дома сидели старухи. В платках, в кофтах со сборочками на груди. Кофты считались тогда старушечьими, а нынче такие же стали наимоднейшими. Старухи помнили Анну Григорьевну Достоевскую, рассказали мне, как она приезжала после смерти мужа, хлопотала вместе с местным священником Румянцевым насчет ремонта дома. Слушал я их вполуха. Я понимал, что рассказывают они что-то ценное, интересное, но, во-первых, дело это не мое, на то есть литературоведы, специалисты, они запишут, во-вторых, успеется. Две эти самые зловерные отговорки подводили меня много раз. Так я недоговорил с Андреем Платоновым, Куприным, Шульгиным, человеком, который знал Плеханова, Ленина, Мартова. Не записал своих встреч с Питиримом Сорокиным, Фадеевым, Сарьяном, Борисом Пастернаком, дядей Сашей, монтером Второй ГЭС. Успеется, думал я, когда-нибудь посидим, договорим, специально запишем.

У отца от Старой Руссы сохранилась хрустальная пирамидка. Внутри нее изображена была белая громада Воскресенского собора, река, розовеющее закатное небо, все это, выложенное перламутром, радужно переливалось, особенно если слегка повертеть пирамидку в руках. Изготовлена она была, кажется, к семисотпятидесятилетию города, несколько экземпляров, и каким-то чудом уцелела до наших дней, несмотря на войну, на наши семейные скитания и на мои мальчишеские руки, переломавшие бог знает сколько прекрасных вещей.

После смерти отца я поставил ее себе на стол и часто смотрел в эту хрустальную глубину. А потом однажды под напылом непонятого ныне чувства подарил ее старорусскому музею. Его создавал тогда Георгий Иванович Смирнов, и вместе с этой пирамидкой я преподнес тоже отцовскую, хорошо сохранившуюся толстую книгу М. И. Полянского «Историко-статистический очерк г. Старой Руссы», изданную в 1889 году. Это уникальное и презанятое произведение — одно из чудес российской статистики, из нее можно узнать все: про скот, про дома, про эпидемии, про купцов, сектантов, какие улицы в городе были мощеными, когда какая вымощена, на какую ширину и длину, какие были лавки, чем торговали, как менялось число жителей по сословиям. Там есть история всех церквей, монастырей, есть общественная жизнь города. Колонки бесстрастных цифр прерываются иногда горькими размышлениями автора:

«Прочие периодические издания, считая вместе ежемесячные журналы и газеты, в течение 1884 года были получены в количестве 100 655 номеров, или немногим более 275 экземпляров в день. Цифра эта может быть довольно точным масштабом для составления понятия о современной жизни города. В городе живет 60 чиновников, 60 офицеров, до 40 духовных лиц и 15 учителей, таким образом, на 12-тысячное коренное население остается не более 100 экземпляров периодических изданий¹. Словом, город живет своими торговыми, жемудочными, эротическими и всякими другими интересами, кроме ум-

¹ Полянский считает, что лица указанных сословий выписывали хотя бы по одному экземпляру журналов и газет на человека.

ственных. Исключение представляет самая ничтожная часть населения.

Расходятся деньги на обстановку, мебель, на наряды, но расход на книги, журналы и газеты составляет совершенно случайную часть бюджета. Очевидно, что умственная пища для большей части жителей не более как дилетантизм и непозволительная роскошь. Книжного магазина в городе не имеется: необходимые для детей учебные книги продаются там же, где и скипидар».

Я шел и вспоминал эту книгу, хрустальную пирамидку, вспоминал гостинный двор, которого уже нет, старорусских ребят на площади. Вспоминались потери. Есть дни потерь, так же как дни удач, дни обретений. Дни, когда прожитое открывается разом, с ошибками самыми нелепейшими, видно, как собственная жизнь двумя своими краями касается небытия, точно шаткий мосток между вечностью, что была до рождения, и той вечностью, что протянется после смерти. Выпадают неизвестно зачем дни такой удручающей видимости.

VIII

Окна в доме Достоевского были занавешены. На всякий случай я толкнул калитку. Лязгнув щеколдой, она отворилась. Я вошел в чисто подметенный дворик. Вдоль забора росли цветы. Дверь в музей была закрыта. Рядом я увидел другую дверь. Потянул, вошел в сени. В доме было тихо.

— Есть кто? — крикнул я.

Никто не ответил. Деревянная лестница вела на второй этаж. Там, наверху, висели написанные маслом портреты. Они изображали четырех братьев Карамазовых, Федора Павловича Карамазова и самого Достоевского. Наверху было светло от вечернего солнца. Что-то поскрипывало, потрескивало, дом устраивался, укладывался на ночь. Я не заметил, как на верхней площадке лестницы появился человек и тотчас, не всматриваясь в сумрак прихожей, а лишь убедаясь, что я тут, уже тут, сверлящим голосом назвал меня по имени-отчеству и нетерпеливо позвал наверх, к себе.

Чудом было и то, что появился именно он, Георгий Иванович, может, единственный, кто был мне сейчас кстати, и то, что он не удивился моему появлению в неурочный час, да еще после двухлетнего отсутствия. Ни о чем меня не расспрашивая, ничего не показывая, он с ходу стал доказывать мне, что религиозность Достоевского совсем особая, что ему удалось установить связи Достоевского с творчеством Данте, что вопрос вопросов — церковность Достоевского.

— Почему Христос ничего не ответил великому инквизитору, а поцеловал его? И заметьте — тихо поцеловал? А? Что этим хотел Достоевский сказать? А сколько мальчиков слушало речь Алеши? Не знаете. Неудивительно, мне на это никто из специалистов не ответил. Циферку эту Достоевский упомянул вроде бы мимоходом, так, бросил словечко, только у него ничего не говорится зря, все имеет глубочайший смысл. Вникнуть надо! Да-с!

Мы сидели в комнате, где сто лет назад Федор Михайлович писал «Братьев Карамазовых». Пока, до реконструкции музея, в этом кабинете работал Георгий Иванович. От кабинета Достоевского не сохранилось здесь никаких предметов. Комната была большая, пустая, с маленьким стареньким письменным столом, с кушеткой. На стене висел портрет Михаила Михайловича Бахтина — любимца Георгия Ивановича, наилучшего литературоведа из всех писавших о Достоевском. Лежали старые книги, среди них Четьи Минеи — толстая книга с житиями святых. Я впервые видел ее, святые шли в ней в том порядке,

в каком праздновали их память. Николин день, Петров день, Ильин день, Спас-яблочный... После Ильина дня запрещали купаться, к Спасу собирали яблоки, везли в Руссу...

Георгий Иванович говорил быстро-быстро, словно опасаясь, что я его прерву или уйду, прикуривал от окурка следующую папиросу, бегал взад-вперед по пустой, уютной от солнца комнате. Иногда он поднимал правую руку, и голос его взмывал:

— Нет, инквизитор — это соприкосновение миров! Он в Севилье сжигал еретиков. А Митеньку Карамазова судили в Скотопригоньевске!

Он наклонился ко мне, кричал, призывая имя архистратига Михаила против хулителей Федора Михайловича, тех, кто спекулирует на его имени, на его романах, кто уродует их в кинофильмах. Он клялся не допустить извратителей на порог этого дома.

— Не кровью пойдут мальчики за Алешей обновлять мир, а совестью! — яростно спорил он с кем-то неизвестным мне. — Христос — это же не бог, это истина!

Голос его гремел, отдавался в объемах пустынного дома. Клубы дыма вырывались из его рта вместе с гневными и восторженными возгласами. Вельзевул, жилистый, коричнево-облупленный, он кипел, ярился от переполнявших его чувств. Мысль его прыгала, я не успевал следить за ней, лишь иногда ухватывал неожиданную логику, казалось бы, отрывочных фраз.

За время нашей разлуки он крепко поднаторел, оснастился не только в литературе о Достоевском, но и в том, что у нас знают плохо, — в религиозной литературе. Он изучил множество апокрифов, сказаний, трудов по истории церкви, нужных для понимания взглядов Достоевского. Тут еще сошлось и то, что он как никто другой знал историю Старой Руссы, недаром он организовал в свое время и краеведческий музей и музей истории старорусского курорта. Он показывал мне экспонаты нового, пока еще бедного музея Достоевского, где самым ценным экспонатом был этот дом, в котором Достоевский прожил семь лет, может наиболее счастливых в своей жизни. За время житья в Петербурге Достоевский сменил около двадцати квартир. А сколько было квартир казенных — на каторге, в ссылке, в Петропавловской крепости. За границей тоже почему-то переезжал из отеля в отель, снимал комнаты, пансионаты. Вел жизнь скитальца. Нигде у него не было дома, дома оседло-постоянного, своего. Впервые в Старой Руссе он появился. Ему полюбился этот уездный городок, особый, со своей физиономией — с курортом, солеными озерами, со своей тишиной и бойкостью, один из самых живописных уездных городков России.

Все близлежащие улицы, переулки стали ныне тоже частью музея-мемориала. Георгий Иванович рассказывал о своих захватнических хлопотах и выкрикивал попреки в адрес московского музея, не желающего отдать принадлежащие старорусскому дому экспонаты; гордился тем, что владеет архивом внука Достоевского, Андрея Федоровича. И еще кое-что имеет!

Я любовался его пылкостью. Роговые очки его горячо взлескивали, черные глаза пронизывали меня испытующе — не грешен ли я чем перед памятью Достоевского? Он не пощадил бы меня и нашу старую дружбу. Недавний инсульт несколько не испугал его, а сделал еще бесстрашнее.

После сдержанно-расчетливых служащих с набором взвешенных фраз, уютно-дозволенных отдушин-хобби в виде охоты или рыбалки, после благоразумных литературоведов, считающих печатные работы и оплачиваемые листы, после огородников, любителей-садово-

дов, подписчиков на собрания сочинений, болельщиков футбола, туристов с роскошными цветными палатками, автомобилистов, филателистов, городошников, он производил впечатление нездешнего и счастливого безумца. Я завидовал ему, его возвышенной страсти, которая не уживалась ни с каким хобби. Жить ему осталось немного, как он считал, но, во всяком случае, он должен дожить до столетия со дня смерти Достоевского. Такой срок он поставил себе.

IX

Темнело, когда мы очутились на Дмитриевской улице. Дома у меня было несколько дореволюционных открыток с этой Дмитриевской. Ее почему-то любили снимать на почтовые открытки. Старой Руссе вообще повезло на открытки: черно-белые, цветные, их десятки, а может, и сотни — с видами курорта, пожарного депо, монастыря, Венденской церкви, площади, но больше всего Дмитриевской улицы.

Ничего примечательного в ней не было. Но Георгий Иванович показал мне на нее, как показывали в Лондоне на Пикадилли или Даунинг-стрит или в Нью-Йорке на Уолл-стрит. Эта улица была связана с действием романа «Братья Карамазовы». Он показал забор сада, через который лазила Лизавета, улицы, по которым бежал Митя в день убийства отца. Мы прошли по этому маршруту, оказывается точно указанному в романе, сделали петлю, какую сделал Митя, прежде чем перебежал по мосту речку Смердящую, или нынешнюю Малашку. Показал двухэтажный гайдебуровский дом, который тоже участвует в романе, и объяснил, почему он участвует в виде одноэтажного домишки. А здесь место, где сидел в засаде Митя Карамазов, высматривая Грушеньку, вот здесь и сама Грушенька, то есть Грушенька Меньшова, шла по набережной навстречу Достоевскому. Начальник же коммунального отдела товарищ Л. снес мостик через Малашку. Товарищу Л. было безразлично, какой из братьев Карамазовых и зачем бежал по этому мостику, тем более что все это выдумки писателя, хотя он и состоит классиком. Товарищ Л. был реалист: роман — это сочинение, следовательно, не факт, а фантазия. Если бы сам Достоевский или любой другой классик ценил этот мостик, бывал на нем, встречался со своими единомышленниками, что было бы подтверждением документами, тогда и спору нет, мостик стал бы исторической ценностью, поддерживался и охранялся. Без этого мостик как таковой не представляет ныне пешеходной необходимости, и незачем из-за него поднимать шум.

Чем мог Георгий Иванович, директор едва народившегося музея, воздействовать на городского начальника? Бумаги, докладные? Писал. К ним притерпелись. В конце пути они попадали к Л. с надписями неуверенными, озадаченными: «Надо помочь», «Разберитесь», «Внести в план». У товарища Л. хватало и без этого мостика горящих точек. Он не был ни рутинером, ни мракобесом, наоборот, именно потому, что он пекся о городских нуждах, он не хотел тратить скудные коммунальные средства на эту непонятную ему работу, невыигрышную, ненасущную...

Однако Георгий Иванович был не только директором, по совместительству он был еще и экскурсоводом, а эта совсем уже маленькая должность, оказалось, обладает некой возможностью: Георгий Иванович стал рассказывать группам, которые он водил по памятным местам Достоевского, что вот здесь был мостик, по которому бежал Митя Карамазов, к сожалению, мостик сломан товарищем Л., не желающим его восстановить... В каждой группе находились возмущенные, из них один-два доводили свое возмущение до дела — писали

жалобы на товарища Л. Письма шли во все инстанции. Вскоре Л. взмолился: «За что ты меня позоришь перед людьми?» Мостик был восстановлен. При этом вполне возможно, что товарищ Л. так и не понял до конца смысла стараний Георгия Ивановича, ибо не так-то просто поверить в такую реальность жизни героев романа.

Несколько лет Георгий Иванович потратил, составляя карту происхождения в романе «Братья Карамазовы», разыскивая места, упомянутые в тексте, сличал и устанавливал, где кто жил, какой именно дом описан. Он располагал действие романа в городе тех лет, расшифровывал, выяснял по архивным источникам, уверенный, что все должно сойтись. С трудом нашел дом Катерины Ивановны на Большой улице, сорок лет он искал дом Хохлаковой, почти разыскал, то есть определил, какой из домов это был, поскольку домов этих давно нет, нашел его фотографию. Сколько он бился с Михайловской улицей: почему Достоевский назвал ее Михайловской, когда на самом-то деле речь шла о Пятницкой улице...

Стоили ли подобные розыски таких усилий? Разве так существенно, где когда-то стоял тот или иной дом? Да ведь по совести говоря, Старая Русса выбрана под место действия романа «Братья Карамазовы» случайно. Жил бы Достоевский в Боровичах, может, действие происходило бы в Боровичах. Мне трудно было судить о доказательности некоторых открытий Георгия Ивановича. Так, с точки зрения научной, история о том, почему Пятницкая была названа Достоевским Михайловской, показалась мне слабо подкрепленной. Но лично для меня вся эта кропотливейшая, вроде бы ничего не определяющая работа Георгия Ивановича совпала с тем, что делал в Ленинграде внук Достоевского Андрей Федорович Достоевский, определяя место действия романа «Преступление и наказание». Он водил меня в каморку Раскольниковова, показывал место, где Раскольников запрятал драгоценности, мы поднимались по узкой лестнице в участок к Порфирию Порфирьевичу. С тех пор я не раз показывал найденные им дома и приезжим друзьям и ленинградцам и даже написал про это. Так что отчасти я был подготовлен, тем более что во всех книгах о Достоевском всегда говорилось про Старую Руссу как про место действия романа.

Владимирская церковь в Старой Руссе давно разрушена. На месте ее стоят жилые дома. Она была рубленой, деревянной, крестообразной в плане. Построена она была где-то в начале XVII века. Во всяком случае, в 1625 году она уже значилась как церковь Владимирской божьей матери, что у реки Порусьи. Стояла она до самой войны, Георгий Иванович ее помнит. От нее до дома штабс-капитана Снегирева должно было быть согласно роману триста шагов. По просьбе Георгия Ивановича я шел и считал шаги и верил и не верил, хотел, чтобы было триста, и не хотел. Уже стемнело. Свет падал из освещенных окон. Улица была без фонарей, исчезла трава, панель, улица состояла из шагов. Точно так же меня вел Андрей Федорович по Подъяческой улице в Ленинграде и мы считали шаги от дома Раскольниковова до дома его жертвы — старухи процентщицы, их должно было быть семьсот пятьдесят. Станный это был писательский прием — точно вымерять расстояния, не вообще, а как бы решающие, когда из этих шагов складывается самый, может, важнейший жизненный шаг героев. Вот и сейчас навстречу мне мальчики на руках несли гроб Илюшечки...

Быстрый голос Георгия Ивановича доносился из тьмы, то взлетая, то куда-то теряясь, как будто он там отбивался от множества спорщиков. Беспорядочность его речи имела свой смысл — он сво-

бодно тасовал десятилетия, мимолетное и вечное. Выдумка и реальность сплетались в тугую косу. Звездный свет вечности падал на мелкие подробности жизни, и от этого размеры и смысл вещей смещались. Время, казалось, ничего не могло поделывать с человеческими страстями. Литература поселялась в здешних кварталах, дома обретали хозяев, которые на самом-то деле никогда в них не жили и не были занесены ни в какие списки и тем не менее были куда реальнее, чем те, давно умершие, исчезнувшие из памяти обыватели уездного городка:

«Наконец он разыскал в Озерной улице дом мещанки Калмыковой, ветхий домишко, перекосившийся, всего в три окна на улицу, с грязным двором...» Там живет штабс-каписан Снегирев. Кто жил там в действительности, неизвестно, литературоведов не занимают фактические жильцы... И получалось, что спустя сто лет для нас реальными стали не те люди, что здесь жили, а те, что были рождены фантазией писателя, мы знаем о них куда больше, представляем во всех подробностях их быта. Придуманное стало явью, имеющей плоть, историю, адреса. Чего стоила одна только фраза, прозвучавшая сейчас над моим ухом: «Здесь стоял дом, где снимал квартиру штабс-капитан Снегирев».

Ровно триста шагов. Мы стояли на перекрестке. Сюда пришел Алеша с деньгами возместить бесчестие, причиненное его братом Митей.

Что же это такое — природа, реальность жизни, думал я, если генный может создать человека более реального, чем натуральный человек, вдохнуть в него жизнь, наделять его бессмертием? Да что там человека — целый мир может создать, потому что те же «Братья Карамазовы» — это целый мир, эпос России.

Сегодня утром Андриан говорил мне:

— Дай ученым задание — создать василек, обыкновенный цветок василек. Пусть организуют для этого целый институт. Десять лет будут работать и не смогут создать. Миллиарды потратят и не то что цветок — лопух, крапиву не создадут. А художник напишет — и будет василек. Нет, брат, искусство сильнее науки!

Х

Переулок, где спала Лизавета, прямо в крапиве спала и лопушнике, тоже имеется в полной сохранности, с той же крапивой и большими лопухами.

Однажды мэр города услышал на симпозиуме, как цитируют из романа описание этого переулка: «По обе стороны переулка шел плетень, за которым тянулись огороды прилежащих домов; переулок же выходил на мостик через нашу вонючую и длинную лужу, которую у нас принято называть иногда речкой. У плетня, в крапиве и лопушнике, усмотрела наша компания спящую Лизавету». Такое описание переулка, по мнению мэра, позорило город, и он распорядился немедленно привести переулок в порядок, замостить, заасфальтировать и чтоб в отличие от царского времени — никаких лопухов! Желание его было естественнейшим, тем более что переулок, можно сказать, исторический, но не менее естественным был и гнев Георгия Ивановича, грудью вставшего на защиту своих лопушков. Надо отдать должное мэру: человек умный, он вскоре поднял руки вверх, уяснив, что переулок этот ценен именно в таком неблагоустроенном, натуральном виде, что, между прочим, для психологии любого мэра принять не так-то легко.

Бурьян яростно рос по переулку, поощряемый отныне городскими

властями. Мне вдруг вспомнился Мельбурн, университет, преподаватели-слависты, наш разговор о Достоевском: они знали про Старую Руссу, изучали места действия, значит, и этот переулок представляли, где, может, был зачат Смердяков. Вспомнились разговоры о Достоевском в университетах Стокгольма, Токио, Калифорнии. Всюду изучали Достоевского, как может, никого из других писателей, во всем мире читали и читают про этот лопух вдоль плетня, пишут исследования про роман, исследования, в которых есть и про этот город и про эти места. И будут еще долго после нас писать и предлагать свои толкования, решать загадки, поставленные романом. Я вдруг ощутил как бы всемирную историчность этого переулочка и набережной этой маленькой, нигде не обозначенной речки Перерыгицы. Места, известные всем читателям Достоевского. Не тем, что он жил тут, а прежде всего через героев романа. Отчасти я даже был смущен нахальством этой своей мысли, не так-то легко было свыкнуться с тем, что кружение этих деревянных улочек, мостиков, скрипучих ворот, зацветших ярской канав, привычных мне с детства, пользуется славой подобно лондонской Беккер-стрит, где жил Шерлок Холмс, или набережной Невы, где гулял Евгений Онегин. И мемориал этот единственный в своем роде, поразительный, как если бы, допустим, в Испании сохранились бы ветряная мельница, трактир и прочие места скитаний Дон-Кихота.

Как будто ни война, ни время не были властны над этими местами, словно бы гений Достоевского охранил их, вызвал вновь из небытия. Они не в пример моим Кислицам существовали независимо от обстоятельств жизни. Конечно, это было не совсем так, я как бы вывел за скобки и энтузиазм Георгия Ивановича, и все, что делали горсовет и горком партии, чтобы восстановить этот мемориал. Но ведь и усилия этих людей были тоже воспламенены силою романов Достоевского, удивительным воздействием, какое оказывает его творчество на каждого, кто так или иначе соприкасается с ним.

Не раз я замечал странности этого влияния. Именно странности. Мы недолюбливаем это понятие, стараемся объяснить странное, растворить его научными реактивами, изгнать из обихода — примерно так, как в старину изгоняли бесов,— мы заменяем его «стечением обстоятельств», закликаем теорией вероятности, интуицией. Вместо «судьбы» мы говорим «случайность», «склонность». И тем не менее... Георгий Иванович родился ровно через сто лет после рождения Достоевского, в доме Гайдебуровых, напротив дома Достоевского. И в школе, где он преподавал историю, и на войне, командуя батареей, он мечтал заняться Достоевским. Всякий раз возникали то более срочные, то более нужные дела, но он настойчиво готовил себя, верил, что рано или поздно придет в дом Достоевского. Он как бы все примечал впрок для будущей работы. Так приметил он камень возле жилища Снегирева, оказывается это не выдумка Достоевского, лежал здесь такой камень, с которого Алеша обратился с речью к мальчишкам. Несколькими годами назад еще лежал, так ведь подкопали и уволокли в порядке благоустройства, недоглядел; но ничего, он вызнал, куда именно свезли, и вскоре он вернет его на место. Ему нужен тот самый камень, никакой другой. Если б это был не камень, а гора, он и гору вернул бы, вера его, убежденность действительно могут двигать горами.

XI

Где живут мои герои, в каких домах, на каких улицах? Мне никогда не приходило в голову подыскивать им точные адреса, поселять их в реальных квартирах, проследивать маршруты их прогулок, находить в городе места их встреч. Разве что случайно, попутно выпа-

дало упомянуть, допустим, Петропавловскую крепость или Литейный проспект.

У Достоевского же тщательность описания касается не только города, но и обстановки жилья, описание позволяет прямо-таки воссоздать ее в точности, как на рисунке, со всеми подробностями расположения и качества предметов. Вот, допустим, жилье того же штабс-капитана Снегирева:

«Алеша отворил тогда дверь и шагнул через порог. Он очутился в избе хотя и довольно просторной, но чрезвычайно загроможденной и людьми, и всяким домашним скарбом. Налево была большая русская печь. От печи к левому окну через всю комнату была протянута веревка, на которой было развешано разное тряпье. По обеим стенам налево и направо помещалось по кровати, покрытых вязаными одеялами. На одной из них, на левой, была воздвигнута горка из четырех ситцевых подушек, одна другой меньше. На другой же кровати, справа, виднелась лишь одна, очень маленькая подушечка. Далее в переднем углу было небольшое место, отгороженное занавеской или простыней, тоже перекинутою через веревку, протянутую поперек угла. За этой занавеской тоже примечалась сбоку устроенная на лавке и на приставленном к ней стуле постель. Простой деревянный четырехугольный мужицкий стол был отодвинут из переднего угла к срединному окошку. Все три окна, каждое в четыре мелкие, зеленые, заплесневевшие стекла, были очень тусклы и наглухо закрыты, так что в комнате было довольно душно и не так светло. На столе стояла сковорода с остатками глазной яичницы, лежал недоеденный ломоть хлеба и сверху того находился полуштоф со слабыми остатками земных благ лишь на доньшке».

Согласно этому описанию можно изготовить макет, декорацию, план, картину. Больше ничего и не надо, все сведения имеются. Достоевский не часто прибегает к столь подробному изображению. Здесь оно подготовлено ходом событий, состоянием Алеши, его пристальный взгляд должен замечать и фиксировать все эти вещи, и, в свою очередь, то, что он видит — бедность, многое определяет в его состоянии, действиях.

С бесстрашием фотообъектива отмечают бытовые детали, казалось бы заурядные для того времени, примелькавшиеся, незамечаемые: «...горка из четырех ситцевых подушек одна другой меньше». Все равно что в нынешней квартире упомянуть электрический счетчик, стены, оклеенные бумажными обоями. В том-то и дело, что не совсем так. Достоевский производит тщательный отбор — и ситцевые подушки и окна в четыре стекла нужны ему для социальной, для семейной характеристики. Перед нами бедность типичная, но и бедность индивидуальная — семья отставного штабс-капитана. Полвека назад детали эти прочитывались, вероятно, иначе, чем нынешними читателями. Сегодня они обрели еще ценность историческую. И в нашем быту вещи меняются, они отмечают конкретное время, уровень жизни, среду, поколение, моду... Мы почему-то неохотно и редко изображаем предметность нашего бытия. Пренебрегаем описанием современных гастрономов, столовых, вида денег, посуды, обуви, мебели, тех же кроватей. Сегодняшние герои большей частью живут среди вещей обезличенных, едят за неким столом некий суп из некой тарелки, носят вообще спецовку, вешают ее в абстрактный шкаф, стоящий в абстрактной квартире. В русской литературе предметность описания была свойственна и Пушкину, и Гоголю, и Тургеневу. По «Евгению Онегину» можно представить, как одевались, что было модно, что вышло из моды, какие пили вина, какие книги читали в раз-

ных кругах общества, как выглядели альбомы уездных барышень, что за лошади были упряжные, верховые и как заряжали пистолеты:

...Гремит о шомпол молоток,
В граненый ствол уходят пули,
И щелкнул в первый раз курок,
Вот порох струйкой сероватой
На полку сыплется. Зубчатый,
Надежно ввинченный кремень
Взведен еще..

Или мельканье московских улиц перед глазами Татьяны:

...вот уж по Тверской
Возок несется чрез ухабы,
Мелькают мимо будки, бабы,
Мальчишки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри,
Бухарцы, сани, огороды,
Купцы, лачужки, мужики,
Бульвары, башни, казаки,
Аптеки, магазины моды,
Балконы, львы на воротах
И стаи галок на крестах.

ХП

Я вспомнил улицу Пестеля, где мы жили, когда приезжали в Ленинград. Улица Пестеля, бывшая Пантелеймоновская, как спрашивали ее еще не привыкшие к переименованиям питерцы, замкнутая двумя церквями, в начале Пантелеймоновской и в конце Спасо-Преображенским собором.

Магазин братьев Чешуриных — молочный магазин, выложенный белым кафелем, там в деревянных кадках стояла сметана разных сортов, творог, молоко в бидонах, масла, сыры. Сами братья-нэпманьны орудовали в белых фартуках с черными блестящими нарукавниками. А на углу Литейного, там, где теперь кондитерская, была тоже кондитерская «Ландрин», уж не помню, частная или же кооперативная. В конце улицы, у Соляного, была булочная Филиппова. Утром я бежал туда за горячими булочками, мать посылала меня. Был еще какой-то магазин «Лора». Шли по Литейному трамвай с колбасой — резиновым шлангом на задней стенке (для пневматики, что ли?). Мы за него цеплялись и ехали бесплатно. «Колбасники!» — кричали нам кондукторы. Мостовые были вымощены деревянными шашками, тротуары — плитками, ворота на ночь запирались, парадные тоже, дежурные дворники сидели у ворот, а поздно ночью уходили в свои дворничьи. У нас дворничья была в подворотне, туда был проведен звонок, дворники открывали, и отец давал за это двугривенный, а один раз у него мелочи не было и он дал дворнику бумажку, то ли рубль, то ли червонец, и стал извиняться перед ним.

У Спасского собора стояли пушки. На самом деле собор этот назывался Преображенский всей гвардии собор, но местные прихожане звали его Спасским собором. Вокруг собора на каменных фундаментах высились турецкие пушки — главная радость наших детских игр. Ни у кого не было таких роскошных игрушек. Двенадцать старинных орудий на лафетах, с ядрами. Ограда тоже была сделана из пушечных стволов и цепей, на которых было так удобно качаться. У каждого двора была своя пушка, обтертая нашими штанами до бронзового блеска. Какие там гремели сражения, битвы, какие полководцы там действовали!

В вербное воскресенье на площади перед церковью устраивалась ярмарка. Крутилась обитая черным бархатом карусель. Играла шар-

манка. Китайцы продавали скрипучки, веера, чертиков, тещины языки, «уйди-уйди» и «чемберленов». В других ларьках продавали пряники, длинные конфеты, обкрученные по спирали ленточками, моченые яблоки, конечно, семечки, причем разных сортов — семечки жареные, сырые, тыквенные, чищенные. Семечки — главное удовольствие всех сборищ конца двадцатых — тридцатых годов, бедствие клубов и кинотеатров. Полы, закиданные лузгой, наши непрестанно щелкающие, сплевывающие рты.

На лотках торговали маковками — асфальтового цвета ромбиками, сваренными на сахаре из мака, — постным сахаром всех цветов, мягким, вкусным.

Куда-то они исчезли после войны, начисто исчезли все лакомства нашего детства, даже не проверишь теперь — действительно ли так это вкусно, как помнится?

А может, и хорошо, что не проверишь.

Громыхали по улице ломовые извозчики, под телегой моталось ведро, позади прикреплен номер. Ехали грузовики «АМО», легковые машины «линкольн», пролетки, катились ручные тележки, шли татары-«халатники» с мешками, почему-то обязательно полосатыми, в них собирали тряпье, бутылки, кости, шли точильщики со своими точилами из разных кругов, розовых и серых, шли стекольщики с ящиком поблескивающего зеленоватого стекла, трубочисты с черными щетками и ложками, пильщики дров — за кушаком топор, — лудильщики...

Сколько их было, разного рода мастеровых! Маляры с кистями и ведерками, полотеры, измазанные коричневой своей мастикой, обойщики. Я застал уже самый конец, раньше улица, наверное, была еще пестрее, но и то — как пестро, и разно, и красиво помнится уличная толпа 1926—1928 годов, когда еще царил ручной труд со всеми его невзгодами, низкой производительностью, но и с его искусностью.

Чистильщики сапог сидели на углах. Зимой они ваксили сапоги, ботинки, летом мазали белые парусиновые туфли разведенным мелом. Многие в городе зимой ходили в валенках. А по Неве мы катались на лыжах. Нева замерзала прочно и ровно, без торосов.

В нашем доме была часовая мастерская. За большим витринным стеклом сидели часовщики, вставив лупы в глаза. Помню лысовые их головы, всегда склоненные над рассыпанными шестеренками, и рядом в портняжной склоненные головы женщин над швейными машинками: плиссе, гофре, закрутка...

На углу Моховой был закрытый распределитель «Красная звезда», были магазины ЛСПО, ЗРК, к магазинам прикреплялись, на заборной книжке ставился штамп магазина, и только там можно было «отовариваться». Все это были слова тех лет, не собранные ни в один словарь. Заборные книжки выдавали в конторах жактов по бумажкам, которые назывались несибайками. За квартиру платили по так называемым жировкам — жиро-приказам.

В нашем доме доживали «бывшие». Наверху жила баронесса Шталь, ниже граф Татищев, ставший у нас управдомом. Когда его называли бывшим графом, он обижался: граф — это не должность, говорил он, а порода. Не может быть бывший доberman-пинчер. Он, кажется, был хорошим управдомом, он все знал, все подвалы, водопровод, чердаки.

Население было самое смешанное. Поселился веселый курчавый парень из Чека, звали его Илья; жил директор фабрики чернильных приборов; жили две работницы папиросной фабрики. В большие квартиры подсажали и подсажали заводских. Квартиры становились коммунальными, шумными, но сохранялся еще старый уклад домашней жизни. По черной лестнице дворники таскали дрова вязанками. Пла-

тили с вязанки. По черному ходу выносили помойные ведра, ходили на чердак вешать белье, по черному в квартиры приходили цыганки гадать, появлялись печники, трубочисты, прачки... Да, ведь были прачки, одна жила у нас в доме, была во дворе прачечная, где мать сама стирала, а иногда отдавала прачке. Во дворе выбивали ковры, кололи дрова, обойщики потрошили матрацы, собирались квартироуполномоченные. Во двор приходили шарманщики, певцы, цыгане, скрипачи, а то и целые ансамбли — трио, квартеты. Жильцы высовывались в окна, слушали представление, кидали завернутые в бумажку монеты. Мы бегали, подбирали, отдавали музыкантам. Какой-нибудь пятак завалится за поленницу, бросивший кричит из окна, показывает, мы носимся — кто скорее найдет. Двор был сложным организмом со своими страстями и правилами. Двор имел своих лидеров, свои компании. У нас главой была дворничиха Шура с сыном Степой, дочерью Аськой и множеством быстро сменяющихся мужей.

Во дворе была огромная, с чугунной крышкой на блоках помойка. Она находилась в темной нише, там бегали крысы, рылись старьевщики. Я теперь плохо представляю, каким образом в ней умещались все отходы огромного дома, когда и как успевали ее опоражнивать.

Мужчины ходили в желтых кожаных крагах, в калошах, а женщины в фетровых высоких ботиках или тоже в калошах с каблуками. Появились макинтоши. Все больше было велосипедистов. По улице ездили конные милиционеры в белых гимнастерках, а зимой в шинелях с башлыками. Ездили похоронные дроги, белые, но были и черные, с резными колоннами, высокими колесами. Существовали керосиновые лавки, мы ходили туда с бидонами и брали отдельно в бутылочку бензин для разжигания примусов или денатурат.

Всю еду готовили главным образом на примусах. Плиту топили редко, все реже. На кухнях гудели примуса по три, четыре сразу. Примуса составили целую эпоху городского быта, это была целая отрасль, система, стиль.

Примуса взрывались, возникали пожары. Примус требовал наблюдения, чистки, была сеть мастерских по ремонту примусов. Были еще тихие керосинки, были духовые утюги, доживали самовары, их растапливали на черном ходу. Были угары от печей, от угаров спасались нашатырным спиртом. Вся эта бытовая техника ныне вспоминается с жалостью. Как трудно, мучительно приходилось нашим матерям, сколько сил требовалось, чтобы соготовить, истопить, постирать, выгладить!

Сколько разных предметов исчезло из нашей жизни! Одни разом, другие постепенно, вроде крынок, горшков и прочих гончарных изделий. Не стало щипцов для завивки, стеклянных чернильниц, мужчин-почтальонов, вставочек, жестяных вывесок на магазинах. Перестали продавать землянику. Ее, первую летнюю ягоду, продавали стаканчиками на улицах, потом только на рынках, потом она вообще как-то исчезла.

Лошадям подвязывали к морде торбу с овсом, лошадь стояла и хрупала, время от времени встряхивая этой холщовой торбой.

Долго еще частными оставались на нашей улице парикмахерские — «Поль», «Борис», в одной из них красовался большой раскрашенный фотопортрет Евы Бандровской-Турской, польской певицы, которая приезжала к нам на гастроли.

Появились торгсины. Это уже было на Литейном. Там был центр по сравнению с нашей улицей. Там царили букинисты и продавались коллекционные марки, там было кино, там ходила другая публика: студенты, инженеры, на некоторых еще были форменные фуражки с молоточками, там шли с портфелями, папками, там гоняли нищих.

По Литейному шли демонстрации, вывешивали флаги: на 21 января с черной каймой, на 18 марта, 7 ноября, 1 Мая — красные. В витринах выставляли портреты вождей, обвитые шелком и цветами. Карикатуры на империалистов. Над воротами вешали знаки Осоевиакима с пропеллером, знаки МОПРа, срывая старые жестянки страховых компаний.

Все эти приметы прошлого сейчас видятся куда лучше примет нынешней жизни, тоже ведь интереснейших и неповторимых. Мы их не замечаем, вернее не обращаем на них внимания как на само собою разумеющееся, а ведь они тоже временны и сроки их кратки.

ХІІІ

Митя Карамазов, схватив медный пестик, мчится к отцу, но, вместо того чтобы бежать напрямую, делает петлю:

«Он обежал большим крюком, через переулок, дом Федора Павловича, пробежал Дмитровскую улицу, пробежал потом мостик и прямо попал в уединенный переулок на задах, пустой и необитаемый, отгороженный с одной стороны плетнем соседского огорода, а с другой крепким высоким забором, обходившим кругом сада Федора Павловича».

Нам все равно, какую улицу пробежал Митя — Дмитровскую или Петровскую, были ли эти улицы в Старой Руссе или автор придумал их. Вроде бы для нас ничего это не меняет. А вот для Достоевского, значит, нужда была, и настоятельная, в таком точном соответствии. Специально выбирал улицы, размещал, расставлял своих героев как режиссер, чтобы наглядно увидеть, как это было. Или же знакомые улицы, места бессознательно подвергались ему в ходе повествования?..

Про «Преступление и наказание» я уже пробовал высказать, для чего понадобилась Достоевскому такая метода. И здесь, в Старой Руссе, про «Братьев Карамазовых» ничего нового я не придумал. Был, видимо, во всем этом реализм в высшем смысле, какой имеет в виду Достоевский, говоря о своей работе. Подлинность места действия, может, освобождала фантазию писателя, может, придавала ей опору действительной жизни. Как бы там ни было, топографическая точность описаний, пусть неведомая читателю, существует как подводная часть айсберга.

Мы шли мимо темных домов, чувствовалось, что они жилые, населенные. Тепло спящих людей каким-то образом доходило к нам. Так и у Достоевского — конкретность Старой Руссы действует на наше читательское сознание, вернее подсознание.

Настоятельная потребность определенности окружающей обстановки, ее точности, жесткой привязки, то есть однозначности, сочетается у Достоевского как ни у кого другого с многозначностью поступков, характеров, идей его героев.

В каждом серьезном исследовании романы Достоевского понимаются по-своему. Существует немало толкований легенды о великом инквизиторе, и ни одно из них не стало исчерпывающим. Разно трактуют поведение каждого из братьев Карамазовых, образы Ивана, и Мити, и Смердякова, причины убийства Федора Павловича, самоубийство Смердякова, идею Алеши, его религиозность.

Действия героев часто необъяснимы, вызывают множество вопросов. Мы догадываемся, что толкает их на те или иные поступки, и в то же время не можем до конца быть уверены, что все обстоит именно так. Хотя, казалось бы, сами герои предлагают нам объяснения прав-

доподобные, искренние и все же мы им не всегда верим. В чем же тут дело? Откуда исходит эта поразительная, может, единственная в литературе множественность пониманий, этот постоянно ускользающий от нас смысл, эта загадочность авторского замысла, который многие годы еще будет открываться и открываться новыми своими сторонами? Знал ли сам Достоевский тайну своих героев? А что как он, создатель, и сам не знал этой тайны? «Человек — это тайна», — неоднократно писал он и относился к человеку как к существу, которое нельзя измерить разумом и логикой, разложить на составные элементы. Он рассматривал своих героев отстраненно, пытался объяснить их поведение, анализировал, предлагал те или иные версии, пытался угадать мотивы, причины. Иногда ему удавалось подойти к истине, иногда и не получалось. Сами герои не могли помочь ему. Собственные их объяснения не сходились с их действиями, как это бывает у живых людей, даже мысли их не отражали до конца внутренних побуждений, того подсознательного, в чем человек не признается и себе. Но разве мы всегда способны уяснить неожиданные внутренние толчки, смены своих настроений? Человек и для себя бывает тайной.

Иван Карамазов во время разговора со Смердяковым поступает все время вопреки своим намерениям:

«...«Прочь, негодяй, какая я тебе компания, дурак!» — полетело было с языка его, но, к величайшему удивлению его, слетело с языка совсем другое:

— Что батюшка, спит или проснулся? — тихо и смиренно проговорил он, себе самому неожиданно, и вдруг, тоже совсем неожиданно, сел на скамейку».

«Припоминая потом, долго спустя, эту ночь, Иван Федорович с особенным отвращением вспоминал, как он вдруг, бывало, вставал с дивана и тихонько, как бы страшно боясь, чтобы не подглядели за ним, отворял двери, выходил на лестницу и слушал вниз, в нижние комнаты, как шевелился и похаживал там внизу Федор Павлович, слушал — подолгу, минут по пяти, со странным каким-то любопытством, затаив дух, и с биением сердца, а для чего он все это проделывал, для чего слушал — конечно, и сам не знал».

Любопытно тут словечко «конечно». В том-то и дело, что на каждом шагу его герои ведут себя непредвиденно, противоречиво. Собственное «я» для них непостижимо и чужое «я» также, хотя его-то они пытаются все время объяснить. И только автор, даже не автор, а тот неуловимый рассказчик, который ведет повествование в «Братьях Карамазовых», позволяет признаться себе в непостижимости иных моментов жизни героев. Вот, например, про внезапный уход Алеши из монастыря: «Тем не менее признаюсь откровенно, что самому мне очень было бы трудно теперь передать ясно точный смысл этой странной и неопределенной минуты в жизни столь излюбленного мною и столь еще юного героя моего рассказа».

Кто это говорит? Чьи это слова? Автор? Нет, автор не может так признаваться в своей беспомощности, это выглядело бы позой, претензией, похвальбой, а вот рассказчик, некое третье лицо, он может, через него-то автор как бы получает право показать непроницаемость чужого «я». Из романа в какой-то мере удаляется всезнающий наблюдатель, божественная персона автора, которому известны и мысли, и мотивы, и все связи между движениями души и тела героев, и все вихри, проходящие сквозь их сердца. Рассказчик освобождает автора, снимает с него ответственность, позволяет отойти в сторону и увидеть этот мир с какого-то иного поворота.

XIV

Густая темная теплынь несла нас от фонаря к фонарю, мимо шумных компаний с гитарами, мимо безмолвных парочек и одиноких пьяных.

Старая Русса времен Достоевского, погруженная в провинциальную спячку, — город малограмотных мещан, имевших мало общего с теми людьми сложных и высоких страстей, каких изображал Достоевский. Город был для него местом действия, а не обителью его прототипов. Они не жители Старой Руссы прошлого века, лишенной урмственной жизни, они во многом условны и говорят иначе, языком часто возвышенным, по своему развитию, образованию они выше современных им обитателей города. Взять хотя бы мальчиков-школьников, того же Колю Красоткина. Да автору и не нужно такое соответствие, у него иные задачи. Но об этом достаточно написано специалистами, хотя бы М. М. Бахтиным.

О его блестящих исследованиях и говорил мне сейчас Георгий Иванович, выводя из них с запалом и категоричностью превосходство Достоевского над всеми писателями мира, разве только с Данте и Гомером сопоставляя его гений. Среди самых верных поклонников Достоевского я не встречал более восторженного и деятельного. В своей любви к Достоевскому он как бы обезличивал себя, не оставляя времени даже для публикации своих скромных работ. никак и ничем не утверждая себя, а все только своего Федора Михайловича, имея в виду только интересы его памяти, его славы, его мемориала.

Он занялся этим музеем, вроде бы воплощая свою мечту, проверяя себя как личность, и в этом, как и многие страстные натуры, дошел до отказа от себя, полностью растворяя себя в служении своему кумиру. Как это сочеталось в нем? Откуда он черпал свой пылающий энтузиазм и чем поддерживал его? В его воспаленной отзывчивости временами появлялась сверхчувствительность. Как будто он воспринимал неслышные обычному уху частоты. Я знал его давно, но только сейчас начал ощущать, сколько в нем непонятого. Так же как и в Андриане Савельеве, неустанном философе, который успел осмыслить все, кроме собственной жизни. Его ум не помогал ему, его размышлениям всегда что-то мешало превратиться в убеждения. Философия расплавляла его характер. Этим летом он отдал свой садовый домик малознакомой женщине с больным ребенком, а сыну своему пожалел дать лодку на отпуск. Он каждым поступком противоречил себе, делал как бы себе наперекор. Я знал его и не понимал его. Да что Андриан — дочь моя, которая выросла у меня на глазах, у которой я знал каждую родинку, разве я знал, почему она сменила свои увлечения? Она была мне непонятнее, может, всех других людей. Я огляделся и обнаружил, что самые близкие мне люди часто таинственны в своих действиях и я не понимаю, что ими движет. Словно это «черные ящики»; я знаю только, что они говорят, что делают, но не знаю почему. А я сам для себя разве не бываю тоже «черным ящиком»? Почему, например, таким важным показался мне этот мемориал?

Город выделил целый район с набережной до Первомайского моста и несколькими улицами вокруг дома Достоевского, там все будет оставлено как есть. Восстановят старые фонари, тумбы. Никаких новшеств не будет. Даже бетонные столбы, какими хотели укрепить откосы набережной, и те решили заменить деревянными. Прошное получит свою жилплощадь.

Почему меня вдруг так утешил этот мемориал, где все равно подлинного будет немного? При чем тут были мои Кислицы? Какое воз-

мещение мне тут почуялось? Ведь и связей никаких прямых не было, а отчего-то тоска и злость утихли.

У моста, в «Голубом Дунае», пиво кончилось, мужчины допивали дрянное «плодово-ягодное» — «бормотуху». Седой, хорошо выбритый мужчина с отвислыми щеками жадно посмотрел на меня. Он томился без собеседника. Он был из тех, кто любил пить под беседу.

— За ваше здоровье,— поднял он стакан.— Извиняюсь, вы, видно, приезжий? Насчет Достоевского? Раз вы с Георгием Ивановичем тут прощались, значит, не иначе как Достоевский. Я ведь живу поблизости от музея, у нас домик, вот мы и попали в мемориал. Гараж железный собирался ставить. Запрещают. Георгий Иванович. Мол, гараж нарушает картину. Асфальтировать улицу тоже не дают. Ровно крепостные мы... у этого писателя. Вы не подумайте, что жалуюсь. Я человек грамотный. У меня сын майор. Я вот, извините, конечно, хочу вас спросить. Вы не подумайте, я к вам с полной симпатией. Это бывает, один человек не понравится, другой наоборот. Незнакомые, а откуда-то возникает. Если никаких данных нет, то откуда — это тоже вопрос. Но я не про это. Прочел я в целом роман «Братья Карамазовы». С точки зрения культурно-исторических ценностей города, поскольку тут живем, на месте происшествия, экскурсии мимо ходят, специально люди приезжают. Весь отпуск читал. В целом заверчено умно, выходит, все виноваты, все способствовали убийству отца. Чувствуете? Я, как отец, очень понимаю. Но это ладно, это, умеючи, можно, а вы другое скажите: вот черт Ивану говорит, что если в пространство подальше запустить топор, то он примется летать вокруг Земли в виде спутника. Так и написано: в виде спутника. Сто лет назад. Это я точно посмотрел дату. Какие, спрашивается, спутники были тогда? Откуда он это взял? И ведь обратите внимание — запустить топор! Символ-то какой выбрал! Вы мне сошлетесь, что это черт говорит, мол, чертовщина, сказки. Но ведь черт тоже что-то обозначает. Я же понимаю. Нет, вы окиньте мыслью — появится спутник! Вы, извиняюсь, это место помните? Вот как вы можете это объяснить? Разве допустимо представить такое точное предсказание?

Он спрашивал громко, так что все смотрели на нас; торжествуя, он напирал на меня с какой-то неподвижностью во взгляде, как бы застряв на этой мысли и приходя во все большее возбуждение.

— Я все проверил, мало ли, думаю, подновили, взял нарочно издание, напечатанное еще до революции. Совпадает. Буква в букву. Как вы расцениваете? Вот я вас спрашиваю, каким образом ему стало известно про космические достижения? Ведь что же тогда получается? Может, ему еще что-нибудь известно?

— Конечно.

— То есть как это?

— Ничего удивительного,— сказал я.— Английский писатель Свифт написал про спутники Марса, а их открыли через сто пятьдесят лет. Это среди хороших писателей принято.

— Да что вы говорите! Что принято? — почти закричал он и с лязгом распустил «молнию» своей нейлоновой куртки.— Ведь это никто не разрешит. Это нарушение всех научных законов. Вы объясните.

— Пожалуйста.— Я наклонился к нему и сказал тихо: — Достоевский был заброшен к нам из будущего, из двухтысячного года.

Глаза его округлились, рот приоткрылся, отвислые щеки втянулись, порозовели, и я вдруг увидел мальчика с ворохом желтых волос, щербатым ртом, увидел Петьку-хромого, нашего коновода в Кислицах.

— Нет, дорогой товарищ, уж раз вы начали, вы нам растолкуйте:

что значит заброшен, с какой целью заброшен? Такими вещами не шутят.

— Машина времени,— сказал я.— Слыхали? Уэллс, Жюль Верн про Луну предсказали. Пушкин — «Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа». Откуда он знал? Писатели и поэты откуда-то знают, у них есть какая-то связь с будущим. Простите, не знаю вашего имени-отчества.

— Петр Сергеевич.

— Вы, Петр Сергеевич, совершенно справедливо заметили, что Достоевскому, вероятно, еще кое-что известно. Беда наша, что обнаружить это в его книгах мы пока не в состоянии. Не видим мы еще, не дожили...

Заглянув мне в глаза, он тоненько рассмеялся, опрокинул в рот остатки вина, сморщился.

— Предвидение у выдающихся классиков бывает. Но в пределах! Разве же такое расхождение с наукой разрешат? От этого в физике может расстройство получиться. Напрасно вы поддерживаете, с такими фактами далеко можно зайти, ой далеко. Я лично полагаю, что специалисты должны изучить это явление. Так оставлять нельзя.— Он ударил стаканом о прилавок, вот так-то, мол, и что-то еще сказал, но я не слышал, я разглядывал его со всех сторон.— Вы человек образованный, верно? Вот вы и навели бы специалистов изучить это явление. Потому что так оставлять нельзя.

Прихрамывая, он отправился к продавцу наполнить стакан. Вернулся он со стаканом и круглым маленьким узколицым человеком, похожим на ежа, назвавшимся Сашей Дмитриевым. Пиджак на нем был с толстыми ватными плечами, короткий, давно вышедший из моды, однако ненешеный, из синего бостона, прочнейшего материала.

— Хочу вас спросить,— без предисловий обратился ко мне этот еж,— будут у нас со временем памятник Достоевскому ставить?

— Возможно.

— Так. А тогда следующий вопрос: за что? В чем его заслуга? Он ведь что хотел, то и писал. Что ему, так сказать, муза диктовала.

— Не хотите, так и не ставьте,— уклонился я.

— Вот говорят, прославил наш город, а нам что с этого? Я понимаю — полководец Суворов или, например, Жуков. Отечество спасали. А ставят все больше писателям, художникам. За какие заслуги? Они ж в свое удовольствие работали.— Он вежливо подождал, не возражу ли я, затем победно продолжал: — Вы спросите, что же я предлагаю? А например, увековечить Василия Ивановича, который набережную благоустроил. Или, например, был у нас главврач, добился, чтобы больницу расширили. Инфаркт на этом схлопотал. Вот ему бюст и надо ставить. А если Достоевскому, так ведь это мы себя прославляем, а не его.

Он пыхтел совсем как еж, я вспомнил, как мы ловили их. За омутом, по дороге к заболотью жили целые селения ежей.

Я спросил Петра Сергеевича, жил ли он до войны в Кислицах. Оказалось, жил.

— Значит, вы лесников сын? — сказал он недоверчиво. Отца он помнил, а меня не признал.

— Как же так, Петька? — спросил я. Он был у нас старший, был строг, отчаян, учил нас ложиться под поезд. Обидно было, что меня он начисто забыл.

— Это что, у вас стекло зажигательное было? — спросил он.

— Нет, это у Шурки Конюхова.

— А у тебя чего было?

Я пожал плечами:

— Ничего.

— Вот видишь,— сказал он.

Шурка был сын садовника. Зажигательным стеклом мы на всех стенах выжигали похабщину. А у меня ничего не было, и запомнить меня было трудно.

— У вас там свои есть? — спросил он, так и не взяв в толк, зачем это я ездил в Кислицы. Он слушал меня с подозрением.

— А как мы под поезд ложились,— тормозил я его.

— Ну и что? — насторожился он. Глухую ту игру вспомнил он неохотно: — Безобразничали, потому что присмотру не было.

Про омут он ничего сказать не мог, в Кислицах он после войны не был ни разу. А чего туда ездить, все свои переселились, кто в Новгород, кто в Питер, а больше сюда, в Руссу. Кто в Кислицы вернулся, те к пятидесятым годам растеклись, разбежались.

— Чего я там не видел,— сказал Петр Сергеевич неприязненно.

— Все-таки родные места.

— Кому родные, а кому постылые. Я оттуда еле вырвался. Сколько водки спойл, пока упробовал. Лучшие годы там ухлопал. Кем? Бондарем. В городе я бы за это время ого... У меня ко всем наукам способности были. Да чего там говорить! — Он с отвращением посмотрел на чернильную жидкость в стакане.

— Брось ты, Петя, память надрывать,— сказал Дмитриев.— Им не понять. У них другое назначение. А нам, как поется, прошлого не жаль. Да и чего тебе жаловаться, дом у тебя дай боже, должность за-видная.

— Должность... Она разве по человеку дается? А что я без должности? Есть у меня своя пружина или нет — вот в чем проблема! Куда я направлен, я и сам не знаю. Чего я хочу? Мы здесь живем — ни город, ни деревня. В городе все нацелено на подъем личности. А у нас тут сад и куры...

Он говорил рассудительно, так же, как говорил о Достоевском, до чего-то допытываясь и куда-то выводя свою мысль. Никак не докопаться в нем было до того Петьки-хромого.

— Все же странно,— протянул я.

— Что странно?

— Многое. Например, что под поездом лежали.

— Не понимаю, чего тут такого. Хулиганство. Вспоминать совестно. Я улыбнулся ему, но он никак не принял этой улыбки.

Затаясь, мы лежали в траве недалеко от семафора. Маневровый паровозик толкал состав, сортируя платформы. Подкагивался хвостовой вагон тамбуром вперед, и тут надо было выскочить на пути, залечь между рельсами. Медленно, громыхая сцепкой, вагоны прокатывались над головой. Самое страшное было, когда наезжал паровоз. Издали обдавало дымным жаром. Запахи масла, горячего железа, угля — все это охватывало, вжимало в землю, в липкие, пропитанные дегтем, креозотом шпалы.

Машинисты ругались, грозили высыпать горящий шлак из топки.

— Между прочим, и Коля Красоткин ложился под поезд,— сказал я,— помните, наверно, раз вы «Братьев Карамазовых» читали?

— Красоткин? Николай? — Он выпил и, морщась, подождал, прислушиваясь к себе. Лиловый туман заволок его взгляд.— Гимназист? А как же, его на вы называли. Их всех, мальчишек, на вы называли, уважение оказывали. А меня, между прочим, начальство тыкает до сих пор.

Дмитриев расхохотался.

— Это тебе расположение выказывают. Или уважение, или расположение. Выбери. Я лично считаю, что тебе расположение выгоднее.

— Ты мою выгоду не подсчитывай. Уважение, оно от моих трудов, а не от ихних настроений. Оно положено. Оно на твоих хахоньках да анекдотах не вырастет. Человек первым делом должен себя уважать. К себе на вы обращаться. Тогда все и остальное... Ты погоди, я про этого Красоткина хочу.— Он пробивался ко мне сквозь туман.— Значит, он тоже под поезд? Как же так?.. А ведь точно, на спор лег. Вспоминаю. Лег этот Красоткин. Это же полное соответствие нашим безобразиям. Атракцион. Каким образом такая стыковка получается? — Взгляд его, и лицо, и вся фигура застыли.— Сошлось, да?

Сошлось, да не совсем. По-видимому такая игра в наших местах тянулась давно и дотянулась до нашего детства. Может, и на других полустанках и разъездах этой дороги играли в ту же игру, не знаю, но у нас точно, и любопытно, что первую заметку о новом романе Достоевский начинает так: «Узнать, можно ли пролежать между рельсами под вагоном, когда он пройдет во весь карьер». Слышал он об этом озорстве, будучи в Старой Руссе или в других местах? Линия железной дороги была та же самая.

Туман в глазах Петра Сергеевича загорелся тихим сиреневым огнем.

— Если Достоевский про спутники знал, так он и про наше ребячество мог, это ему семечки. А что, если он про нас написал?—Сказав это, Петр Сергеевич сам застыл на какое-то мгновение, округлив рот.— Нас имел в виду? Указывал? Николай Красоткин и есть Петр Хохряков. Понимаете, какая тут мертвая петля, а?

— Во дает! — с восторгом болельщика подхватил Дмитриев.— Куда завернул! В экспонаты! К нему экскурсантов водить будут. Красоткин!

Но Петр Сергеевич досадливо отмахнулся, спеша за своей новой идеей, она волновала его все сильнее, щербатый рот его дышал винно и жарко.

— Может, и я... А что, ведь как складывается — одно к одному. То-то я эту книгу угрыз! Чувствовал! А между прочим, на этого Красоткина большие надежды возлагал сам Алеша Карамазов. Он хоть и религиозный, но для того времени передовой человек. О чем свидетельствует, что он от этого Красоткина и его товарищей потребовал торжественное обещание. И не просто так, дисциплинка и отметки. Совсем другой подход. Вы, извиняюсь, как специалист, конечно, помните.

— Призывал их к доброте.

— Далеко не конкретно,— торжествуя сказал он.— Разрешите, я вам наизусть передам.— Он скромно поднял глаза к низкому дощатому потолку с голой лампочкой и заговорил нараспев: — «Всегда помните эту минуту, когда были такими чистыми, добрыми, любящими». Вот он к чему призывал ребяташек.— Петр Сергеевич притянул меня за плечо, наклонился.— Помнить! Так? Вы думаете, помнили они?

— Не знаю,— сказал я.

— Позабыли! Я-то не помню. Как же так? Почему? Из ранней своей жизни я мало чего помню. То есть помню, но не вспоминаю. Не желаю. Должен был бы согласно Достоевскому. У меня ведь тоже была такая минута. Обязательно. Каждый в детские годы имел... Почему ж я не помню такого момента? — настойчиво допытывался он и вдруг замер, задумавшись.

— Головы наши заняты. Текучка. План,— бормотал Дмитриев.— Все через сознательность происходит.

Петр же Сергеевич молчал, прикрыв глаза, и глубокие морщины вокруг его рта стали еще жестче.

Я ждал. Что-то затронул он во мне своими словами, но ухватить неоконченную мысль я никак не мог. В последнюю минуту она выскальзывала, кружила, бередя своей близостью.

Дмитриев что-то шептал ему. Петр Сергеевич лениво засмеялся, стал отходить от него, подмигивая не то мне, не то кому-то за моей спиной.

— Чего там отмечать... Какой из него мальчик! Да и ты... Все вы ничего не помните.

Потом слышно было, как он там, у прилавка, похохатывая, сообщал:

— Про меня, оказывается, это написано. Достоевский описал, как я под поезд ложился! — Чувствовалось, что он ерничает.

Сходство того Петьки с Петром Сергеевичем исчезло. Да и не хотелось их совмещать. А может, и мне нынешнему тоже лучше существовать отдельно от моего детства, юности, от военной моей жизни? Все это были словно бы другие люди, которые жили когда-то, и только узкие шаткие мостки памяти соединяли их.

Я-то думал, что мы обнимемся, станем припоминать всякую милую всячину: как ловили улейку, какой вкусный хлеб был и что лес стал не тот и снег не тот.

Маленький округлый Дмитриев подкатился ко мне, примиряюще взял под руку, разъяснил ситуацию. Нескладуха происходит оттого, что нечем отметить встречу, купить сейчас негде, вот Петя и злится. Пригласить к себе домой и не поставить как следует невозможно (о том, чтобы просто на чай пригласить, такое, конечно, в голову не приходило, и заикаться об этом было неприлично). Один шанс есть — попросить у буфетчицы бутылку белого. Но отношения тут сложные, им просить бесполезно, а вот мне, человеку приезжему, культурному, если под встречу с друзьями детства, она отпустит, ну, придется отблагодарить, как положено.

Так все и произошло, механизм сработал безупречно, разве что буфетчица несколько странно посмотрела на меня, не то с любопытством, не то со смешком.

Они нагнали меня на площади, сияющие, веселые. План у них был разработан, словно ритуал. Распить без отсрочки, в саду, и скамейка была определенная, в кустах, и тут же появилась, словно скатерть-самобранка, газетка, на ней луковичка, сморщенный огурчик и стаканчики бумажные.

— Бормотуха и есть бормотуха, — приговаривал Дмитриев. — Бормочешь от нее что ни попадя. Нет от нее полета. Вот белое — оно ум возбуждает. А еще лучше сухое. Я у грузин на стройке привык, расчухал. Виноградность, если в нее впиться, она веселит. Я думаю, что в старину русская медовуха тоже вверх по течению поднимала.

Восседая на скамейке, они оба преобразились. Стоило им сесть — и в них открылось домовитое веселье, появилась застольная учти-вость.

— Вот ты считал, Петя, что вспоминать нечего, — мягко, со вкусом говорил Дмитриев. — А у меня, например, четыре почетных грамоты. Значок есть заслуженного строителя. Напоминание? Это тебе не полька-бабочка.

— Не уловил ты. — Петр Сергеевич вздохнул, покачал головой. — Как бы это выразить. Внутри, пока не говорю, все понятно, а передать — слов нет. — Он снял шляпу, обмахнулся ею. — Грамоту дают, понимаешь, за работу. Отмечают нас за хорошую работу. Это же другое дело. — Лицо его сморщилось, покраснело от напряжения. — Вот если

бы мне отметили что-то такое...— Он рукой изобразил нечто облачное.— Душевное достижение! Допустим, у меня была такая минута. Найди ее теперь — была и сплыла, сбилась с памяти начисто. То есть я хочу выяснить — почему?

— Законно. Давай копай.

— А потому что никто мне ее не отметил! — В голосе его пропал хмель, он возвысился, чистый и звонкий.— Не надо мне награды. Мне показали бы, чтобы я глаза на эту минуту свою протер. Увидел бы ее. Чтобы ее в рамочку выделили, я бы ее повесил перед собою.

Мысль его была та самая, какую я искал.

— Точно! — Я даже взмахнул кулаком.— Абсолютно точно. Именно подчеркнуть необходимо в детстве, фиксировать.

Дмитриев был счастлив.

— Хорошо сидим! Петр Хохряков у нас талант! Будь у него время, он бы и книги писал не хуже лауреатов.

— А мне что в рамку выделяли? — не отвлекаясь продолжал Петр Сергеевич.— Страхи! Вот помню, как тетку судили за опоздание. Как за драку на празднике наших парней забрали. Мне родители одну сторону подчеркивали — того нельзя, это плохо, за это ремнем. И в школе тоже. Хотя бы разочек кто поднял, показал — вот какую ты доброту совершил.

— Согласен. Душе тоже поощрения и грамоты нужны,— с грустью и в то же время с восхищением согласился Дмитриев.— От ласки человек не портится.

Но Петр Сергеевич сморщился, замотал головой.

— Опять ты, Сашка, вбок отклоняешься. Не прошу я благодарностей. Ты мне в детстве покажи, что запомнить в себе самом. Не чужого мальчонку ставь в пример, а меня, меня самого, понимаешь? А нас... да что нас, мы своих детей все так же страхом воспитываем.

Мы пили по очереди из бумажного стаканчика, занюхивали лучком, и трезвая отцовская печаль соединяла нас. Дмитриев пытался вспомнить что-либо выдающееся из своего детства. И все получалось либо драка, либо озорство.

— Отцы,— сказал я прочувствованно,— вот мы отцы, так? А в то же время мы сыновья. Сейчас у нас тот возраст наступает, когда оба эти чувства одинаково сильны.. Но не в этом суть,— сказал я, чуть запутавшись.— Отцы наши мечтали про нас. И вот, допустим, твой отец увидел бы тебя сейчас.— Я повернулся к Дмитриеву.— Как бы он оценил тебя? Таким он хотел тебя видеть?

Острое лицо Дмитриева заиграло было ухмылочкой и тут же померкло.

— Подумаешь,— сказал он и сплюнул.— Не в дипломе дело... Слушай, брось ты мораль наводить,— беззлобно отклонил он разговор.— У детей своя жизнь, у нас, например, своя.

— Между прочим, никакого это касательства к нашему разговору не имеет,— строго поддержал его Петр Сергеевич.

Почувствовав что-то или из упрямства, я заладил свое:

— Весьма даже имеет. Мы со своих детей спрашиваем, и отцы с нас могут... Взять, к примеру, твоего отца.

Но тут щербатый рот Петра Сергеевича оскалился, глаза неприятно похолодели.

— А вы не берите его, вы своим папашей занимайтесь...

— Пе-еть! — предостерегающе сказал Дмитриев.

— Надоело! Чуть что — за отца хватаются. Надоели мне эти провертки — вот как!.. Я ответил сполна, на все анкеты, так нет...— Непонятная злость рвалась из него, кривила лицо.— С отца за сына

так спросу нет, а вот сын за отца — это пожалуйста, сколько угодно. Нет уж, хватит...

Он передохнул. Дмитриев тотчас подсунул ему стаканчик, белое колечко луковицы, и Петр Сергеевич, по-лошадиному мотнув головой, выпил и с усилием, не сразу, раздвинул губы в улыбочке:— А вообще-то, фактически говоря, папаша был бы доволен. Он не рассчитывал...— Петр Сергеевич усмехнулся, и улыбочка его очистилась, стала как бы естественной.— Советская власть, если так считать, по-божески ко мне отнеслась. Со всей заботой. А действительно: мне зерно доверяли распределять по трем районам. Дочь у меня как-никак историю партии преподает. Это заработать надо. Конечно, всякое было. Сейчас больше по справедливости пошло. Незаметно, незаметно, а если по годам сравнить, так справедливость прибывает. И это тоже вопрос. Справедливости больше, а людишки худо работают. Каждый свои права изучает. Взять дисциплину...

xv

В речи Алеши Карамазова были слова, на которые я раньше внимания не обращал, а теперь, после слов Петра Сергеевича, задумался над ними:

«Знайте же, что ничего нет выше, и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное еще из детства, из родительского дома. Вам много говорят про воспитание ваше, а вот какое-нибудь этакое прекрасное, святое воспоминание, сохраненное с детства, может быть, самое лучшее воспитание и есть».

Он призывает мальчиков помнить вот эту минуту, когда они соединились в любви к Илюше, когда чувствовали себя хорошими. Потому что это воспоминание всегда будет помогать им, как бы жизнь ни ожесточила, ни озлобила их. Алеша Карамазов считает, что одно такое воспоминание может удержать человека от дурного.

При этом Алеша ничего не требует, ничего не проповедует, значит, и спорить в этом смысле с ним не о чем; высмеивать его уверенность — сколько угодно, занятие соблазнительное для некоторых умов и легкое, поскольку Алеша пользуется тут выражениями беззащитно-высокими, торжественными, умиленными, все так, но совершает он при всем при этом великое с точки зрения педагогики дело—он душевную, возвышенную эту минуту называет, очерчивает, выделяет, закрепляет в памяти, превращает для мальчиков в воспоминание. И не просто в воспоминание о чем-то приятном, а в нравственно сформулированное, определенное напоминание: вот каким ты был прекрасным...

— Не наворачиваешь ли ты тут? — Андриан подмигнул мне.— Совершил когда-то хорошее, похвалили тебя, с тех пор и тешишь себя: ах какой я был замечательный! И на этом основании все себе прощаешь.

Нет, не могло такое доброе воспоминание идти во вред, лучше было иметь его, чем перебирать в своем прошлом лишь запреты, стыд, раскаянье. То счастье и удовлетворение собой, о котором говорил Достоевский, оно обязывает душу. Оно возбуждает ощущение счастья от хорошего поступка во имя людей или отдельного человека, и это ощущение хочется повторить, оно придает силы, наполняет смыслом жизнь и именно обязывает душу.

Для меня, человека несведущего в педагогике, это было открытием. И я стал проверять его, прикладывая к своей жизни и к жизни близких людей.

...Оказалось, что Андриан Савельев знал Петра Сергеевича. В маленьком районном городке все так или иначе знают друг друга. По словам Андриана, эти Хохряков с Дмитриевым «выставили меня на пол-литра»—и вся игра. Дмитриев просто ханурик, а Хохряков хоть и «делаш» и трепач, но человек занятный, с фантазиями и зигзагами. Я спросил про его отца. Андриан вспомнил не сразу, но вспомнил, поскольку когда-то работал следователем, а Хохряков привлекался по одному делу.

— Подробности я позабыл, но существо в том, что отца Хохрякова выслали по кулацкой линии, а он с эшелона сбежал, в лесу прятался. Потом ночью пришел к своим, стал уговаривать, чтобы сын, Петька, значит, сообщил на него. Петьке дороги откроются. Будущее ему обеспечивал. Все равно, решил он, к зиме объявляться надо. Однако мать не позволила, сказала: не дам душу ребенка портить. Хохряков меня донимал насчет души, вот, значит, она в чести осталась, оправдано ли это и есть ли душа, если человек не признает ее?.. Погоди, так это ведь в твоих Кислицах было?

Но я ничего про это не знал. Может, это даже при мне было, таким же августом, ночью, в соседнем доме.

— Возились потом мы с ним, когда весной музыкальную школу затопило,—вспоминал Андриан.— Это он с ребятами самочинно унес инструменты и пианино к себе в контору, заставил всем этим кабинет начальника...

Я тонул. На берегу стоял отец, сухонький, жилистый, белотелый, и смеялся. Он уговаривал меня вместе прыгнуть с обрыва, а потом поднял меня и швырнул в омут. Я не ожидал такого предательства, я кричал, захлебывался, колотил руками, ногами и плакал. Обида и злость ошпарили меня.

Страх прочно отпечатал омут в моей памяти. Закрыв глаза, я могу рассматривать его. По нынешней, взрослой мерке обрыв невысок, это травянистый уступ, крутость, подмытая снизу, скрепленная корнями полегшей ивы. Сам омут тоже шириной три-четыре хороших гребка, река отдыхала в этой размоине, берега тут чуть расступились, особенно другой берег, низкий, глинистый.

Какой это был красивый округлый омут, в котором я тонул.

С конца июля, в межень, посреди омута возникали водовороты, появлялась вороночка, маленькая безобидная вдавлинка, она чуть двигалась, играла, вода вокруг нее была туго натянута. Зимой место это замерзало последним, покрывалось почему-то особо прозрачным льдом. Получалось ледяное окошко. Мы заглядывали туда, в подледную темь. Солнечными днями туда подплывали рыбины, спины их тускло проблескивали за толщей льда. Крики и наши постукивания не пугали рыб, они толпились, поглядывая на нас, может, думая, что у нас лето. Около омута был пляжик, песчаный сход, который мелко тянулся под воду. На этой шершавой мелкоте отец меня учил плавать долго и без успеха. Сам он плавал хорошо — саженками, лягушкой, обгоняя молодых. Речка была узкая, плыли они против течения далеко, до мельничной запруды.

...Я тонул. Я чувствовал, что отец не двинется с места. Все на берегу смеялись, наверное, я был нелеп с выпученными от ужаса глазами, отчаянно бьющий руками по воде. Если бы я действительно тонул, меня сразу бы вытащили, поэтому-то мой ужас и был смешон. А я ничего не соображал, я ненавидел их всех, и больше всего отца, и бил по воде, задыхаясь, теряя голос. И тут вдруг я почувствовал, что плыву. Ощущение это было незнакомо, но я понял, что не касаюсь

дна. Я плыву, плыву! Вода не тянула меня в свою коричневую глущь, а держала, поддерживала меня снизу, как до этого широкая отцовская ладонь.

Тело осознало это раньше разума, плавучесть появилась как бы толчком, вошла раз и навсегда, я ощутил ее как новое свое умение, даже не умение, а качество, неотъемлемое, как способность ходить. Потом годами я учился плавать стильно, на время, изучал в бассейне разные тонкости, но плавучесть, она пришла тогда, плотное тело воды стало дружеским и больше не внушало страха.

Когда я вылез, отец подхватил меня, всхлипывающего, на руки, прижал и сказал: «Молодец, теперь поплывешь». Руки его дрожали, он продолжал смеяться. Я понял, что смеялся он не надо мною, а от радости, он раньше меня увидел, что я плыву. Если б не это, не веснушчатые дрожащие его руки, то ненависть, гнев, отвращение к предательству остались бы во мне травмой, и как знать, что вырастает из детских ран.

«Ничем я тебе больше не могу помочь, сынок»,— сказал он. На самом деле он сказал это через несколько лет по другому поводу, но почему-то потом все это слилось, соединилось в тот день.

С тех пор, заплывая далеко в море, даже в волну, я не боялся воды. Любовь к плаванию выручила меня в войну на Лужской переправе, когда пришлось всю ночь провести в воде. Могли ранить, убить, но утонуть я не мог. Что-то отцовское было для меня в воде, в самые трудные минуты вода напоминала об этом словно отцовским прикосновением.

И помнится все это прежде всего потому, что отец определил этот момент моей жизни.

Почему он в других случаях не делал этого? Никто не учит родителей, как «работать» родителями. Самая ответственная из всех работ, а делает кто как может, руководствуясь лишь опасными советами любви.

Я, как Петр Сергеевич, вспоминал и не мог вспомнить взрослых, которые остановили бы меня и сказали: запомни, вот как хорошо ты сделал, какой ты был добрый и честный.

То, что было на омуте, никак не причислишь к таким нравственным воспоминаниям. Нет тут проявления моей доброты, любви. Действие это было практическое, и отец учил меня чисто деловому, нужному для жизни, как учат все отцы.

Однако в этом воспоминании есть какое-то тепло, нужное для души. Возможно, оттого, что я сумел сам увидеть ту отцовскую любовь к себе, которую он никогда не высказывал вслух. А может, тут совсем другое...

С годами из чужих случайных рассказов я узнавал об отце самое разное. Он представлял не только работающим и добрым, но и беспутным и шальным. Оказывается, был он и картежником, азартно резался в карты, гулял; потом вдруг развелся с первой женой, оставил ей все, а сам поехал за девушкой, в которую влюбился, повенчался с ней и увез ее с собою в лесничество. Был он в летах, а мать моя была девчонка, а оставлял он налаженную семью с детьми, в те времена все это было куда как не просто. Подробностей этой предыстории теперь уж не раскопать, иногда из обрывков полузабытых рассказов я складываю картины, домысливая первые, медовые, месяцы их новой жизни. Мать — тоненькая горожанка, модница, певунья, и отец — на двадцать лет старше ее, кряжистый, медвежастый, какое-то лесничество под Кингисеппом, покинутая помещицья усадьба, где они обосновались, дальние лесные дачи, банды зеленых, пожары, напуганные буржуи, которых привозили на заготовки дров для Питера, сплошной

лесоповал для железных дорог, митинги, неразбериха лесного хозяйства тех лет. когда одни требовали национализации, другие — отдать леса народу, то бишь местному населению, самовольные порубки, начальники уездные, питерские, комбедовские, армейские; и они двое—молодожены, влюбленные, то верхами, то на санях по пустынным дорогам, вскачь...

Это все до меня, в ту непостижимую пору, когда меня еще не было, диковинная пора, чудная, вроде бы совсем чужая мне...

Мы никогда не ведаем, от какой любви мы рождаемся, какие слова, надежды витали над нашим зачатием.

Одна старая акушерка говорила мне, что почти всегда можно отличить младенца, рожденного по любви, от младенца нежеланного или зачатого случайно. Если человечество до сих пор развивается, творит, становится все же умнее, милосерднее, то это лишь за счет детей, рожденных в любви. Их большинство. Любовь, прежде всего любовь улучшает человеческий род.

XVI

Если бы не река, то заречная часть города выглядела бы заброшенной, печальной пустошью. Река придавала смысл этому пейзажу, она вселяла в него жизнь.

Река лежала как украшение города, свободно и даже горделиво, словно сознавая, что ею-то и создавалась физиономия Руссы. Небо погасло, одна река не спала, малейшее движение, рыбий всплеск — на все она чутко отзывалась. От полированной ее глади шел свет, не сильный, но единственный, уходящий далеко в поля по всей вихлявой речной длине.

Перед мостом река изгибалась, лениво-чувственно обнимая город; в сущности, этим изгибом, этим скрещением притоков, впадений и определилось, наверное, местоположение города. Сколько раз дымилось здесь пепелище, появлялись руины, сколько раз город мог исчезнуть, как исчезали другие порушенные города, но река заставляла город возрождаться на этом единственном месте, обозначенном сплетением вод.

Мне всегда казалось, что именно река возвращает этот город, она играла с ним, ластилась к новым его набережным, а иногда вдруг злилась, затопляла его, разливалась по улицам.

Туловище реки уходило в глубины земли, связанные с подземными озерами, соляными источниками, слепые корни реки расходились далеко по всей округе.

Река мало менялась. Она надежно хранила воспоминание о том, как на самодельных плоскодонках мы плыли до Взвада. Река сберегала и берега, и цвет, и запахи. То желтая, то бурая, она ширилась, становилась теплой, легкой. Обрывистые берега были приятно безлюдны. Над одичалой некошеной травой носились ласточки, порхали огромные бабочки.

Взвад издавна был деревней рыбаков. Когда мы с отцом заезжали сюда, здесь было сытно, домовито, а ныне стало и вовсе богато. Я ходил по Взваду, сравнивал его с Кислицами. Что значит неродное — чужая эта новизна не вызывала особых размышлений. Так и положено было: строить, богатеть, ставить каменные дома, крытые бетонно-серым шифером.

Мы плыли и плыли по реке до старой насыпи, до островов, до утиных гнездовий. Река была отдельной страной со своим населением: бакенщиками, инспекторами рыбнадзора, рыбаками. Люди на реке узнавали друг друга издали. Они отличались неторопливостью. Речные

люди были мыслителями, наблюдателями. Даже Евгений Калистратов, давний мой приятель, человек кипучий, быстрый, на реке мечтательно стихал, задумывался, его тянуло на лирику и историю.

Каждый вечер он гулял на набережной со своей знаменитой охотничьей собакой, и я впадал в их прогулку. От всех известных мне людей Калистратов отличался талантом восхищения. Чем больше он жил, тем больше ценил красоту окружающего мира — перелеты птиц, осенний листопад, какую-нибудь козявку, песчаный откос, закаты, своих учеников, новую дорогу... Окна его дома выходили на реку, и он не уставал каждодневно восторгаться ею.

— Смотри, смотри,— призывал он,— только посмотри на эти лодки!

Лодки лежали на розовом теле реки вдоль берега как ожерелье. Поля терялись в сумерках, густеющих по краям, и только река блестела прозрачно и сильно.

В присутствии Калистратова все как-то усиливалось — и вкус огурцов, и высота звезд, и люди виделись интереснее. Рыбы, которых мы с ним вылавливали, были всегда самые большие и самые вкусные. ПТУ, которым он руководил, было самым трудным и самым замечательным из всех училищ страны.

— Помнишь Бутыкина? — спросил Калистратов.— Здесь мы с ним распрощались.

Я помнил Бутыкина, директора МТС, маленького, с железными пальцами, которыми он отвинчивал гайки и вдавливал в доску гвозди. Рядом жила Лида, у нее были рыжие косы; когда она распускала их, рыжий золотистый плащ закрывал ее до колен, матово-белое лицо ее выглядело, мерцая глазами, узкими как ивовый лист. Это не из прозы, а из стихов, бесконечных плохих стихов, которые я слагал о ней.

Много умерших моих друзей живет со мною. Некоторые навещают меня, вдруг появляются со своими словечками, привычками, что-то подсказывают. Других навещаю я сам. Подхожу к их домам, к тем перекресткам, где мы встречались. Они стоят там, поджидая меня годами. Вот сейчас лето, а мы с Лидой идем заснеженные, на бровях снег, изо рта пар, хохочем, к кому-то забегаем. С ними со всеми, и с Бутыкиным и с Юрой Константиновым, я молодею. Среди них нет подлецов. Подлецы умерли. А эти живы. Все хорошие, честные — живы. Чем лучше они, тем чаще мы встречаемся.

На набережной выросли дома, какие стоят по всей стране,— с паровым отоплением, большими окнами, в которых голубым светом горели телевизоры. Во дворах цвели клумбы и стояли качели. Все было как везде, и только река связывала, соединяла эту часть города со Старой Руссой, река была единственной в мире, неповторимой, как лицо человека.

Под тенью акации на скамейке сидел Андриан, поджидал меня. Я опустился рядом, вытянул ноги. В акации верещали воробьи. Сотни их слетались сюда каждый вечер и примерно с полчаса неистово вопили, обсуждая итоги дня. Затем разлетались, и акация стояла тихая, пустая, и долго еще темно-зеленые ее ветки дрожали в полном безветрии. Чего не хватало в городе, так это живности — шипения гусей, криканья уток, цоканья копыт, всех звуков живого. До войны даже на новгородских улицах ходили козы, а в Руссе и тем более.

Андриан уверял меня, что вскоре в малых городах заведут животных. Люди понимают, что животные нужны человеку не только для еды — они помогают человеку быть человеком.

Зимой будут прибегать в городской парк к кормушкам зайцы,

лоси, лисицы, весной на реке под мостом будут отдыхать дикие утки, по городу будут расхаживать журавли, ежи, барсуки, дикие козы.

Маленькие города ближе к природе, в них много неба, земли, в них камень не удручает, а радует. Они уютны, они соразмерны человеку. Такой город можно обойти ногами, добраться пешком в любой конец, в нем не испытываешь чувства ничтожности, заброшенности, которое появляется у человека среди бесчисленной толпы, текущей между железобетонных громад, уходящих вверх и вдаль.

Слушая его, я думал о том, что в маленьком городе легче быть философом. Наверное, и легче с т а т ь. Меньше всякого рода искушений, отвлечений. Мысли в голове, они заводятся от скуки, как говорил Андриан.

Мемориал Достоевского — это всего лишь несколько улочек и переулков, это участок с квадратный километр, окруженный быстро растущим городом с современными, известными в стране заводами, с новыми благоустроенными корпусами курорта. Это город со всеми его благами — с канализацией, водопроводом, газом, паровым отоплением. От сонного захолустья почти ничего не осталось, да и мемориал тоже, если судить строго, несхож с тем, что было при Достоевском.

Но прошлое хоть как-то можно здесь представить. Хотя бы довоенное, знакомое мне; оно еле слышной мелодией возникало в этих проулках.

...Каждый вечер с курорта неслась музыка. Приезжал оркестр Ленинградской филармонии, и летние вечера были пронизаны музыкой. Русса разделилась на курорт и город. Курорт — это был парк, неторопливое кружение взрослых, шум фонтанов, купальни, а город — это рыночная площадь, базар, стук пролеток, редкие автомобили...

Центр — это каменные дома, а подальше, к Ильинской улице, двухэтажные деревянные. Но не деревенские, нет, это дома-дачи с парадными, башенками, балкончиками, изукрашенные, в тени деревьев, обязательно с садом, а в саду беседка.

Во времена нэпа открылись рестораны, знаменитый тогда ресторан «Вена» с цыганами, множество лавочек, магазинчиков, лотков, павильонов, а Андриан тогда вместе с Георгием Ивановичем бегали в школу до поздней осени босиком. В тридцатые годы заработал как следует литейно-механический завод в центре города, куда поступил отец Андриана.

Были бандиты-гастролеры из Ленинграда, и был их гроза — знаменитый на весь город милиционер Козловский.

А в домах были залы, крашенные дощатые полы, устланные тканями полосатыми половиками. Варили варенье в медных тазах, мололи ячменный кофе, зачитывались Пантелеймоном Романовым, Малашкиным, Мариенгофом. Пели граммофоны: Изабелла Юрьева, Козин, молодой Утесов. На вечеринках еще распевали «Кирпичики», «У самовара», «Караван», на демонстрациях пели «Все выше», «Смело, товарищи...», в клубе приезжие ленинградцы показывали модные танцы: вальс-бостон, румбу. Пионеры шагали по главным улицам под барабан, красный галстук был нашей заветной мечтой, а комсомольцы в юнштурмовках, с ремнем через плечо казались недостижимо прекрасными. К дальним улицам тянули электроосвещение, стояли очереди за керосином, за калошами, за мылом.

Выносили на чердаки и в чуланы комплекты старых журналов, собрания сочинений Мельникова-Печерского, Шеллера-Михайлова, Загоскина, которые почему-то были чуть ли не во всех домах.

Приемники были редкостью, телефоны стояли только в учреждениях, в кино ходили не часто. Что же делали по вечерам? Теперь это непонятно...

У гостиного двора Георгий Иванович, тогда мальчонка, торговал пирожками.

Среда, пятница, воскресенье — базарные дни. На площади визжат, орут поросята, кудахчут куры, всякая птица, тут же телеги с мешками, возы с сеном, гончары со своими горшками, всякие разносолы, живая рыба. А рядом шелковые ряды, ювелирные магазины с зеркальными витринами, электрические лампы — роскошь того времени. Нищие, юродивые, беспризорники, богомолки-кликуши.

А за мостом райком комсомола, где Саша Сафонов вручал комсомольские билеты Андриану, а затем и Георгию Ивановичу Смирнову.

А напротив большой дом, где жил известный врач Дементьев, с белой вывеской на парадной. Особенно же чтили врача М. Глинку, маленького старичка с бородкой; когда он шел по улице, с ним раскланивались все...

— Вот это осталось до сих пор: здесь тебя знают все и ты всех, — сказал Андриан. — У вас там в Москве, в Ленинграде ты никого не знаешь на своей улице. И нет такого понятия — «с нашей улицы». Нет понятия «соседи». А у нас это сохраняется. Соседи, чистый воздух, тишина...

И он принялся описывать со вкусом и с вызовом преимущества провинциальной жизни, лишенной суеты, внимательной к движению времени и истории, чувствующей свою связь с прошлым. Ему, Андриану, ничего не стоило восстановить, например, свою связь с Федором Михайловичем Достоевским: его знакомый Иван Павлович Чикин, директор первого старорусского рабфака, старейший деятель народного образования, работал когда-то вместе с Марком Ивановичем Полянским, автором упомянутой книги о Старой Руссе, а М. И. Полянский молодым бывал в доме Достоевских, беседовал с Федором Михайловичем и впоследствии неоднократно виделся с Анной Григорьевной во времена приездов ее в Старую Руссу.

Война, казалось бы, уничтожила город начисто. Но стоило городу возродиться — и слои его истории начали отстаиваться, обозначаться. В больших городах история упрятана в музеи, отделена, выгорожена. Здесь же она — под фундаментом дома, в огородной земле, она всюду. Вся земля этого древнейшего русского города сложена из праха мостовых, домов, печей, погребов, она хранит берестяные грамоты, обломки мечей и горшков, стекла и камня, обрывки кож и знамен, останки особняков, соборов, кузниц, дозорных башен, шлагбаумов, солеварен, острогов, аракчеевских казарм.

XVII

Как быстро и прочно стирается жизнь целых поколений. А уж что и говорить про отдельного человека. Через десять, двадцать лет не узнать: какой он был, чем он жил? В чем же смысл этой жизни, если забвение смыкается над ушедшим, как вода? В чем был смысл всех хлопот отца насчет леса, его забот, его лесного отшельничества, его беспорядочной доброты?

Была ли у отца какая-то своя философия жизни? О чем думал он долгими одинокими вечерами, когда жил без нас? Сохранилось только несколько его писем тех лет. Скучал, беспокоился, справлялся... И мать и мы тоже скучали по нему, но в Ленинграде все это скрадывалось, заглушалось городским шумом... А там, в тишине сугробов, вокруг чего витала его мысль? Я пытался вообразить — и не мог. Ко-

нечно, я знаю, что философия жизни занимает далеко не всех, но отец, вполне возможно, задумывался — во имя чего, зачем он живет, какова цель его стремлений и хлопот, что он оставит после себя?

Это были вековые, старомодные вопросы, и Андриан имел право высмеять меня, тем не менее он ответил сразу, словно заранее приготовился:

— Лес — вполне достойный смысл его жизни. Лес — это тебе не книжка.

— Но того леса нет, те леса давно порубили.

— Лес тот же самый. Откуда ж он взялся? Тот же биоценоз. Слышал? Чтобы лес на новом месте прижился, надо лет пятьсот. Так что лес хранителей своих долго помнит. Лес — вот его заказник!

— Заказник, заповедник, мемориал, — сказал я.

— Заповедник — заповедь... Сколько тебе известно заповедей?

— Чти отца и мать свою...

Слабые, робкие попытки отца приохотить меня к лесному делу... В то время модны были другие специальности, я перебирал самые, как мне казалось, нужные, перспективные: электротехника, автоматизация, гидростанции. Нас пленяли цифры, размах, термины: верхний бьеф, пиковые нагрузки, кавитация, разрывная мощность, сети и системы. Двести двадцать тысяч, пятьсот тысяч вольт! А мощности генераторов, а размеры турбин! Нам предстояло затопить сотни, тысячи квадратных километров земли под водохранилища, затопить деревни, леса, поселки, перенести их на новые места, мы меняли лик Земли, мы создавали моря, перегораживали реки тысячами, сотнями тысяч кубометров бетона. Готовы были расчистить просеки на сотни километров для линий передачи. Ажурные высоковольтные опоры казались нам красивей, чем сосны и березы. Рассчитывать опоры было сложно — анкерные опоры, несущие, переходные; деревья же были просты, однообразны и ничего не стоили. Реки надо было — покорить, обуздать, усмирить, запрычь. У реки, у леса был один-единственный смысл: служить человеку. Ни о каком другом смысле мы не догадывались, в расчет не брали. И наш седоголовый высокообразованный профессор, красавец и меломан, учил нас не принимать в расчет всю эту бесплатную природу, учитывать надо было лишь весенние паводки, всякие козни стихии. Мы, инженеры, — благодетели человечества, наше дело осветить мир, обеспечить его энергией. И мы это совершили, взрывая и кроша, превращая реки в тихие ленивые запруды. Иначе было нельзя. Неправильно было только то, что мы ничего не жалели... Печально, что никакого другого смысла не имел для нас лес, разве мог у него быть свой смысл, своя цель?

— У природы нет цели, она, подобно искусству, отличается целесообразностью без цели, — сказал Андриан. — Но неужели тебе не приходило в голову, что природа существует не для человека, что она сама создала человека?

Нынче ему все было ясно, а где он был тогда?

— Для чего ж она создала человека?

Андриан сладко потянулся, зевнул и отвечал не задумываясь:

— Одно из трех: либо для того, чтобы увидеть себя через человека, сознание для природы — как зеркало, она с помощью человека любит свою красоту и гармонию, слушает себе гимны, наслаждается своим совершенством, изучает свои законы; либо второе — природа создала человека, чтобы остановить эволюцию: все, вершина, дальше идти некуда, человек — конец, всему делу венец; либо еще один вариант: сознание — это дряхлость природы, ее болезнь, может, способ самоубийства.

Больше всего он любил отвечать на вечные вопросы, всегда мучившие человечество. Откровения его проигрывали оттого, что он, стесняясь, произносил их небрежно, как давно известное, само собой разумеющееся. Когда-то он был большим деятелем. Карьера его шла быстро, он бежал вверх через ступеньку. А потом вдруг взял и ушел. Никто не знал, в чем дело. Говорили, что ушел сам, по своей воле, но это-то и вызывало удивление. Сам он объяснял туманно, выходило, что начальник его не терпел умников. У Андриана, конечно, хватало ума прикидываться бурбоном. Но, спрашивается, какой же толк в уме, если скрывать его? То он говорил, что карьера мешает размышлять, то, наконец, всерьез доказывал, что все дело в том, что он не умеет говорить по бумажке. Лицо его оставалось скорбным, а голубенькие глазки веселились.

— Послушай, а что ты хотел от своих Кислиц? — спросил Андриан.

— Хотел понять, как это все было.

— А ты сочиняй. Когда много знаешь, трудно сочинять.

— Послушай, ты, наверное, очень одинок, — сказал я, — ты такой умник.

— Что делать, — сказал Андриан. — Канту тоже было тоскливо. — Он задумался и вдруг спросил, подобрев: — Ты хочешь, чтобы все было как было?

Оказывается, все это очень просто делается, стоит попросить этого пожилого волшебника — и он по старой дружбе вернет в Кислицы дощатый перрон, чайную, визг пилы на лесопилке...

Хотел ли я этого?

Мир стал податлив, пластилиново-мягок. Можно было оживить старые фотографии. Можно было все вернуть. Бондарную мастерскую, горы клепки, вернуть старорусский базар с телегами, полными мелких сочных яблок — чулановки, табуны лошадей... И старую улицу Пестеля? Но зачем же я после войны прокладывал по этой улице кабели, ставил трансформаторы, зачем мы строили подстанции, давали мощности? Мы ведь хотели перестроить дома, осветить переулки, дворы, соорудить лифты, преобразить жизнь людей, чтобы хватило всем энергии, света, тепла, газа, чтобы без всяких лимитов, воровства, ограничений. И все же я любил старую улицу Пестеля. В ней была своя душевность.

— Вот машина времени. Садись, — сказал Андриан. — Куда поедем? В какой год?

На шкале были помечены: 1800-й, 1825-й, 1837-й, 1890-й, 1914-й, 1917-й, 1929-й, 1940-й... А можно было и за красную черту, в 1985-й, 2000-й...

— Большинство пассажиров любят прошвырнуться в прошлое, — сказал Андриан. — Непонятный феномен. Особенно стремятся во времена Пушкина. Спросом пользуется также конец прошлого века.

Ночь жгуче почернела. Это была вспышка темноты. Все налилось крошечной тьмой, и оттуда, из теплой бездны, дохнуло приятным детским страхом. Там бесшумно скользили мохнатые хищники, кто-то притаился в засаде. В высокой траве за углом замерли приключения. Звезды приблизились, налитые спелым светом. Акация стала огромным деревом, на нее хотелось залезть, прыгать вниз, раскачиваться на скрученных ветвях, заглядывать в окна. Можно было свистеть, вопить во всю глотку, какое чудо была эта ночь, запахи трав, земли, тепло Андрианова плеча. А еще большим чудом было, что я жив, до сих пор

Петр Сергеевич тоже говорил, что сын за отца не отвечает. Так ли это? А если ответственность эта не перед другими, а перед собой?

Я попробовал представить, что останется у детей и внуков от моего мира. Многие исчезнет навсегда. Вот они встретятся с внуками Каллистратова и понятия не будут иметь, что деда их дружили, вместе охотились, рыбачили. Они будут стоять на этом берегу и знать не будут, что когда-то мы сидели здесь с Андрианом и говорили о них. А может, и отец мой сидел здесь с отцом того же Дмитриева.

— Станный вопрос пришел мне в голову, Андриан. Почему Достоевский назвал старого Карамазова Федором? Этого сластолюбца, распутника, мерзавца?

— Как-то не обращал на это внимания, — сказал Андриан. — Может, случайность?

— Наделить своим собственным именем подлеца — какая ж тут случайность? Любой человек охраняет свое имя от всего плохого. Представь себе, что ты описываешь некоего Андриана и представляешь его обжорой, болтуном, всезнайкой, рассказываешь, как он по любому поводу поучает, какое у него темное прошлое, какой он лентяй...

— Хватит, — сказал Андриан. — Невозможно представить. Все вышло бы фальшиво, надуманно. Если по Фрейду... нет, все равно...

Впервые он не нашелся с ответом.

А вот Георгий Иванович, тот ухватился за этот вопрос со всем пылом и стал предлагать разные варианты, пока не утвердился на том, что имя свое Достоевский отдал Карамазову умышленно, в этом, если угодно, подвиг писателя, который принял вину за грехи отца своего на себя. И все это Георгий Иванович увязал с идеями философа Федорова, которым Достоевский в те времена увлекался. Принять вину отца на себя, на свое имя — для этого Федор Михайлович и поселил Федора Павловича Карамазова в свой старорусский дом.

— И это тоже не случайно, ничего случайного у Достоевского нет, — настаивал Георгий Иванович. — Всем чем мог хотел взять на себя вины отца. Совесть его особо чувствительна, недаром Горький называл его нашей больной совестью.

— Значит, Достоевский чувствовал ответственность за отца?

— Еще как! Удивительного устройства была его душа!

Андриан слушал нас хмуро, потом сказал:

— Неужели лет через тридцать дети будут тоже вот так разглядывать... наши жизни? Выяснить всякие обстоятельства... Не нравится мне это. Судить нас они не имеют права!

— Ты же судишь, — сказал я.

Он разом насупился, потяжелел, зло засопел.

— Кого это я сужу? — И изготовился, как перед прыжком.

Я не ответил.

— Что ты знаешь? Чего ты суешься? Эта паршивая привычка копать... Мне, может, родители всю жизнь сбили, — он повернулся к Георгию Ивановичу, — я ведь хотел быть гуманитарием, на философский хотел, а они навалились: нужна профессия, нужна специальность! Ну что они понимали? Отцу лишь бы план гнать. Все на штурм! Вперед! Аврал! Для него человек — кто перевыполняет. А все антимионии он презирал. Он все это вытоптал во мне, высмеял. Перед всеми задразнил. Философ! Философия, говорил он, для бездельников, для захребетников. Выпьет и кричит, бывало, на всю улицу: вырастил, мол, паразита...

Пальцы его сжались в кулак. Прищурясь, он смотрел через меня насквозь, в те ненавистные дали, где ломалась его юность, где был са-

модур отец, который запустил его в постылый этот плано-экономический техникум как в машину, которая покатила, понесла...

— Лучшие годы ухлопал впустую,— сказал Андриан.— А ты будешь тут меня уличать!

— Не знаю, ох не знаю,— сказал я.— Родители, они тоже кое-что понимали. Разве мы ничего не понимаем, когда сейчас советуем своим детям?

— Тьфу, противно, как ты все переворачиваешь! — возмутился Андриан и ушел.

Отец и сын переливались в нем, сразу меняя все мировидение, два эти состояния не умели сосуществовать, одно начисто исключало другое. Сам Андриан не замечал этого, не слышал, как тут же, переходя от отца к сыну, он говорил совершенно обратное, противореча себе.

Да, и мы были немногим лучше. Мы все начинаем понимать обиды наших родителей, ценить их терпение, вспоминать их бессловесное ожидание, когда сами становимся отцами. Проходя путь отцовства, мы замечаем следы и знаки, когда-то оставленные на этой дороге нашими отцами и дедами. К концу пути следов все больше... Родителей нет, и когда ничего уже нельзя исправить, мы начинаем понимать их. Зачем же нужна столь поздняя наука? Ее некому передать, раскаяние не в силах ничего изменить...

Таков закон природы, доказывал Андриан, закон мудрый, как все, что устроила природа. Но так ли она мудра, природа? И так ли она совершенна? Вот это позднее чувство к своим ушедшим родителям, когда они становятся нам ближе и понятней, чем наши взрослые дети, когда мы проходим, проживаем год за годом их чувства к нам,— было это предусмотрено природой?

Андриан прохаживался у гостиницы, поджидая меня. Он не извинился. Он никогда не извинялся, ибо считал, что нас ничто не может посорить.

— Знаешь, я вспомнил, как мать отговаривала меня. Совсем иначе, чем отец. Она боялась. Истории боялась. И философии. Ей казалось, что все это опасно. А объяснить мне она, наверное, не хотела. По-моему, она остерегалась заронить в мою душу сомнения. Интересно, как это было на самом деле? Да разве узнаешь...

— А может, и отец твой того же боялся? Может, они с матерью советовались между собою и все думали, как бы тебе сказать полочее, как бы на тебя подействовать? Может, отец стеснялся признаться в своих страхах, поэтому кричал, грозился?

— Может, может... — передразнил Андриан, но как-то неуверенно, удивленно, ожидая, не продолжу ли я.

И я продолжал, не жалея его, потому что, кроме него, я имел в виду и самого себя.

Выкроив несколько отгульных дней, отец приезжал в город повидать нас. Поезд приходил рано, отец поднимался по лестнице, стучал в стенку. Он тащил на спине мешок, в руках корзины, бог знает какую тяжесть — бруснику, грибы, творог, деревянные миски, яблоки, ржаные кокорки. Долго сидел не раздеваясь, потный, было жалко его, гостинцы казались ненужными.

Сколько упрашивали его переехать в город, он так и не мог решиться, уверял, что без леса ему нельзя.

Была тетя Даша, жесткая и резкая старуха, которая сажала меня с собою у печки и внушала, помахивая кочергой:

— Ты отца не мучай, ты расти пряменько, шагай в ногу со своими товарищами и не оглядывайся. Считаю, что у тебя отец отсталый.

Отсталость родителей успокаивала и вроде бы все объясняла. И отцу тетя Даша говорила:

— Ты детям расти не мешай. У них своя жизнь. Не путай их своим дегтем и шишками.

Зеленые купы ив закрывали улицу, из окна дома Достоевского был виден чисто подметенный пустой дворик музея, заросший сад. Из окна все выглядело как когда-то, и все двигалось, было живым. Когда-нибудь люди смогут попадать в свое детство, возвращаться туда хоть ненадолго, хоть на несколько часов, чтобы у каждого детства был свой мемориал, где бы все было как было. Те же деревья, те же дома, речка, те же запахи трав, те же книги на полке.

Среди старых изданий «Братьев Карамазовых» я нашел у Георгия Ивановича затрепанный томик с иллюстрациями. Последняя картинка изображала Алешу Карамазова окруженного мальчиками. Алеша стоял на камне и держал речь. Нарисован он был безлико, иконописным монашеским. Впереди стоял Коля Красоткин, этот сразу напомнил мне Петра Сергеевича. Не похож был, но все равно напомнил. Один из мальчиков, с краю, тот похож был на моего отца, была в доме когда-то такая фотография — молоденький отец в форменной фуражке набекрень, курчавый, круглолицый. Старинная фотография на толстом картоне, четкая, коричневая, из тех, что вставляли в обтянутые бархатом тяжелые альбомы — они заменяли собой галереи, увешанные портретами предков-аристократов. Альбомы лежали на столиках. После войны фотографии вместе с альбомами незаметно и стыдливо исчезли. Почему-то их заклеили как приметы мещанства вместе с фикусами и комодами.

Верили этому, сколько раз ошибались и все же верили и с верой избавлялись от фикусов, от альбомов, от того, что связывало с прошлым, со своим происхождением.

...По датам, конечно, не сходилось, не мог отец быть среди тех мальчиков, не было его еще на свете, но какое это имело значение?

Мне приходили на ум и другие люди, которые умудрялись, несмотря на все удары жизни, оставаться человечными, стойкими в своей доброте. Больше, чем других, настигали их разочарования, обиды, несправедливости. И все же они не поддавались злобе, цинизму, унынию. Что помогало им, что поддерживало их дух? Что обязывало их душу сохранять доброту, когда казалось это так невыгодно, когда все было против? Я никогда до конца не мог разобраться в том, как это происходит. И вот теперь я стал думать, что, может, им помогало какое-то воспоминание, принесенное из детства? Может, они посещали свое детство и оно прибавляло им силы? Может, там хранятся наши запасы безошибочной любви, доброты, радости, веры в будущее?..



СЕРГЕЙ МАРКОВ

★

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ ПУЛЕМЕТА

Нет! Ты не зодчий древних лет,
Что строил тайный храм,
Все — ерунда, масонский бред,
И ты не царь Хирам!

О снах несбывшихся жалеи!
То не твои ль, скажи,
Больших воздушных кораблей
Синели чертежи?

Но ты не проложил пути
В сверкающий эфир,
Ты не взлетел, чтобы найти
Страну легенд — Офир.

И ты забыл про высоту,
Угрюмый однодум.
Взлелеял новую мечту
Ожесточенный ум.

На полку сейфа лег патент,
Полученный тобой,
И череда патронных лент
Сплелась с твоей судьбой.

А имя древнее Хирам
Отныне сохранит
Не золотой Хирамов храм,
А пулеметный щит.

Кресты наград легли на грудь
Светить на целый свет...
Масоны пусть вникают в суть
Таинственных примет!

1972.

БРИТАНСКАЯ РАЗВЕДКА

Как будто чугунные ветки
Ломает пьяный атлет —
У дома британской разведки
Грохочет мотоциклет.

В зарницах дальних диверсий
Здесь штык широкий колюч.
К воротам глиняной Персии
Подобран английский ключ.

И стоит ли удивляться
Спокойствию гордых границ?
Солдаты всегда гордятся
Убийствами штатских лиц...

1972.

* * *

Я милость приму от небес,
Снегов и горных вершин —
Умру на руках стюардесс
Иль пограничных старшин...

1971.

ДРЕВНЯЯ РУСЬ

Темны острогов частоколы
И холодны колокола.
Известняковые Николы
Вонзают в небо купола.

Здесь — самозванцы и юроды.
Но для мечтаний есть предел,
Пока сосновые колоды —
Приют для многогрешных тел.

Вода и черствая коврига,
Но зорок вдохновенный глаз;
Крылатого архистратига
Рисует мудрый богомаз.

Железный плен земной юдоли —
Предтеча радужного сна,
Когда тоска по лучшей доле
В одной мечте воплощена.

И мастер будет успокоен;
Зажгутся гневные уста,
Земной голубоглазый воин
Воспрянет с белого холста.

А после — дыба иль кружало,
Забвенья темная река,
А в ней и медленно и ало
Плывут и гаснут облака.

1954.



ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ



КРУГЛЫЕ СУТКИ НОН-СТОП

*Впечатления,
размышления,
приключения.*

НАЧАЛО

Зарекался ведь я писать «американские тетради», «путевые очерки», «листки из блокнота» или как там их еще называют... Ведь сколько помню себя, столько и читаю американские тетради, очерки и листки.

«...яркое солнце висит над теснинами Манхэттена, но невесело простым американцам...», «...низкие мрачные тучи нависли над небоскребами Манхэттена, и невесело простым американцам...»

В самом деле, сколько всевозможных «Под властью доллара», «За океаном»! Что нового можно написать об этой стране?

Не пиши об Америке, говорил я себе. Приехал сюда читать лекции, ну и читай, учи студентов, сей разумное, доброе, вечное. Не буду писать об Америке — так было решено.

Однако что же мне делать с горячей пустыней Невады с деревьями джошуа, этими застывшими тритонами, что маячат по обе стороны дороги? Выкинуть, что ли, на свалку памяти?

...Перед отъездом в пустыню Дин позвонил отцу и попросил одолжить ему на неделю мощный огромный отцовский «олдсмоби́ль». Старик торжествующе заворчал:

— Ага, когда доходит до дела, даже лос-анджелесские умники вспоминают об американской технике. Значит, когда доходит до дела, они забывают свои европейские тарактелки. Конечно, шикарно подрезать носы у порядочных людей на своих европейских тарактелках, но когда доходит до дела, они просят у родителей американский кар...

Вот, даже и в таком пустяке, как автомобили, сказывается в Америке конфликт поколений. В прошлых десятилетиях огромный сверхмощный кар-автоматик еще был в Америке символом могущества, процветания, мужского как бы достоинства. Сейчас американские интеллектуалы предпочитают маленькие европейские машины, хотя стоят они отнюдь не дешевле, а дороже, чем привычные гиганты.

Дин загнал свой любимый «порше» в угол гаража, исчез и вскоре приплыл на «корабле пустыни»: двести пятьдесят лошадиных сил,

автоматическая трансмиссия, эр кондишн. В последней штуке, собственно говоря, и был весь смысл замены — как ехать через пустыню без кондиционера?

Увы, «штука» сломалась, мы опустили все стекла в «олдсмобиле» и ехали через пустыню не в условном, а в настоящем сорокаградусном воздухе, которым дышали пионеры, когда брели за своими повозками в ту сторону, откуда мы сейчас летели на лимитированной скорости пятьдесят пять миль в час, ни больше ни меньше.

Врать об американских скоростях не буду, скорость повсюду сейчас в Америке небольшая, а если выскочишь за пятьдесят пять, тут же появляется неумолимый «хайвэй-патроль».

Вот неожиданно положительный результат топливного кризиса — резко сократилось число жертв на дорогах. Безумные гонки из безумного мира Стенли Крамера — это в прошлом.

В горячем воздухе, что валится на тебя сквозь окна машины, ты можешь хотя бы слабо представить себе самочувствие пионеров, шедших день за днем по этой серой, колючей, бескрайней земле, меж выветрившихся известняковых холмов-истуканов, в дрожащем мареве Невады, мимо однообразных призраков деревьев Джошуа, день за днем, пока не открылась перед ними блаженная Калифорния, the promised land, земля обетованная.

Сколько раз ты видел это в кино? А сейчас собираешься описывать? Да ведь те, к кому ты по привычке адресуешься, видели эту пустыню в кино не реже, чем ты. Конечно, не на всех твоих читателей валится куб за кубом горячий воздух Невады, но преимущество твое невелико и потому брось пустое дело.

...Потом где-то в сердце пустыни мы остановились у стеклянного павильона закуской «Макдональд» и прочли объявление:

«Босых и голых по пояс не обслуживаем».

Пришлось обуваться и натягивать майки...

Others may cherish fortune and fame
I will forever cherish her name... —

в закуской Макдональда в центре Невады звучала та же песня и в том же исполнении, что и в квартире Жанны Миусовой на Аптекарском острове Ленинграда в 1956 году. Фрэнк Синатра, «Старый Синеглазый»...

Ну вот, ты уже начал свой блуд, тебя уже не остановишь — ассоциации, ретроспекции... подпрыгивает шариковый карандаш, не без сожаления оглядываясь на интервалы.

Что ж, беги, карандаш, так и быть, только постарайся уж как-то поприличнее, посуше, чтобы и серьезные люди нашли хоть малый толк в твоих писаниях, постарайся хотя бы без вымысла, без фантазий, довольно уж вздору-то наваял — в ящики не закатывается. И нечего прятаться за спиной вымышленных героев! Пиши от первого лица, так труднее будет врать. Ты, карандаш, принадлежишь гостю Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, «регентскому профессору» и члену Союза писателей Аксенову, а не какому-то вымышленному Москвичу, которого можно увидеть праздно гуляющим по незнакомым улицам в поисках Типичного Американского Приключения.

Typical (типичное) American (американское)**Adventure (приключение)****Part (часть) I (первая)****СТРАННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ**

«Того, кто помог мне встать, когда я упала...»

А может быть так:

«Того, кто помог мне встать, когда я упал...»

? ? ?

Москвич стоял перед доской объявлений на границе университетского кампуса в том районе великого и шумно известного по всеми миру Города Ангелов, что называется Деревней Западного Леса.

Москвич совсем еще был не в своей тарелке, его покрывало современное страдание, именуемое в той стране, куда он попал, jet-lag, джет-лэг, «реактивное отставание». Он не совсем еще отчетливо осознавал свой вчерашний прыжок через десять часовых поясов, а тут еще это странное объявление. Из английского текста и не поймешь — леди упала или джентльмен?

Конечно, воображение может разыграться.

Скорее всего упала дама, какая-нибудь волшебница из соседнего Светлого Леса, запуталась в соболях и — бац! — падение... Впрочем, конечно, могла упасть и какая-нибудь золушка из Каньона Холодной Воды, зацепилась бедным золотым каблучком за решетку водостока и растянулась.

Вряд ли мог упасть вот такой, например, баскетболист из команды «Медведей», вот этот «супер», что идет со своим мешком за спиной мимо Москвича, идет, насвистывает, в плечах два ярда, рост десять футов.

Сомнительно, что мог упасть и такой, например, фрукт, как вот этот с сизым носом, с пеликаньим зубом, с кабаньей седой щетиной, с пиратской серьгой в изуродованном ухе, тот, что едет мимо Москвича к паркингу университетских клиник, и едет, экий чертяка, в бесшумном своем «ягуарище».

Значит, объявление читается так:

«Того, кто помог мне встать, когда я упала в прошлый четверг на Вествуд-бульваре в 11 часов 35 минут вечера, прошу позвонить 876-5432...»

«А где же я был прошлым четвергом в то время? — подумал Москвич. — Ах да, над Атлантикой в «Ильюшине — шестьдесят втором».

Стало быть, никак он не мог помочь Незнакомке, но тем не менее, однако, все-таки почему-то, для чего-то он аккуратно переписал телефонный номер в свою записную книжку.

Странное дело, он чувствовал какую-то свою причастность к этой истории. Ему казалось, что он на грани чего-то еще неизведанного, что еще миг — и он может оказаться в вихре приключения, типичного американского приключения, у которого будут и тайны, и пропасти, и горизонты, и даже неведомая Цель — нечто высокое, загорелое, с блестящими глазами, нечто женское в белых широких одеждах.

Однако тихая суть скромного кабинетного интеллигента разумно тормозила его порыв. Нет, он не будет звонить по этому телефону, ведь он не имеет к этой истории ни малейшего отношения.

Между тем прозрачность неба в районе Святой Моники все усиливалась, и, хотя верхние этажи темно-стеклянных небоскребов Нижнего Города еще отражали солнечные лучи, в прозрачности этой над контурами королевских пальм уже появлялись чистые, промытые восходящими океанскими потоками звезды, а весь этот контур Города Ангелов с возникающими там и сям огнями реклам напоминал Москвичу юношеские мечты, будущее путешествие все дальше и дальше на запад, хотя он и понимал с некоторым еще «реактивным запаздыванием», что дальше на запад, по сути дела, путешествовать вроде бы уже и некуда, что он стоит как раз на том самом Золотом Берегу, куда вели свои фургоны пионеры и куда сорок лет влекло его собственное воображение.

Стоп! Остановись, блудливое перо! Увы, не останавливается пластмассовое, шариковое, пастой чернильной снабженное на целую книжку, блудливое перо.

Ну хорошо, если уж появился здесь вымышленный Москвич, если уж завязалось ТАП (типичное американское приключение), то давайте хотя бы обойдемся без нашего докучливого антиавтора, вздорного авангардиста Мемозова с его псевдосовременными теориями черного юмора, телекинезиса и оккультизма, место которым на шестнадцатой полосе «Литературки», но уж отнюдь не в этих записках. Ведь все искривит, все опошлит! Нет, этому цинику сюда ходу не будет!

Мемозов остановился на границе университетского кампуса перед автоматом горячих напитков. Автомат убедительно просил людей не пользоваться канадскими монетами. Мемозов нашарил среди мелочи, конечно же, канадский четвертак. Вот вредный характер!

Спокойно вбил четвертак в автомат, получил пластмассовый стакан с горячим кофе и сдачи «дайм» местной монетой и, не обращая никакого внимания на страдания машины (нелегко американскому автомату проглотить канадскую монету!), пошел к столбику объявлений, возле которого стоял Москвич.

— Хай! — сказал Мемозов. — С приездом! Уже телефончики переписываем? Дело, дело...

— Мемозов! — вскричал Москвич. — Вы-то здесь каким образом?!

— Воображение путешествует без виз, — туманно ответил антиавтор.

— Уместны ли вы здесь? — с досадой пробормотал Москвич.

— Как знать, — пожал плечами Мемозов. — Город большой.

Он стоял перед Москвичом, потягивая дымящийся кофе и улыбаясь из-под длинейших усов, которые за последние годы приобрели уже форму перевернутой буквы «дабль». Он так был одет, этот несносный Мемозов, что даже при-

вычные ко всему жители Деревни Западного Леса останавливали на нем свои прозрачные взгляды.

Вообразите: кожаное канотье с веткой цветущего лимонника за лентой... Вообразите: лорнет, монокль, пенсне на цепи... Вообразите: бархатно-замшевые джинсы с выпушками из меха выхухоля и аппликациями знаков кабалы... Вообразите: унты из шкуры гималайского яка, жилет с цитатами из месопотамского фольклора; вообразите: плащ в стиле «штурмунддранг», заря XIX... Вообразите, наконец, псевдомятежные кудри биопсихота, черные кудри, прорезанные молниями ранней меди.

— Вот вы говорите о воображении, Мемозов,— сказал Москвич,— а между тем на первый взгляд вы вполне материальны, сукин сын.

— На первый взгляд?! — Мемозов бурно расхохотался.— Огорчать не хочу, но совсем недавно в «Ресторанчике Алисы» я расправился с двумя порциями креветок, блюдом салата, трехпалубным стейком по-техасски, порцией яблочного пирога, кейком из мороженого, так, так... боюсь соврать... три кофе-эспрессо, три рюмки водки «Смирнофф», бутылка бужоле. Жаль, что вас не было с нами, старина.

— Надеюсь, расплатились? — робко полюбопытствовал Москвич.

— Бежал! — гордо расхохотался Мемозов.— Прелестная кассирша гналась за мной по всему Западному Лесу, пока я не нашел спасение в ресторане «Голодный тигр», где мне пришлось заказать...

— Счета хотя бы у вас сохранились?

— Хотите оплатить?

— Ничего не поделаешь. Я за вас отвечаю перед...

Счета «Алисы» и «Голодного тигра» затрепетали перед носом Москвича. Он протянул было за ними руку...

— Э нет! — хихикал наглец.— Я вам счета, вы мне — ваш секрет!

— Какой еще секрет? — невольно огрубев, невольно басом, в самообороне спросил Москвич.

— А телефончик, который записали, олдфеллоу? Как вы думаете, в чем смысл моего появления? В телефончике!

Последнее слово Мемозов как бы пропел, и Москвич тогда тяжело подумал, что вот снова какая-то чушь, какая-то досадная ерунда прикасается к его сегодняшнему «юному» вечеру на самом западном берегу человечества. Невольно он прикрыл ладонью объявление на доске.

— Ха-ха-ха! — захохотал Мемозов уже по-английски.— Вот я и поймал вас, сэр! Как вы смешны! Как вы неисправимы! На свалочку пора, а вы туда же — приключений ищите!

Сквозь ладонь он легко прочел таинственное объявление и несколько раз повторил номер телефона — 876-5432.

— Не имеете права! — возмущенно запылил Москвич.— Убирайтесь, Мемозов!

Было темно уже и пустынно, и только шаркали мимо бесконечные кары калифорнийцев: «мустанги», «триумфы», «порше», «пэйсеры», «мерседесы», «альфа-ромео»...

Ну что бы, казалось, взять да бегом в университетский паркинг-лот, схватить машину, умчаться к ревушим незна-

комым фривэям (авось выкатят к друзьям на тусклую улочку Холма или на Тихоокеанские Палисады), нет — нелепая перепалка продолжалась, и Москвич понимал с каждым словом все яснее, что эту глумливую мемозовскую пошлятинку, лукавое подхикивание и сортирный снобизм ему без труда не изжить.

Мемозов наконец замолчал, встреча как началась, так и кончилась по его воле. Афганским свистом с клетком он подозвал своего то ли коня, то ли верблюда, то ли страуса, взлетел в седло — ковбой, видите ли! — и медленно с важным цокотом поскакал в сторону Биверли-хиллз. В самом деле, на чем же еще ездить Мемозову в автомобильной стране — конечно же на помеси страуса с верблюдом!

Развязная песенка авангардиста долетела из неоновых сумерек суперцивилизации:

На бульваре Голливуда
Я не съел и соли пуда,
Все рассчитывал на чудо,
И однажды на Сансете
Я попался, как сом в сети,
К белой пышной Маргарете.
Вместе с крошкой на Уилшире
Мы увидели мир шире
В замечательной квартире.
Ай ду-ду, ай бу-бу,
Ждет нас мама в Малибу...

— Вот ужас,— простонал Москвич.

В руке его трепетали неоплаченные счета. Опомнившись, он бросился в телефонную будку. Ведь этот субъект может теперь все опозлить, изуродовать все приключение, которое и начинать-то он ведь не собирался, а вот сейчас приходится...

ВООБРАЖЕНИЕ И РЕАЛЬНОСТЬ

Между прочим, тут где-то, между двумя этими дымоходами, по коньку литературной крыши бродит драная кошка, именуемая на интеллигентском жаргоне «сермягой».

В таком ли уж страшном противоречии находятся эти понятия? Что стоит наше воображение без существ и предметов, населяющих мир реальности? Но как бы мы назвали все эти существа и предметы, не будь у нас воображения?

В путешествиях, однако, часто сталкиваешься с разными мелкими, а бы сказал, бытовыми противоречиями между воображением и реальностью.

К примеру, Нью-Йорк. Ты столько читал о стритах и авеню Манхэттена, столько видел фото, кино и теле, что в твоём воображении этот город, можно сказать, построен. Ты все уже прочертил в своём воображении и твердо знаешь, как эти стриты идут, откуда — куда, но, попав в реальный Нью-Йорк, ты вдруг видишь, что ошибался, что стриты идут не «оттуда — туда», а «туда — оттуда», а весь Манхэттен греет свой хребет на солнце не совсем под тем углом, как ты воображал.

Другой пример — Венеция. Ты знал, что она красива, но в реальности она оказывается еще красивее, чем в воображении, несмотря на то, что дворцы ее чуть ниже, чем ты воображал.

Итак, в путешествиях ты сталкиваешься с этими мелкими противоречиями и радостно их уничтожаешь, радостно потому, что на

месте твоего прежнего воображения вырастает новое и, клубясь, как тропическая растительность, покрывает твою новую реальность.

Значит ли это, что прежнее воображение ничего не стоило? Отнюдь нет. В новом лесу ты часто наталкиваешься на заросли старого, ты или продираешься сквозь них, или носом падаешь в их аромат, чтобы отдышаться, и путешествие твое становится одновременно как бы и воспоминанием, а это хорошо.

Теперь я должен познакомить читателя с тем городом, куда я зову сейчас его воображение.

Лос-Анджелес. Город Ангелов. Калифорнийцы называют его запросто Эл-Эй.

Вот мое первое утро в этом городе. Постараюсь описать перекресток Тивертон-авеню и Уилшира с теми предметами, которые запомнились.

На перекресток этот выкатывается еще несколько улиц с непомнившимися названиями, таким образом, получается что-то вроде площади. Слева от меня бензозаправочная станция Шелл, чуть дальше станция Эссо, по диагонали напротив станция Аполло: все такое белое, чистое, белое с синим, белое с красным, белое с желтым, вращаются рекламы нефтяных спрутов, висят гирлянды шин.

Далее. На перекрестке этом не менее десятка светофоров, часть на длинных дугах, часть на столбиках. Пешеходы дисциплинированные, но если ты вдруг зазевался и пошел на красный, это еще не означает, что ты обречен. Закон штата Калифорния похож на знаменитый закон американской торговли: «Pedestrian is always right»¹.

Где бы ты ни ступил на мостовую, в любом месте города любой водитель тут же затормозит и даст тебе преимущественное право прохода. В Нью-Йорке, между прочим, этого правила нет, там смотри оба!

Топографический, эстетический, а может быть, и духовный центр перекрестка — это безусловно кофе-шоп, ships, большая стеклянная закусочная, открытая двадцать четыре часа в сутки, нон-стоп. Там видны на высоких табуретках и в мягких креслах многочисленные едоки разных категорий: и скоростные дилер-уиллеры, что, глядя на часы и не переставая трещать, запихивают себе в рот салат и гамбургеры, и гурманы, смакующие торты и кейки, и разочарованные дамы с сигаретами, и прочие.

Рядом с ships открытый паркинг-лот, где среди автомобилей, словно странные одушевленные существа, выделяются огромные японские мотоциклы «хонда» с высоким рулем.

Что еще? Вдоль тротуара стеклянные ящики с газетами, солидные «Los Angeles Times» и «Examiner», левая «Free Press», и рядом сплетницы «National Enquirer», и «Midnight» и тут же «порно» «LA Star», и тут же газеты гомосексуалистов.

Вылезает на перекресток алюминиевый бок банка и окно рестораника «Два парня из Италии».

Вдаль по одной из улиц уходит вереница пальм, и там за асфальтовым горбиком в небе некоторое золотистое свечение. Мне кажется, что именно там — океан. Впоследствии выясняется, что океан в противоположной стороне.

Кругорама, в центре которой, естественно, находится автор, то есть я, замыкается изломанным контуром крыш и реклам, среди которых выделяются стеклянный билдинг Tishman и гигантский плакат Корпуса Морской Пехоты.

¹ Пешеход всегда прав. Созвучно с известным «customer is always right» (покупатель всегда прав).

Нынче американские вооруженные силы состоят из наемников, поэтому каждый род войск рекламирует себя с не меньшим азартом, чем табачные фирмы.

Два замечательных парня и милейшая девушка в форме морских пехотинцев день и ночь смотрят на наш перекресток, а над ними сияет лозунг *magines*:

«Quality! Not quantity» (Качество! Не количество!)

Замечу, к слову, что на всех табачных рекламах в Соединенных Штатах вы можете прочесть предупреждение:

«Генеральный Хирург установил, что курение опасно
для вашего здоровья»

На рекламах вооруженных сил такого предупреждения нет, как будто война менее опасна для здоровья, чем курение.

Итак, какие предметы я перечислил на нашем перекрестке? Газолиновые станции, рекламы, шины, светофоры, кофе-шоп, автостоянку, мотоциклы, ящики с газетами, пальмы, банк, итальянский рестораник, небоскреб, морскую пехоту.

Какие предметы я забыл перечислить? Почтовый ящик с белоголовым орлом, здоровенный, как трансформаторная будка, бесшумные раздвижные ворота, за которыми — пасть в подземный многоэтажный паркинг, ярко-зеленые лужайки вдоль Тивертон-авеню и несколько спринклеров, разбрызгивающих искусственный дождь и развешивающих маленькие радуги... ей-ей, там больше не было предметов, ну если не считать быстро летящих облаков, солнца, пустой банки из-под пива «корс», которая тихо, без всякого вызова катилась по асфальтовому скату и поблескивала с единственной лишь классической целью — завершить картину прозаика. Помните «осколок бутылки»? Впрочем, может быть, уже достаточно для вашего воображения?

Итак, вообразите мгновение. Дул сильный ветер, он продул это мгновение все насквозь и перелетел в следующее.

Из-за угла вышли на перекресток несколько мужчин среднего возраста, эдакие *tough guys*², как будто прямо с рекламы: коричневые лица, седоватые виски, белые зубы, на куртках-сафари отложные воротнички ярких рубашек. Они перешагнули это мгновение и вошли в следующее, в котором почему-то все разом захохотали.

Четыре автомобиля, два красных, один темно-синий и один желтый, прошмыгнули из этого мгновения в следующее.

На станции Шелл у черного, похожего на пианино спортивного «порше» открылась дверца, и из нее вылезла длинная красивая нога. В следующем мгновении появилась и вся хозяйка ноги, а потом и другая нога, беленький пудель.

Едва лишь предлагаемое мной читателю пролетело, как я начал пересекать улицу и через череду мгновений, описывать которые бумаги не хватит, вошел в закусочную *ships* и вступил в то соответствующее мгновение, в котором заказал через стойку котлету и салат.

— Which kind of dressing would you like, sir?³ — спросили меня, и пока я соображал, что это значит, почему dressing и при чем здесь одежда, надо мной все время маячило любезнейшее синеглазое, хоть и стандартное, но приятное южнокалифорнийское гостеприимство.

Итак, что же это за город, на одном из бесчисленных перекрестков которого мы только что побывали?

Просвещенный читатель, должно быть, уже знает, что это, собственно говоря, и не город вовсе. И правда, очень мало мегалополис Эл-Эй соответствует традиционному европейскому понятию «город».

² Жесткие ребята.

³ Какую приправу предпочитаете, сэр?

На гигантской его территории вы можете неожиданно попасть в пустыню, увидеть по обе стороны фривэя дикие, выжженные солнцем холмы.

Через несколько минут в другом районе вам может показаться, что вы оказались в XXIII веке, на одном из колонизированных уже астероидов, и если в прозрачном ночном небе между небоскребами Сэнчури-сити вдруг появится снижающийся космический паром, вы и не удивитесь.

Впрочем, на узких улицах Даун-тауна в час пик вы подумаете: да нет же, это обыкновенный город, самый обычный большой американский город.

Вечерами сверкающие бесчисленными фарами, шипящие бесчисленными шинами змеи фривэев весьма красноречиво напоминают вам, что вы в сердце суперцивилизации.

Утром на холмах Бэльэр, на Пасифик Палисэйдс или в кварталах Санта-Моники вы слышите первозданные звуки природы: крик птиц, шелест листвы, шум прибоя. Под окнами висят грейпфруты и лимоны, коты ведут хитрую игру с голубыми калифорнийскими сороками.

Даже климат разный в разных районах города. Вы можете изнывать от жары в долине Сан-Фернандо или в негритянском районе Уотс⁴, и в тот же час вы можете блаженствовать под океанским бризом в Санта-Монике или в Венес⁵.

В другой день приползет к вам в Санта-Монику туман, и вы влезете в свитер, обмотаете горло шарфом, сунете зонтик под мышку, а ваши друзья в Сан-Фернандо тем временем будут беспечно плескаться в бассейне.

В административном отношении мегалополис Лос-Анджелеса тоже состоит из разных сливающихся городов. Биверли-хилз, Голливуд, Студио-сити, Санта-Моника, Лонг-Бич — это отдельные административные единицы со своими управлениями. В центре собственно Лос-Анджелес, в котором полтора-два миллиона населения, а во всей куче, во всей галактике, кажется, не меньше десяти миллионов.

Здесь нет вечерней уличной жизни. Будьте уверены, если вы после заката солнца захотите прогуляться по Уилширу или Сансету, к вам через некоторое время приблизится патрульная машина и офицер вежливо спросит:

— Что-нибудь ищете, сэр?

Поначалу это безлюдье меня раздражало. Истекающий электричеством, пылающий, но пустынный Сансет-стрип. Пустынные коридоры королевских пальм на Палисадах. Пустынный Уилшир с его удивительными темно-стеклянными небоскребами...

Друзья говорили мне, что где-то на Уилшире недавно откопали динозавра. Хотелось спросить: живого?

Позже, освоившись в этом немыслимом Эл-Эй, я научился улавливать там по вечерам признаки жизни.

Вот, например, впереди вымерший перекресток. Огромная игривая девица улыбается через плечо, кося глазом на бутылку.

Catch me with Cam-tchat-ka!⁶

Реклама водки «камчатка».

У стеклянного павильона «Джек-ин-зи-бокс» стоят три больших автомобиля.

Шумит листва. Мигают звезды.

⁴ Знаменитое гетто, яростный бунт которого положил начало «самому жаркому лету» Америки. Последнее событие в Уотсе — окружение и расстрел полицией террористов из SLA, многочасовое телевизионное шоу на всю страну.

⁵ Венесе — полутрущобный район вдоль одноименного пляжа. Там мирно живут негры, хиппи и старички евреи.

⁶ Поймай меня с «камчаткой!» (Игра созвучий)

Вдруг вижу, из «Джека» выскочил паренек с тремя подносами, на них дымящаяся еда. Несколько ловких движений — и подносы присобачены к бортикам автомобилей. И в автомобилях тоже обнаруживаются живые люди, приподнимаются из кресел, высовываются из окон, едят...

Ободренный этими явными признаками жизни, я заворачиваю за угол и снова вижу нечто человеческое: некто в белом прыгает и бьет голыми ногами в грудь другого в белом. Тишина, молчание: все за стеклом. Школа карате.

Чуть повертываю голову — за другим стеклом десяток джентльменов в сигарном дыму вокруг массивного стола: совет директоров какой-то фирмы.

Где-то хлопнула дверь — красноватый свет отпечатался на тротуаре, долетела рок-музыка, замелькали тени, из каких-то грешных глубин выскочила группа молодежи, поплюхались в автомобили, взвыли, отчалили, влились в бесконечный traffic⁷, дверь захлопнулась — тишина, безлюдье... Длинный ряд домов с табличками «Fog rent, no children, no pets»⁸, звезды шуршат в королевских пальмах... Вдруг близко скрип рессор, скрип тормозов, скрип руля — из-за угла выползает «желтый кеб», огромный кадиллак выпуска 1934 года с надписями на бортах «Содом и Гоморра». Из окна молча и неподвижно смотрит лицо неопределенного пола, одна щека красная, другая зеленая.

Я начинаю догадываться, как много жизни за этими тихими фасадами, в глубине кварталов, на холмах и в каньонах великого города, как много странной, быть может, и таинственной жизни.

Недаром чуть ли не восемьдесят процентов американских фильмов о грехах и страстях человеческих снимаются в Лос-Анджелесе.

Проходит еще некоторое время, две недели или три, и у меня обрывается моя собственный Эл-Эй, мои собственные трассы, пункты телефонной связи, моя бензоколонка, мой супермаркет, мои кафе, беговая дорожка, бассейн, пляж — то есть, как и у всех аборигенов, собственная среда обитания, пузырь повседневной жизни.

Могу предположить — «отчуждение» в Лос-Анджелесе ничуть не сильнее, не страшнее, чем в любом другом большом, но обычном городе мира. Да, здесь есть индустриальные джунгли, где можно ехать час или два и не увидеть ни одного, просто ни единого человека...

Однажды мы вдвоем с миссис Калифорнийкой отправились в Лонг-Бич осмотреть музейный лайнер «Куин Мэри»⁹. Прошлявшись несколько часов по палубам, залам и коридорам британского гиганта, отправились восвояси, запутались в светофорах, в разных бесчисленных «рэмпс», в дорожных надписях и заблудились.

Неведомая и невероятная местность вдруг открылась нам. Во все стороны света до самого горизонта простиралась индустрия: порталы и мостовые краны, доки, ржавые громады покинутых кораблей, башни теплоцентралей, яйцообразные, шарообразные, чечевицеобразные емкости газгольдеров, светящиеся плоскости загадочных мануфактур, мешанина железнодорожных путей, мачты энергопередач, кишечник труб, провода, тросы, кабели словно хаос вычесанных волос, ползущие в этом хаосе вагонетки и монотонно, но многосмысленно качающиеся насосы нефтяных скважин, и горы автомобильных отбросов, и, конечно же, штабеля затоваренной бочкотары — и ни одной живой души...

⁷ Уличное движение.

⁸ Внаем, без детей, без животных.

⁹ Бывший флагман атлантического пассажирского флота, купленный сейчас городским управлением Лонг-Бича.

Повсюду были дымы, багровые, оранжевые, зеленые, желтые, явные яды, а любимое наше светило, закатываясь в эти дымы, напоминало главный яд, резервуар всех страшных ядов.

И ни одной живой души — ни кошки, ни собаки, и даже чайки сюда не залетали из недалекого океана...

Живые души пронеслись в своих спасательных пузырях-автомобилях по выгнутым дикими горбами фривэям, а бетонные эти ленты, выгнутые горбами и пересекающиеся в разных плоскостях над неорганической страной, еще сильнее подчеркивали атмосферу не-жизни.

Мы катили через эту страну час или два, кружили и петляли, стараясь выбраться на Пасифик Коуст хайвэй. К счастью, бензина в баке было достаточно, и мы выбрались.

Мы были изрядно утомлены и угнетены, и спутница-калифорнийка, которая, как оказалось, и не подозревала, что неподалеку существуют эдакие джунгли, даже прекратила трещать своим милейшим язычком и жестикулировать милейшей ладонью.

Однако еще через час мы и думать забыли об этом мире неживой природы, созданной венцом живой природы, то есть человеческим гением.

Это был первый вечер уик-энда, и мы попали на перекресток неясных духовных брожений, в уютную сутолоку Вествуда.

Рами Кришна
Рами-рами
Хари-хари
Хари-рами
Хари-Кришна
Хари-хари
Рами-рами
Рами-хари..

У закрытых дверей «Ферст Нэшнл Сити Бэнк» тряслась в танце группа парней и девушек в желтых и белых хламидах, подпоясанных веревками. С бритых голов свисами длинные узкие косицы вроде запорожских оселедцев, мелькали босые пятки. Двое лупили ладонями в барабаны, трое гремели бубнами. Длинная тощая сестрица с придурковато-блаженным выражением юного лица, тоже пританцовывая, бродила в толпе зрителей, раздавала журнальчики поклонников Кришны, просила немного денег и, получив несколько монет, проникновенно шептала, заглядывая в глаза:

— Вы так щедры, вы так прекрасны...

Рядом, едва ли не перемешиваясь с кришнаистами, бурно демонстрировала свой восторг группа новообращенных христиан, ассоциация «Джуж фор Джизус!».

Чуть поодаль прямо с собственного велосипеда, зацепившись ногой за уличный барьер, вещал один из многочисленных в Эл-Эй бродячих проповедников-свами. Серые волосы перехвачены по лбу кожаной лентой, глаза на старом морщинистом лице поблескивают веселой сумасшедшинкой. Пересыпая свою речь непристойностями, но уважительно подбородком и руками апеллируя к небесам, свами разоблачал пристрастие современного человека к удобствам — к холодильникам, кондиционерам, автомобилям...

Слушателей было немало, все хохотали, а юный негр подбрасывал пророку новые идеи:

— Swamy, what about money?¹⁰

— Money?! — жутким голосом, напомнившим мне одного режиссера «Мосфильма», завопил пророк. — Money is shit, green shit!¹¹

¹⁰ А что насчет денег, свами?

¹¹ Деньги? Это дерьмо! Зеленое дерьмо!

Тут же среди пророков, трясунгов, певцов и барабанщиков и все на том же пяточке возле банка бродили зеваки с пакетиками орехов, с сахарной ватой, с банками пива. Из грузовичка выгружалась новая команда с новыми лозунгами, с железными бочками вместо барабанов, то ли движение «Women's Lib», то ли «Gay's pride»¹², то ли «Группа борьбы против кастрации кошек», то ли «Марш ветеранов спорта за переселение на Луну»...

К банку, мигая сигнализацией, приближалась патрульная машина полиции. «Вот сейчас и разгонят всю шарагу»,— подумал я.

Однако никто на перекрестке, кроме меня, на полицию не обратил ни малейшего внимания. Полицейские, негр и белый, вышли из машины и встали в своих классических позах — руки за спиной — против трясущихся и все больше входящих в раж братьев и сестер Хари-Кришны.

...Запомнив этот перекресток, я и на следующий вечер пришел сюда. Было пустынно и тихо, только позевывал возле магазина грампластинок скучающий секьюрити-гард¹³, только светились вывески «Alice's Restourant», «Hungry Tiger», «MacDonald», «Bullocs» да проносились, конечно, машины.

Вествуд-вилледж был пуст. Электронные часы на фасаде банка показывали 23.34. Вдали, в нескольких кварталах от меня, появилась высокая женская фигура в белых одеждах. Ровно в 23.35 она стала пересекать Вествуд-бульвар и в середине, беспомощно, но красиво махнув белым рукавом ли, крылом ли, упала.

Вздор, сказал я себе, это уже не надежная реальность, это уже предательское воображение. Ни с места, сказал я себе, уже двигаясь к месту происшествия.

Упавшую фигуру закрыл длинный черный «роллс-ройс». Шестерка еще не заменила пятерку на электронных часах, когда он проехал мимо меня. Я успел заметить внутри белые одежды, темное лицо, светящиеся глаза... Продукт воображения быстро исчезал со сцены.

Typical American Adventure

Part II

КТО ВЫ? КУДА МЫ? ГДЕ Я?

Москвич даже вздохнул с облегчением, когда услышал в трубке мужской голос. Вдруг пронесет, вдруг не закрутит, вдруг вообще все это просто мужская нормальная шутка, а еще лучше — легкое недоразумение?

— Хеллоу,— то ли проговорил, то ли пропел немолодой, но приятный мужественный голос.

— Простите, я звоню по поводу объявления, что было вывешено в университетском кампусе. Должно быть, это шутка, сэр? — Москвич подождал секунду, но не услышал ответа. — Недоразумение, сэр?

— It's over, it's over, it's over¹⁴,— печально проговорил или пропел мужской голос.

— Простите, я не стал бы звонить, если бы ваш телефонный номер не попал в руки весьма сомнительному субъ-

¹² Движение за освобождение женщин и движение гомосексуалистов.

¹³ Охранник.

¹⁴ Это кончилось, кончилось, кончилось... (Здесь и далее обладатель приятного баритона изъясняется в основном фразами из популярных песенок Фрэнка Синатры).

екту, а так как этот субъект является в значительной степени продуктом воображения, то я, представляющий также в некотором смысле определенное воображение, считаю себя так или иначе ответственным за поступки этой персоны,— на одном дыхании выпалил Москвич и добавил, подумав: — Вы меня, конечно, не понимаете?

— Отлично понимаю вас, дружище,— сказал невидимый собеседник.— А теперь вы меня послушайте.

Неизвестно откуда тут возникла в трубке музыка и голос уже впрямую будто на эстраде запел:

Love and marriage,
Love and marriage,
Go together
Like a horse and carriage...¹⁵

Не без удовольствия Москвич прослушал до конца эту песенку, которую помнил еще с осени 1955 года, с тех еще времен, когда он был не Москвичом, а Ленинградцем, с той осени, когда западный циклон закупорил невшское устье и вода вышла из берегов сфинксам до подбородка, а он как раз шел на танцы по Большому проспекту Петроградской стороны по колено в воде, и насвистывал эту песенку, и встретил девушку на площади Льва Николаевича Толстого, и вместе они пришли в медицинский институт, где танцевали под эту песенку, и все танцоры были мокрыми по колено, но сухими выше колена,— славная было ночка!

— Спасибо,— сказал он, когда песенка кончилась.

— Пожалуйста,— ответил тот же голос.— Теперь взгляните, старина, стоит ли рядом с вашей телефонной будкой белый открытый «мазаратти»?

Он оглянулся. Рядом с телефонной будкой действительно стоял белый открытый «мазаратти», а за рулем была девушка. Да уж конечно, девушка там была за рулем. Именно девушка должна была появиться сейчас по закону ТАП, и она появилась.

— Садитесь,— сказал голос в трубке.

— Эй, мэ́н, садись! — сказала девушка.

«Мазаратти» всхрапнул, и не прошло и двух минут, как наш Москвич оказался в ночном потоке на Санта-Моника-фривэй. Кое-кто в Городе Ангелов, видно, не боялся дорожных патрулей. В частности, девица на «мазаратти». Переносясь из ряда в ряд, подрезая носы равномерно катящим средним американцам, она не прикасалась к тормозам и не снижала скорость за отметку семьдесят миль в час.

Руль она держала одной лишь левой рукой, а правой между тем сворачивала на сиденье какую-то самокрутку, нечто вроде «козье́й ножки» с зеленым табачком.

— Мэ́н, огня! — коротко приказала она.

— Куда мы едем? — спросил Москвич, протягивая зажигалку.

— Ман, аге you грооуву? — Девица, морща носик, блаженно затягивалась.

— Что такое грооуву? — недоумевал Москвич.— Что означает это слово?

— Ничего не означает,— сказала драйверша.— Я просто спрашиваю: you ман — ты груви или не груви?

¹⁵ Любовь и женитьба связаны вместе, как лошадь с повозкой...

— Yes, I am groovy,— кивнул Москвич.

— Тяни.

Слюнявая сигаретка-самокрутка влезла ему в рот.

— Куда мы едем? — повторил он свой первый вопрос.

— В Топанга-каньон...

Москвич почувствовал некоторое головокружение и в связи с этим головокружением как бы подбоченился в кресле.

— You girl! — сказал он в предложенном стиле.— А ты груви?

Девушка захохотала и вырвала у него изо рта чинарик.

Санта-Моника-фривэй кончался тоннелем, и там машины уже еле ползли, образовался «джэм», автомобильная пробка. Трудно сказать, каким образом они за одну секунду проскочили этот забитый тоннель — ведь не по воздуху же! — но вот они уже неслись по Тихоокеанскому вдоль белеющих в темноте пляжей под обрывами Палисадов.

Он не успел заметить, когда и где у них появился эскорт. Теперь три средневековых рыцаря на мотоциклах «хонда» сопровождали их: один мчался впереди, второй сбоку, третий сзади. Черные, вороненой стали доспехи закрывали их тела, на головах шлемы, похожие на полированные черные шары. Лиц не видно.

«Мафия! — догадался наконец Москвич.— Я в руках мафии. Вот она, подпольная преступная Америка. В первый же день я попал в лапы «Коза Ностра». Однако зачем я им? Для чего мафии нужен отнюдь не богатый Москвич, без особенных прав на американское жительство, с блохой на поводке? А вдруг еще укукошат? Это будет глупо, довольно-таки глупо. А в то же время — быть в Америке и не побывать в руках мафии? Тоже довольно нелепо. Пожалуй, мне повезло — я в руках мафии!»

В Топанга-каньоне было темно и пустынно. Узкая асфальтовая дорога забирала все выше и выше, вилась серпантинном между заборами неосвященных вилл. Мотоциклисты как появились, так и пропали — незаметно. Молоденькая драйверша стала почему-то серьезной, на Москвича не смотрела и на вопросы не отвечала.

А скорость между тем все увеличивалась. Головокружение тоже. И на одном из немислимых виражей Москвич спел своей спутнице короткий дифирамб:

— Ю или ты! Ты ангел или энджел? Ты, возникающая из городской пены на белом гребешке «мазаратти»! Если ты богиня любви, то у тебя слишком цепкие руки! Если ты ангел, то ангел ада!

Она даже бровью не повела, но только усмехнулась. Через секунду Москвич смог оценить эластичность тормозов знаменитого спортивного автомобиля, когда они с ходу влетели под навес маленького гаража и остановились как вкопанные.

Он ждал, что ему свяжут руки, а на голову наденут черный мешок, но его просто пригласили войти в дом.

Открылись двери, шум многих голосов, смех, музыка вместе с полосой яркого света пролились в темный каньон и отпечатались на базальтовой скале тенью хозяина.

Хозяин стоял на пороге: седые длинные волосы до плеч,

бусы из акульих зубов на груди, вышитая рубашка, джинсы, старый стройный хозяин.

— *Some enchanted evening*,— сказал или пропел он знакомым уже Москвичу баритоном,— *you may see a stranger across the crowded room*¹⁶... Заходите, дружище!

Москвичу уже было море по колено. Он смело вошел в дом, в гнездо калифорнийской мафии, и тут же включился в общую беседу. Разговор, разумеется, шел о русской литературе.

— Вам нравится поэзия акмеистов? — спросила Москвича высокая худая то ли профессорша, то ли гангстерша, то ли цыганка. Спросила, преподнося ему бокал мартини и чуть помешивая в бокале своим великолепным длинным пальцем, должно быть с целью растворить красивый, но, по всей вероятности, далеко не безвредный кристалл.

— Да, нравится. Конечно, нравится,— ответил Москвич, принимая бокал.

— Какие чудесные плоды принес миру «серебряный век»! — сказал Москвичу атлетически сложенный гангстер в профессорских очках и в желтой рубашке клуба «Медведи».

— Еще бы, «серебряный век»! Серебряные плоды! — согласился Москвич, попивая отравленный, но вкусный мартини.

— Я, знаете ли, раньше работал с бриллиантами, а сейчас специалист по «серебряному веку»,— сказал сухонький улыбчивый мафиози, постукивая друг о дружку модными в этом сезоне голландскими башмаками.

— Простите, господи, но кто из вас вчера в одиннадцать тридцать пять ночи упал на Вествуд-бульваре? — обратился ко всему обществу Москвич.

Как будто бомба-пластик-шутиха разорвалась. Мгновенно стихли все разговоры. Знатоки «серебряного века» отпрянули от вновь прибывшего. Все гости, а их было в холле не менее тридцати, теперь молча смотрели на него. С тихим скрипом начала открываться дверь на террасу, за которой в прозрачной черноте угадывалась пропасть, а на дне, в теснине, зеркально отсвечивала змейка-река.

Во взглядах, устремленных на него, Москвич не прочел никакого особенного выражения, но тем не менее он понял, что дальнейшие вопросы неуместны.

За исключением одного вопроса, который он и задал: — Что будет со мной?

— Это зависит только от вас, дружище,— мягко сказал хозяин и чуточку пропел: — *Come dance with me, come play with me*...¹⁷.

— Пока, эврибоди! — весело (эдакий, мол, сорвиголова!) сказал Москвич и зашагал туда, куда приглашал его хозяин, к маленькой дверце, за которой, конечно же, угадывалась лесенка вниз.

— Пока,— сказали ему на прощанье «эврибоди». — *Take care*¹⁸, Москвич!

¹⁶ В один прекрасный вечер в битком набитой комнате вы можете увидеть незнакомца...

¹⁷ Пойдем потанцуем, пойдем поиграем...

¹⁸ Буквальный перевод: «будь осторожен», сейчас все чаще употребляется при прощанье. вроде «будь здоров», «пока»...

— «Какая насмешка, экий сарказм! — подумал Москвич. — Я, кажется, в царстве мемовозского «черного юмора»...»

То ли зеленый табачок, то ли кристалльчик, растворенный в мартини, а скорее всего самый дух уже начавшегося американского приключения действительно чрезвычайно взвинтил нашего Москвича, эту кабинетную крысу, книжного червя, человека в футляре, и некое юношеское ковбойство струйками пробежало теперь по его кровотоку, по лимфатической и нервной системам и так меняло, что, пожалуй, и московские соседи не узнали бы: галстук на сторону, голова взъерошена, плечи расправлены, кулаки в карманах...

В подzemелье, украшенном подсвеченными витражами в духе Сальватора Дали, двое играли в пинг-понг. Один, ужаснейший, явно выигрывал и беспощадно наступал, другая, загорелая, в белых одеждах, с глазами, сверкающими живой человеческой бедою, красиво и безнадежно проигрывала.

— Семнадцать — семь, восемнадцать — семь, девятнадцать — семь, двадцать — семь, аут! — гулко и издевательски, словно ворон, отсчитывал ужаснейший, и это был, как сразу догадался Москвич, это был предосаднейший продукт воображения — Мемозов.

Разумеется, внешность его была изменена: кожаный камзол стягивал пресолиднейшее пузо, испанские накрахмаленные кружева подпирала сочащиеся перестоявшимся малиновым соком щеки — экий, мол, фламандец! — однако дело было вовсе не во внешности. Москвич узнал бы Мемозова даже в виде неандертальца, марсианина, даже в виде египетской мумии. Дело было в очередном издевательстве, в глумлении над идеалом — к чему этот дурацкий пинг-понг, позвольте спросить?

Между тем проигравшая, прелестная римлянка ли, византийка ли, постепенно исчезала, как бы угасала среди витражей. А ведь, возможно, именно она упала в ту ночь на Бульваре Западного Леса, когда он, Москвич (теперь это уже совершенно ясно) бросился на помощь?!

В ярости Москвич схватил ракетку. Выиграть! Непременно! Отомстить! Отомстить и разоблачить прохвоста! Избавиться от него раз и навсегда!

— Ха-ха-ха! — Мемозов хохотал, подкручивая черные, явно фальшивые усы. — Не злитесь, мой бедный Москвич! Лучше защищайтесь, мой бедный Москвич!

Гнев! Шум! Головокружение! Крики!

«Откуда несутся эти крики, этот смех? Сколько прошло времени? Где я?» — подумал Москвич и вдруг увидел себя не в подzemелье, а на открытой просторной веранде, висящей в ночи над каньоном Топанга.

В углу площадки стоял маленький самолет, похожий контурами на аппарат «сопвич», истребитель времен первой мировой. Возле самолетка возился хозяин дома. Седые волосы его развевались под ночным ветром. Половина лица была скрыта старомодными пилотскими очками. Он повернулся к Москвичу и махнул ему огромной кожаной рукавицей.

— Come fly with me, fly with me!¹⁹, — слегка пропел он и добавил: — Помогите выкатить аппарат, дружиче!

¹⁹ Летим со мной, летим со мной!

Вдвоем они выкатили машину на середину веранды. Мотор уже верещал, как швейная машинка. Хозяин предложил Москвичу занять пассажирское кресло впереди, а сам сел на пилотское сиденье сзади. Не прошло и пяти минут, как они уже висели над бездонным каньоном и медленно набирали высоту, покачивая на прощанье серебристыми крыльями.

Интеллектуальная мафия тихо аплодировала смельчакам, оставаясь на веранде и все уменьшаясь в размерах.

— Куда мы летим, босс? — храбро спросил Москвич. Вот как раз «по делу» вспомнилось американское словечко «босс».

— From here to Eternity²⁰, — был ответ.

«ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧЕЛОВЕЧЕСТВО...»

Тем временем, пока вымышленный Москвич вместе с вымышленным Мемозовым, вырвавшись из-под моего контроля, развивает свое ТАП — типичное американское приключение, — я тем временем продолжаю свой сдержанный рассказ о моей нетипичной, но вполне реальной жизни в Эл-Эй.

Итак, я стал на два месяца профессором кафедры славистики Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Вот какие бывают в современном мире чудеса — без всяких диссертаций легкомысленный сочинитель может вдруг оказаться профессором! Длинный коридор на одиннадцатом этаже Банч-холла, таблички на дверях кабинетов: профессор Уортс, профессор Харпер, профессор Аксенов, профессор Шапиро...

Университет Калифорнии огромен. У него девять отделений, девять разных кампусов в разных городах штата. Штаб-квартира и офис президента находятся при кампусе Беркли, наш UCLA второй по значению, но первый по размерам — больше сорока тысяч студентов. Есть еще отделения в Сан-Диего, Санта-Барбара, Санта-Ана, Санта-Круз...

Кампус Ю-Си-Эл-Эй граничит на востоке с одним из приятнейших районов города, с Вествудом. По западной границе кампуса пробегает великий и знаменитый бульвар Сансет. С севера подступает шикарный Биверли-хиллз, с юга — забубенная Санта-Моника.

На фирменной почтовой открытке мы видим кампус с птичьего полета: в центре старые корпуса псевдоиспанско-псевдоарабского, а именно калифорнийского стиля; по периферии современные билдинги и среди них наш Банч-холл, еще ближе к границам корпуса многочисленных автопаркингов, многоярусных стоянок для машин преподавателей и студентов; в юго-западном углу большой спортивный центр — легкоатлетический стадион, два поля для игры в бейсбол, лакросс, футбол, крытая баскетбольная арена с большими трибунами, бассейн и так называемый «рикриэйшн сентр» — своеобразный клуб для плавания, игр и валянья на траве.

В центральной части кампуса на газонах — замечательная коллекция скульптур. Еще в первое мое университетское утро, когда председатель департамента славянских языков и литератур профессор Дин Уортс показывал мне кампус, я увидел издали удивительно знакомую гранитную форму. Да неужели это та самая знаменитая, тысячи раз представленная в разных альбомах «лежащая фигура» Генри Мура? Копия, конечно?

²⁰ Отсюда в вечность.

— Вот именно, Генри Мур, и, разумеется, подлинник. Здесь нет копий.

А по соседству с гранитами Мура в полном спокойствии возвышалась бронза Липшица, лепился к кирпичной кладке керамический рельеф Матисса и нежилось под калифорнийским небом еще много другого великолепного.

Сейчас я случайно употребил слово «спокойствие», но, дописав фразу до конца, подумал: так ли уж оно случайно по отношению к скульптуре? Я вспомнил прежние свои встречи со скульптурой в разных городах мира, в храмах и музеях и в мастерских Москвы. Вот именно спокойствие прочных материалов снисходило ко мне во время этих встреч, и даже если скульптура выражала гнев, я чувствовал спокойный гнев, радость — конечно уж, спокойную радость, и даже тревога была для меня в скульптуре спокойной, вдохновляющей, тонизирующей тревогой.

В чем дело? Быть может, это идет от инстинктивного недоверия к собственному материалу, к бумаге, чернилам и типографской краске и от почтения к этим доступным нашему несовершенному сознанию синонимам прочности и долговечности, к мрамору, бронзе, граниту, в коих воплощается зыбкий дух артиста? Уместны ли здесь также некоторые соображения о принципиальном различии прозы и скульптуры? Ведь из любой самой совершенной прозы артист может что-то вычеркнуть и что-то в нее добавить, тогда как если и можно что-нибудь «вычеркнуть» из скульптуры, то вписать, добавить в нее уже ничего нельзя, а стало быть, скульптура в любом случае хотя бы наполовину — совершенство.

Сварка, скажете вы? Однако сварка — это уже другое искусство. И так, встреча со скульптурой в кампусе Ю-Си-Эл-Эй успокоила меня перед встречей с американскими студентами, а ведь я, не скрою, волновался. С чего я начну свои так называемые лекции? — думал я. О'кей, сказал я себе в то первое университетское утро, начну с разговора о взаимоотношениях между прозой и скульптурой. Я никогда еще не выступал перед американскими студентами и не знаю, что их интересует. Эта тема будет интересна хотя бы мне самому.

Конечно, я много уже слышал об этом огромном университете. Я знал, например, что «Медведи» из UCLA — чемпионы студенческих лиг по баскетболу и футболу. Я знал и о знаменитой атаке отеля «Плаза» в разгар антивоенных манифестаций, когда студенты этого университета, срывая глотки, скандировали страшноватый лимерик, ставший на долгое время кличем всех американских «мирников»:

— Эл-Би-Джей! Эл-Би-Джей! Хау мени бэбис дид ю кил тудей?²¹

Ну, разумеется, я знал, что здесь занимаются и науками, и, между прочим, весьма серьезно занимаются.

И вот сейчас, поздней весной 1975 года, я вижу пеструю толпу калифорнийских студентов вочую. Внешне они не изменились по сравнению с бунтарями поздних шестидесятых и ранних семидесятых. Те же нарочито рваненькие джинсы, кеды, длинные волосы, свисающие на плечи или забранные сзади в хвостик «пони-тейл» или даже заплетенные в косицу; бороды, усищи, вещевые солдатские мешки, kit-bag, за плечами, майки с дерзкими надписями, но...

Но, как я замечаю, все эти парни и девочки несут книги, лежат на траве с книгами, сидят в студенческих кафе, на ступеньках лестниц и даже на трибунах стадиона с открытыми книжками.

...Мы входим с молодой профессоршей в кафе студенческого клуба. Она сама совсем еще недавно была студенткой. Со вздохом лег-

²¹ L. B. J. I. L. B. J. I. How many babies did you kill today? (Эл-Би-Джей, Эл-Би-Джей, сколько ты сегодня погубил детей?)

кого, легчайшего, еле заметного (пока!) сожаления она обводит взглядом чистенькие, красиво разрисованные стены клуба.

— В мое время на этих стенах живого места не было: сплошные лозунги, призывы, угрозы, манифесты социалистов, анархистов, маоистов, троцкистов, геваристов... Куда все это делось? Даже странно смотреть — внешне те же самые люди, но все вдруг стали зубрилами...

В этой легкой горечи, как видите, уже сквозит ностальгия по бурному пятилетию, озвученному душераздирающей рок-музыкой.

Рок-музыка... Американцы не знали русского смысла слова «рок», а если бы знали, быть может, это прибавило бы этой музыке не только грохочущих камней, качающихся скал, но и неожиданных провалов в тишину, в беззвучие.

Думаю, что можно сделать неожиданные открытия, сближая фонетически близкие русские и английские слова, как это сделал, например, Энтони Бёрджес, сблизив «хорошо» и «horror-show»²².

Вернемся к университетским стенам. Я видел на них остатки старых плакатов:

«Мы не будем участвовать в вашей свинской
империалистической войне!»

Следует сказать, что, несмотря на всю пестроту политико-философско-психологического спектра, несмотря на разного рода левацкие загибы, вывихи, ушибы, растяжения и переломы, молодая американская интеллигенция конца шестидесятых — начала семидесятых была ярка, умна, искренна.

В своей яростной давидовской схватке против Голиафа-истэблшмента интеллигенция, быть может, впервые в американской истории обрела уверенность в своих силах. Конечно, можно сказать, что понятие «американская интеллигенция» чрезвычайно широко и содержит в себе серьезное противоречие, ибо неизбежно, выполняя свои социальные функции, интеллигенция срастается с этим самым ненавистным истэблшментом, а стало быть, несет в себе и давидовское и голиафовское начала, но, может быть, именно в борьбе этих начал и вырабатывается самосознание?

Поражение во Вьетнаме американская интеллигенция рассматривает и как свою победу.

Бурные дебаты по поводу коррупции и политических махинаций предшествовали затишью весны семьдесят пятого. Впрочем, так ли уж спокойно нынешнее затишье?

Как-то утром я выбежал из своего маленького «Клермонт-отеля» на Тивертон-авеню и направил кроссовки в сторону университетского стадиона.

Попутно, пока бегу до кампуса, могу сказать, что увлечение полуспортивным бегом, называемым «джоггинг», настолько широко распространено в Америке, что мне иногда казалось, будто я в Москве, в Тимирязевском парке.

На центральной площади кампуса я увидел толпу студентов, и тут меня перехватила девчонка в джинсовом комбинезоне.

— Хай! — сказала она.— Подпиши-ка вот эту бумагу и беги дальше.

В ее руках трепетал длинный лист с жирным призывом наверху:

«Стукачей ЦРУ вон из университета!»

²² «Хорор-шоу» (представление ужаса) и «хорошо» — игра слов из романа Э. Бёрджеса «Заводной апельсин».

Должен признаться, что долго упрашивать меня не пришлось. Я платил здесь налоги наравне со всеми и потому мог себе не отказывать в удовольствии шурануть стукачей.

Вечером того же дня я читал в университетской газете «Ежедневный медведь» слезливые откровения немолодого уже агента Центрального разведывательного управления, «инфильтрованного» еще в 1968 году в студенческое «фратернити».

Этот маленький эпизод из жизни Ю-Си-Эл-Эй отражал широкую по всей стране кампанию борьбы против злоупотреблений ЦРУ. В неделю несколько раз на экранах телевизоров появлялся сенатор Чёрч, возглавлявший комиссию по расследованию.

Сенатор неторопливо и спокойно рассказывал о работе своей комиссии, о дальнейших разоблачениях — о связях ЦРУ с мафией, о заговорах против глав иностранных государств, о слежке за американцами, о бесконтрольности этой широко серьезной организации.

Я говорил об этом деле с десятками американцев и в частных домах, и в барах, и в редакциях газет. Везде интеллектуалы были единодушны — цэрэушникам надо дать по рукам, чтобы отбить вкус к тоталитарным замашкам. Разведка и контрразведка — это одно дело, говорили американцы, они нужны любой стране. Бесконтрольность, система слежки и стукачества, попытка стать государством в государстве — это уже другое, это опасно для всех граждан.

И вот так же как студенты UCLA своего мелкого стукача, страна вытаскивает на экраны тупую морду Баттерфилда, стукача крупного, который был «инфильтрован» ни больше ни меньше как в Белый дом.

Иной раз мне приходило в голову, что яростное сопротивление интеллектуалов истэблшменту и надвигающемуся тоталитаризму отражает в какой-то степени черты национального характера, тот свободолобивый пионерский дух, который безусловно еще живет в американском народе. Тоталитаризм для этих людей понятие очень широкое, и они видят его признаки во многих приметах своей жизни, в таких приметах, которые иностранцу вовсе и не кажутся никаким тоталитаризмом. Вот, например, так называемые коммершэлз, теле-рекламы — это тоталитаризм. Вот, например, индустрия развлечений в Диснейленде — это тоталитаризм. Вот, например, смог в Даун-тауне Лос-Анджелеса — это тоже тоталитаризм...

Что ж, разве тоталитаризм и стандарт жизни в современном супериндустриальном обществе — это синонимы? О! Твой вопрос вызывает нетерпеливые, почти плотоядные улыбки, твои собеседники слегка ерзают, поудобнее устраиваясь в креслах, закуривая, готовясь к бесконечному «дискашн».

— Видите ли, это чрезвычайно сложная и интересная проблема...

Американского интеллектуала хлебом не корми, но только дай ему подискутировать на эту тему, или на какую-нибудь другую, или на третью, четвертую, сотую, а тем — миллион!

Как когда-то русская интеллигенция спорила в своих каморках — помните? — «пускай мы в спорах этих сипнем, пускай стаканы с бледным сидром стоят в соседстве с хлебом ситным и баклажанною икрой» — так и сейчас американские «яйцеголовые», отставляя в сторону свои «хайболы» и «снэкс», работают до утра языками, и в спорах этих бурлит, пузырится, булькает вольнолюбивый дух их предков, пионеров.

Мы с вами, читатель, вернемся к рассуждениям о тоталитаризме и стандарте в другой главе, а сейчас мне хочется все-таки сказать, что с диалектическими противоречиями сталкиваешься в Америке на

каждом шагу, да и как же еще может быть иначе в столь великом обществе.

Вот, например, именно на вольнолюбивый пионерский дух, на самооборонное право каждого американца ссылаются противники запрета оружейной торговли, а свободная продажа огнестрельного оружия ведет к росту преступности, а преступность организуется в мафию, а мафия корнями своими переплетается с ЦРУ, этим самым зловещим аппаратом тоталитаризма.

Так или иначе, среди всех этих диалектических, а также и попросту абсурдных противоречий за последние два десятилетия выросла и определилась американская интеллигенция, и теперь в ряду привычных литературно-кинематографических образов, таких, как «средний американец», «ковбой», «шериф» и так далее, стоит и персона со смутной улыбкой, в небрежном костюме, с сильно увеличенными за линзами глазами, примерно такой тип, какой в старой России черносотенцы обозначали понятием «скюбент-сицилист-аблакат».

Сейчас, весной 1975 года,— период затишья, но кто знает, через какие еще тернии придется пройти американской интеллигенции? Мне дорог этот тип, я люблю этого человека и поэтому не хочу быть пессимистом, хотя, как говорят те же самые американские интеллигенты:

— Пессимист — это хорошо информированный оптимист.

Я удалился уже довольно далеко от своего тихого повествования. Могу это отнести за счет бега по тартановому треку среди десятка других «джоггеров». Вот еще преимущество бега — ассоциативные размышления, недетерминированные (секите меня, ревнителю ключевой водицы!), ассоциативные, не детерминированные комнатой, письменным столом, магнитофоном размышления, то есть рефлексии или медитации... (башку секите, ревнителю подсолнечного масла, вы, пуристы!).

Теперь придется возвращаться. На стадионе появился Джей-Джей-Джей-джуниор²³, аспирант Сиракузского университета, автор ненаписанной диссертации «Урбанистический пейзаж в произведениях Аксенова». Он бежит ко мне, размахивая длинной русской бородой, в майке с русской надписью «Ну, погоди!», похожий в свои двадцать шесть лет на какого-нибудь столетнего марафонца из города Торжка.

Мы делаем вместе два круга, а потом Джей-Джей-Джей говорит: — Между прочим, Вася, are you going to read a lecture today²⁴?

Мы бросаем бег и идем пить hot-drink²⁵ из автомата и жевать «горячих собак». Мельком оглядываем доски студенческих объявлений. Нет, нельзя сказать, что кампус вымирает.

«Брэнда Ли, живая или мертвая, приходи к пяти часам в библиотеку!»

«В связи с отъездом в Африку продаю почти задаром автомобиль, собаку и пару малоношенных сапог».

«Пятого июня Фестиваль Гордости Гомосексуалистов!»

«Концерт рок-группы „Вздутое брюхо“».

«Ты — еврей? Будь гордым и высоким!»

«Профессор Делозано не любит своих учеников!»

²³ J. J. J. junior — инициалы плюс «младший».

²⁴ Собираешься сегодня читать лекцию?

²⁵ Горячий кофе.

«Того, кто помог мне встать после падения на Вествуд-бульваре, прошу позвонить по телефону 777-7777».

На бетонной стене, огораживающей стройплощадку, появилось за ночь стихотворение неизвестного гения:

Человечество, я люблю тебя за то,
что ты носишь секрет жизни в своих штанах
и забываешь о нем, когда сидишь на стуле...
Человечество, я тебя ненавижу!

Когда-нибудь ведь и эта стена будет найдена в геологических пластах нашей планеты. Когда-нибудь все будет найдено и даже наши жалкие лепестки бумаги со смешными жучками-буквами. Когда-нибудь все будет найдено и расшифровано: и «Декларация прав человека», и «Правила поведения в национальных заповедниках», и эти гениальные стихи, обращенные к человечеству, и объявление упавшей на бульвар персоны... когда-нибудь... А пока что я иду на свою очередную лекцию.

И вспоминаю свою первую лекцию, если только это можно было назвать лекцией.

ПЕРГАМСКИЙ ФРИЗ, или ПРОЗАИЧЕСКИЕ ЗАПЛАТКИ НА ДРЕВНЕЙ СКУЛЬПТУРЕ

...О чем я говорил тогда?

Я вспоминал Музейный остров в Берлине и потрясающий барельеф, изображающий битву богов и гигантов.

Как было дело в действительности? Гиганты собрались на Флегрейских болотах, вся компания: Порфирион и Эфиальт, Алкионей и Клитий, Нисирос, Полибот и Энкелад, и Гратион, и Ипполит, и Отос, и Агрый, и Феон, и сколько их там еще было, ужасных?

Они взбунтовались в слякоть, в непогоду, под низкой сворой бесконечных туч, что неслись над ними дурными знаменьями.

...О чем еще?

Как там, в отдалении, где только что не было никого, возник огромный, как дуб, человек, и это был бог. Несокрушимый и сильно вооруженный, он стоял с непонятной улыбкой... Как твое имя, бог? Гефест? Аполлон? Гермес? Здравствуй, карающий бог!

...О чем еще?

Гиганты хотели отомстить Зевсу за огромность, за мудрость, за чванство, за его бесконечное семя, за трон, за молнии, за всю солнечную мифологию и за свои члены, не знавшие любви.

Тут все пространство болот покрылось сверкающей ратью. Золотые богини и боги шли на гигантов в своих шуршащих одеждах, в легком звоне мечей, стрел и лат. В небе образовалось окно, и мощный столб солнечных лучей опустился на болото, как бы освещающая поле боя для будущего скульптора.

...О чем еще?

Они надвигались, как волны. Каждый их шаг был, как волна, неуловим и, как волна, забываем. Гигантам было стыдно за их змееподобные ноги, за космы со следами болотных ночевков, за вздутые ревматизмом суставы и грубые мускулы, похожие на замшелые камни.

— Ой, братцы,— сказал молодой Алкионей.— Я даже во сне не видел такого красивого бога, как тот, с собачками. Гляньте, какие у него на груди выпуклости. Я не представляю себе, что это такое, но они меня сводят с ума!

Звон пролетел над болотищем. Геракл отпустил тетиву, и стрела, пропитанная ядом лернейской гидры, пробила грудь могучему, но наивному Алкионею.

...О чем еще?

Обезглавленный Зевс борется с тремя гигантами. Нет у него и левой руки, а от правой остался лишь плечевой сустав и кисть, сжимающая хвост погибших молний, но не гиганты нанесли богу этот страшный урон.

Глубокая трещина расколола бедро Порфириона, куски мрамора отвалились от ягодиц гиганта, нет руки и кончика носа, но не боги его так покалечили.

Мгновение за мгновением. Битва. Злодеяния. Жест за жестом: удар копьём, пуск стрелы — все является в мир. Все возникает, как из моря, и все пропадает, как в море, а остается лишь в зыбкой памяти очевидцев и в воображении артистов. Хорошо, что есть мрамор. Хвала и бумаге.

Они были врагами на Флегрейских болотах и стали союзниками в Пергаме. Подняли мраморную волну и так остановились перед напором Времени: вздыбленные кони, оскаленные рты, надувшиеся мускулы, летящие волосы, оружие... В Пергаме в мраморе вместе схватились против Кронуса боги и гиганты.

...Ну что еще?

Теперь, леди и джентльмены уважаемое панство, дорогие товарищи, перед вами поле боя. Вы видите, что барельеф основательно пострадал за долгие века. Извольте, вот остаток поясницы, волос пучок и рукоять меча... пустое обреченное пространство... Любой из посетителей может мысленно приложить к фризу собственную персону. Мы же предлагаем заплаты из прозы, если кто-нибудь в них нуждается.

Закончив «лекцию» и неловко поеживаясь под американскими взглядами, я не нашел ничего лучшего, как спросить:

— Вопросы будут, товарищи?

Симпатичный и вполне дружеский смех аудитории показал, что хотя они и вовсе не «товарищи», но мою оговорку вполне понимают. Затем последовал вопрос. Встала высоченная девушка с длиннейшими волосами, с большими глазами, с нежнейшим ртом.

— Вот мы с подружкой поспорили, господин Аксенов. На вас совсем неплохо сшитые брюки. Неужели такие брюки делаются в России?

— Да,— твердо ответил я.— Такие брюки шьет мой приятель прогрессивный портной Игорь, который живет в московском районе Фили-Машилово, а эту клетчатую ткань он покупает в торговом центре Измайлово.

Ответ исчерпывающий. Вижу плохо скрытый восторг одной из поспоривших подруг, разочарование и неудовольствие другой.

Человечество, я люблю тебя за то,
что ты запускаешь в небо
бумажных змеев,
а потом смотришь на них
как на чудеса природы.
Человечество, я тебя ненавижу.

Смешной эпизод на первой лекции не помешал нашим занятиям. Блистая по-прежнему фили-машиловскими штанами, я начал знакомить аудиторию с ответами наших прозаиков на мою анкету «Как из ни чего возникает нечто?».

Читателя, конечно, в первую голову интересуется аудитория — ее,

скажем, средний возраст, внешний вид, национальный состав, много ли было американских русских...

О русских в этих записках разговор пойдет особый, сейчас скажу лишь, что их прошло передо мной немало, разных поколений эмиграции и разных возрастов.

Теперь о возрасте моей аудитории. На двух или трех занятиях появлялась древняя старушка в седых кудряшках и слуховых очках. Она обычно садилась в первом ряду и улыбалась добрейшей, хотя и весьма отвлеченной улыбкой. Иногда мне казалось, что она не понимает ни слова из моих экзерсисов. Я думал, что это какая-нибудь отставная профессорша или жена отставного профессора, но впоследствии выяснилось, что старушка — обыкновенная студентка. В американских университетах, оказывается, нет возрастного лимита, и если вас на старости лет одолеет блажь «взять курс» в университете — you are welcome!²⁶

Присутствие старушки, как вы понимаете, значительно повысило средний возраст моей аудитории, а он и так был не очень-то низок. Постоянными слушателями были профессора и аспиранты кафедры славистики. Студенческий состав был текуч. Об обязательном посещении лекций в американских университетах и говорить-то смешно: ведь там сейчас идет борьба за отмену оценочных баллов. Студенты шляются по кампусу и выбирают лекции по вкусу или по настроению, как спектакли в театральной афише.

Ко мне приходили не только слависты и филологи. Однажды явилась целая команда каких-то кибернетиков. Не знаю, что их заинтересовало в современной советской прозе, знали ли они достаточно язык, но отсидели два часа с умными лицами, тихо и мирно, меняли только катушки в магнитофоне. Быть может, подключали меня к какому-нибудь компьютеру? Эта мысль показалась мне тогда очень забавной, и я в этот день чрезвычайно старался — на компьютер.

В другой раз на лекцию пришел молодой человек с собакой. Пес был мужчиной породы колли, очень длинноволосый, чистый и благородный. Всю лекцию он спокойно лежал на полу у ног хозяина, но не спал, а голову держал высоко, смотрел на меня, молчал и только два-три раза сдержанно зевнул. Чудесный слушатель! Я думал сначала, что в этом визите с собакой ко мне на лекцию было что-то особенное — или сверхпочтение к лектору из России, или, наоборот, эпатаж, — но потом заметил собак и в других аудиториях и понял, что так здесь принято, что это лишь простое уважение к умному другу, собаке, ничего больше.

Как видите, читатель, в американской аудитории есть некоторые странности по сравнению с нашей отечественной, но странности эти небольшие, а в основном люди как люди и внешним видом не особенно от наших отличаются, только, конечно, брюки на них американские.

Теперь — анкета. За несколько дней до вылета из Москвы пришла мне в голову счастливая идея — пустить среди своих друзей анкету. Звучала она приблизительно так:

«Каждое новое произведение — это новая реальность, новое тело в пространстве. Как из ничего возникает нечто?»

Каким образом в спокойной и пустой атмосфере вдруг появляется «неопознанный летающий объект» новой прозы?

Что Вас обычно толкает к перу — мысль или эмоция?

Что возникает прежде: стиль, интонация или герой, замысел, идея?

Согласны ли Вы с тем, что при смысловом побуждении придается с о б и р а т ь т о, из чего при чувственном начале в ы б и р а е ш ь?

²⁶ Добро пожаловать!

Какова мера факта и вымысла в Вашей прозе и как трансформируется в ней Ваш личный жизненный опыт?»

Словом, вопросы касались довольно тонких субстанций. Я снова пошел на хитрость, взял то, что интересовало меня самого, и так получилось, что психология творчества прозаика стала главным предметом моих лекций.

Я волновался — а интересны ли будут американцам наши профессиональные размышления? Оказалось — попал в точку! Слушатели мои были увлечены спором, который развернулся перед ними при помощи этой анкеты.

Прежде всего их привлекло разнообразие мнений, столкновение различных, порой полярных точек зрения. В силу различных предубеждений (всем нам понятно, откуда они взялись) американцы знают лишь то, что мешает развитию нашей литературы, но далеко не всегда понимают то, что вдохновляет нас и зовет не оставлять своих усилий.

Трудности наши — в силу также предубеждений — очень часто преувеличиваются. Однажды я читал на лекции один из рассказов Трифонова и говорил на его примере об интуитивной прозе, о том, что читатель здесь призывается в соавторы и становится (при известном, конечно, усилии) участником творческого акта, вроде слушателей на джазовом концерте. После чтения один паренек печально сказал:

— Как жаль, что такой замечательный рассказ нельзя напечатать в Советском Союзе.

Пришлось показать книгу, по которой я читал и тираж которой был сто тысяч экземпляров.

Та же самая история произошла и с моей собственной иронической прозой. Говоря об этом жанре, я читал студентам некоторые злоключения Мемозова из «Литературной газеты», а они, как оказалось полагали, что это «подстольная литература».

Даже студенты-русисты, прекрасно знающие литературу XIX века и авангардные поиски первой четверти XX, очень плохо знакомы с сегодняшним днем нашей живой прозы. Анкета давала мне возможность и для информации.

Итак, с каждым днем мы все лучше понимали друг друга. Я забывал порой о том, что я читаю сейчас лекции где-то за двенадцать тысяч километров от дома перед какими-то там американцами, и предлагал рассуждать вместе, потому что и мне самому был крайне интересен предмет спора «как из ничего возникает нечто?», потому что нельзя в этом деле найти никаких научных истин, ничего неоспоримого, и это как раз замечательно, а ценность всего этого дела состоит лишь в шевелении мозгами.

Вот пример монодиалога в седьмой аудитории Банч-холла, дверь которой была всегда открыта на галерею, в условный воздух зимнего сада.

— Когда вы говорите «из ничего», вы, должно быть, не имеете в виду полнейшую пустоту? Конечно. Катаев прав — ведь пустоты не существует, ведь мир же материален. Вы помните, он приводит надпись на памятнике Канту, появившуюся сразу после взятия Кенигсберга: «Теперь ты видишь, Кант, что мир материален». Однако мне кажется, что у господина Катаева сквозь продуманный материализм просвечивает стихийный идеализм... Но почему же? Ведь фантазия художника — это тоже реальность. Фантазия, быть может, не менее реальна, чем шелест листвы. Простите, но это более таинственное явление! Более или менее, не правда ли? Вы шутите, сэр? О нет, я иногда полагаю, что реальные явления, окружающие нас, такие, как закаты, течение рек, камни, птицы, песок, не менее таинственны, чем фантазия.

Здесь упоминается также ю-эф-оу²⁷, то есть «неопознанный летающий объект». Вы ведь знаете, что существует гипотеза, по которой UFO — это знаки или тела, проникающие к нам из иного измерения. Одной талантливой поэтессе и не менее талантливому прозаику кажется, что наши сочинения уже существуют в мире, и даже без нашего участия. Художник лишь называет еще неназванное, он проникает в иное измерение и называет прежде невидимые тела, дает им форму, цвет и звук. Он подменяет ими жизнь, по мнению некоторых. Литература не всегда этична. Иногда она дурачит и подменяет собою жизнь. Литература девятнадцатого века заменила сам девятнадцатый век. Кто согласен? Я согласна! Я не согласен, мы не согласны! Я полагаю, что предметы искусства не подменяют жизнь, но становятся в ней новыми телами, то есть украшают жизнь и раздвигают ее границы.

Увы, они теряют часть своей таинственности, не так ли? Совершенно верно или наоборот — правда? Быть может, названные, они становятся еще более таинственными? Кто сказал, что названные нами предметы менее таинственны, чем неназванные? Вы называете небольшое существо с длинной шерстью, хвостом и круглыми глазами cat, мы называем это существо кот, но разве менее таинственным становится это пушистое существо от названий? Нам (еще, пока) не под силу проникнуть до конца в истинную суть предмета — в этом и есть главное мучение искусства...

Каждый день Неопознанный (может быть, Летающий) Гений добавлял к своей поэме на бетонном заборе новую строфу. Однажды ночью я заметил, что буквы светятся в темноте. Последняя строфа выплывала из густого воздуха слово за словом и ложилась на бетон:

Человечество, я люблю тебя
за то, что ты пишешь
светящимися красками на заборе
о том, как ты любишь себя
и как ты себя ненавидишь,
как будто никто ничего не знает...
Человечество, я тебя...

Typical American Adventure

Part III

ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ЧАСА В СУТКИ НОН-СТОП

Быть может, на маршруте «отсюда в вечность» они и пролетели бы всю пустыню Невада без остановки, если бы вдруг на горизонте не запылал раскаленными до ярости углями игорный город Лас-Вегас.

Пилота, видимо, начали мучить рефлексии. Вначале он резко задрал нос самолета, как бы уходя от соблазна повыше, потом дернулся вправо, влево и наконец, словно отбросив все сомнения, гикнулся вниз.

«Ну вот и прибыли! Крышка!» — подумал Москвич, глядя, как несутся на него пустынные улицы призрачного города и вся бесшумная, но ослепительная конкурентная борьба мировых фирм бензина, алкоголя, табака, парфюмерии, костром полыхающая в сердце Невады. «Крышка», однако, оказалась просто крышей гигантского здания. Пилот приземлился точно на три точки, но потом, видимо не рассчитав дис-

²⁷ UFO — unknown flying object.

танции торможения, стал валить одну за другой античные статуи, которыми крыша была в изобилии украшена.

Когда Москвич очнулся, он увидел над собой белоокаменное изваяние чего-то величественного. Оказалось, что они стоят у подножия скульптуры Цезаря. Он оглянулся — кто ж держит его под белы руки? Оказалось, что держат две мускулистые девицы в шлемах легионеров и в коротких римских туниках. Третья «римлянка» стояла перед ним, предлагая на подносе ключ, рюмку коньяка, счет за рюмку, а также какую-то таблицу, как впоследствии выяснилось, игру «кено».

Наивный Москвич предположил было, что он преодолел так называемый *time warp*²⁸ подобно герою Курта Воннегута Стони Стивенсону и сейчас действительно находится в Древнем Риме. «Что же, — с некоторой тоской подумал он, — выходит, мы и Древний Рим задним числом облагородили, а на деле значит — безвкусица?»

Тут повернулась в дверях дворца какая-то система зеркал, и Москвич увидел в зеркале самого себя, мускулистых девиц, за ними строй фонтанов, за фонтанами огромный бескрайний автопаркинг и понял, что он все еще в современной Америке. Наконец и название дворца увидел на огромной вывеске:

ОТЕЛЬ «ДВОРЕЦ ЦЕЗАРЯ»

Перед ним явился Босс из Топанга-каньона, его недавний пилот. Он был уже в тоге римского патриция и с лавровым веночком на седых кудрях. Любезно и многообещающе улыбаясь, он пригласил Москвича последовать за ним внутрь цезарских чертогов. Без всяких колебаний — вот ведь что делает с людьми «пограничная ситуация!» — Москвич направился вслед за Боссом и через секунду попал — в капитализм! Да-да, в тот самый классический «мир чистогана», именно такой капитализм, какой представлялся ростовскому домушнику, капитализм, где

Девочки танцуют голые,
А дамы в соболях,
Лакеи носят вина,
А воры носят фрак!

Бесконечный, как преисподняя, зал открылся взору. Тысячи людей были там. Они играли на сотнях игровых автоматов, тянувшихся правильными рядами, словно станки на заводе. Ближе к центру открылись огромные пространства с зеркальными потолками, в которых отражались зеленое сукно десятков игровых столов, катящиеся кости, фишки, веерами разворачивающиеся карты, крутящиеся рулетки, бесчисленное множество человеческих рук, снующих, трепещущих, неподвижных, предлагающих, приглашающих, вызывающих, просящих... головы же сливались в одну массу, пожую на сгустки какой-то глубоководной, может быть даже и одушевленной, протоплазмы.

Гигантский зал-пещера был подсвечен сотнями различных светильников, но в общем царил некий многозначительно уютный полумрак. Главная пещера имела ответвления,

²⁸ Переводится примерно как «временной барьер» по аналогии со «звуковым барьером» в авиации.

ниши, заливы, проливы, и оттуда выплывали навстречу Москвичу то витрины с бриллиантами, то многотысячные меха, то приглашение на грандиозное шоу с Томом Джонсом, то вдруг маленькая Япония эпохи Мэйдзи, то маленькая елизаветинская Англия и наконец, конечно же, корабль Клеопатры собственной персоной, то есть в натуральную величину и с бразильским самба-бэндом на корме.

— Ну вот, дружище...— Босс (будем уж так его называть на всякий случай) обвел рукой гигантский вертеп, обвел с некоторой вроде бы и гордостью, как будто свою собственность.— Ну вот, дружище Москвич, вы в мире, где все продается и покупается, в царстве доллара. Вот вам наши нравы, можете и миллион выиграть, можете и голову потерять. Take care!

Сказав это, он удалился бодрыми шагами теннисиста, приподняв край тоги.

«Что это за новый эксперимент? — подумал Москвич.— Зачем они завезли меня в это логово? Я и играть-то не умею ни в какие игры, и никогда у меня не было ни вкуса к этому делу, ни азарта. Никогда я не мечтал о миллионе, и вообще никогда и мыслей не было о богатстве, о роскоши...»

Тут одна из pinball-machine начала ему подмигивать словно проститутка, и он тогда решил, что весь этот Ceasar-palace с его чудовищной роскошью в стиле «кич», и игровые лабиринты, и вот это гнусное подмигиванье — все это штучки антиавтора Мемозова, его вкус, его ухмылка, его «приключение».

«Что ж,— подумал Москвич,— хочешь не хочешь, а придется принять игру. Лучше уж миллион выиграть, чем голову потерять».

И не успел он додумать до конца свою мысль, как приключение пошло дальше. В проходе между двумя рядами машин появился верзила с длинной рыжей бородкой, в зеленом свитере и белых баскетбольных кедах.

— Хай! — приветствовал он Москвича весьма дружелюбно, но несколько небрежно, так как то и дело заглядывал в ворох бумаг, что нес в руках.— Меня зовут Стивен Хеджехог. А вас?

— Меня здесь зовут Москвич.

— Значит, вы житель Москвы? Вот это здорово! Я помню этот город. В центре огромный бассейн. Я плавал там часа два после лекции перед самолетом.

Выяснилось, что Стивен Хеджехог действительно недавно побывал в Москве, где прочел русским коллегам лекцию на тему «О вечернем сползании функции тау-эпсилон в ностальгический угол банахового пространства» или что-то в этом роде. Оказалось, что новый знакомый — математик из университета UCLA и что в Лас-Вегас он попал далеко не случайно.

— Знаете ли, старина Москвич, я потратил несколько месяцев для того, чтобы разработать систему игры в Лас-Вегасе. Здесь за десятилетия сложилась громоздкая, но четко действующая структура надувательства. Сколько бы вы ни выигрывали, вы все равно проиграете в конечном счете. Я ездил сюда каждый уик-энд, наблюдал за игроками, маркерами, автоматами и делал подсчеты. Дома я обрабатывал свои наблюдения на ЭВМ, а потом уже бросал их на угольки

теории или поджаривал на огоньке фантазии. Теперь у меня в руках система беспроегрешной игры. Не рискну знакомить с ней вас, она слишком сложна, а вы гуманитарий и все равно не поймете. Важно другое. Один я не справлюсь, мне нужен ассистент, и, если вы согласитесь, мы можем за одну ночь выиграть...— он заглянул в свои бумаги, потом вынул карманный калькулятор, поиграл одним пальцем на его клавишах,— вот, последняя проверка — мы можем выиграть миллион восемнадцать тысяч шестьсот пятьдесят четыре доллара семьдесят один цент. Согласны, Москвич?

Он положил свою длинную веснушчатую руку на плечо Москвичу и заглянул ему в глаза. Он был бы похож на чудака лесоруба, если бы не полярные очки на носу и не желтая майка спортклуба «Медведи», торчащая из-под свитера, во всяком случае в нем было что-то старомодное.

— Понимаю ваше замешательство. Оно вполне оправданно. Однако я не безумец и не одержим жадной наживы. Более того, мне вообще наплевать на деньги, они мне просто ни к чему. Идея моя элементарна, любезнейший Москвич: я хочу с помощью матери Науки обыграть индустрию обмана...

Москвичу понравился университетский математик. Он подумал, что этот человек явился сюда как раз вовремя, он пришел из его собственного воображения, для того чтобы поддержать пошатнувшийся остов приключения, вернуть ему простоту, вкус и даже некоторую романтику, отмахнуть мезозовскую галиматью.

— Итак, вы согласны, старина? Я вижу, вы согласны! Я сразу понял, что вы *unsquare guy*²⁹. Итак, начнем.— Он вытащил из кармана тугих джинсов точнейшие электронные часы.— Время начать, и начать нам надо именно с этой уродины!

Резко повернувшись, Стивен Хеджеhog швырнул полтинник в пасть двусмысленному автомату. Потрясенный неожиданной атакой, автомат задрожал, завибрировал, проскрежетал недовольным голосом Мемозова: «Несогласен, не по правилам, буду жаловаться...» — потом вдруг со звоном и миганьем разноцветных ламп разразился *jackpot*, то есть полной выдачей.

— Там триста семьдесят восемь,— не глядя сказал математик.— Собирайте выручку, Москвич, вот вам мешок. Теперь мы с вами разделимся. Вы пойдете по этому ряду, я по соседнему. Вот вам схема, вот часы. Старайтесь бросать монету и нажимать рычаг точно в указанное время у точно указанного автомата. Успеха вам не желаю — он запрограммирован.

Затем началась величайшая Ночь в истории «Дворца Цезаря», что в Лас-Вегасе, штат Невада. Слухи об этой ночи до сих пор еще приводят в трепет княжеский двор Монако, республику Монте-Карло, не говоря уж о короле эстрады Фрэнке Синатре.

Два джентльмена гуляли по рядам игровых автоматов, не задерживаясь ни у одного из них более чем на пять минут, и собирали обильный урожай долларов. Вначале они несли мешки с выручкой за плечами, потом приспособили тележки для перевозки багажа и продолжали прогуливаться

²⁹ Неквадратный парень.

по игровому залу словно обыкновенные легкомысленные пассажиры международной авиации.

Первой заметила этих чудо-джентльменов тетьа Маша из Миннесоты. Конечно, заахала и побежала за полицией. Вскоре место действия было оцеплено охраной «Паласа» и муниципальной полицией Лас-Вегаса. Оружие было взято наизготовку, однако до поры до времени не пущено в ход — все было по закону. Никому из граждан не запрещается выигрывать подряд у всех автоматов Лас-Вегаса. На всякий случай, однако, полиция вызвала к «Сизар-паласу» несколько карет «скорой помощи» и пожарную команду. Естественно, Эн-Би-Си уже вела прямую передачу с места действия. Операторские краны висели над головами удачливых джентльменов, а нахальные комментаторы подсовывали им микрофоны.

— Гласность, господа,— вот главная сила любого общества! — с быстротой пулемета философствовал главный комментатор Болдер Гуизгулидж.— В условиях безгласности эти два удачливых парня давно были бы уже растерзаны толпой неудачников.

«Боюсь, что он ошибается,— думал Москвич, огребая очередной выигрыш,— неудачники всегда обожают удачников, ибо видят в них свое, а в себе их будущее».

— Особенно в Америке,— продолжил его мысль Стивен Хеджехог, очищая очередной автомат, а в следующий уже засаживая точно по схеме полтину.— Все дело в масштабах. Огромная удача или афера всегда вызывает восторг. Это отзвук *great american dream*³⁰, которую необходимо развенчать еще при жизни нашего поколения, что мы сейчас и делаем.

Работа была нелегкая, потребовалось несколько часов, для того чтобы опустошить все автоматы «Дворца».

— Вы еще на ногах, Москвич? — спросил Стивен, когда они встретились в центре зала каждый со своей тележкой, уже слегка осевшей под долларovým грузом.

Да, конечно, теперь уже вокруг них бушевала традиционная Америка, все было как в фильмах тридцатых годов: искаженные от восторга лица, вспышки фотоблицев, белозубые красавицы с протянутыми руками... Америка рекордов!

— Теперь по моей системе мы должны перейти на карточные столы,— говорил Стивен своему ассистенту так, как будто и не замечал вокруг никого.— Однако вам без тренировки будет тяжело. План таков. Я выхожу один на карточные столы, а вы идете отдыхать в свой номер. Через час мы встретимся и уже вдвоем растрясем рулетку. Рулетка, старина, это пик моей системы!

Он загоготал, подтолкнул к Москвичу тележку с его долей и ринулся к зеленому сукну, плотноядно потирая руки.

— Будьте осторожны, Стивен! Берегитесь картежной горячки! — крикнул ему вслед Москвич.

Он двинулся к лифтам, толкая тележку. Репортеры подсовывали ему свои «майки».

— В чем причина ваших успехов, сэр?

— Стабильность,— коротко и ясно ответил Москвич.

— Как вы думаете, к чему нас приведет дальнейшее повышение цен на автопокрышки?

³⁰ Великая американская мечта.

— К стабильности.

— Чего, по-вашему, не хватает движению «Women's Liberation»³¹?

— Стабильности.

Ответы произвели очередную сенсацию, свалку и помогли Москвичу вкатить свою коляску в лифт и беспрепятственно подняться на десятый этаж.

В коридоре было пустынно. Пахло грехом. Отражаясь и справа и слева в бесконечной системе зеркал— таков стиль «роскошного палаццо»,— Москвич вкатился в свой номер и, отбросив шторы балдахина, упал на кровать — ноги ныли от усталости.

Блаженно потягиваясь, он перевернулся на спину и увидел себя на потолке блаженно потягивающимся. Что за черт? От неожиданности он привскочил и на постели и на потолке.

— А для чего же на потолке-то над постелью-то зеркало? — подумал вслух наивный малоиспорченный Москвич.

— Для секса,— был ответ, сопровождаемый гадким смешком.

— Мемозов, опять вы?

— At your service!³²

В углу зеркала появилась скабрзная физиономия автора в фиолетовых очках и с тоненькой сигарилло под усами.

— Это что же, принудительное озеркаливание секса или осексуаливание зеркал? — попытался пошутить Москвич.

— Нет ли у вас желания попросить здесь, в «Сизар-палас», сексуального убежища? — будто бы мимоходом поинтересовался Мемозов.

— Что за вздор вы несете, Мемозов? — пробурчал Москвич.

— Ха-ха-ха! — привычно и гулко захохотал антиавтор.— Говоря об убежище, я имею в виду свой идеал. Например, на Гавайских островах мне приходит в голову мысль о климатическом убежище. В универмаге «Sax Fifth avenue» я жажду промтоварного убежища. Здесь, в «Сизаре», с вашими деньжищами, миляга, вы можете попросить сексуального убежища и получите!

— Ну, знаете, Мемозов! — задохнулся от возмущения Москвич.— Почему вы оскорбляете подобными предложениями? Вообще, что за настырность? Кто вас приглашал в Америку?

— Не знаю, как вы здесь появились, а я уроженец этой страны,— вздулся вдруг Мемозов надменным пузырьрем.

— Перестаньте пучиться,— с досадой и брезгливостью поморщился Москвич.— Вас всюду выталкивают из сюжета, а вы все появляетесь. Не далее как сегодня ночью вас выдал локтем отсюда истинный уроженец этой страны математик Стивен Хеджеhog, потомок пилигримов «Мэйфлауера».

— Бсссы-пхе-пхе-пхе,— вот в некотором приближении смешок Мемозова.— Наивнейший вы человек, миляга. Сейчас вы увидите, куда выталкивается ваш потомок и куда во-

³¹ «Освобождение женщин».

³² К вашим услугам!

обще поворачивается ваше американское приключение. Включайте ящик! Дистанционное управление справа от вашей бесценнейшей головы.

Раздвинулись шторы, и осветился огромный экран цветного телевизора. На экране крупным планом появился Стив Хеджехог, но — что это? — вид его был неузнаваем: длинные сильные пальцы баскетболиста тряслись, еле удерживая карты; рыжая борода, еще недавно столь победно проплывавшая над толпой, теперь намокла и скрутилась, как вопросительный знак; глаза, в которых еще недавно среди танцующих электронов подпрыгивал словно «Джек в коробочке» Великий Американский Юмор, теперь текли киселем и в них расплывалась неверная, сосущая, манящая Великая Американская Мечта, которую сам же математик еще недавно так успешно развенчивал.

Вокруг продолжала бесноваться «Америка рекордов». Две ярчайшие блондинки с классически огромными бюстами висели на плечах Стивена, нашептывая «дарлинг...ю лаки бой...ю чарминг», но ближе к столу, скрестив на груди недвусмысленно тяжелые руки, стояли уже каменнолицые типы в серых костюмах, а в глазах крупье уже светилась холодная насмешка.

Москвич догадался, что произошло, и голос комментатора Болдера Гуизгулиджа подтвердил его догадку:

— Вы видите, леди и джентльмены, очередное крушение еще не родившегося мифа. Железный математический интеллект не выдержал схватки с сиренами Лас-Вегаса. Одиссей из Ю-Си-Эл-Эй, охваченный игорной лихорадкой, проигрывает, проигрывает, проигрывает...

Ужас охватил Москвича. Надо бежать спасать Стивена! Он сжал в кулаке штучку дистанционного управления. Переключились каналы, и на экране телевизора появился он сам, Москвич, распростертый на дурацкой кровати под балдахин. Голос комментатора верещал:

— По пятому каналу мы ведем прямую передачу из спальни мистера Моускуича, напарника мистера Хеджехога по баснословному выигрышу в невадских «пещерах Аладдина». Только что наш сотрудник провел с мистером Моускуичем интервью на тему о сексуальной революции в нашей гемисфере. Сейчас мы намерены... Но что это? Мистер Моускуич проявляет признаки беспокойства, даже паники, он вскакивает, бросается к дверям, наши операторы не успевают за ним, он несется по коридору, оставляя в своей спальне мешки с выручкой. Вы видите эти мешки на своих экранах, леди и джентльмены, там золото, в этих мешках, золото, золото, золото!

Экран телевизора отражался в бесконечных зеркалах «Сизар-паласа», и Москвич, пока бежал, мог видеть себя бегущего и в зеркалах и на экране, а потом и мешки с так называемым золотом, а потом неожиданно...

Беззвучные ночные молнии разодрали небо над пустынным городом, то ли Римом, то ли Лас-Вегасом, в углу экрана закипело листвою под ветром огромное дерево. Вдоль тротуаров громоздились статуи легионеров и центурионов, а между ними робко мелькало белое пятно. Оно приблизилось и оказалось Той Самой в белых одеждах.

Медленно, беззвучно к ней приближался старинный автомобиль. Мелькнули светящиеся глаза, надломилась загорелые руки. Изображение исчезло.

Москвич вбежал в лифт.

Через несколько минут ему удалось пробиться к центру событий, к столу с зеленым сукном, за которым бывший математик и интеллектуал Стивен Хеджехог теперь истерически хохотал, словно офицерик в захолустном гарнизоне, бросил карты и дул шампанское.

— Я отыграюсь, Москвич, вы увидите, я отыграюсь! — закричал он, схватил недавнего своего ассистента за плечо, пылая безумными глазами. — Система сломана! Гадина жива! Но я отыграюсь! Увидите, я отыграюсь! Тащите сюда ваши мешки!

Над ними сталкивались краны, слышались проклятья: операторы первого и пятого каналов, встретившись, вели борьбу за пространство.

— Я очень извиняюсь, Стивен, — тихо сказал Москвич, — прошу меня простить за банальный поворот сюжета, но нам сейчас придется рвать когти, и будет погоня с выстрелами и прочей шелухой. Прошу внимания! — произнес он громко. — Мы с мистером Хеджехогом выходим из игры!

Взрыв яростного возмущения был ответом на это заявление. «Америка рекордов» бушевала — священная жертва ускользала из пасти Молоха!

— Вот ключ, — сказал Москвич прямо в «майк», чтобы его услышали повсюду. — Это ключ от моего номера, а там мешки с золотом, золотом, золотом!!!

Он размахнулся и швырнул ключ куда-то в гущу толпы.

Началась свистопляска, давка, безумие. Не прошло и пяти минут, как игровой зал «Сизар-паласа» полностью очистился.

Исчезли «сирены», преобразился и «Одиссей». Хеджехог опомнился. Через весь огромный зал друзья бросились к выходу, прихватив, разумеется, последний, похудевший, но все-таки еще не тощий мешок с деньгами. Только в дверях их настигли выстрелы. В разных углах гигантской пещеры уютный полумрак разрывался огнем автоматов. Эти первые очереди, однако, прошли мимо, и смельчаки выскочили из отеля под волшебное ночное небо Невады.

Этот город, дорогой читатель, не засыпает никогда. Рестораны, бары, спортзалы, магазины открыты в нем круглые сутки. Нон-стоп. В любое время суток вы можете здесь купить, например, автомобиль любой мировой марки. Ну разве что только «Запорожец» не всегда купите.

Так вот, в магазин фирмы «Порше» ввалились среди ночи двое, швырнули кассиру мешок денег и заказали два спортивных автомобиля по сто пятьдесят «кобыленок» в каждом.

Еще через несколько минут два черных лакированных жука с ревом уже неслись по главной улице Лас-Вегаса мимо спящих неоновых стен, стремительно приближаясь к городской черте, к огнедышащей даже и по ночам пустыне.

В пустыне, как известно, нередки миражи, и вскоре мираж покинутого города встал впереди слева по курсу нашего Москвича, над холмами-истуканами и деревьями Джошуа. Это не удивило и не особенно огорчило его. Огорчило дру-

гое — славный его приятель, герой сегодняшней горячей ночки, интеллеktуал, бросивший вызов Лас-Вегасу, Стивен Хеджехог тоже постепенно становился чем-то вроде миража. Вначале его автомобиль летел рядом, потом все больше стал отлетать куда-то вбок, потом понесся по параллельной и явно миражной дороге, а затем, бросив уже и эту дорогу, запетлял меж пустынных призраков с явной целью — раствориться в ночи.

— So long! — крикнул ему Москвич. — Take care, Stiven!

— Take care, Москвич! — донеслось откуда-то будто из дальних времен, и потомок пилигримов исчез окончательно.

Жалей не жалей, что поделаешь — пришло время Стивену вылететь из сюжета, и он вылетел, хотя, как видим, не без некоторого шика.

Едва он исчез, как появилась погоня. Так и полагалось. Три огромных «джипа» преследовали машину Москвича, но были они, как ни странно, не сзади, а впереди черного, полированного, как пианино, «порше».

Из двух крайних «джипов», заполненных «мафиози», прямо в упор, в лицо Москвичу шла интенсивная, но почему-то неопасная стрельба. Из «джипа»-коренника не стреляли. Там стоял, повернувшись лицом к нашему герою, сереброкудрый красавец Босс в римской тоге. Он пел, оглашая всю пустыню своим чудеснейшим баритоном:

Born free!
As free as a wind blows,
As free as a grass grows...
Born free!³³

ДВИЖЕНИЕ И СТИЛЬ

Осенью 1967 года, то есть около восьми лет назад, в Лондоне я впервые увидел хиппи. Тогда они только начинались как наиболее эксцентрическое выражение новой молодежной культуры. Культура возникала спонтанно, никто, конечно, ее не насаждал, она зарождалась в пабах Ливерпуля, где впервые ударили по струнам Джон Леннон, Джордж Гаррисон, Ринго Стар и Пол Маккартни, в маленьких лавчонках Мэри Квант вдоль знаменитой Кингз-роуд в Челси.

Тысячи страниц уже написаны об этом, и совершенно четко установлено, что молодежь протестовала против кастовых основ буржуазного общества. Мэри Квант взмахом ножниц открыла девочкам ноги. Парни-портные с Карнеби-стрит, что в двух шагах от лондонского Сити, заполненного черными сюртуками, котелками и брюками в мелкую полоску, шили немыслимо яркие рубашки и галстуки, невероятной ширины джинсы... Все танцевали и пели новую поп-рок-музыку.

Из Калифорнии приплыли первые хиппи, нечесаные, лохматые, в бубенчиках, бусах, браслетах. Тогда о них говорили на всех углах и во всех домах. В Лондоне той осенью был особый, какой-то предреволюционный аромат. Кажется, Стендаль писал — несчастен тот, кто не жил перед революцией. Быть может, каждое новое молодое поколение томится от желания жить в такое время. Несколько месяцев

³³ Родись свободным! Таким свободным, как дующий ветер! Таким свободным, как растущая трава! Родись свободным!

назад прошел по экранам фильм Антониони «Blow-up»³⁴, в котором он показал новый молодой Лондон и дал ему кличку *swinging*, что значит приблизительно «пританцовывающий, подкручивающий». «Бабушка Лондон» становился Меккой мировой молодежи.

Я, помню, очень жаждал посетить все эти гнездовья, и, конечно, не только потому, что все еще считал себя «молодежным писателем», но и потому, что чувствовал ноздрями, ушами, глазами, всей кожей пьянящий воздух перемен.

Там было весело тогда, в ноябре 1967-го! На маленькой Карнеби-стрит в каждой лавочке танцевали и пели под гитару. На Портобелло-роад вдоль бесконечных рядов толкучки бродили парни и девочки со всего мира и в пабах и на обочине пили темное пиво «гиннес» и говорили, бесконечно говорили о своей новой новизне. Тогда у меня была в руках хипповая газета «IT» («International Times»)³⁵, и я переводил оттуда стихи про Портобелло-роад:

Суббота, фестиваль всех оборванцев-хиппи.
На Портобелло-роад двухверстные ряды,
Базар шарманщиков, обманщиков,
адвокатов и акробатов,
турецкой кожи, индийской лажи,
испанской бахромы, и летчиков хромых,
и треугольных шляп
у мистера Тяп-Ляп,
томов лохматой прозы
у мистера Гриппозо,
эму и какаду...
Я вдоль рядов иду.
Я чемпионка стрипа,
в носу кусты полипов,
под мышкой сучье вымя,
свое не помню имя...
Здесь пахнет Эл-Эс-Ди,
смотри не наследид!

Мы шли в «Индиго-шоп», магазинчик и идейный центр *hippies movement*³⁶. Вот именно *movement*, движение — так они и говорили о себе.

Стройный смысленый паренек с огромными, в мелкие колечки завитыми волосами (прическа *afro-hairdo*), так и быть, согласился по-толковать с русским прозаиком. Мы сидели на ящиках в подвале «Индиго», где несколько его друзей работали над плакатами в стиле поп-арт и над значками с дерзкими надписями.

Между прочим, плакаты и значки уже тогда стали приносить хиппи некоторый доход, но они еще не понимали серьезности этой маленькой связи с обществом.

— Наше движение рвет все связи с обществом,— говорил мне пышноголовый Ронни (будем так его называть).— Мы уходим из всех общественных институтов. Мы свободны.

— Знаете, Ронни, ваша манера одеваться напоминает мне русских футуристов в предреволюционное время. Вообще есть что-то общее. Вы слышали о русских футуристах?

— Э?

— Бурлюк, Каменский, Маяковский,— не поднимая головы, про- бурчал один из пещерных художников.

— А, эти! — ничуть не смущаясь, воскликнул Ронни.— Ну, наши цели много серьезнее!

— Цели, Ронни? Значит, все-таки есть цели?

³⁴ «Увеличение».

³⁵ IT — неодоушевленное «это». В аббревиатуре смысл шутки.

³⁶ Движение хиппи.

Парень загорелся. Я даже и не предполагал такой страсти у сторонника полного разрыва с обществом.

— Мы уходим из общества не для того, чтобы в стороне презирать его, а для того, чтобы его улучшить! Мы хотим изменить общество еще при жизни нашего поколения! Как изменить? Ну хотя бы сделать его более терпимым к незнакомым лицам, предметам, явлениям. Мы хотим сказать обществу — вы не свиньи, но цветы. Flower power! ³⁷ Ксенофобия — вот извечный бич человечества. Нетерпимость к чужакам, к непринятому сочетанию цветов, к непринятым словам, манерам, идеям. «Дети цветов», появляясь на улицах ваших городов, уже одним своим видом будут говорить: будьте терпимы к нам, как и мы терпимы к вам. Не чурайтесь чужого цвета кожи или рубахи, чужого пения, чужих «измов». Слушайте то, что вам говорят, говорите сами — вас выслушают. Make Love not War! ³⁸ Любовь — это свобода! Все люди — цветы! Ветвь апельсина смотрит в небо без грусти, горечи и гнева. Учитесь мужеству и любви у апельсиновой ветви. Опыляйте друг друга! Летайте!

Произнеся этот монолог, теоретик раннего хиппизма надел овечью шкуру и головной убор, который он называл «всепогодной мемориальной шляпой имени лорда Китчинера», и пригласил нас провести с ним вечер в кабачке «Middle Earth» ³⁹, что возле рынка Ковент-гарден.

Перед «Средней Землей» стояла очередь (очередь у входа в лондонский кабачок — это невероятно!), но у Ронни, конечно, был там блат и мы пробрались внутрь через котельную.

Внутри всех гостей штамповали между большим и указательным пальцами изображением индейки. Сподвижники Ронни по всему подвалу пускали розовый, желтый, зеленый, черный дым. Сквозь дымовой коктейль оглушительно врубала поп-группа «Мазутные пятна».

Ронни сбросил шкуру и готтентотский свой треух, ринулся в дым и начал танцевать, извиваясь и подпрыгивая. Мы толкались в «Средней Земле» часа полтора, а Ронни все танцевал без передышки. Иногда он выныривал из дыма — извивающийся, с закрытыми глазами, что-то шепчущий — и снова пропадал в дыму.

Наконец мы очутились на поверхности, в патриархальной литературной тишине рынка Ковент-гарден (цветочница Элиза!), среди проволочных контейнеров с брюссельской капустой. Мы долго шли пешком по мокрым тихим лондонским улицам, отражаясь в ночных погашенных витринах всей нашей «бандой» — Аманда, Джон, Ольга, Габриэлла, Николас... Мы говорили о хиппи, о футуристах, о ксенофобии...

Впереди нас шествовали два шестифутовых лондонских бобби, ночной патруль. Встречные спрашивали полицейских, как пройти к «Middle Earth». Те объясняли вежливо:

— Сначала налево, джентльмены, потом направо, однако мы не советуем вам туда ходить, это неприличное место.

Что стало с той нашей компанией образца осени 1967-го? Я их никого до сих пор не встречал, но слышал, что кто-то стал членом парламента, кто-то профессором, кто-то астрологом... Так или иначе, но эти западные молодые люди за истекшее восьмилетие ходили дорожкой хиппи, а Аманда по ней добралась даже до Непала. Однако, кажется, вернулась, защитила диссертацию и родила дитя.

И вот через восемь лет я оказался в Калифорнии, на том западном берегу, где как раз и возникло это странное «движение» западной молодежи.

³⁷ Власть цветов!

³⁸ Делайте любовь, но не войну!

³⁹ «Средняя Земля».

...— Ты видишь? Вот здесь в семьдесят втором году яблоку негде было упасть — повсюду сидели хиппи...

Перед нами залитый огнем реклам Сансет-стрип. Рекламы водки, кока-колы, сигарет. Одна за другой двери ночных клубов. Пустота. Тишина. Лишь идет, посвистывая, ночной прохожий. Постукивают сто долларовые башмаки. Ветерок откидывает фалду отличного блейзера.

...— Ты видишь? Вот здесь, собственно говоря, и появились первые хиппи. Здесь родилось это слово. Раньше здесь яблоку негде было упасть...

Перед нами перекресток Хайтс-Ашбери в Сан-Франциско. Бежит кот через дорогу. На столбе сильно подержанная временем листовка «Инструкция по проведению пролетарских революций в городских кварталах». Открывается со скрипом дверь, появляется сгорбленный человек лет пятидесяти, весь почему-то мокрый до нитки, капли каплют с волос, бровей, носа. Скользнув невидящим взглядом остекленевших глаз, тащится мимо.

...— Ты видишь? Вот здесь собирались большие хиппи. Это был big deal ⁴⁰! Здесь, возле ресторана, жгли костер, над ним кружились вороны, а из темноты подходили все новые и новые ребята, потому что Пасифик-коуст-хайвэй буквально был усыпан хиппи-хичкайкерами ⁴¹.

Перед нами бывший костер «больших хиппи», забранный в чугунную решетку и превращенный в камин. Мы на застекленной веранде ресторана «Натэнз», висящей над океаном, в сорока милях от Монтерее. Посетителей много, аппетит хороший, настроение, по-видимому, преотличное. Судя по ценам, клиентура ресторана — иррег middle class ⁴². А есть ли здесь хоть один хиппи, не считая официантов, одетых а-ля хиппи? Вон сидит старая женщина с очень длинными седыми волосами, с закрытыми глазами, с худым лицом индейского вождя, она — старая хиппица...

Хиппи — кончились! Их больше нет?!

Между тем за прошедшее восьмилетие даже в нашем языке появились слова, производные от этого странного hippie... «Хипня», «хипую», «захиповал», «хипово», «хипари»...

Между тем во всех странах Запада оформилось, развилось, разрослось явление, которое называют теперь hippies style — «стиль хиппи». Массовая культура, развлекательная и потребительская индустрия, перемальвает этот стиль на своих жерновах. Майки с надписями и рисунками — гигантский бизнес. Джинсы заполнили весь мир. Куртки, сумки, прически, пояса, пряжки, музыка, даже автомобили — в стиле одинокого мореплавателя-хиппи, плывущего свободно и отчужденно через море страстей; в стиле одинокого монаха, бредущего по свету под дырявым зонтиком. Монах-расстрига, беглец из Тибета, Ринго Стар, ах, обалдеть — that's a picture ⁴³! «Движение» превратилось в «стиль».

Ты, Ронни, наивный теоретик ранних хиппи, детей цветов, провозглашающих власть цветов, разве ты не знал, что на цветок, засунутый в ствол, карабин отвечает выстрелом?

Ты был романтик, Ронни, ты даже в бесовских игрищах хунвейбинов находил романтику. Разве ты не знал, что и молодые наци называли себя романтиками?

⁴⁰ Большое дело (широко распространенное многозначное выражение).

⁴¹ Хичхайкинг — автостоп.

⁴² Высший средний класс.

⁴³ Что за картина!

Я помню демонстрацию «флауэр пипл» возле вокзала Виктория солнечным ноябрьским днем 1967-го. Лондон тогда поразил меня обилием солнца и молодежи. Как он отличался от литературного стереотипа «туманного, чопорного, чугунного!..». Они ничего не требовали в тот день, а просто показывали себя солнцу и Лондону, свои огромные рыжие космы, банты, галстуки, колокольчики, бусы, браслеты, гитары... Цветы, власть цветов — смотрите на нас и меняйтесь! Грядет революция духа, революция любви!

Не пройдет и года, как «квадраты» в полицейской форме будут избивать «неквадратный народ» и в Париже, и в Чикаго, и в других местах мира.

Месяц за месяцем все больше и больше оранжерея превращалась в костер. Кабинетные социологи, разводя холеными ладонями, объясняли бунт молодежи повышением солнечной активности. Вгуще хиппи, в котле, кто-то, но только уж не Аполлон сбивал мутовкой масло, и раскаленные шарики выскакивали на поверхность — воинственные хиппи, «ангелы ада», «городские герильеры», а потом и гнусные сучки-имбецилки, слуги «сатаны» Менсона. Диалектика давала предметный урок любителям ботаники. Хоть расшиби себе лоб о стенки — повсюду «единство противоположностей», повсюду резиновые пули, слезоточивый газ.

Они еще долго бунтовали, забыв про «власть цветов», превращая кампусы в осажденные города, требуя, требуя, требуя...

Тишайший профессор в Беркли рассказывал:

— Тревожное было время, господа, и не совсем понятное. Однажды читаю я лекцию, и вдруг распахиваются в аудитории все двери и входит отряд «революционеров». Впереди черный красавец, вожак. «Что здесь происходит? — гневно спрашивает он. — Засоряете молодые умы буржуазной наукой?» «Позвольте, говорю, просто я лекцию читаю по тематическому плану». — «О чем читаете?» — «О русской поэзии, с вашего позволения». — «Приказ комитета, слушайте внимательно: с этого дня будете читать только революционного поэта Горького, и никого больше!» — «А Маяковского можно?» — «Оглохли, профессор? Вам же сказано — только Макса Горького, и никого больше!» — «Однако позвольте, но Алексей Максимович Горький больше известен в мировой литературе как прозаик, в то время как Владимир Владимирович Маяковский...» Они приблизились и окружили кафедру. Голые груди, длинные волосы, всяческие знаки — и звезды, и буддийские символы, и крестики, а главное, знаете ли, глаза, очень большие и с очень резким непонятным выражением. Нет, не угроза была в этих глазах, нечто другое — некоторое странное резкое выражение, быть может, ближе всего именно к солнечной радиации... «Вы что, не поняли нас, проф?» — спросил вожак. «Нет-нет, сэр, я вас отлично понял», — поспешил я его засилить... Между прочим, ба, как интересно! — прервал вдруг сам себя профессор. — Вы можете сейчас увидеть героя моего рассказа. Вон он, тот вожак!

Профессор показал подбородком и тростью — слегка.

Мы шли по знаменитой Телеграф-стрит в Беркли. Здесь еще остались следы бурных денечков: в некоторых лавках витрины были заложены кирпичом. Витрины этой улицы оказались, увы, главными жертвами молодежных «революций», безобиднейшие галантерейные витрины. Я повернулся по направлению профессорской трости и увидел чудеснейшего парня. Он сидел на тротуаре в позе «лотос», мягко улыбался огромными коричневыми глазами и негромко что-то наигрывал на флейте. Улыбка, казалось, освещала не только лицо его, но и всю атлетическую фигуру, обнаженный скульптурный торс и сильно

развитые грудные мышцы и грудь, на которой висело распятие. Свет улыбки лежал и на коврик перед флейтистом. На коврик были представлены металлические пряжки для ремней — его товар. Рядом, склонив голову, слушая музыку, сидела чудаковатая собака, его друг.

Я тоже прислушался: черный красавец играл что-то очень простое, лирическое, что-то, видимо, из средневековых английских баллад.

— Вы видите, он стал уличным торговцем,— сказал профессор.— Многие наши берклийские «революционеры» и хиппи стали сейчас уличными торговцами.

Я посмотрел вдоль Телеграф-стрит, на всех ее торговцев и понял, что это, конечно, не настоящая торговля, что это новый стиль жизни.

На обочине тротуара была разложена всякая всячина: кожаные кепки и шляпы, пояса, пряжки, поясные кошельки, джинсовые жилетки, поношенные рубашки US, air force⁴⁴ с именами летчиков на карманах (особый шик), брелоки, цепочки, медальоны и прочая дребедень. Торговцы, парни и девушки, сидели или стояли, разговаривали друг с другом или молчали, пили пиво или читали. Одеты и декорированы они все были весьма экзотично, весьма карнавално, но вполне по нынешним временам пристойно и чисто и, собственно говоря, мало отличались от нынешнего калифорнийского beautiful people⁴⁵. Правда, все они курили не вполне обычные сигареты и не вполне обычный сладковатый дымок разведал океанский сквознячок вдоль Телеграф-стрит, но, впрочем...

В то время, когда одни бунтовали, другие ныряли в иные неземные и невоздушные океаны, делали trip, то есть отправлялись в «путешествие» к вратам рая. Страшный наркотик LSD открывал истину, как утверждали его приверженцы. В газетах то и дело появлялись сообщения о том, что очередной хиппи, приняв эл-эс-ди, вообразил себя птицей и сыграл из окна на мостовую.

Хиппи шли дорогой контрабандистов, но в обратном направлении, к маковым полям, через Марокко и Ближний Восток в Пакистан, Индию, Бангладеш, Непал... Себя они считали истинными хиппи, groovy people, в отличие от подделки, от стилияг, от «пластмассовых».

Несколько лет назад девушка из нашей лондонской компании шестьдесят седьмого года писала мне:

«Ты знаешь, у нас образовалась family, семья, и это было очень интересно, потому что все были очень интересными, все понимали музыку и философию и, конечно, делали trip.

...Мы были на острове Сан-Лоренцо в доме Джэн Т., которую ты, к сожалению, не знаешь. Мы все лежали по вечерам на пляже и старались улететь подальше от Солнечной системы.

Однажды наш гуру Билл Даблю сказал, что его позвал Шива, и стал уходить в море. Мы смотрели, как он по закатной солнечной дорожке уходил все глубже и глубже, по пояс, по грудь, по горло... Всем был интересен этот торжественный момент исчезновения нашего гуру в объятиях Шивы. Многим уже казалось, что и они слышат зовы богов. Мне тоже казалось, кажется.

Но Билл не исчез в объятиях Шивы, а стал возвращаться. Он сказал, что когда вода дошла ему до ноздрей, он услышал властный приказ Шивы — вернуться!

Конечно, наша family после этого случая стала распадаться, ведь многие стали считать Билла Даблю шарлатаном. Я тогда с двумя мальчиками уехала в Маракеш, а потом, уже в 1971 году на фестивале в Амстердаме, ребята сказали, что Билла убили велосипедными

⁴⁴ США. военная авиация.

⁴⁵ Красивый люд.

цепями в Гонконге, в какой-то курильне. Все-таки он был незаурядный человек...»

Кажется, автор этого письма сейчас уже покончила с юношескими приключениями и благополучно причалила к берегу в пределах Солнечной системы.

Сейчас в Калифорнии я увидел, что трагическое демоническое увлечение наркотиками вроде бы пошло на спад. Конечно, остались больные люди, и их немало, но мода на болезнь кончилась. Сильные яды не пользуются прежним спросом, лишь сладкий дымок зеленой травки по-прежнему вьется по улицам калифорнийских городов. Односложные словечки «грасс», «доп», «пот», «роч» услышишь чуть ли не в любой студенческой компании. Бумагу для самокруток продают во всех винных и табачных лавках. В печати дебатруется проблема легализации марихуаны. Сторонники утверждают, что слабый этот новый наркотик не дает привыкания и гораздо менее опасен, чем древний наш спутник алкоголь.

Я пробовал курить марихуану. Ну как, скажите, писателю удержаться и не попробовать неиспытанное еще зелье? В американские дискуссии вмешиваться не хочу и тем более не даю никаких рекомендаций. Опишу только вкратце церемонию курения.

Однажды мы ехали с Милейшей Калифорнийкой на студенческую вечеринку. Неожиданно Милейшая Калифорнийка попросила остановиться. Я заехал на паркинг-лот, а она выпрыгнула из машины, вбежала в ближайшую лавочку liquor shop⁴⁶ и через пару минут вышла оттуда, смеясь.

— Что это вы смеетесь? — спросил я.

— Да просто потому, что там все смеются. Я спросила у них бумагу, а они говорят: что там случилось на паркинг-лот? Всем понадобилась бумага...

На вечеринке сначала ели стоя и пили вино, тоник и коку. Потом вся эта стоячая масса, освободившись от тарелок, пришла в движение — начались танцы. Новый танец buptr, столкновение бедрами, для смеха припомним автомобильный бампер. Потом, уже в разгаре ночи, уселись на пол в кружок, и по кругу поплыла самокрутка. Каждый делает одну затяжку, задерживает дыхание и передает соседу бычок. Затем бычок превращается в то, что у нас называется чинарик, а в Калифорнии «роч». Выбросить «роч» нельзя — дурной тон. В него вставляется кусочек спички, и он докуривается до самого конца, до деревяшки. В перерывах между затяжками компания болтает, чешет языки на любые темы, пьет вино, курит обычные сигареты, ест торт и тэ пэ... словом, никакого трагизма или надрыва не обнаруживается.

Я уже сказал, что не вмешиваюсь в американскую полемику и тем более не даю никаких рекомендаций, и не только по причине своей внетерриториальности, но и по неопытности. Грешным делом, я не успел ничего особенного почувствовать после курения марихуаны, если не считать какого-то обостренного, но благодушного юмора да некоторой дезориентации во времени — кажется, что уж и вся ночь прошла, а по часам всего пятнадцать минут.

Я хочу лишь сказать, что американское общество приспособливает даже и эту грозную страсть хиппи — наркотики. Демонический вызов обществу и реальному миру оборачивается стилем, игрой. Не удивлюсь, если через год над городами появятся рекламные плакаты сигарет с марихуаной, разумеется снабженные предупреждением Генерального Хирурга.

⁴⁶ Винная лавка.

А где же нынче хиппи? Неужто так быстро уже полопались эти очередные «пузыри земли»?

Да нет же — еще пузырятся. Больше того, фигура хиппи уже стала одной из традиционных фигур американского общества наряду с былинными ковбоем и шерифом. Я видел колонии хиппи в лос-анджелесском районе Венес на берегу океана. Они живут там в труппных домах, сидят на балконах, поджариваясь на солнце, или лежат на газонах и пляжах, стучат день-деньской в тамтамы, слушают «лекции» бродячих философов-свами.

Одни хиппи ничего не делают, другие уходят в религиозные поиски. Фанатики «Рама Кришна» — это тоже, конечно, разновидность хиппи. Есть сейчас также и хиппи-трудяги. Одна family, например, держит ресторан.

Кстати говоря, это единственный ресторан в Лос-Анджелесе, куда по вечерам стоит очередь. Называется он довольно забавно: «Great American Food and Beverage Company», что впрямую переводится как «Великая американская компания продовольствия и напитков», но если представить себе ресторан подобного рода в Москве, то название это следует перевести иначе — ну, что-нибудь вроде «Министерство пищевой промышленности РСФСР».

Как ни странно, еда здесь действительно потрясающая. Ребята сами готовят национальные американские блюда вроде жареных бычьих ребер с вареньем или трехпалубных техасских стейков и делают это с увлечением, наслаждаются аппетитом гостей и очень обижаются, если кто-нибудь оставит хоть кусочек на тарелке.

— Эй, folks⁴⁷, что-нибудь не так? Почему остановились? Нет-нет, нельзя, чтобы такая жратва пропадала. Если не съедите, я вам тогда в пакет уложу остатки. Завтра сфинишируете, ребята.

Однако не только из-за еды стоит сюда очередь. Здесь все поют, все члены семьи, все официанты и бармены, поют, пританцовывают, подкручивают. Быстро передав заказ на кухню, длинноволосый паренек бросается к пианино, играет и поет что-нибудь вроде «Леди Мадонна». В другом углу две девочки танцуют бамп, в третьем — гитарист исполняет старинную ковбойскую балладу.

Вот в этом видится некоторое новшество: семья хиппи, занятая общественно полезным делом.

Мне кажется, что для определенных кругов американской молодежи временное приближение или даже слияние с хиппи, так сказать, «хождение в хиппи», становится как бы одним из нормальных университетов, вроде бы входит уже в национальную систему воспитания.

Вредно это или полезно, не берусь утверждать, но, во всяком случае, для того слоя общества, который здесь называют *upper middle class*, это поучительно. Хиппи сбивают с этого класса его традиционные спесь, косность, снобизм, дети этого класса, пройдя через труппы хиппи, возвращаются измененными, а значит...

Что это значит? Я подошел сейчас к началу этой главы, к монологу вдохновенного Ронни из лондонской «Индиги». Что ж, значит, он не во всем ошибся? Значит, не так уж и смешны были его потуги «изменить общество еще при жизни этого поколения»?

Я не был на Западе после 1967 года почти восемь лет. Жизнь изменилась, конечно, тоскливо было бы, если бы она не менялась. Общество изменилось, изменились люди. Конечно, общество и люди меняют-

⁴⁷ Народ, люди. *Folks* — свойская форма обращения.

ся под влиянием солидных, как химические реакции, социальных процессов, но ведь и «движение хиппи» тоже одно из социальных явлений и возникший сейчас «стиль хиппи» — это тоже социальное явление.

Хиппи не создали своей литературы в отличие от своих предшественников — beat generation⁴⁸, но они оставили себе Джека Керуака, Алана Гинсберга, Лоуренса Фирлингетти и Грегори Корсо с их протестом и с их лирикой, что расшатывала стены каст еще в пятидесятые годы.

Хиппи создали свою музыку, свой ритм, мир своих движений и раскачали этим ритмом всю буржуазную квартиру.

— Нормальные люди пусть аплодируют, а вы, богачи, трясите драгоценностями! — сказал как-то Джон Леннон с эстрады в зал, и все задохнулись от смеха.

Новая молодежь заставила иных богачей усомниться в ценности долларового мира. Хиппи создали свою одежду, внесли в быт некую карнавальность, обгрызли и выплюнули пуговицы сословных жилетов.

Среди современных молодых американцев меньше стало вегетативных балбесов, пережевывающих чуингам, влетающих в ракетный самолет и спорта ради поливающих напалмом малую страну. Может быть, в этом уменьшении числа вегетативных балбесов частично «виноваты» и хиппи?

Современный молодой американец смотрит не поверх голов, а прямо в лица встречных, и в глазах у него встречные видят вопросительный знак, который, уж поверьте опытному литератору, сплошь и рядом благороднее восклицательного знака.

Конечно, десятилетие закатывается за кривизну земного шара, горячее десятилетие американской и английской молодежи, и это немного грустно, как всегда в конце десятилетия...

На обратном пути я решил сделать остановку в Лондоне. Это была дань ностальгии. Я даже так подгадал свой рейс, чтобы прилететь утром в субботу, базарный день на Портобелло-роад.

И вот свершается еще раз авиачудо, которому мы до сих пор в душе не перестаем удивляться, — вчера ты сидел на крыше Линкольн-центра, глядя на пришвартованный к континенту дредноут Манхэттена, сегодня ты в гуще бабушки Лондона — на Портобелло-роад.

На первый взгляд ничего не изменилось: те же шарманщики, обманщики, адвокаты, акробаты, турецкая кожа, арабская лажа, эму и какаду, тома лохматой прозы у мистера Гриппозо...

Однако тут же замечаешь, что индустрия «стиля хиппи» работает и здесь на всю катушку. Повсюду продаются сумки из грубой мешковины с надписями «Portobello-road» и майки «Portobello-road», и значки, и брелоки. Толпа такая же густая и яркая, но тебя все время не оставляет ощущение, что это о б ы ч н а я западная толпа. И пабы вдоль толкучки полны, и пиво «гиннес» льется рекой, но ты видишь, что и общество в пабах собралось обычное, и пиво льется самое обыкновенное. Ты идешь и смотришь, и вокруг тебя люди идут и смотрят. Как и прежде, разноязыкая речь и разные оттенки цвета кожи, но тут до тебя доходит смысл происходящего: сегодня ты здесь всего лишь турист и все вокруг туристы, а остальные — обслуживающий персонал.

Этим же легким тленом о б ы ч н о с т и подернута и маленькая, зажатая в Сити Карнеби-стрит, куда я приплелся вечером по следам шестьдесят седьмого года. По-прежнему были открыты маленькие ла-

⁴⁸ Разбитое поколение, битники.

вочки, где раньше все продавцы пели и пританцовывали, но вдохновенные их выдумки теперь стали уже ширпотребом.

Густая толпа туристов проходит по Карнеби-стрит и утекает к центру, к Эросу на Пикадилли-сёркус.

Кажется, Портобелло-роад и Карнеби-стрит стали простыми туристическими объектами, лондонскими мемориями времен swinging.

Я утекаю вместе с толпой, пересекаю Риджент-стрит и Пикадилли, брожу по Сохо и вижу на одном углу нечто новое: уличный музыкант, играющий сразу на четырех инструментах.

Парень в выцветшей майке с надписью «№ 151849, заключенный строгого режима» — настоящий артист. За спиной у него барабан, он играет на нем с помощью ножной педали. В руках гитара. Под мышкой бубен. Губная гармошка закреплена перед ртом на зажиме.

— Обвяжи желтую ленту вокруг старого-старого дуба, — поет он, а следующую фразу гудит на губной гармошке. Звенит гитара, бренчит бубен, ухает барабан.

Слушателей много, они подхлопывают в такт, бросают монетки в раскрытый гитарный футляр. Девушка, подруга артиста, бродит в толпе с кружкой:

— Для музыканта, сэ. Благодарю. Вы так щедры!

Я смотрю на музыканта, ему лет тридцать, и на лице его уже отпечатались следы юношеских безумств. Да ведь это же Ронни, наконец понимаю я, тот самый мой пылкий Ронни, дрожащий от земного электричества, взведенный и торчащий в зенит гладиолус из лондонских асфальтовых оранжерей.

— Ронни, это ты? Ронни, какое странное настроение. Твоя молодость уходит, а я грущу по ней как по собственной, по которой давно уже отгрустил.

Он улыбается, ищет взглядом в толпе, находит и еще раз улыбается широко и сердечно, так, как он, наверное, раньше, в эпоху своих манифестов, не улыбался. Потом он играет несколько тактов на губной гармошке, откидывает голову и поет, улетая гортанным голосом за лондонские крыши, песенку «The questions of sixty seven, sixty eight». Это он поет для меня. Хорошо, что я завернул в Лондон на обратном пути из Калифорнии в Москву.

Да, горячая декада англо-американской молодежи закатывается сейчас за кривизну земного шара, но, как в Одессе говорят, «еще не вечер», потому что вообще пока эта штука вертится, еще не вечер, еще не вечер...

Typical American Adventure

Part IV

СЕРЕБРЯНЫЕ ПРИЗРАКИ

Между тем «типичное американское приключение» нашего Москвича развивалось по всем канонам и каньонам, и в результате мы с вами, уважаемый читатель, оказались в городе-призраке Калико.

Должно быть, не зря в Топанга-каньоне болтали о «серебряном веке»: теперь в конце единственной улицы вымершего городка зиял черный вход в серебряную шахту, и тонкий слой серебра покрывал крыши покосившихся домиков и нависшие над ними безжизненные горы.

Гневно отфыркиваясь и выплевывая из фильтров пыль

пустыни, «порше» поднялся почти по отвесному склону и остановился в начале улицы.

Здесь было все, что нужно для диких, вооруженных кольтами горняков XIX века, все, что нужно для киносьемок или для «типового американского приключения»: почта, тюрьма, аптека, три лавки, четыре салуна.

Москвич осторожно вылез из машины. Дверь за ним хлопнула, и эхо хлопка прокатилось по каньону. За спиной Москвича в огромном пустом небе висела круглая луна, и тень его тянулась через всю улицу, заканчиваясь возле черной пасти шахты.

Москвич пожалел, что нет у него на бедрах пояса с пи-столетами и патронташем, похлопал себя по соответствующему месту и обнаружил, что пояс на нем на соответствующем месте. Тогда он медленно пошел по улице, каждым движением подражая герою детства Ринго Киду из фильма «Ди-лижанс».

Скрипнул стул. Восковой хозяин магазина качнулся на стуле, щелкнул курком своего кольца, откашлялся и прохрипел:

— In God our trust! Others pay cash!⁴⁹

Гулкие звуки долетели из горловины шахты. Заскреже-тали блоки. Тихо прокатилась ржавая вагонетка.

Восковой узник приник к решетке тюрьмы и глухо проговорил:

— I sold my soul in the company store...⁵⁰

Наступила тишина, и стало ясно, что вот-вот произойдет Встреча. Дрожь от волнения, Москвич остановился в ногах своей тени. Тень, отпечатанная на посеребренном грунте, была хороша — в ковбойской шляпе, а правая рука на поясе с патронташем. Все было готово к Встрече.

И вот в черной горловине появилось белое пятно. Оно медленно приближалось. Тихо вышла в подлунный мир и остановилась высокая, загорелая, в светящихся белых одеж-дах, с блестящими глазами.

— Это вы? —спросил Москвич.

— Да, это я,— прилетел к нему через улицу вымершего города тихий ответ.

— Это вы упали на Вествуд-бульваре?

— Да, это я.

— Это я помог вам встать?

— Да, это вы.

— Это вас похитили?

— Да, меня.

— Это за вас я сражался?

— Да, за меня.

— Можно мне подойти?

Он ждал очередного «да» и, конечно, дождался бы, если бы дурацкие назойливые силы вновь не вмешались в его приключение.

Мерзкий антиавтор Мемозов в форме чиновника депар-тамента горнорудной промышленности выпрыгнул на скри-

⁴⁹ Мы верим богу! Остальные платят наличными! (Типичная надпись в магазинах и салунах Дальнего Запада.)

⁵⁰ Я продал душу в магазин компании.. (Из шахтерской песенки «Шестнадцать тонн».)

пучую террасу конторы Вестерн-Сильвер и гадко заверещал, тыча в сторону Москвича длинным пальцем:

— Он без билета здесь! Он не взял билет! Пожалел полтора доллара! Безбилетник! Заяц!

Гнев и досада охватили Москвича. Нет, это невыносимо: вторжение пошляка взрывает любой сюжет, который строит воображение, и даже в этот сокровенный момент...

— Нет у вас совести, Мемозов! — вскричал он. — Остереглись бы врываться хотя бы в такие сокровенные места сюжета! Ведь так можете довести до крайностей! Какой вам еще билет?

— А вы как думали, миляга? — гнусно, базарно завизжал Мемозов. — Проник без билета в музейный ghost-town⁵¹ и думает здесь на дармовщинку погужеваться! Простой народ, значит, деньги плотит, а вам не каается?!

Москвич замахал руками, как бы стараясь изгнать беспорядочными пассажами из подлунного мира назойливого Мемозова, обернувшегося сейчас призраком коммунальной кухни, хотя и в мундире департамента горнорудной промышленности. Он умоляюще протянул руки к игре своего воображения, Женщине-Жертве.

— Друг мой, прошу вас, не слушайте этот вздор!

Она печально поникла с надломленной дланью:

— Однако у вас действительно нет билета, друг мой?

— Да какие тут еще билеты! — с досадой вскричал Москвич.

— Полтора доллара для взрослых, восемьдесят центов для детей и солдат, — грустно, как бы увядая, говорила Она. — Простите меня, друг мой, я не хотела бы вас огорчать, но если у вас нет билета, я вынуждена... вынуждена... вынуждена...

И Она исчезла, отступила на несколько шагов во мрак шахты и там растворилась. Встреча — оборвалась.

Исчез и Мемозов. Вновь тишина и тихий ржавый скрип одинокой вагонетки да редкое покашливание восковых фигур.

В ярости — никогда прежде в кабинетной тиши, в библиотечных лабиринтах, в столовых самообслуживания он не предполагал в себе такого вулкана, — в ярости Москвич вырвал из кобур оба своих пистолета и разрядил их в темные окна.

Тут же в окнах вспыхнул свет, донеслась музыка, треньканье расстроенного пианино, шум многих голосов, взрывы смеха, и Москвич увидел за стеклами краснорожих веселых гостей, клубы табачного дыма, пролетающих с подносами прехорошеньких круглощеких официанток, иконостас стойки с разномастными бутылками и вывеску над иконостасом: «Old Mcdonald's shelter»⁵².

Он быстро прошагал по галерее и рванул дверь. Все гости и служащие салуна тут же повернулись к нему — крепкие славные рожи пионеров.

Четыре девушки-официантки сгрудились вокруг бармена, высокого красавца с седыми кудрями и редкими морщинами, пересекавшими лицо. Это был снова он — тот са-

⁵¹ Город-призрак.

⁵² «Шалаш старого Макдональда».

мый Босс, Godfather из Топанга-каньона. Одной ладонью он сделал Москвичу приглашающий жест, другой показал на своих круглощеких помощниц и пропел своим чрезвычайным баритоном:

I used to be a travelling man,
Yo-yo-yo,
Until I hit Mcdonald's place,
Yo-yo-yo,
Where little cheek here
Little cheek there...⁵³

— Здесь, что ли, продают билеты в музей? — хмуро спросил Москвич. Пистолеты его еще дымились.

Взрыв хохота был ответом. Сопровождаемый смехом, шутливыми возгласами, хлопками по плечам и ягодицам, Москвич пробрался к стойке. Лукаво ухмыляющийся всеми морщинами бармен поставил перед ним здоровенный бокал с какой-то прозрачной чертовской смесью. На дне бокала плавали не совсем обычные ингредиенты: бразильский орех, серебряная монета с профилем Линкольна и мексиканский червячок «гусано-де-оро».

Совсем уже успокоившись, Москвич оглядел дымную комнату. Славные рожи Джонов Уэйнов, Гарри Куперов, Грегори Пеков, Кларков Гэйблов весело подмигивали ему. Расстроенное пианино дребезжало в ритме рэг-тайма.

— Это вы, что ли, ребята? — спросил он их.

— Факт. Это мы! — послышался дружный ответ. — Разве не узнаешь?

Он отхлебнул «молочка пустыни». Вкусно, крепко, черт побери, и просто отлично!

— Вы меня поймите правильно, мужики, — заговорил Москвич, стараясь попасть «в тон». — Я человек, конечно, нездешний, приезжий. Ясно? Однако участвую в типичном американском приключении. Не знаю, искал ли кто-нибудь из вас ту, что упала на Вествуд-бульваре около полуночи?

— Всем приходилось, — серьезно кивнул один из Пеков, и все остальные кивнули.

— Тогда ответьте мне по-человечески, — попросил Москвич. — Есть ли тут смысл, а? Вообще-то? Стоит ли мне колбаситься в этом приключении или слинять назад, к кабинетной тишайшей работе?

Славные пионеры ответить на этот вопрос не успели. Как в песне поется, «внезапно с шумом распахнулись двери» и в салун влетел отрицательный герой вестерна, затянутый в черную кожу вертлявый пшют, конечно же, в маске до глаз, конечно же, с черепушкой и двумя берцовыми на шляпе, конечно же, Мемозов. Ни слова не сказав, а только взвизгнув, он открыл частую стрельбу в дальний угол. Смолк, как будто захлебнулся, веселый рэг-тайм...

⁵³ Я был бродягой, легким на подъем,
Йо-йо-йо,
Пока не споткнулся о Макдональда дом,
Йо-йо-йо,
Где щечка здесь
И щечка там
И в целом доме тарарам... (И далее примерно в этом духе.)

— Скотина какая,— проворчал бармен,— вечно вот так врывается на полуслове, стреляет в пианиста...

Компании, собравшейся в «Шалаше старого Макдональда», конечно же, ничего не стоило изрешетить антиавтора в мгновение ока, однако никто из героев не притронулся к оружию. Все повернулись к Москвичу: все знали, что схватка с назойливым Мемозовым его право и что ему нужно сейчас всего лишь прищуриться на незваного гостя, только лишь прищуриться, но очень сильно. Москвич прищурился, и удачно! Вновь задребезжал рэг-тайм, а Мемозов как влетел в салун, так и вылетел, растворился в подлунном мире.

Все тогда с шумом поднялись — пора в дорогу. Все, а с ними и Москвич, вышли на улицу, отвязали коней, попрыгали в седла. Вскоре кавалькада всадников растянулась в цепочку и поплыла по гребню подлунных гор. Звучали трубы. Марш «Американский патруль».

Впереди Москвича покачивался в седле бывший босс, бывший пилот, бывший бармен.

— Вы спрашиваете, oldfellow⁵⁴, есть ли смысл вам и дальше оставаться в вашем приключении? — говорил он. — Раз уж вы его начали, то оставайтесь. Мне кажется, вы здесь не лишний элемент. Лично на мне благотворно сказывается ваше присутствие. У вас есть тяга к положительному, у меня ее раньше не было. Если бы не ваше воображение, я бы, возможно, превратился в настоящего криминала, в богача и циника, играющего человеческими жизнями, — словом, в чудовище. Благодаря вам я сейчас спокойно покачиваюсь в старом кожаном седле, спокойно покуриваю свою трубку, моя нервная система уравновешена, пищеварение хорошее, пульс шестьдесят ударов в минуту, не испытываю никаких угрызений совести, а, напротив, наслаждаюсь обществом этих замечательных парней и, значит, извлекаю для себя гораздо больше выгод, чем из презренного богатства и погони за властью. В самом деле, джентльмены, не стоит ли нам иногда задуматься над простыми истинами? Не кажется ли вам, что честная, простая, моральная жизнь просто-напросто более выгодна и человеку и обществу, чем жизнь, полная гадких интриг, насилия и нетерпимости?

И так же легко и свободно, как только что размышлял, конный философ запел своим монументальным баритоном:

I've got the world on a string...⁵⁵

КРИЗИС, ПРОСПЕРИТИ, РЕНЕССАНС, ТОТАЛИТАРИЗМ, СТАНДАРТ, ИСТЭБЛИШМЕНТ И РАЗНЫЕ ДРУГИЕ ШИКАРНЫЕ СЛОВА

«Приходите играть вместе с нами!»
 «Каждый — и зритель и актер!»
 «Ренессанс! Ярмарка удовольствий!»
 «В долине Агура, на Олд Парамант Рэнч!»
 «13-я ежегодная! Дюжина булочника!»⁵⁶

⁵⁴ Старина.

⁵⁵ Держу весь мир на струне...

⁵⁶ А baker's dozen — соответствует нашей чертовой дюжине.

«Слава Ее Величеству Елизавете I!»
 «Боже, храни Королеву!»
 «Вместе с нами веселый Робин Гуд и девица Марриан!»
 «Парады! Развлечения! Ремесла! Кухня! Игры!»
 «Бродячие музыканты, менестрели, акробаты, шуты!»
 «Каждый мужчина — король Мая! Каждая женщина — королева Мая! В нашем графстве этой весной!»

Такие удивительные объявления мы прочли однажды в удивительной калифорнийской газете «Ram & Goblet»⁵⁷, набранной архаическим шрифтом по средневековому правописанию.

Кому же не хочется стать королем Мая? И вот мы с Дином катим в его рычащей маленькой машине по Вентури-фриввэй. Впереди, сзади, по бокам в пять рядов катят попутчики. Нет-нет да мелькнет за стеклом «форда», «тойоты» или «лендровера» пиратская косица, шляпа с перьями, бархатный плащ. В самом деле, не мы одни такие умные!

Через некоторое время убеждаемся: тысячи таких умных прибили на Renaissance Pleasure Fair⁵⁸ в долину Агура, тысячи автомобилей рядами стоят на паркинг-лот меж зеленых холмов.

Мы паркуемся, идем вместе с толпой, переваливаем через невысокий холм и оказываемся в другом мире. Паркинг-лот с его гигантским дисциплинированным автостадом исчезает за холмом. Сбоку от пыльной грунтовой дороги гарцует средневековый герольд в лентах и перьях.

— Сюда, сюда, милорды! Милости просим, прекрасные леди!

Мы видим хвостатые флаги на шестах, шатры, кибитки, помосты, платим по четыре доллара с носа и оказываемся в елизаветинской Англии XVI века, среди шекспировских персонажей.

Собственно говоря, это все тот же южнокалифорнийский «бьютифул пипл», но может возникнуть и странная aberrация зрения, можно ведь предположить и обратное: странные, мол, фантазии приходят в голову базарному лондонскому люду — иные обнажают торсы, иные бесстыдно показывают голые ноги... Отелло в джинсах... Гамлет в шортах, Шейлок в гавайской рубахе... а некоторые Офелии и Дездемоны обнажены самым колдовским образом, эти-то, уж конечно, ведьмы и им место на костре!..

Мы, профессора Уортс и Аксенов, тоже ведь не хуже других: башмаки связываем шнурками и перекидываем через плечо, рубашки превращаются в пояса, с помощью папье-маше увеличиваем себе носы, у Дина на макушке каперская клеенчатая шляпа (ведь он у нас истинный WASP⁵⁹), я (восточный человек) в чалме. Словом, сливаемся с ренессансной толпой.

Здесь и там на помостах, на вытоптанной земле и на телегах дают представления труппы бродячих актеров, музыканты, фокусники, жонглеры, канатоходцы. На сцене «Друри-крик» заезжие бродяги из Италии, труппа Комедия-дель-арте. В ста ярдах от них партнер Уилла Шекспира и его тезка Уилл Кемп представляет почтеннейшей публике труппу «Глобуса». Астрологи в острях колпаках, ученые люди сидят под зонтиками. Шумят дубы...

Весьма занятно, между прочим, выглядит в этой толпе господин в костюме и галстукe, регистратор избирателей на будущие выборы в законодательное собрание штата Калифорния, но на него почему-то никто не обращает внимания.

Итак, шумят дубы своей резной листвой, эдакая прелестная ки-

⁵⁷ «Баран и бокал» (видимо, намек на возможность «выпить-закусить»).

⁵⁸ Ярмарка ренессансных удовольствий.

⁵⁹ White Anglo-Saxon Protestant — белые англосаксы-протестанты, потомки первых поселенцев из Новой Англии.

пень под тихоокеанским — пардон, пардон, конечно же, не под тихоокеанским! — под атлантическим бризом, под ветром с древней морской дороги — Ла-Манша.

Под дубом в пестрой игре теней сидит таинственная арфистка, весьма тонкая, в черном со звездами, волосы распущены на всю узкую спину, на узком носике огромные кристаллические очки, преломляющие свет. Мы останавливаемся, внимаем чудесным звукам. Арфистка поет:

— Вы, два джентльмена с картонными носами и с башмаками на плечах, не думайте, что вы не замечены. За вами следят попугай, макака, осел, элевант и арфистка.

Она оставляет свою арфу на произвол судьбы и со смехом бросается к нам. Милейшая Калифорнийка!

Разумеется, с ее появлением началась вторая часть нашей ренессансной фиесты: беспорядочные знакомства, chain-smocking⁶⁰, турецкий кофе, французские сливки, цыганские пляски, американские штучки... Вскоре образовалась у нас компания: астроном из Непала, повар из Норвегии, студент из Мехико-сити, художница с Восточного берега, медсестра из Канады и просто девушка из Польши.

Ярмарочное кружение занесло нас наконец к славянским шатрам. Облепили русский к ъ о б а к, который предлагал милордам и миледи софт-дринк квас и царские п и р ѓ ж и.

Неподалеку уж второй час без остановки плясал табор балканских цыган под командой черноокой Магдалены. Черноокая выскочила к нам из круга. Все как полагается: косы, мониста, серьги, босые ноги, вулканический нрав... Ура! Восторг всей компании!

Тут вдруг запели серебряные трубы, забухали барабаны, зычные голоса возопили:

— Make way for Her Majesty!⁶¹

Появилась процессия. Шотландские волынщики в клетчатых килтах, гиганты, карлики, шуты, палачи в черных мешках с дырками для глаз и с жуткими топорами, вельможи, стража с алебардами и наконец четыре телохранителя пронесли на плечах кресло, в котором восседала сама Глориана — Елизавета I.

Точнейшая, между прочим, копия, чудеснейшая! Напудренные щечки, а поверх пудры пятна румян, длинноватый носик, маловатые глазки, высокий кружевной ворот. Все было чрезвычайно естественно, вплоть до того, что Ее Величество чуть не свалилась с носилок, прилетевшая толпу, ибо была легка, как говорится, вдребодан.

Потом началась третья часть нашей ренессансной фиесты, то есть разъезд. Компания наша самым непринужденным образом все увеличивалась, расставаться, конечно, никто не хотел, и когда автомобили прибыли из долины Агура на тихую Гранквилло-драйв, оказалось, что нас человек тридцать пять — сорок.

Гости заполнили дом. Что за дом? Точно никто не знает, сейчас выйдет хозяйка, может быть, объяснит. Кто хозяйка? Не важно. Дом, во всяком случае, был большой, с двумя бассейнами, с тремя автомобилями, с четырьмя телевизорами, с кондиционерами, рефрижераторами и прочей автоматической дребеденью плюс с коврами. Вышла хозяйка, та самая цыганка Магдалена, по-прежнему босая, но уже в джинсах и маечке. Появился и муж в очках. Хозяйка как хозяйка — профессор французской литературы. Муж как муж — атомный физик...

Я рассказал об этом дне довольно подробно, как понимает читатель, не только для того, чтобы его позабавить, но и для того, чтобы

⁶⁰ Курение цепочкой, то есть одну сигарету за другой.

⁶¹ Дорогу Ее Величеству!

шурануть кочергой беллетристики по уголькам проблемы. Проблема наша — да-да — не затухает. Ведь без проблемы же нам же никак нельзя же. Что за очерки без проблемы? Без проблем писать очерки — неприлично. Кроме того, практика показала, что читатель просто устает от беспроблемности.

Какая же проблема? А вот такая: ярмарка эта под ренессансными дубами, праздник без электричества, без звукоусилителей и магнитофонов и даже без охлаждающих систем, без кока-колы (!) — эта ярмарка показалась мне при всей ее прелести, юморе и куртуазности каким-то подобием бунта.

Конечно, в Америке из поколения в поколение передается ностальгия по матушке Европе, и где только возможно американцы строят «маленькие Англии» — и в Диснейленде и возле трапов «Куин Мэри», — а также маленькие Италии, Германии, России... Но тут было нечто другое.

Renassance Pleasure Fair показалась мне каким-то подобием прорыва, стихийного бегства из той обыденщины, которую называют по-разному — то «американский образ жизни», то «жизненный стандарт», а критически мыслящие интеллектуалы произносят в таких случаях очень модное слово «тоталитаризм».

Говоря «тоталитаризм», американские интеллектуалы имеют в виду некое устрашающее будущее технотронное бездуховное общество, подобное, вероятно, тому, что изображено в романе Р. Брэдли «451° по Фаренгейту». Приметы этого общества видятся им повсюду, порой, как мне показалось, они даже с некоторой долей мазохизма выискивают эти приметы. Впрочем, ведь говорят же порой, что некоторая доля мазохизма присуща всякой развитой интеллигенции.

Иностранцу, однако, иногда кажется странным смешение понятий «стандарт» и «тоталитаризм». Вот примеры.

Диснейленд? Тоталитаризм. Рекламы по телевидению? Тоталитаризм. Скоростные закусовые «Кентакки фрайд чикен» и «Джек ин зе бокс»? Тоталитаризм. И так далее.

Так ведь полезные же, удобные вещи и цыплята эти жареные, всегда горячие, с корочкой, мгновенно к вашим услугам, и объявления, и проч... — скажет иностранец.

А кто вам сказал, что тоталитаризм неудобен? Он очень уютно вас расслабляет, размягчает и даже полезен для метаболизма — быстро возразит американский интеллигент.

Есть, однако, весьма и весьма серьезные «неполезные» вещи, по которым бьет эта социальная критика. Например, смог.

Смог — это тоталитаризм, говорят вам, и вы, привыкший уже к этому словечку, только усмехаетесь. Все, что связано со смогом в Лос-Анджелесе, вам, жителю Садового кольца, кажется преувеличением. Газеты каждый вечер сообщают процент вредных газов, углерода, фтора в воздухе, но вы, урбанист, не чувствуете в воздухе Лос-Анджелеса ничего особенного, вы даже с некоторой странной гордостью заявляете: у нас, ха-ха, ничуть не чище!

Однако дело тут даже не в процентах фтора, а в том, что этих процентов на фривэях Лос-Анджелеса могло совсем не быть. Американцы говорят, что в стране давно уже изобретены паровые и электрические двигатели, не загрязняющие воздух, но автомобильные гиганты в стачке с нефтяными концернами закупают все подобные изобретения и проекты, кладут их в сейфы и держат под секретом. Значит, ради прибылей и весьма сомнительных политико-экономических расчетов пренебрегают здоровьем людей — да, вот это уже настоящий тоталитаризм!

Еще более серьезное, как я понимаю, дело — банки. За два с половиной месяца жизни в США я так и не смог разобраться в системах финансирования и субсидирования, хотя много раз был свидетелем разговоров на эти темы. То ли системы эти слишком сложны, то ли сказывалась моя врожденная финансовая бездарность, или то и другое вместе. Однако я усек, что банки являются в этой стране не только финансовыми органами, не только хранилищами денег и уж не сберкассами, во всяком случае.

Банки, как мне кажется, образуют как бы костяк американского общества, но наряду с этим они действуют и деструктивно, разрушая некоторые основы духовной жизни и унижая американское понимание свободы. Они, банки, как рассказали мне, собирают информацию о своих клиентах!

Они собирают информацию не только о доходах или деловых качествах, но также и об образе жизни, а может быть — чем черт не шутит! — и об образе мысли? Таким образом, банки становятся как бы соглядатаями, хмурыми незримыми патронами, на которых средний шаловливый (как все средние) гражданин волей-неволей должен озираться.

Это уже, конечно, очень серьезный тоталитаризм, и с ним американская интеллигенция не хочет мириться.

В менее серьезных, но частых проявлениях тоталитаризма то и дело на глазах американца происходят столкновения различных социально-психологических противоречий.

Вот, например, феномен моды. Мода всегда начинается с попытки вырваться за частокол, за флажки, за зону, но почти мгновенно после прорыва зона расширяется и поглощает смельчака. Я уже касался частично этой проблемы в главе о хиппи.

Однако чего же здесь больше, что превалирует: жадные щупальца стандарта или массовый выход за условные изгороди?

Мне нравится современная мода калифорнийцев, ибо главная ее тенденция — отсутствие строгой моды. Какие бы линии ни диктовали парижские законодатели Диор, Карден и прочие, калифорнийский люд с этими законами мало считается. Пестрота толпы в Эл-Эй просто удивительная.

Я мало там ходил в театры, потому что все вокруг меня было спектаклем, но однажды отправился на оперу «Jesus Christ Superstar» в ультрасовременный «Century-City». Были некоторые колебания по поводу галстука — надеть ли? С одной стороны, галстук — это все-таки некоторый конформизм, но с другой стороны, все-таки театр же. Вспоминался Зощенко. Придя, убедился, что колебания были совершенно напрасными: с одинаковым успехом я мог надеть галстук или не надеть галстука.

Вокруг меня на дне прозрачного космического колодца прогуливалась театральная публика: высокая черная красавица-газель в богатых мехах, а с ней белый парень в мешковатых джинсах, денди в бархатном смокинге и девушка в маечке спортклуба, пиджачные пары, и деружные хламиды, и просто рубахи с расстегнутыми воротниками, мини-юбки и длинные платья, напоминающие слегка ночные сорочки, а одна дама, вполне еще молодая, но не вполне уже стройная, была просто в пляжном костюме-бикини с наброшенной на плечи черно-бурой лисой.

Однажды я все-таки почему-то нацепил галстук и пришел в нем на лекцию. Что-нибудь случилось, заволновались студенты, что-нибудь сегодня особенное? Нет-нет, господа, не волнуйтесь, просто такое настроение, просто сегодня с утра я показался себе человеком в галстуке. Так я объяснил им свой вид и был прекрасно понят.

Калифорнийцы заменили понятие моды понятием beautiful people⁶². Разумеется, в понятие это входит не только манера одеваться, но и манера разговора, отношений, весь такой слегка подкрученный, такой чуть-чуть игровой трен жизни. Меня вначале эта манера слегка озадачивала, я не мог понять, что многие люди в этом странном городе чувствуют себя слегка вроде бы актерами, вроде бы участниками какого-то огромного непрерывного хеппенинга.

Вот однажды заходим мы с Милейшей Калифорнийкой в маленький магазинчик на Сансет-стрип. Мы едем в гости и нужно купить хозяйке бутылочку ее любимого ликера «мараска».

В магазине пусто. Играет какая-то внутривенная музыка. Красавец продавец с соломенными выгоревшими волосами приветливо улыбается:

— Хай, фолкс!

— У вас есть сейчас «мараска»? — спрашивает М. К.

— Мараска? — Красавец вдруг мрачнеет, как бы что-то припоминает, драматически покашливает. — Боюсь вас огорчить, леди, но Мараска уже неделю не заходила.

— ?

— Да-да, просто не знаю, что с ней стряслось. Мы все весьма озабочены. А вы давно ее не видели?

— У вас есть, однако, ликер «мараска»? — терпеливо спрашивает М. К.

— О, леди! Вы спрашиваете ликер? — Радостное изумление, восторг. — Этот всегда в наличии.

На прилавке появляется маленькая черная бутылочка. Цена ерундовая — доллар с полтиной.

— Все? — спрашивает М. К., глядя прямо в глаза красавцу.

— Да, это все, — вздыхает продавец.

— А завернуть покушку?

— О, леди! Быть может, вы сами завернете?

Продавец патрицианским жестом выбрасывает на прилавок кусок прозрачного изумрудного целлофана.

— Вы полагаете, что я сама должна завернуть?

— Леди, это было бы чудесно!

Совершенно доверительно — свои же люди — продавец подмигивает мне: вот, мол, сейчас будет хохма!

Милейшая Калифорнийка, слегка — слегка! — сердясь, неумело заворачивает покушку. Получается довольно уродливый пакет. Продавец с маской страдания на лице останавливает ее:

— О, нет-нет, мадам (теперь уже почему-то по-французски), мы не можем этого так оставить. Это было бы вызовом здравому смыслу. Позвольте уж мне вмешаться.

На сцене появляется теперь огромный, в пять раз больше первого, кусок целлофана изумительной красоты. Продавец превращается в художника, он демонстрирует нам вдохновенный творческий акт превращения прозрачной пленки в огромный замысловатый букет, подобие зеленого взрыва. Он что-то бормочет, отходит, смотрит издали на свое творение, возвращается, добавляет еще ленточку, еще цветочек. Наконец, скромно потупив глаза и как бы волнуясь:

— Пожалуйста, леди. Готово.

Мы выходим.

— Сан ов э бич! — смеется М. К.

— Пьяный, что ли? — предполагаю я.

— Да нет, просто играет. Здесь много таких, с приветом...

⁶² Красивый люд.

«Бьютифул пипл» не имеет возрастных границ. Вы можете увидеть шестидесятилетних джентльменов в джинсах «кусками», в вышитых рубашках, с бусами на груди. Они садятся за рули спортивных каров и гонят куда-то, и по лицам их видно, что они явно еще чего-то ждут от жизни.

Кстати говоря, вот именно это ожидание «чего-то еще», это выражение типично для калифорнийцев. Чего-то еще, чего-то еще... Это, однако, не жадность, а готовность к чудесным поворотам судьбы.

Есть в США тип мужского населения, который называют *tough guys*. «Таф гай», «жесткий парень» — это мужчина средних лет с крепко очерченным лицом, неизменный герой коммерческих реклам.

Разумеется, как тип, принадлежащий к стандарту или даже, если хотите, к тоталитаризму, «таф гай» весьма уязвим для критики, но я сейчас хочу показать и некоторые положительные стороны этого образа. Кажется, не раз уж, говоря об Америке, я подчеркивал, что многие явления в современном мире имеют и положительные и отрицательные свойства. Сейчас о положительных, а может быть, даже и несколько поучительных контурах одного из американских мифов, именуемого «таф гай».

Это мужчина среднего возраста, но молодой. Молодой, но не молодящийся — в этом вся соль. «Жесткий» не скрывает своих морщин или седины, он гордится ими. Он отлично тренирован, умеет постоять за себя, чрезвычайно сдержан, приветлив, полон достоинства, готов к приключениям и ударам судьбы, у него вроде бы есть и свой кодекс чести. Он курит или не курит (а если курит, то предпочитает тонкие голландские сигары), носит джинсовые рубашки или пиджаки (а если пиджаки, то любит английские), пьет или не пьет (а если пьет, то виски «чивас ригал») и так далее. Много в этом образе, конечно, вызывает иронию, но он и не прячется от иронии. Он и сам любит иронию. Самоирония — непременное качество «жестких».

У нас в России есть образ молодого человека, к нему обращена эстетика и общественное воображение. Недаром на улице осталось фактически только лишь одно обращение «молодой человек». Это вроде бы очень вежливо, а как глупо! Многие в свое время смеялись над Солоухиным, а мне вот очень нравится обращение «сударь». Во всяком случае, «сударь» лучше, чем дурацкий «молодой человек». Тем временем мужчина средних лет может хоть развалиться на куски — никому особенно не интересен, а если он, что называется, «следит за собой», то о нем говорят с некоторым пренебрежением — «молодящийся». Между тем, на мой субъективный взгляд, эстетика среднего (да и пожилого) возраста — это своеобразная формула мужества.

Все это было сказано к слову, а вот возвращаясь к повествованию, я хочу сейчас коснуться одного характерного свойства южнокалифорнийцев — приветливости, добродушия, легкости. Сами о себе они говорят: *we are easy-going people*, мы народ покладистый.

Как-то мы, компания славистов, в перерыве между лекциями жарились на пляже Санта-Моники. На длинных медленных волнах катили к берегу сёрферы. Над нами в небе летали пластмассовые диски — игра «фризби». Выше трепетали крыльями, словно настоящие птицы, ярко раскрашенные кайтс⁶³, новое увлечение калифорнийцев. Еще выше тихоходный биплан таскал взад-вперед над пляжами ленту букв *Rolling stones*. И совсем уже высоко в четком строю пятерка реактивных истребителей, по компьютерной системе регулируя выхлопы, выписывала могучие афоризмы нашей цивилизации:

⁶³ Kite — воздушный змей.

«Молоко нужно каждому!»

и

«Кока-кола — это настоящая вещь!»

Словом, идиллический обычный денек.

Тем временем к нам приближался немыслимый человек, гора мускулов, культурист. Все мускулы у него были выделены и чрезвычайно вздуты: и грудные, и брюшные, и бицепсы, и трицепсы, и обе четырехглавые — словом, все. Он шел невероятно важной индюшиной походкой, как бы фиксируя каждый свой шаг, как бы приглашая весь пляж им полюбоваться.

— Какой самовлюбленный дурак, — заговорили мы о нем. — Эдакий индюк! Сколько извилин надо иметь, чтобы превратить себя в такое животное?

Вода, как известно, очень хорошо резонирует звук, но мы говорили по-русски и не понижали голосов.

Тем не менее парень, видимо, понял, что говорят о нем, приостановился, поднял руку, полностью уже превратившись в скульптуру, улыбнулся и сказал:

— Hi, everybody!⁶⁴

Улыбка была простодушна, мила и сердечна. Молодое лицо с выцветшими волосами и усами на вершине столь могучего тела, казалось, выглядывало из башни. Мы были пристыжены — вовсе он оказался не индюком, этот парень.

— Вам лайфгارد⁶⁵ не нужен? — спросил он.

— Спасибо, сэр. Пока что не нужен, — ответили мы. — Извините.

— Все в порядке, — еще шире улыбнулся он. — А вот вы, сэр, — он кивнул мне персонально, — у вас такой потрясающий акцент. Откуда?

— Из Советского Союза.

— Май гуднесс! — Улыбка залила уже все его лицо. — Линк ап! Стыковка! Это просто великолепно! Между прочим, там у вас лайфгара не нужен?

— Не знаю, — сказал я. — Может быть, где-нибудь нужен. Не исключено.

— Значит, в случае чего звоните. — Он присел на корточки, казалось, кожа у него сейчас лопнет, и написал на песке пальцем номер телефона. — Спросите Эрни. Вообще это касается всех, конечно. Если кому-нибудь что-нибудь надо, пожалуйста, спрашивайте Эрни Терковски.

В хорошую погоду благодушие с пляжей переливается в глубь Калифорнии. На улицах прохожие спрашивают друг друга:

— Как дела? Все в порядке?

Человек без улыбки на устах вызывает озабоченное:

— Что-нибудь случилось?

Разъезжаясь с паркинг-лот, кивают друг другу, сердечно напутствуют:

— Drive carefully!

— You too!⁶⁶

Читатель, конечно, понимает вздорную занудность софизмов на хрестоматийном примере с критянами. Понимает это и автор и потому, как должно быть уже замечено, бежит всяких обобщений.

Конечно, нельзя сказать, что все калифорнийцы всегда простодушны, милы и сердечны. Кто ж тогда там ворует, грабит, безобразничает? А ведь бывает и такое. Так же нельзя ведь сказать и о ньюйоркцах, что

⁶⁴ Всем привет!

⁶⁵ Lifeguard — спасатель.

⁶⁶ Правьте осторожно! — Вы тоже! (между прочим, в автомобильной стране эти реплики почти уже заменили обычное «гуд бай».)

все они хмурые, раздраженные, нервные, запуганные, только лишь на основании впечатлений от нью-йоркского сабвея в часы пик. И тем не менее при слове «Калифорния» на лице у любого американца появляется улыбка или тень улыбки, как и у наших людей появляется улыбка при слове «Крым».

Золотая Калифорния, этот образ живет в американском стандарте до сих пор как образ земли обетованной, как основное, то есть западное направление. Критик-интеллектуал, конечно же, скажет: никакой золотой Калифорнии нет, все это вздор, рекламный миф, входящий в систему «тоталитаризма»!

Презрение к рекламе — это неотъемлемое качество американского интеллигента. Думаю, что тут и снобизма-то нет никакого. Действительно может все осточертеть, если с утра до ночи слышишь *most, most, most* — самый, самый, самый. Загоняешь машину в мойку — читаешь огромное: «MOST SOFT WATER OVER THE WORLD»⁶⁷. Покупаешь в драгсторе паршивенький гребешок, а к нему присовокупляется целая статья «Почему гребешки ЭЙС являются самыми лучшими в мире». Приезжий человек, иностранец, конечно, не испытывает такого раздражения. Мне вначале просто нравилось гулять по улицам и разглядывать рекламы. Вот, к примеру, обычная короткая прогулка по Уилширу.

Из багряного закатного океана поднимается гигантская бутылка виски «Катти Сарк»⁶⁸.

«Теперь уже не строят таких кораблей. Хорошо, что хотя бы выпускают т а к о й виски!»

Сквозь огненное кольцо летит автомобиль с четырьмя слепящими фарами.

«„П е ж о“ прошел сквозь ад, прежде чем добрался до Америки!»

Иегуди Менухин склонил скульптурный лоб над скрипкой — весь мрачное вдохновение.

«С часами «Р о л л е к с» и моей партитурой я могу быть где угодно и на Луне. «Р о л л е к с» — мой метроном!»

Упомянутый уже «таф гай» сидит на палубе яхты с журналом в руках среди пенного моря.

«Быть может, он родился в Швеции, любит китайскую кухню, ездит в германских машинах, покупает японские транзисторы, но он всегда читает «П л е й б о й» по-английски».

Задумчивый принц Гамлет на цветущем лугу, по которому гуляют молочнo-белые отменные девицы.

«Я думаю, что мир уже созрел для датского шерри-бренди „к и я ф ф а“».

Прошло еще какое-то время, и я привык к рекламам, почти уже перестал обращать на них внимание. Следующей фазой моего привыкания к Америке, должно быть, стало бы раздражение против реклам, но я вовремя уехал.

Противоречия, противоречия, противоречия — на них наталкивается путешественник по современному миру едва ли не каждый день, не каждый час. Что такое рекламы? Кроме шуток, ведь полезная же вещь: своего рода бакены, по которым может плыть потребитель в хаосе чудовищного коммерческого мультиобразия. С другой стороны, с точки зрения, скажем, социальной психологии, критически мыслящая личность может увидеть в рекламaх и совсем другое, осветить эту сторону жизни под иным углом, мощным и жестоким прожектором свободoлюбия.

⁶⁷ Самая мягкая вода в мире.

⁶⁸ «Cuffy Sark» — знаменитый «чайный» клипер, установивший рекорд скорости парусного флота.

А что, если эти бесчисленные рекламы, эти изнуряющие most, most, most вовсе не бакены, не гиды, не помощники? А что, если они даже и не оружие в конкурентной борьбе? Что, если у них есть иная сверхцель или подзадача — быть чем-то вроде изгороди, вроде красных флажков оцепления? Что, если ненавистный истеблишмент вбивает каждому гражданину сызмальства при помощи этих реклам одну подспудную тоталитарную психологию: вот твой мир, вот его границы, и знай — никогда за эти границы ты не проникнешь!

Рекламами, между прочим, занимаются люди совсем не глупые, и применяются в этом деле достижения современных наук. Кажется, в начале шестидесятых годов общество разоблачило злокозненные действия рекламных агентов, связанные с применением мгновенных, невидимых стоп кадров.

Скажем, ты смотришь фильм «Любовная история» и, конечно, даже не подозреваешь, что фильм нафарширован мгновенными стоп-кадрами рекламы пива. И ты, подневольная скотинка, инкубаторный цыпленок цивилизации, не понимаешь, почему тебе после кино так невыносимо хочется пива, и не пива вообще, а конечно же, «леви-брау», которое есть most, most, most.

Общество тогда вовремя увидело страшную опасность. Ведь так можно черт знает что внушить цыплятам! Были приняты строгие правительственные меры, стоп кадры подверглись запрету, но кто знает — какими средствами сейчас даят тебе на кору и подкорку?

Незадолго до возвращения на родину я познакомился с чудесным пареньком по имени Фредди. Он прошел, наверное, все университеты американской молодежи: был и студентом, бездумно гонял кожаную тыкву в футболе, и солдатом во Вьетнаме, вернулся оттуда на ржавом самолете, показывая растопыренными пальцами рогульку V⁶⁹, был и хиппи, был и бродячим звездочетом и так далее — сейчас он журналист по социальным проблемам.

К моменту нашего знакомства Фредди как раз был занят подготовкой небольшой бомбочки против «тоталитаризма» — он писал статью, в которой собирался разоблачить рекламные агентства и доказать, что они используют в своих плакатах замаскированные эротические символы и приманки. Он показывал мне примеры, и они были чертовски убедительны. Успеха, Фредди!

Да, мало осталось в мире простых вещей, таких, как «невод», «старуха», «пряжа».

Невод — это уже угроза для иссякающих рыбных богатств, к тому же сделан он из нейлона, а значит, продукт химической промышленности, которая загрязняет и воду и воздух, и, следовательно, он, невод, объект критики в антитоталитарной борьбе за environment protection⁷⁰.

Старуха — это, конечно, не просто старая женщина, но объект борьбы за улучшение welfare⁷¹, повод для размышлений об отчуждении личности в современном супериндустриальном монополистическом обществе, имеющем тенденцию к сползанию в «тоталитаризм».

Пряжа... ну, пряжа — это клубок, вечная пряжа на берегу пустынных пространств, бесконечный таинственный клубок нашей странной, все более и более запутывающейся жизни, и сейчас в заключение этой главы, где шла речь о некоторых мрачных предметах, мне хочется вытащить из клубка этой пряжи яркую нитку, дабы сказать, что жизнь все равно прекрасна.

⁶⁹ Victory (победа) — символ американского антивоенного движения.

⁷⁰ Охрана среды обитания.

⁷¹ Социальное обеспечение.

...Наконец-то началась настоящая калифорнийская золотая погода — девяносто пять градусов по Фаренгейту, сильный бриз и сияния. Я в университетской майке, в шортах и беговых туфлях разгуливаю по Эл-Эй запросто, как большинство туземцев, и, что любопытно, не подражая ради я так одет, а так вот естественно, вполне машинально присоединился к beautiful people'у.

В маленьком рычащем автомобиле Дина еду за продуктами в супермаркет «Хьюз» на Сансет-бульвар. Еду и думаю о том, как прекрасен день и как хороша рыжая голова в параллельно идущей машине, и о том, как я тут уже основательно освоился, а это приятно, и о том, что скоро уже домой, а это приятно вдвойне.

И вдруг пронзает меня горькая мысль: не видел ни одной голливудской звезды! Как же это так? Ведь и Биверли-хиллз, где они живут, в двух шагах от нашего кампуса, и до бульвара Голливуд двадцать минут езды, а я не видел ни одной звезды (признаюсь, и звездочки ни одной), если не считать отпечатков рук и ног перед «Chinese Theatre»⁷². Печальная история, теперь не отчитываешься в Москве.

Может быть, нафантазировать? Проще говоря, наврать? Эта спасительная для писателя мысль несколько ободряет. С ней я подъезжаю к «Хьюзу», паркую «порше», беру проволочную тележку для покупок и вкатываюсь под своды сверхбазара, где, конечно, звучит назойливо-неназойливая ободряющая музыка.

Вижу, по проходу навстречу мне идет, толкая тележку, Марлон Брандо. Ничего тут особенного нет: у него где-то дом неподалеку, а продукты ведь и звездам нужны. Брандо как Брандо — сорокасемилетний красавец в японском кимоно, волосы завязаны на затылке в стиле пони-тейл. «Каждый день встречался с Брандо, — молнией проносится у меня в голове. — Каждый день, каждый день! Много болтали...»

Удача за удачей — там же в супермаркете открываю любимую газету «Midnight»⁷³, а в ней статья об очередном приключении Брандо. «Вот как-то встретились мы с Марлоном, а он мне говорит: «Можешь себе представить, Вася, в какую я попал историю! Снимался я на натуре возле Сан-Диего, а вечером у меня павильон в Эл-Эй. Собачья жизнь, конечно, но что делать, старик? Налоги душат! Короче, не снимая грима, а грим, конечно, преступника, пропади все пропадом, влезаю в самолет. «Ну, — говорю стюардессе, — летим на Кубу, дочка?» Вижу, юмора не понимает чувиха, бледнеет, куда-то в темпе линияет. Через пять минут бежит к моему креслу весь экипаж и наряд полиции, ясное дело, с их дурацкими пушечками в руках. Бедные замороченные роботы истэблшмента... И эти люди отказывают коренному населению нашего континента в его законных правах! «Вот он! — кричит экипаж. — Попытка угнать самолет на Кубу!» Пришлось мне снять грим. Ну, конечно, тут все разохались. Ах, мистер Брандо, бег, дескать, юр пардон! Ах, мы так счастливы, что вы летите с нами! Нет уж, говорю я этим ребятам, с таким трусливым экипажем я не полечу. Поищу другой самолет. Как считаешь, старик, правильно я поступил?»

Итак, я встречался с кинозвездами. Почти каждый день болтали с Марлоном Брандо. Сколько историй рассказал мне он — можно книгу написать! Вот, например, однажды...

⁷² Знаменитый «Китайский театр» на бульваре Голливуд, где начиная еще с конца двадцатых годов происходили премьеры всех больших фильмов. В течение этих десятилетий звезды во время премьер оставляют на асфальте отпечатки рук и ног. Предполагаю, что асфальт предварительно размягчается, ведь даже и у звезд не могут быть столь тяжелые стопы и длани.

⁷³ «Полночь», популярная легкомысленная газета, сообщающая светские новости и всякие курьезы.

Я вытаскиваю свою колясочку из супермаркета на паркинг-лот. Вижу, стоит Марлон Брандо возле своего открытого «ягуара» и читает «Midnight». Читает, улыбается, кимоно и конский хвост треплет сильный океанский бриз. Дочитав до конца собственное приключение, лауреат многочисленных «Оскаров» пожимает плечами и бросает газетку по ветру.

Как перелетная лживая золотая птичка газета набирает высоту и скрывается за верхушками пальм, тонет в сиянии. Пускаю и я свою, вторую, вслед за первой и, когда она скрывается, окончательно утверждаюсь в том, что я ежедневно встречался с Брандо возле супермаркета «Хьюз» на Сансет-бульваре. Он уезжал обычно вверх по Сансету, к Биверли-хиллз, а я спускался вниз, к Тихоокеанским Палисадам...

Typical American Adventure

Part V

РОЖДЕННАЯ ИЗ ПЕНЫ МОРСКОЙ И ПОЯВИВШАЯСЯ НА ПЛЯЖЕ

Кони все сильнее шевелили ногами, хотя горы становились все круче. Кавалькада колотила копытами дорогу так, как барабанщик Элвин Джонс бьет свою установку, когда он в раже. А ночь не кончалась. Она становилась все таинственней, все прельстительней.

Москвич потерял своего собеседника. Он видел теперь впереди лишь согнутые спины в грубых рубашках, а позади наклоненные лица, сжимающие зубами кожаные тесемки шляп.

С каждой минутой ночи кони выносили нас все выше и выше на гребень, а потом они ринулись вниз, увлекая за собой камни, прошлогодний снег, вековые небыллицы. Вскоре они уже пересекли всю холмистую Калифорнию и тогда медленно, будто бы в киношном замедлении, выплыли на белый как снег пляж Кармел.

Москвич глазам своим не верил: Уэйны, Пеки, Куперы и Гейблы спокойно спешивались и отпускали своих коней, а те, спокойно помахивая гривами, уходили в темный океан, а тот спокойно, но с интересом рычал, как будто гигантский зрительный зал перед концертом.

Затем герои вестернов на глазах Москвича спокойно стали превращаться в других его героев — музыкантов американского джаза. Луч луны словно прожектор бродил по пляжу, освещая одно за другим лица Дюка Эллингтона и Луи Армстронга, Кинга Оливера и Каунта Бейси, Чарли Паркера и Стена Кентона, Джона Колтрейна и Орнета Колмена, Дейва Брубeka и Джерри Муллигана, Телониуса Монка и Элвина Джонса...

Все инструменты уже были на пляже: и саксофоны, и трубы, и ударные, и пиано. С неуклюжим грохотом пролетел над пляжем древний «дуглас», голос Глена Миллера громко прошептал оттуда «раз-два-три», и концерт начался.

Что они играли? Москвич не знал. Он был наверху блаженства, на самом верху, он качался на остренькой спице блаженства и чувствовал, что его «типичное американское

приключение» близится к счастливому концу. Что они играли? Быть может, десяток тем сразу? И все это была классика: и «Высокая луна», и «Маршрут А», и «Вокруг полуночи», и «Караван», и «Бери пятерку»... Они начинали темы, а потом импровизировали за милую душу каждый по-своему и все одновременно, но это не было какофонией: Москвич слышал — всех!

Все было бы хорошо, но постепенно на гребешке дюны стал высвечиваться маленький столик с ядовитой лампочкой. Там сидел музыкальный критик, паршивенький Мемозов, изображал из себя суперумника и, делая вид, что не замечает Москвича, писал зубодробительную рецензию.

Джазовые музыканты — народ впечатлительный и нервный. Паршивенький критик был уже всеми замечен. Гармония то и дело стала нарушаться воплями отчаяния, скрежетом пессимизма. Быть может, был бы сорван и хеппи-энд типичного американского приключения, если бы не вмешались стихийные силы природы. Дюна под Мемозовым благополучно провалилась, он сам с имуществом своим, столом и табуреткой, исчез в антипространстве литературного вздора, а взвихренные листы рецензии подхватило племя монтерейских чаек и пожрало их, несмотря на обилие орфографических ошибок.

Тогда запел океан, поднялась большая белая волна, и на гребне ее тихо двинулась к берегу та, которую искали,— высокая, загорелая, с блестящими глазами, в широких светящихся одеждах. Она или другая упала в прошлый четверг на Вествуд-бульваре, было уже не важно. Важно было то, что она пела в сопровождении всех этих великих музыкантов, и пела так, будто Элла Фицджеральд, Билли Холидэй и Диана Росс отдали ей для сегодняшней ночи свои золотые голоса.

Бурлила пена. Туманная Цель нашего приключения, обретая плоть и мощный звук, выходила на белый, как канифоль, песок пляжа Кармел.

С прибрежного утеса ей вторил вынырнувший по такому случаю маэстро Нептун. Обычно его изображают дряхлым смешным стариком, в действительности же он не стар, хотя и не молод, строен, сед, но кудряв и отнюдь не смешон, хотя и не лишен самоиронии.

Они пели вместе:

How deep the ocean,
How high the sky...⁷⁴

Какое удовольствие все-таки приносит хеппи-энд неискушенным душам! Москвич, потеряв голову от удовольствия, присоединился к двум звездам Кармела и запел, право слово, неплохо, соединяя в себе мощь Магомаева, Хиля, Кобзона, Захарова, Вуячича и Дина Рида.

САНИТАРНЫЙ ГОРОД ФРАНЦИСКО

Однажды мы сидели на крыльце дома профессора Уортса и смотрели на его кота Силли, которого иногда называют и более торжественно — мистер Силли Шопенгауэр.

⁷⁴ Как глубок океан, как высоко небо...

— Ты не cat, Силли,— говорил я коту.— Какой ты cat? Ты самый обыкновенный типичный кот.

Мистер Силли Шопенгауэр загадочно молчал. Он недавно сожрал птичку, сволочь такая.

Хозяин дома Дин Уортс, между прочим выдающийся лингвист, тогда сказал:

— Ты, знаешь ли, недалеко от истины. Слово «кошка» очень давно уже известно в Калифорнии. Индейцы, которые жили в районе Сан-Франциско, кошку называли «кушка», ложку — «лужка», вообще у них была масса русских слов в лексиконе.

Так мы коснулись темы «русские в Америке», и я теперь оставляю обоих джентльменов, мистера Дина и мистера Силли Шопенгауэра, на крыльце их дома, для того чтобы более или менее подробно осветить ее, эту тему.

На последней переписи населения более миллиона американцев записались русскими, стало быть, это одна из самых больших этнических групп в США.

Наши предки открывали Америку с запада.

Еще в XVIII веке появились в Калифорнии русские пионеры с Аляски. Они и принесли местным индейцам ложки, вилки, лопаты, пилы, много других полезных предметов, а также котов, предков мистера Силли.

Историки довольно много написали об этом периоде, но я больше верю поэтам. «„Авось“ называется наша шхуна, луна на воде как сухой овес...» — так написал Вознесенский, и он же рассказал (наверняка более правдиво, чем историк) о свадьбе русского морского офицера и дочери испанского губернатора Калифорнии и о последующей трагедии.

Живых свидетелей осталось мало — бревенчатый темный форт Росс с православной церковкой, Русская речка да несколько слов в лексиконе индейцев.

Впоследствии в Сан-Франциско появилась Русская Горка. Имя ей дала первая русская так называемая религиозная эмиграция. Старобрядцы, молокане, духоборы уезжали в Америку от преследований официального духовенства старой России.

Некоторые общины духоборов уцелели до сих пор в законсервированной сохранности. Как-то я смотрел телевизионный сюжет об одной из них. Несколько тысяч русских крестьян десятилетиями жили замкнутой колонией где-то в Северном Китае. Там они очень упорно трудились и процветали. Потом, то ли во время войны, то ли после, община сдвинулась с места и целиком переехала в Калифорнию. Власти штата выделили им земли где-то между Лос-Анджелесом и Сан-Диего, однако духоборам там не понравилось: слишком легко все растет — и фрукты и злаки. Им нужно было трудиться, упорно трудиться, упорный труд был нравственным стержнем колонии. Сравнительно недавно они (опять все вместе) переехали в более суровый климат, на Южную Аляску, и там возликовали: вот тут можно хорошо потрудиться! По экрану телевизора ходили русские литературные, а скорее даже лубочные типы в косоворотках, подпоясанных кушаками, в поневах, длинные бороды, стрижка «под горшок». Слышалась престраннейшая, архаичная, но отчетливо русская речь, даже без всяких английских примесей.

А ведь это очень трудно — сохранить язык в третьем, в четвертом поколениях. В одном маленьком калифорнийском городе я познакомился с милой семьей. Он, хоть и чистый WASP, блестяще говорит по-русски, так как профессор русской литературы. Она, потомок духоборов, чисто русская по крови, не знает ни слова по-русски.

Сколько смешных русско-английских экспрессий я слышал! Вот несколько примеров.

Мудрый «философ»:

— Що ты имаешь в своей кантри? Я имаю кару, севен чилдренят, вайф...

Маленькая девочка, весело визжа:

— Мамми, ай'м гоинг ту бегать на цыпочках!

Диалог между бабушкой и внуком:

— Ты ноу, гранни, дад пэинтеров захарил.

— Закрой уиндовку, внучек. Коулд поймаешь!⁷⁵

В то же время есть в Америке, конечно, русские из «второй», послереволюционной эмиграции, которые свято берегут культурный русский язык и даже не особенно стремятся обучиться английскому. Я встречал весьма гордых стариков, возможно, бывших кавалергардов, которые живут в Америке уже пятьдесят лет, но американцев, то есть местных жителей, с великолепным равнодушием называют «иностранцами»:

— Верочка, тот господин, что заходил к Марине в прошлый четверг... Он наш или иностранец?

В чудесном русском языке этих людей, разумеется, нет многих современных слов. Они не знают, например, слова «холодильник» (ведь не было же холодильников в России до 1914 года!) и называют свои американские «фриджи» словом «ледник». Бензоколонку они называют «газолинкой», а вертолет все-таки обыкновенным американским словом «геликоптер».

Иногда я ловил себя на том, что говорю с этими людьми с некоторым затруднением. Там, в атмосфере тепличного, искусственно сохраняемого языка, я понял, что наша современная пулеметная речь с проглатыванием отдельных слов, с неизбежными жаргонизмами очень трудна для нетренированного уха. Говоря, например, о каком-нибудь чуде, я готовлю в уме какую-нибудь фразу, что-нибудь вроде:

— Его считают, знаете ли, малым с левой резьбой, дескать, не из тех, что соображают насчет картошки дров поджарить...

Вовремя спохватываюсь, понимая, что речь моя будет темна для собеседников, перестраиваюсь:

— Говорят, что он чужак, что он, дескать, не от мира сего...

Предвижу вашу улыбку, читатель: второе лучше. Конечно, лучше, и чище, и благороднее, но только немного жалко дикую эту метафоричность, живущую в резбе, в картошке, в дровишках...

Еще в юности, помню, читал я в журнале «В защиту мира» (кажется, Пьер Кот его издавал) интересную статью «Нью-Йорк — город иностранцев». В самом деле, Нью-Йорк вот уж истинный *melting pot*⁷⁶, там в час пик на Пятой авеню не так часто правильную английскую речь услышишь. Много слышал и разных анекдотов такого примерно рода: «Я ему по-английски: «Ай уонт ту, ай уонт ту» — а он мне по-русски: «Чего тебе надо, товарищ?»

Но вот уж не предполагал, что сам стану участником подобного анекдота и первый человек, к которому я обращусь на улице в Нью-Йорке, самый первый, окажется русским.

Стоит старичок мороженщик: кепка, сизый нос, мохнатые уши.

— Excuse me, sir. I'm looking for that and this...

⁷⁵ Что у тебя есть в твоей стране? У меня автомашина, семеро детишек, жена...

— Мамочка, я хочу бегать на цыпочках!

— Ты знаешь, бабушка, папа маляров нанял.

— Закрой форточку, внучек. Простудисься!

⁷⁶ Бурлящий котел. Этим социальным термином часто обозначают американское общество, в котором плавится множество наций.

— This way, guy. Where are you from? You have such a heavy accent.

— From Russia⁷⁷.

— Я тоже русский. Новороссийск знаешь? Черное море?

Политический спектр американских русских невероятно пестрый. Приходилось мне, например, разговаривать с настоящими монархистами, для которых даже «октябристы» — злостные революционеры, мерзавцы, заговорщики, не говоря уж о «конституционалистах-демократах».

— Октябрьская революция была уже потом. Главное преступление — Февраль! Подлец Родзянко захотел стать президентом и погубил государя.

Я написал «приходилось разговаривать», но это ошибка. Разговора с этими мастодонтами не получается, они монологисты. Покачиваясь в своих креслах и глядя на порхающих в ветвях ботл-браш-три⁷⁸ голубых калифорнийских сорок, они говорят об империи, о святом принципе помазанности и слышать в ответ ничего не хотят, ни возражений, ни подтверждений, — у них своя жизнь.

Их внуки, конечно, уже больше американцы, чем русские, и родной язык у них английский, а русский — лишь второй родной. Они типичные американские либералы, интеллектуалы, а иные даже и радикалы, даже и марксисты в основном, разумеется, маркузианского толка. Дедов своих они просто совсем уже не слушают, а только лишь улыбаются в ответ на их речи.

Вообразите себе ливинг-рум, гостиную в одном таком доме. На кожаных подушках и на полу сидят молодые русские американцы и с жаром говорят о проблемах своей страны: о расовых отношениях, об охране среды обитания, об очередном кризисе в кино, об инфляции, о женском освобождении, о наркотиках, о тоталитаризме... проблем для интересного разговора вполне хватает. Тихо поет из разных углов через стереофонику покойная Билли Холлидей. Потрескивает камин. Возле камина в креслах дедушка с бабушкой монолоизируют на тему о приоритете монархической власти и России. Не правда ли мило?

Сколько семей, столько и судеб, и временами судьбы невероятные. Многие тысячи людей из так называемой третьей эмиграции, послевоенной, были заброшены в Америку, как щепки в шторм. Другие стремились сюда сознательно.

Один солидный дядька, владелец прачечной возле кампуса, рассказывал, как судьба швыряла его после войны из Германии в Италию, из Италии в Абиссинию, оттуда в Кейптаун, потом в Уругвай, и везде он мечтал о Сан-Франциско. А почему именно о Сан-Франциско? А потому что «сан»; думал, что «санитарный»; что-то похожее на санчасть, а в санчасти всегда и тепло и сытно, это уж как положено.

В Калифорнии он хлебнул всякого, «на апельсиновых плантациях вместе с чиканос горбатил», но потом, как видите, осел не в Сан-Франциско, а в Эл-Эй, но все-таки вроде бы и по санитарному делу, все-таки стирка. Здесь уже «не дует».

Конечно, среди послевоенной эмиграции есть и грязные люди, быть может даже и бывшие каратели. Эти вряд ли отмоются американскими порошками. Грязь всегда будет видна, в какие бы одежды ты ни рядился. Любые демократические песни будут звучать фальшиво в устах человека, хоть однажды певшего осанну Гитлеру.

⁷⁷ — Простите, я ищущу то-то и то-то.

— Вот сюда, парень. Ты откуда сам-то? У тебя такой акцент.

— Из России.

⁷⁸ Bottle-brush-tree — калифорнийское дерево, цветы которого напоминают щетки для чистки бутылок.

В целом же, без всяких сомнений, русская этническая группа в США — это большой отряд талантливых людей, вносящих весомый вклад в экономику и культуру страны. Статистика говорит, что у американских русских один из самых высоких уровней образования, чрезвычайно высокий процент ученых и творческих людей. Мало среди русских бизнесменов и финансистов, но это, на мой взгляд, не такая уж большая беда.

Я уже говорил, что встречал за время своей американской жизни очень много соотечественников, и сейчас хочу со всей ответственностью сказать, что большинство, включая даже и тех, кто и язык-то уже плохо знает, выражало самый искренний интерес к своей исторической родине, гордость нашими успехами и настоящее, идущее от сердца внимание к проблемам нашей общественной жизни, культуры, науки, спорта.

...А все-таки самый русский из всех американских городов — это, вы уж меня простите, тот самый Санитарный-город-Франциско.

Дул очень сильный и холодный ветер, а солнце сияло. Тепло было только на площади Юнион-сквер, зажатой небоскребами. Там на углу, в самой толчее, стоял черный саксофонист и надавал жару. Мы грызли теплые орехи, бросались к каждому автомату hot drinks, чтобы выпить горячего кофе, кутали звезду нашей компании четырехлетнюю красавицу Маршу.

Ах, как дьявольски красиво, как прельстительно, как чудесно было на этих холмах, по которым со звоном тащится старинный кэйбл-кар, канатный трамвайчик, и над которыми солнце словно бы кружит, будто бы не может успокоиться, а выскочив из-за очередного алюминиевого гиганта, бьет по крышам машин, словно бикфордов шнур, поджигает от вершины холма до подножия.

Джек-лондоновские места, пуп мирового приключения... «В последний раз я видел вас так близко, в пролете улицы вас мчал авто, и где-то там в притонах Сан-Франциско лиловый негр вам подавал манто...»

Ни притонов, ни лиловых с манто вокруг мы не видели. Мы шли к океану, к рыбацким причалам есть лобстера.

На причалах возле знаменитого ресторана «Алиото» в огромных чанах варят крабов, креветок, и тут же развеселая толпа их поедает. Многоязыкая толпа, в которой то и дело почти так же часто, как delicious, слышалось «вкусно».

Все в толпе оборачивались на наших красавиц, на Маршу и ее маму, тоненькую смуглую Эсси с серебряными искрами в кудрявой голове. Лик чудесной Эсси сиял красотой и добротой.

Давно я уже заметил, что у всех негритянских женщин лица отличаются добротой. Мужчины-негры бывают разные, как и подобает мужчинам, и добрые, и злые, и приветливые, и резкие. Женщины же все, и наша Эсси не исключение, выражают добро и привет, как, собственно говоря, и подобает женщинам.

Мне всегда нравились черные люди, но в Африке я еще не был и до приезда в Америку не предполагал, как много среди них настоящих красавцев и красавиц. Наша Эсси даже в этой среде была ультра!

— Эх, красивая женщина! — говорила по ее адресу довольно бесцеремонная толпа на рыбацких причалах.

— Не только она! Не только мамми! — кричала, подпрыгивая, маленькая Марша. — Я тоже бьюти, хотя и кьюти!

Лобстера ели не в таком шикарном, как «Алиото», но в чистеньком ресторанчике, за окнами которого качались мачты сейнеров и ботов, точно таких, на каких бесчинствовали устричные пираты Джека Лон-

дона. Официант-итальянец то и дело произносил «спасибо», «добро пожаловать», «кушать подано».

— Нет, сэр, я не говорю по-русски, но все-таки надо знать несколько слов, если живешь в Сан-Франциско.

Вышли уже в сумерках. Над горизонтом висела огненная полоска знаменитого моста Голден Гейт Бридж. Ветер дул все сильнее. Марша и Эсси, обе совершенно одинаково, повизгивали от холода. Толлер, плечистый, волосато-бородатый мат-лингвист из Беркли, поехал на трамвайчике за своей машиной, которую оставил в паркинге отеля «Хайат». Остальные решили куда-нибудь зайти, чтобы не дрожать на ветру, открыли первую попавшуюся дверь и услышали «Катюшу»:

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой..

В безмянном кофе-шоп возле стойки бара сидел на табуретке здоровенный мужлан почему-то в коротких кожаных шортах, тирольской шляпе и с аккордеоном. Конечно, расцветали у него не яблони, а яблоки, но ведь и дома у нас где-нибудь на платформе Удельная в праздники именно яблоки цветут, а не яблони.

— Bravo! — засмеялась черная русистка. — Bravo! Bravo! Bravo! Русский артист!

— Для пани,— широко осклабился «артист», получше укрепил свои малосвежие ноздреватые ляжки и заиграл «Лили Марлен».

Так он и пел все время, пока не приехал Толлер, песни по обе стороны фронта, то «Землянку», то «Розамунду», то «Ехали мы ехали селами, станицами», то «Майне либе энгельхен». Вряд ли случайный был репертуар у этого толстяка, должно быть, вся его судьба за этим стояла.

Мы вышли на улицу. Вдруг оказалось, что ветер стих и стало тепло. Тогда пошли гулять по набережной. Луна уже висела.

Луна уже висела. Залив еще рычал. Вода уже блестела. Пальмы еще трепетали. Память еще искала. Рука уже бродила. Луна еще висела. Залив уже молчал.

— А мы пели русские песни,— похвасталась прелестнейшая Эсси перед Толлером.

— Я тоже знаю одну русскую песню,— сказал умнейший мат-лингвист.

— Наверное, «Подмосковные вечера»? — спросил я, ехиднейший.

— Нет, другую. Вот слушай.— И он запел с сильным акцентом, но математически правильно:

Я всю войну провел шофером,
Курил махру и самосад,
Но дым родного «Беломора»
Никак не мог забыть солдат.

— Странное дело,— сказал я.— Первый раз слышу эту песню. А ведь я знаток массовой культуры.

— А я тоже ее знаю,— сказала нежнейшая Эсси.— Ее тут многие знают, в Сан-Франциско, эту песенку.— И она запела вместе с Толлером:

Нет, не даром, скажет каждый,
Популярен с давних пор
Средь курящих наших граждан,
Эх, ленинградский «Беломор».

Вот тебе на, думал я, такую песню пропляпил знаток массовой культуры. Откуда она здесь? Наверное, какой-нибудь морячок ленин-

и трудна, как все живописные дороги. Крутой уклон, крутой вираж, и сразу крутой подъем, и сразу крутой вираж, а за ним сразу крутой уклон и так далее. Очень похоже на дорогу от Новороссийска до Туапсе. Смешно получается, дорога-то красивая, но пейзажем не полюбуешься, если не хочешь сыграть с высоты в океан, и уж тем более не запишешь в актив впечатления, и впечатления получаются куцые: рифленая поверхность океана, склон с пластами базальта, далекие сосны на гребне, одна из них похожа на самолет... «ограничение скорости»... «сужение»... «обгон запрещен»...

Ужин в ресторане «Натэнэ». Это греческое слово означает что-то вроде «не грусти». До грусти ли, когда такой голод! Ресторан висит над обрывом к океану. Выясняется, что это не что иное, как бывший дом Орсона Уэллеса. Выясняется также, что красная крыша, видная в зарослях внизу, покрывает жилище Генри Миллера. Старый чудак, классик модерна, и сейчас там обитает. Вилка с куском стейка замедляет свой путь от тарелки ко рту, начинает слегка приплясывать.

Ночью делаю остановку в маленьком городке Монтерее, перед сном вспоминаю: чем знаменит Монтерей? Да, ежегодные фестивали Джаза, да-да, а еще?.. Батюшки, да ведь это же город Стейнбека! Да ведь именно здесь он написал свой «Квартал Тортилья Флэт»!

Я встречался с Джоном Стейнбеком и его женой Элен в 1964 году в Москве. Мы все тогда — Казаков, Евтушенко, Вознесенский — ходили со Стейнбеком и драматургом Эдвардом Олби с приема на прием, такая довольно нелепая «светская» жизнь, но как же еще пообщаться писателям? «Биг Джон» шел по Москве в невероятно длинном и огромном твидовом пальто, казалось, там, в карманах, у него большие запасы всего самого необходимого: табак, виски, чернила, бумага, сюжеты, метафоры...

— Для чего человеку пуп? — громогласно спрашивал он и тут же отвечал: — Если вам ночью захочется поестъ редиски, лучшей солонки не найти!

Иной раз мы останавливались на каком-нибудь ветреном углу под летящим снегом где-нибудь на площади Восстания полшестого.

— Вот мы, Джон, молодые писатели, а вы один из Большой Американской Пятерки, а мы все о мелочах говорим. Расскажите нам, Джон, о Хемингуэе. Вы с ним встречались?

— Трижды. Первый раз он заказывал, второй раз я, а в третий по очереди. Нам трудно было говорить, ведь меня интересуют рыбы размером не больше сквородки.

До сих пор отчетливо вижу большое лицо Стейнбека с морщинами и синими венозными паучками. Он абсолютно укладывался в образ кита американской литературы, смотрел на всех с доброй насмешкой и говорил только о пустяках:

— Когда загорелась старая ферма на опушке леса, искры и головешки с треском стали перелетать через узкий снежный рукав и поджигать деревья. Я заметил с дороги, как выскочила из леса волчья семейка, восемь голов, матери негодяи и несколько щенков. Они увидели скопление машин на дороге, спящие фары, а сзади был загорающийся лес, и тогда они пошли по снежному рукаву между лесом и дорогой довольно гордо, знаешь ли, вполне независимо и даже с некоторым достоинством, хотя и с зажатыми между ног хвостами.

Позже пришло огорчение — странные вьетнамские приключения живого классика. Что это, Джон? Мы не совсем понимали...

Несколько лет назад он умер. Горькая невозможная новость — Джон Стейнбек не вязался с «миром иным».

Помню еще одну такую новость, летом 1961 года, когда умер Хемингуэй. Он умер в разгар нашей русской любви к нему.

Я тогда еще где-то записал, на каком-то клочке: как жаль, что это произошло в век радио. Не будь радио и телеграфа, новость тащилась бы к нам на парусниках и дилижансах не меньше трех месяцев, и мы бы лишних три месяца думали, что Хемингуэй жив, а это немало.

Утром в Монтерее я увидел, что горожане хранят память о Джоне и даже извлекают из нее некоторые материальные выгоды. Ныне Монтерей давно уже не рыбацкий городок, но довольно фешенебельный курорт. Тем не менее все причалы, склады и заводы по переработке сардин сохранены. Сохранены или восстановлены старые надписи. Все вместе это называется Steinbeck country⁷⁹ и служит туризму: на причалах ресторанчики, бары, в складах стилизованные мини-отели, магазины сувениров. Все это очень мило и трогательно, а извлечение выгода — дело тоже вполне нормальное и благородное, память от этого не ржавеет.

В конце своего пути я снова натолкнулся на след американской литературы. Это было в Беркли на все той же знаменитой Телеграф-стрит. С друзьями я попал как раз в тот самый зал, где весной 1956 года Аллен Гинзберг читал свою поэму «Вопль», объявившую миру существование литературы beat generation. Слушатели стояли плечом к плечу, а впереди всех, рассказывали друзья, размахивал руками, словно дирижер, Джек Керуак. Здесь были и другие друзья Аллена — Ферлингетти, Корсо, Питер Орловски, но Джек был самый неистовый. Сорвав с кого-то сомбреро, он стал собирать деньги на вино, и когда шляпа заполнилась, вылетел, быть может, даже и над головами, и вернулся уже обвешанный оплетенными мексиканскими бутылками.

Бедный Керуак. Жалко Керуака. Никогда не забуду «Джаз разбитого поколения», тот дикий кадиллак, которым ребята обколотили все стены в Чикаго. Видимо, что-то гибельное есть в таких вот порывах, в таких вот пролетах над головами, в дикой спонтанной прозе, которую никак не остановить. Я знал и дома таких парней, как Керуак.

Нынешний патриарх битников Аллен Гинзберг лет десять назад приезжал в Москву. Он говорил о наркотиках, о заоблачных Гималаях, пел на урду, позванивал маленькими литаврами из штата Керала, которые постоянно носил с собой. Все-таки он производил вполне устойчивое впечатление литератора, профессионала шаманского нашего дела, и, несмотря на необходимые чудачества, в нем виден был вполне надежный и крупный современный поэт.

Странную близость чувствовали мы с американскими писателями нашего поколения. И судьба у нас была разная, и по-разному текла жизнь, но, встречаясь, мы как-то по-особенному заглядывали друг другу в глаза, как будто искали в них какое-то неведомое общее детство.

Мое первое знакомство с современной американской прозой состоялось странной ночью осени 1955 года в Ленинграде. Это была ночь настоящего наводнения, когда вода дошла сфинксам до подбородка. Стоявший тогда на Неве английский авианосец «Триумф» уже начал спускать шлюпки, дабы спасти «и страхом обуялый и дома тонущий народ», но страха не было и в помине, народ тонуть, кажется, не собирался, а наоборот, в эту странную ночь по всему Питеру расплодилось какое-то чуть-чуть нервное, но бодрое веселье, и всюду были танцы.

Я, бедный студент романтического направления, как раз шел на танцы, брел по колено в воде по Большому проспекту Петроградской стороны и на площади Льва Николаевича Толстого встретил очень мокрую девушку. Глазищи, помню, были огромные, просто замечательные.

⁷⁹ Страна Стейнбека.

— Я кошка под дождем,— сказала она.

— Похоже,— согласился я.

— Да нет, вы не понимаете, я хемингуэевская кошка под дождем. В кармане у нее мок довоенный еще журнал с «Кошкой под дождем». Такие девушки тогда встречались на Петроградской стороне.

Через год или полтора появился двухтомник Хемингуэя и началась его бешеная вторая русская слава. Портреты седобородого красавца в толстом свитере украсили интеллигентские жилища.

Молодая проза конца пятидесятых—начала шестидесятых основательно потаскалась по парижским хемингуэевским бульварам в свите поклонников леди Эшли. «Ты хорошо себя чувствуешь?» — «Да, хорошо». — «А я себя плохо чувствую». — «Да?» — «Да». До сих пор еще встречаю стареющих молодых людей, что лелеют в душе святыню юности, хэмовский айсберг, на четыре пятых скрытый под водой.

Когда я первый раз весной 1963-го попал в Париж, он оказался для меня окрашенным, кроме всех своих собственных очарований, еще и хемингуэевским очарованием, быть может самым сильным. Это был не только Париж десяти веков, но и Париж тех мимолетных, быстро пропавших молодых американцев. И почему они казались нам так близки?

Потом у нас появились Фолкнер и Фицджеральд, Бабель, Платонов, Булгаков и начался откат от Хемингуэя. По Москве бродило чье-то выражение, звучавшее примерно так: «Хвост мула у Фолкнера дороже всех взорванных мостов Хемингуэя». Я записал тогда где-то себе на клочке бумаги нечто в таком роде:

«Нам говорит скабресный Демон Моды:

— Не смешите меня своим Хемингуэем, хоть он у вас и вышит сингапурским мулине по шведской парусине. Подумайте сами, сколько уж лет он у вас висит. Сегодня выносите всех своих Хемингуэев на свалку!

Пришла теперь пора прощаться...

Прощай, прощай, Хемингуэй! Я встретил тебя однажды в ночь наводнения, и ты мне рассказал нехитрую историю про кошку под дождем. Прощай, прощай, Хемингуэй, солдат свободы! Прощай, мы больше не встретимся в Памплоне и не будем дуть из меха вино. Прощай! Я прощаюсь с твоим лихим, солдатским, веселым, южным алкоголем. Увы, нам уже не въехать на «джипе» в покинутый немцами Париж, нам уже не опередить армию, и я забуду твою науку любви, ту лодку, которая уплывает, и науку стрельбы по буйволам, и науку моря, науку зноя и партизанского кастильского мороза.

Прощай, тебе отказано от дома, ты вышел из моды, гидальго XX века, первой половинки Ха-Ха, седобородый Чайльд, прощай!»

Попрощавшись тогда таким образом, я понял, что это новая встреча. Никому не навязываю своего вкуса и ослиных хвостов с мостами не сравниваю. Нельзя сравнивать великих писателей — кто лучше, кто хуже. Можно лишь говорить, кто ближе тебе, а кто дальше.

Фолкнера я боготворю и удивляюсь его чудесам, хотя мне немного тесно в его прозе. Хемингуэя просто люблю, всегда вспоминаю как будто своего старшего товарища, в мире его прозы есть простор для собственных движений.

В связи с американской литературой в моей жизни однажды произошел смешной курьез. Летом 1961 года появился мой роман «Звездный билет». Критика по адресу немудрящей этой книги шумела довольно долго, и спустя год после выхода «Билета» то тут, то там стали появляться хмурые замечания: Аксенов-де писал под явным влиянием Джерома Сэлинджера. Между тем «Над пропастью во ржи...» в исключительном переводе Р. Райт-Ковалевой хронологиче-

ски появилась позже, на полгода позже «Билета», и я до этого даже не подозревал о существовании замечательного писателя, который «жил тогда в Ньюпорте и имел собаку».

Я сначала злился, а потом подумал, что, может быть, в критических упреках есть некоторый резон. Ведь написан-то «Catcher in the Rye» был гораздо раньше своего русского издания и — кто знает? — может быть, литературные влияния словно пыльца распространяются по каким-то воздушным не изученным еще путям.

Теперь я читаю по-английски и открыт для влияний и Бротигана, и Воннегута, и Олби, и я, признаюсь, испытываю их влияния почти так же сильно, как влияния сосен, моря, гор, бензина, скорости, городских кварталов. Хочется увидеть писателя, свободного от влияний. Какое, должно быть, счастливое круглое существо!

У нас, кстати сказать, в критике складываются забавные правила игры. Свободна от влияний и подражаний одна лишь бытописательная, вялая, вполглаза, из-под опущенного века манера письма, практически стоящая вне литературы. Все вырастающее на почве литературы так или иначе подвержено влияниям. Все, что помнит и любит прежнюю литературу, использует ее достижения для своих собственных, новых, то — подражание. «Под Толстого», «под Бунина»... любое малейшее смещение реального плана — «булгаковщина»... Один лишь графоман никому не подражает. Но, руку на колено, графоманищедружище, и ты ведь подражаешь Кириллу и Мефодию, используя нашу азбуку!

Итак, я проехал по следам американской литературы, не встретив ни одного американского писателя. Встречал ли я героев?

Помню, десять лет назад в Риме мне все время казалось, что улицы заполнены знакомыми людьми. Мне хотелось здороваться, окликать, махать рукой, но в то же время я понимал, что люди эти знакомы мне лишь отчасти, не понимал лишь, от какой части — откуда? Только спустя некоторое время я догадался, что это типы итальянского кинематографа. Вот это «знак качества», подумал я тогда.

Типы прозы увидеть в чужой стране труднее, для этого надо прожить в ней, наверное, не меньше пяти лет, однако Холдена Колфилда я встречал, и не раз, и в кампусе, и в городе, и на дорогах, и юношу Холдена, и мужчину Колфилда, и старика мистера Холдена Колфилда.

Что такое американская проза для нас и входит ли она в русскую эстетическую традицию? Остается ли она — хотя бы частично — сама собой, теряя свои ти-эйч и инговые окончания, вылетая из своего каменистого русла, создающего быстрое течение, и втекая в просторные наши озера, берега которых поросли щавелем, щастьем, плющом?

Стиль американской прозы, ее пластика, ритм, пульсация для русского читателя в значительной степени оборачиваются качествами перевода, а языки наши исключительно не похожи друг на друга.

Однако и буйволы мистера Макомбера, и утки из Централ-парка, и хвост йокнапатофского мула, и тоненькая мексиканочка, встреченная на дороге, и раненый кентавр из Новой Англии — все это входит, вошло уже раз и навсегда в нашу культурную и эстетическую традицию.

Из Лос-Анджелеса через Мичиган и Индиану я перелетел в Нью-Йорк и решил провести там неделю перед возвращением на родину. Я все еще чувствовал себя чужаковатым калифорнийским профессором, но с каждым днем все меньше и меньше. С каждым днем все больше и больше я терял ощущения калифорнийского беспечного

beach-bum'a⁸⁰ в сумасшедшем Нью-Йорке. Помогал мне в этом молодой поэт Джо Редфорд, бывший калифорниец, а ныне искатель литературного счастья в Гринич-вилледже. Друзья из Эл-Эй дали мне его телефон.

— В Нью-Йорке надо обязательно иметь знакомых. Без знакомых в этом Вавилоне пропадешь. Это страшный, страшный, совершенно дурацкий город, населенный психами.

Так говорил мне наш easy-going, «покладистый» калифорнийский пипл, но это, конечно, было сильным преувеличением. Западный и восточный берега США живут в постоянном соперничестве. Западники считают восточников «э литл крэйзи», то есть «чокнутыми», и наоборот.

В Нью-Йорк-сити, конечно, много страшного, например гарлемские хулиганы или наркоманы из Бауэри, но много и прекрасного, волнующего, а из десяти миллионов по крайней мере девять совсем не «чокнутые».

Забавно, с Редфордом мы встретились почти как земляки. Он патронировал меня, как будто мы были два паренька-одноклассника из маленького калифорнийского города, но один, то есть именно он, Джо, раньше уехал в столицу, уже поднаторел здесь, стал уже третьим калачом, и сейчас вот опекает зеленого кореша. Между тем, он был моложе на восемнадцать лет и писал сонеты, обращенные к мраморным статуям. Кроме того, он играл на контрабасе в джазовом клубе «Half-note»⁸¹, и, между прочим, с немалым мастерством, но без энтузиазма — копейки ради.

Однажды среди ночи телефонный звонок поднял меня в моем «Билтморе» на 42-й улице. Хриплый и картавый голос Редфорда читал обращение к шотландской королеве Марии Стюарт. Я не понимал и трети — витиеватые архаические обороты попеременно с американской матерщиной.

— Не понимаю и половины, — сказал я.

— Не важно. Главное — я ее люблю! Это, надеюсь, ты понял. Встречаемся завтра в «Рэджи».

На следующий день я сидел в этом темном маленьком кафе возле Вашингтон-сквер в Гринич-вилледже. Три девушки хохотали в углу. Официант с равнодушно-презрительной миной разносил по столам кофе-капучино. Старенькая радиолка крутила пластинку Боба Дилана. Передо мной в пепельнице дымилась сигарета, которую надоело курить. Я чувствовал странную жажду.

По стеклу скатывались вниз дождевые потеки. Ветер, влетая в улицу, иногда швырял в стекло горсть крупных капель. Пузыри вандались в лужах. Я чувствовал жажду.

Два мокрых негра вошли в «Рэджи», съели не садясь по сэндвичу, спросили, который час, и ушли. Стройная и гордая увядающая красавица прошла под деревьями сквера. Ей что-то крикнули из медленно катящегося автомобиля. Зубы сверкнули в улыбке — струйка раскаленных электронов в серятине дня. Влажность 99,9 процента. Жажда.

Из-за угла на другой стороне вышел рыжий косматый верзила — Джо Редфорд. По-деревенски открыв рот, куда-то уставился — уж не красавице ли вслед? К нему подбежала собака, села задиком в лужу и подняла острое лицо. Из магазина вышел одышливый толстяк, выставил на асфальт черный пластиковый мешок с мусором, сплюнул и скрылся. Странное чувство вдруг пронизало меня — будто бы я не

⁸⁰ Пляжный бездельник.

⁸¹ Половинная нота.

наблюдатель, а часть этого нью-йоркского мгновения, просто расплывчатый лик за мутным окном «Рэджи». Человек, который сидит у окна в кафе и чего-то жаждет.

Тогда догадался — пора уже было домой и дико хотелось писать. Все что попало, отбрасывать листы, отшвыривать листы, пятнать кириллицей литфондовскую бумагу, пока не доберешься до заветного клочка. Дождливый день в Гринич-вилледже — воспоминание о прозе.

Typical American Adventure

Part VII

НА ПРОЩАНИЕ

На обратном пути в полупустом салоне гигантского «джамбо джет» Москвич перебирал детали своего приключения и удивлялся: неужели это произошло с ним? Он постепенно приходил в себя и обретал вновь свою подлинную суть кабинетного затворника.

В салоне, похожем на довольно большой кинозал, все уже спали, хотя на экране мелькали всякие киноужасы. Москвич же бродил по проходам, покачивая головой, почесывая в затылке и смущенно улыбаясь. В час, когда над Атлантикой начала разгораться европейская заря, Москвич заметил в самолете еще одного бодрствующего, меня, то есть автора этого репортажа.

— Надеюсь, вы не обижены, старик? — спросил я. — Все было...

— Все было прекрасно! Никаких претензий, — поспешил он заверить. — Одна беда: в самом конце, практически уже после хеппи-энда, кто-то помог мне пересечь Вествуд-бульвар, поддержал, когда я поскользнулся. Увы, я не успел заметить кто. Нельзя ли?..

— Вполне возможно, — ободрил я его. — Я немедленно напишу Дину Уортсу и попрошу вывесить вашу благодарность в кампусе UCLA, в Вествуде, в Санта-Монике, на Тихоокеанских Палисадах, на Уилшире и Сансете, на пляже Венес и на Телеграф-стрит, на Юнион-сквере и в Монтерее, в Лас-Вегасе, в Калико-сити и в Королевском каньоне среди секвой. Где-нибудь, я уверен, она будет замечена.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Прошел уже год после моего возвращения из Соединенных Штатов. Венцом прошлого лета в советско-американских отношениях оказалась космическая встреча. В стыковочном тоннеле Стаффорд сказал, протягивая руку:

— Кажется, полковник Леонов? Я не ошибаюсь?

Леонов заразительно рассмеялся.

То было лето улыбок, я чувствовал это на себе. Сейчас, быть может, мы реже улыбаемся друг другу. Современная жизнь бывает слишком сложна, слишком сурова. Быть может, кроме права на улыбку, мы должны признать друг за другом и право на сдвинутые брови.

Главное в другом — в советско-американском взаимном уважении. Альтернативы нет. Семантический спор вокруг слова «detente» — «разрядка» — лишь дым, скрывающий попытку неразумных повредить едва возникший каркас советско-американского взаимоуважения, столь важный в современном здании мира.

Впереди нас ждет, конечно, разное — быть может, и разочарование и раздражение, — но будем лучше вспоминать добрые времена и сохранять надежду на новые улыбки. Ведь альтернативы же в самом деле — нет!



Л. ЛАВЛИНСКИЙ



ИЗ КНИГИ СТИХОВ

1. ИСТОРИЯ

Летописание наше необъятно,
Хотя и запеклись в страницах пятна.

Хотя в подпольях и погрызла мышь,
Что не дожег погромщик Тохтамыш.

Тома отсутствуют. Остались крохи
От изначальной киевской эпохи.

Иные перемараны места.
О Стеньке — без допросного листа.

Погибли павшие во время оно
Повторно — от орды Наполеона.

Однако не догрызть и не дожечь
То беспредельное, о чем и речь.

Не по зубам, что создаем и пишем,
Ни сгинувшим, ни новым тохтамышам.

2. АЗЫ

Под разливами озерными
Вижу тайный Китеж-град,
Где шеломами узорными
Купола в воде горят.

Над домами верткой рыбицы
Пролетают косяки.
В гуще водорослей зыблются
Стрелы башен колдовски.

Говор толп ко мне доносится
Из глубинной бирюзы,
Площадей разноголосица —
Заповедные азы.

Ходят люди златоустами
От велика до мала,
И работают без устали
Языков колокола.

3. БАЛЛАДА ОБ ИСЧЕЗНУВШЕЙ РЕКЕ

Не на той ли черной Каяле
Мы, причалив лодку, стояли,
Где лозинами краснотала
Сеча древняя прорастала?

«Жаждал Игорь-князь насладиться
Хоть глотком из синего Дона.
Зачерпнул из меня водицы,
А моя чернота бездонна.

Я дружины стальной могила.
Костяки истлевшие немые.
Бурым слоем рыхлого ила
Стали панцири их и шлемы.

Слава громкая мне досталась.
Потрудились тихие волны.
Жаль, свидетелей не осталось.
А степные холмы безмолвны.

Люди числят меня в потерях.
Я в их памяти — черный призрак.
Вы не чувствуете: сквозь берег
Проступает зловещий признак.

Я — стекающий безымянно
С острия камышины ржавой
Клок развеянного тумана,
Что зовется в народе славой».

Так шептала заводь глухая,
В гуще зарослей иссыхая.

И царапали днище лодки
Неразгаданные находки.

4. ИЗВЕЧНАЯ ПЕСНЯ

Жил когда-то дружинник
С сединой в бороде.
Норовистый, двужильный,
Супротивник Орде.

Вылетал хмурый сокол,
Грузной палицей тряс.
Конь по наледи цокал,
Выбивал перепляс.

Хрипла медь строевая
За стеной городской.
И метель, подпевая,
Леденила тоской.

И стояла на стуже
Ни жива ни мертва
Проводившая мужа
Ни жена, ни вдова.

И от горестной смуты,
От следов на снегу
Я себя почему-то
Оторвать не могу.

5. ПРАПАМЯТЬ

Лежит в снегах иссеченная рать.
Увел Батый ордынцев на Владимир.
Тела погибших некому убрать —
Как от чумы удел рязанский вымер.

Из пепла не поднять великий град,
Не осушить кровавые озера.
И ринется в погоню Коловрат
Через поля разора и позора.

Хоть самому костью придется лечь,
Но в назиданье полчищам поганым
Натешится его дружинный меч
И сблизится по-родственному с ханом.

Жесток мороз. Нетающей крупой
Запорошит возмездию глазницы.
Еще висеть над миром тьме слепой
И после Коловратовой зарницы.

Сквозь ярость зим, сквозь тысячи невзгод,
При огненном рождении прославясь,
Из безымянных трупов прорастет
Российского подвижничества завязь.

Еще и силу черпать будешь ты
У тех, что стали прахом и святыней,
И над слоями древней мерзлоты
В твоих глазах отгадет мертвый иней.

6. ГРОЗА НАД ДОНОМ

В небесах июньского предгрозя
Вызревают облачные гроздя.

Потемнело в стороне Азова,
Провисает низко и свинцово.

Будто синь ползет пороховая,
Поле битвы за собой скрывая.

От удара басурманских пушек
Содрогнулись клубы туч распухших.

Сыпануло об стену горохом.
Проливными залпами загрохал,

Ненависть прицельно разряжая,
Будто крепость перед ним чужая.

Но унялся ливень. Ветром сдуло
Старины злопамятные дула.

Тают клочья парусов на юге.
Унесло проклятые фелюги.

Вот и просияло над Азовом
Чем-то безобманно бирюзовым.

И шумит июнь по всем канавам
Дождевым разливом — не кровавым.

7. УСТАЛОСТЬ

Знойных дорог закаспийская слепь.
Рыжей колючкой поросшая степь
Словно пожаром охвачена.
Такие пейзажи, должно быть, в аду.
Если из гроба к чертям попаду,
Выпьем за Азию в складчину.

В прорезь юрты старик саксаул
Тускло глядит, кривобок и сутул,
На ворох цветных подушек.
Бросив машину, заляг в тени
И молоко верблюжье тьяни,
Аще жара не задушит.

Хозяин — кирпичные выступы скул,
Намного выносливей, чем саксаул,
Зноя не чувствует адского.
«Солнца у вас многовато, ата!» —
«Да, хорошо. До зимы теплота».
И улыбается ласково.

К ночи свежеет. Под небом остынь.
Ангелы веют над пеклом пустынь.
Реющих лиц узкоглазие.
Звездных сокровищ несметны пески.
Переливаясь, горит колдовски
Зеркало вечности — Азия.



ЮСТИНАС МАРЦИНКЯВИЧЮС

★

ДВЕ ПОЭМЫ

С литовского

Поэма огня

1

Лишь полдень наступил,
По небосводу
Во весь необозримый горизонт
Зловеще прокатился
Птичий голос.
Кричала птица
Черная
Как смоль...
Стерню сухую скошенного луга
Тяжелыми копытами
Топча,
Безудержные вороные кони
Вдруг пронеслись
И скрылись вдалеке.
От яркого полуденного солнца
Стальные скрепы
По углам избы
Сверкали —
И немислимого блеска
Не в силах были выдержать глаза.
Нигде
Не встретить
Даже малой тени.
Казалось,
Что они ушли туда,
В обугленную,
Треснувшую землю,
И затаились
Где-то в глубине.
Вокруг еще надеялись на что-то,
Еще пытались
Что-то предпринять,
Куда-то собирались,
Но надежда
Неумолимо
Покидала всех.

Внезапно
 Расколось черный камень,
 К которому ты шла по вечерам
 И на котором ты сидеть любила.
 На камне
 С незапамятных времен
 Остались примечательные знаки.
 Был высечен на нем
 Косматый круг —
 Горящее полуденное солнце —
 И древний символ плодородья —
 Уж.
 Увяли все цветы,
 Что накануне
 На этот камень
 Положили мы.
 И что виной —
 Растения иль наши
 Неверные,
 Лукавые слова?
 Уходит лето,
 Мы же продолжаем
 Все тот же бесконечный разговор.
 Иль умолкаем,
 Опуская взоры,
 Погружены опять
 В самих себя.
 Мы вместе, рядом —
 И, однако, порознь...

Однажды я склонился над **рекой**,
 Но не было нигде
 Блаженной влаги —
 Передо мною
 Простиралось дно,
 Все в трещинах
 От сказочного жара.
 Я догадался:
 Это мой двойник!..
 Я был подобен высохшему руслу —
 И я увидел,
 Я узнал себя.
 Ужели это все?
 Ужели больше —
 Нет ничего?
 Не будет ничего?
 Я продолжал смотреть
 И вновь руками
 Касался трещин
 Высохшего дна.
 Тебе я не сказал тогда ни слова
 О том,
 Что я смотрел на дно реки,
 О том,
 Что ощущал тогда,
 Что думал...

Я слышал птиц тяжелое дыханье,
Трав увядающих
Ловил я запах.
Тьма —
Это тяжесть
Траурных покровов
И тщетные усилия
Сбросить их
(Еще тебя не видел я нагою).
Дышать нам становилось все труднее,
И с высоты
На нас
Ложился пепел.
Лесной пожар!
О, как походит он
На зарево
Рассвета иль заката!
И все же, все же
Разница тут есть.
Не я ли признавался накануне,
Что не видал еще
Огня нагого?
Был знойный воздух
Полон пыльных слов
И пыльных взглядов.
Плавали повсюду
Они, что рыбы мертвые в реке,
И не было нигде
От них спасенья.
И ты
Сквозь эти взгляды и слова,
Себя преодолевая,
Пробиралась.
Казалось,
По вонючему болоту
Бредешь ты с отвращением,
Нагая.
Я долго после этого не мог
Приблизиться к тебе,
Тебя коснуться.
И это лето,
И огонь,
И ты...
Ужели все —
Лишь призраки, фантомы,
Рожденные фантазией моей?
Я мог, конечно, это все
Придумать,
Но это было.
Было наяву.
Воочию я видел древний камень
И символы,
Что выбиты на нем.
Я видел женщин,
Что касались знаков
С надеждой,
Верой,

Горестной мольбой
 (Но оставалось лоно их пустынным).
 Бесплодная земля!
 Повсюду пыль —
 На лицах,
 На листве,
 На сонной влаге.
 Ни к чьей груди
 Не припадет дитя —
 И плоть
 Обречена
 На увяданье.
 Здесь всем грозил огонь,
 И мы должны
 Со всеми заодно
 Искать спасенья.
 Но можно ли еще
 Его найти?

И в полночь
 Мы зарезали ягненка.
 Произнеся заветные слова,
 Мы кровью окропили
 Древний камень.
 Не веря,
 Не надеясь ни на что,
 Мы сделали последнюю попытку
 Снискать благоволение судьбы
 (Злосчастное неверие!
 Мы сами
 Лишили силы
 Страстную мольбу).
 Окончены обряды и молитвы.
 Мы обнялись,
 Поцеловались все
 И, ощущая неизменный запах
 Огня и крови
 На своих устах,
 Направились домой.
 Уже светало...

2

Мне снилось это или наяву
 Со мною это было —
 Я не знаю.
 Спасаясь от огня в речной воде,
 Услышал я,
 Как некий мощный голос
 Провозгласил внезапно:
 Хиросима!
 Вначале я не понял
 И решил,
 Что люди пели
 «Господи, помилуй!»
 Под иступленье пламенных бичей...
 Я должен сделать здесь одно признание,

Открыть свою вину,
Свой горький грех.
Хотелось скрыть мне горестную тайну,
Но тщетны все попытки.
Скрыть — нельзя.
Так тихо,
Что едва и сам расслышал,
Посмел произнести я слово:
Жизнь!..
Почти не слыша,
Я его увидел.
Другие тоже видели его.
По кратеру груди поднявшись,
Лавой
Оно изверглось
Из преступных уст.
И вот уже —
Нагой,
Свободный,
Дикий,
Над нашим миром бушевал огонь.
Он распускался пестрыми цветами,
Меня очертания свои,
Все поглощая —
Землю,
Воздух,
Воду,
Преображая в собственную плоть
И яростный, безумный
Крик мужчины,
И горестный, покорный
Женский взгляд,
И проблеск мысли
В голове ребенка...

Иное было
В памяти у нас.
Узором звездным
Пламенеет небо,
Играет пламя мирного костра —
И этот свет,
Земной с небесным вместе,
Чуть освещает маленькую сцену:
На привязи у кедра
Дремлет ослик,
Лепешку ест с водой
Усталый муж,
Грудь женщины белеет,
И ребенок
Припал к груди.
В его больших глазах
Сверкает столько разума и света,
Таинственно-влекущего огня!
Огня, огня!..
Так вот она,
Разгадка!
О, сколько раз уже смотрели мы

На эту безмятежную картину,
 Но так и не сумели разглядеть
 В глазах ребенка
 Вещую тревогу,
 Предвиденье
 Грядущих
 Катастроф,
 Довременный
 И несказанный
 Отблеск!..
 Из Иудеи бегство.
 Из Огня.
 Из Пирчюписа или Хиросимы.

Я произнес чуть слышно слово:
 Жизнь...
 Зачем касаться
 Этого позора?
 Зачем тревожить
 Дремлющее зло?
 О, только б усыпить,
 Сокрыть,
 Заставить
 Развоплотиться,
 Кануть без следа!
 Но было поздно,
 Было слишком поздно.
 Из уст
 Внезапно
 Вырвался огонь —
 И раскололся легендарный камень
 Со знаками светила
 И ужа...
 Я вспоминаю детство,
 Вижу снова
 Едва горящий, тлеющий очаг.
 Я вижу мать,
 Что встала на колени
 И крестит
 Угасающий огонь,
 Пред тем
 Как до утра его оставить.
 Из детства
 Вновь
 Является гроза,
 Напомнив мне
 О вербном воскресенье...
 Верб можжевеловых раздался треск,
 И молнии
 Когтят
 Ночное небо,
 Раскальвая ночь,
 Как древний камень.
 Все рушится и увядает здесь —
 Бесплодные цветы,
 И плоть,
 И души.

А утром снова —
Бегство от огня.

3

Огонь заколдовал я —
Он утих.
Заколдовал я сталь —
Послушной стала.
Кувшин с водой
Поставил я на стол,
Хлеб положил
И, глядя в недра ночи,
Стал звать людей,
Затерянных во тьме:
Сюда, ко мне,
Скорей идите,
Братья!
Вас ожидает здесь
Тепло и свет!
Садитесь,
Отдыхайте,
Грейтесь,
Ешьте!
По-братски меж собой делите хлеб!
И вот
Поочередно,
Друг за другом,
Угрюмы,
Подозрительны
И злы,
Они вошли,
Расселись врозь,
Ни словом
Не нарушая тяжкой тишины.
Лишь на огонь,
Покорный,
Мирный,
Добрый,
Что весело резвился в очаге,
С каким-то сладострастным вождельем
Смотрели все
Не отрывая глаз.
На лицах и вещах
Мерцали блики,
И длинный нож,
Лежавший на столе,
Поблескивал
В неверном этом свете.
Я только тут заметил,
Что в руке
У каждого —
Копье,
Праца,
Дубина
Иль первобытный каменный топор.
Я догадался:

Смысл огня и стали
Им всем известен
Слишком хорошо.
От пламени
Их кровь
Воспламенилась.
Бесстыдно,
Страстно,
Алчно
Все они
Возжаждали нагую огневицу¹,
Любимую танцовщицу богов,
Что пляшет ныне
Перед их глазами.
Я мог еще убить огонь.
Я мог
Вернуть ножу
Его извечный облик,
Опять
Преобразить его
В ужа...
Но я припомнил легендарный камень
И знаки,
Что оставлены на нем.
Я понял,
Что уже все это было,
Что это будет,
Вероятно,
Вновь,
Что ничего, увы,
Нельзя поделать,
Что здесь никто
Помочь уже не сможет.
Ах, боже мой,
Никто,
Никто,
Никто!

Они ушли,
Забрав с собой огонь,
Ушли,
Танцуя сладострастный танец.
Вились,
Как пламя,
Голые тела,
Глаза сверкали
Словно головешки,
И волосы взметались в такт огню,
Как на ветру
Взметаются знамена.
Апофеоз огня.
Победный клич.
Бесцельное,
Бесплодное соитье...
Крест-накрест
На земле

¹ По литовски огонь женского рода.

Лежат две палки —
Безмолвный символ ярого огня.
Очаг остывший —
Брошенное ложе,
Свидетель оргий и ночных безумств.

Что было дальше,
Хорошо известно.
Огонь распространялся,
Как ледник.
Расколотые камни,
Копья,
Бомбы,
Лежащие в музеях под стеклом,
Свидетельствуют
О его успехах.
Приходят люди,
Задают вопрос
Один и тот же,
Неизменный,
Вечный:
А далеко ли тут до Хиросимы?
(Вчера они,
Забрав с собой огонь,
Ушли,
Танцуя сладострастный танец.)
А далеко ли тут до Хиросимы?
Не говорите только:
Далеко!..

4

Я ночью слышал
Чей-то горький плач.
Тьма сыпалась
На нас
Подобно пеплу.
Молчали наши души и тела
И, словно угасающее пламя,
Стремиться перестали в высоту.
Мы ртом ловили воздух,
Словно рыбы,
Лежащие на берегу морском.
Их предала
Родимая стихия
И бросила
В чужой,
Враждебный мир.
И напоследок
Гаснувшим сознанием
Они еще пытаются понять
Случившееся с ними
Злое чудо
И с болью ощущают,
Как прибой
В них меркнет,
Умирает,

Исчезает.
Как мы похожи
На злосчастных рыб!
Все гибнет здесь,
Все пропадает даром.
Мы знали это раньше,
Но теперь
Смогли воочью
Убедиться в этом.
Не лгали нам,
Не обманули нас
Прозрения,
Предчувствия,
Догадки
(Я никогда об этом не скажу.
Я голову свою посыплю пеплом
И обниму безропотно огонь).

Держаться будем за руки,
Как прежде.
Вновь под ногами
Жесткая трава.
И птицы,
Отягченные заботой,
Молчат угрюмо.
Не желают петь.
Простите мне,
Простите мне угрюмство!
Колодец ночи
Полон до краев
Слезами,
Сожалениями,
Болью.
Камнями надо завалить его
И жажду утолять
Вдали отсюда.
Другой источник
Нужно нам найти..

(Так жили мы
Под огненную сенью,
Пока не улетели навсегда
Озера,
Голубые наши птицы.
В их гнездах
Мы построили дома,
Посеяли бесчисленные злаки.
Затем мы уничтожили леса —
Большие пущи,
Маленькие рощи —
Подряд,
Не пощадив ничто,
Нигде.)

Ну что ж, теперь
Подводим мы итоги..
В рассветном сером свете

Мне видны
Медлительные
Скорбные фигурки.
По мере приближенья
Все ясней
Я различаю
Плачущие лица.
Три женщины бредут,
Обнявшись,
Вдаль —
По бездорожью,
Через поле,
Сами
Не ведая,
Откуда и куда,
Не задавая никаких вопросов,
Не окликая,
Не идя на зов.
Завидев легендарный
Древний камень
Со знаками светила и змеи,
Они как будто вспоминают что-то
И прямо направляются
К нему.
Так начался
Их долгий
Станный танец,
Они кружились,
За руки держась,
Забыв себя.
Размеренно,
Неспешно,
Ничем
Не нарушая
Тишины.
В рассветном сером свете
Мы кружились
Вокруг все той же глыбы.
В голове
У нас звучали,
Ритму танца вторя,
Одни и те же
Вещие слова:
Держаться будем за руки,
Как прежде!
Держаться будем за руки,
Как прежде!

И мы держались,
Конвульсивно сжав,
До боли стиснув
Сцепленные руки,
Поддерживая бережно
Друг друга,
Не в силах
Друг от друга
Отделиться.

Homo sum(MISSA BREVIS)²

1

Вселенная,
 Куда ведешь меня
 Над пропастью,
 По зыбкой
 Узкой грани
 Меж прошлым
 И грядущим?
 Каждый миг,
 Который именуют настоящим,
 Грозит паденьем
 В тьму небытия.
 Какие на бездонном небосводе,
 Над головой моею,
 Гасишь ты
 Неведомые звезды
 И какие
 Ты зажигаешь вместо них,
 Взамен?
 Опять темнеет —
 И светает снова.
 Вот слышу я шаги.
 Шуршит листве.
 И возникает сразу перед взором
 Нагое пепелище
 Всех надежд.
 О, теплый этот пепел!
 Он повсюду —
 Перед глазами,
 В сердце
 И в ладонях...

Да будет дождь!
 Пускай он льет и хлещет,
 Пусть пепелище
 Зарастет травой.
 Пусть запах детства
 Возвратится снова.
 Как пахнет детство!
 Юности цветы
 Пленительны,
 Волшебны,
 Многоцветны!
 Вот слышу я шаг.
 Шуршит листве.
 Вот опустели,
 Вот остыли гнезда.
 Вернитесь, птицы,

² Я емь человек (короткая месса).

Вновь
Ко мне —
Сюда!

2

Как пахнет детство!
Я играл под сенью
Высокой пирамиды,
Как песок,
Пересыпая время
Из ладони
В ладонь.
А надо мной,
Черна
Как смоль,
Дамокловым мечом
Висела птица.
— Дитя мое, дитя,—
Сказал мне сфинкс,—
И время,
И гроза —
Все с тобою! —
Все так же, так же
Сыпался песок.
Горячий,
Он стремился из ладоней,
Скользил меж пальцев.
Больше ни одной
Не остается
У меня
Песчинки —
Лишь ржавый наконечник
От копья.
Так вот они,
И время
И угроза!
Ужели ныне
Остается мне
Лишь это небогатое наследство
И весь мой мир —
Рассыпанный песок,
Над головой
Повиснувшая птица
И наконечник старого копья?
Тут ощутил я
Приближенье страха
И закричал впервые:
— Homo sum!

3

О, homo sum!
Прикованный к галере,
К тяжелому веслу
Былых времен,
Я тяжело гребу.

Скрежещут весла...
 По моему лицу
 Струится пот,
 И в спину хлещут
 Яростные плети,
 Безжалостные,
 Злобные бичи
 Необходимости,
 Нужды,
 Заботы,
 Долга.
 Вокруг
 Одна лишь
 Бесконечность неба
 И бесконечность
 Океанских вод.
 И горизонт —
 Все так же недоступен,
 Недосягаем,
 Как и прежде, был.
 Но я гребу.
 Запекшиеся губы
 Все те же неизменные слова
 Упорно повторяют:
 — Ното sum!

4

О, запах крови!
 От войны к войне
 Преследует меня
 Проклятый запах,
 И Время
 Над моею головой
 Крошится,
 Распадается
 И пеплом,
 Горячим пеплом
 На меня
 Летит.
 Memento, quia pulvis est! ³
 О, кто же я —
 Вселенная?
 Пылинка?
 Горячий пепел
 Вопиет
 Вокруг:
 Pulvis, et omnia pulvis! ⁴
 Ужели голос мой
 Звучит сильнее,
 Могущественней вера,
 Если я
 Одновременно
 Из всех надгробий,
 Из памятников всех,

³ Помни, ибо ты есть прах!

⁴ И ты прах, и все прах!

Больших и малых,
 Из всех могил,
 Бесчисленных,
 Безвестных,
 Начну кричать
 На всех наречьях мира:
 Нет!
 Никогда!
 Не надо!
 Но!
 Нон!
 Найн!..
 Как феникс,
 Возродившийся из пепла,
 Из пепелища,
 Словно из гнезда,
 Вдруг
 Поднимается
 Большая птица.
 Под сенью черных крыл,
 Склонившись долу,
 Молюсь я:
 Да придет,
 Человек,
 На эту землю
 Царствие твое!
 Придет царствие твое!
 Да будет
 Мир на земле
 И в нас,
 В любом и каждом!

5

Adveniat regnum tuum, homine!⁵
 С небес пролился
 Долгожданный дождь,
 И вот на этом сером пепелище —
 Надежды символ —
 Проросла трава.
 Как пахнет детство!
 Ах, как пахнет детство!
 Я вслушиваюсь
 В тишине ночной
 В спокойное дыхание ребенка,
 Который мирно спит
 Вблизи меня.
 Кузнечика чуть различимый стрекот
 Доносится
 В открытое окно.
 Я чувствую,
 Как дивным ощущеньем
 Уверенной,
 Спокойной
 Доброты

⁵ Да придет царствие твое, человек!

Переполняются
Душа
И тело.
Слабеют,
Меркнут,
Исчезают прочь
Смятение,
Тревога,
Напряженность.
И сжатые до боли кулаки
Неощутимо
Стали разжиматься.
Торжествовать позвольте доброте!
Не вспоминать
О боли,
Об утратах
И в исступленьи
Целовать траву,
Благодаря за ласковость,
За нежность,
За то, что прорасти
Сумела здесь,
На безысходном сером пепелище.
Мое дитя,
Кровиночка моя!
Любимая травинка!
Да придет,
Да утвердится
Царствие твое!

6

Я верую.
Благословен и проклят,
Я верую
Наперекор всему.
Прикованный,
Как раб,
К своей галере,
Я продолжаю веровать в добро.
Дитя мое,
Ты видишь эту птицу,
Что вьется над тобой
И надо мной?
Я неизменно
Продолжаю верить
И в этот миг,
Под сенью
Черных крыл...
Я никогда
Не потеряю веру
В то, что придет
Царствие твое
На эту обездоленную землю,
Несчастный
И счастливый
Человек.

Я верую
 В страдания и в муки,
 В их искупленье,
 В радость,
 В торжество,
 В самопожертвованье,
 В пепелища,
 В возможность возрождения —
 Для всех.
 Я верую
 В свое преображенье
 И в воскресенье верую свое.
 Я верую в тебя,
 Моя травинка,
 Мой белый голубь,
 Милое дитя.
 Credo, quia homo sum
 Quia nominor homo ⁶.

7

Vade mecum!⁷
 Вновь слышу я шаги.
 Шуршит листье.
 Вновь Время
 Над моею головой
 Крошится,
 Распадается,
 Летит
 Горячим пеплом
 На меня,
 На Землю.
 Как пахнет детство!
 Юности цветы
 Пленительны,
 Волшебны,
 Многоцветны!
 Опять темнеет —
 И светлеет вновь.
 И, грустное,
 Все так же вьется пламя.
 Костер утрат,
 У твоего огня
 Хотя немного отогрел я сердце
 И вслушиваюсь
 В тишине ночной,
 Как снова возвращаются надежды
 И с ними —
 Птицы
 К своему гнезду,
 Те самые,
 Что прежде,
 И другие.
 Все потерял, казалось бы,—
 И вновь

⁶ Верую, ибо я человек, ибо именуюсь человеком.

⁷ Иди со мной!

Обрел себя,
Опять восстал из пепла.
Я тот, что прежде,—
И уже не тот.
Постиг я ныне
Столько новых истин..
Им сотни лет, быть может,
Но они
Открылись мне теперь,
Сейчас,
Впервые.
Позвольте же торжествовать добру!
Позвольте добрым быть,
Благим
И мудрым.
Любить людей
И под ноги идущим
Бросать цветы.
(О, память юных лет!..)
Мое дитя!
К рассветному светилу,
К любви грядущей
Протяни ручонки
И повторяй,
За мною:
Номо сум!

Перевел А. МЕЖИРОВ.



ТОРНТОН УАЙЛДЕР

★

МАРТОВСКИЕ ИДЫ*

Роман

КНИГА ТРЕТЬЯ

XLII. Верховный понтифик Цезарь — верховной жрице коллегии девственных весталок (9 августа)

Достопочтимая дева.

Это письмо никто не должен видеть, кроме вас.

Прошлой весной госпожа Юлия Марция передала мне ценное замечание, которое вы обронили в беседе с ней. Она и не подозревает, как важны для меня были эти слова, и не знает, что я вам пишу.

Она припомнила, как и вы сожалели о том, что в священных ритуалах нашей римской религии порой встречаются грубые подробности. Помню, что о том же сетовала моя мать, госпожа Аврелия Юлия. Вы, вероятно, не забыли, что в тот год (61-й), когда я в прошлый раз был избран на пост верховного понтифика и Таинства Доброй Богини происходили в моем доме, ими руководила моя мать. Госпожа Аврелия была женщиной примерного благочестия и прекрасно знала религиозные обычаи Рима. В качестве верховного понтифика я помогал ей в исполнении обрядов, однако можете не сомневаться, что мне было открыто не больше того, что положено знать человеку, занимающему этот высокий пост. Но она мне все же сказала, что глубоко сожалеет о кое-каких обрядах, сохранивших следы варварской грубости, которая, по ее словам, вовсе не усиливает их воздействия. Вы, может быть, также припомните, что в тот год (об этом мне было дозволено знать) она на свою ответственность заменила живых змей глиняными; это новшество не встретило возражений и, если не ошибаюсь, принято и в наши дни.

Я знаю, высокопочтимая госпожа, что по обычаю девственным весталкам полагается покидать церемонию в полночь, то есть еще до заключительного обряда. Следовательно, я вправе предположить, что некие символические действия, происходящие позднее, оскорбительны для глубоко верующих и целомудренных дев. На протяжении своей жизни я не раз замечал чувство отвращения к ним у женщин в своей семье. Однако мне еще больше бросалась в глаза радость и глубокая вера, с какой они готовились к этим обрядам. Великий Марий говорил об этих Таинствах: «Это столп, поддерживающий Рим». Я хотел бы, чтобы о них и обо всех наших римских обрядах можно было сказать, как Пиндар сказал об Элевсинских мистериях: «Они хранят мир от распада и хаоса».

Разрешите мне просить вас, благородная дева, поразмыслить над тем, к чему я привлек ваше внимание. Если вы сочтете нужным, пошлите это письмо госпоже Юлии Марции. Я считаю, что, объединив ваши усилия, вы способны оказать эту выдающуюся услугу нашему народу в его насущных интересах. Конечно, не без страха и трепета решишься изменить хотя бы единое слово или жест в столь древних и полных святости обрядах. Однако я придерживаюсь мнения, что по закону жизни все растет и меняется, сбрасывает шелуху, предохраняющую зародыш, и принимает более прекрасные и благородные формы. Так повелели бессмертные боги.

* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» № 7 с. г.

**XLII-A. Цезарь — госпоже Юлии Марции в ее имени на Албанских холмах
(11 августа)**

Прилагаю письмо, которое я только что написал верховной жрице коллегии девственных весталок. Надеюсь, я точно выразил твою мысль.

Надо ожидать, что любые новшества в этой области встретят большое сопротивление. Женщины — на горе нам и на радость — отчаянные консерваторы. Мужчины давно отказались от грубых ритуалов: от празднества Арвальских братьев и кое-каких других. Лучше, пожалуй, сказать, что они их развенчали и отринули; теперь эти ритуалы существуют только как пережитки в религиозных церемониях; как невинное шутство, которым предваряют и заканчивают основные обряды.

Я с горечью просматриваю список самых знатных семейств, стараюсь найти там хоть несколько здравомыслящих женщин, которые смогли бы оказать тебе помощь и поддержку в этом необходимом деле. В предыдущем поколении нетрудно было бы назвать десятка два таких матрон. А теперь я вижу только тех, кто будет чинить тебе всяческие препятствия: Семпрония Метелла и Фульвия Мансон — по бездумному консерватизму; Сервилия — со злости, что не она это затеяла; Клодия Пульхер — из духа противоречия. Меня не удивит, если и Помпей попробует воспротивиться нашим намерениям.

Дорогая тетя, вчера я доставил себе немалое удовольствие. Как ты знаешь, я решил основать несколько колоний на Черном море. Карта подсказала мне восхитительное место, прямо созданное для того, чтобы построить там два смежных города. Я называю их в честь твоего великого мужа и в твою честь: Мариурбисом и Юлимарцием. Мне сказали, что место это очень здоровое и необычайно живописно расположено; я посылаю туда наиболее достойные семьи из тех, кто ходатайствовал о выезде.

**XLII-B. Дневник в письмах Цезаря — Луцию Мамилию Туррину на остров Капри
(Приблизительно 6 сентября)**

973. *(Относительно реформ в Таинствах Добрай Богини.)*

Как мне недавно объяснили в одном анонимном письме, диктатура неудержимо толкает на сочинение анонимных посланий. Я не помню, чтобы когда-нибудь их столько было в обращении. Они хлынули в мой дом потоком. Вдохновленные подлинной страстью, они пользуются безнаказанностью своего сиротского положения и тем не менее обладают крупным преимуществом перед узаконенной перепиской: анонимные письма выражают свои замыслы до конца; они выворачивают карманы наизнанку.

Я разворошил осиное гнездо, попытавшись отменить кое-какие дикие пережитки, о которых знал — правда, не слишком много, — в праздновании Таинства Добрай Богини. Они не подозревают, что я инициатор этих новшеств; они просто зывают ко мне как к верховному понтифику и высшему судье.

Церемонии, которые происходят в течение этих двадцати часов, должно быть, производят глубочайшее впечатление на верующих — настолько сильное, что большинство участниц в порыве экстаза вряд ли ощущают их непристойность. Для них эта непристойность лишь увеличивает подлинность и магическое действие обрядов.

Таинства, насколько я понимаю, предохраняют от бесплодия, от трагического исхода беременности и рождения уродов. Они вносят гармонию и, так сказать, освящают ту жизнь женщины, о которой даже самые опытные врачи весьма мало знают. И я понимаю, что раз так, дело этим не ограничивается: эти обряды утверждают саму жизнь, все человечество, всякое созидание. Ничего удивительного, что женщины возвращаются оттуда существами другого мира и какое-то время бродят просветленные и словно чуждые всему. Им сказали, что они управляют ходом светил и не дают сойти с места камням, которыми вымощен Рим. И когда они потом нам отдаются, они это делают с гордостью и даже не без высокомерия, словно мы, мужчины, лишь случайные орудия в их великом труде.

Я далек от того, чтобы хоть на йоту ослабить воздействие и утешительную силу этих церемоний. Наоборот, я хочу повысить их влияние. Однако я заметил, что их положительное действие длится всего несколько дней. Пробудь наши женщины дольше в этом возвышенном состоянии, я бы охотно признал, что они и впрямь управляют хо-

дом светил и содержат в порядке римские мостовые. Из всех известных мне мужчин, я — самый горячий поклонник вечно женственного, я снисходительнее других к женским слабостям, терпимее к причудам. Но не забудь, какие у меня были преимущества! Я с удивлением себя спрашиваю: «Мог бы какой-нибудь мужчина судить о женском поле, если бы ему не пришлось жить рядом с замечательными женщинами? Какое высокомерие у него выработалось бы от одного сознания того, что он — мужчина! Какие легкие победы он одерживал бы, помыкая близкими ему женщинами!» Каждый день я наблюдаю множество мужчин; среди них легко отличить тех, кто стал тем, что он есть, благодаря былой близости с какой-нибудь выдающейся женщиной. Я больше сделал для того, чтобы поднять общественное положение и независимость женщины, чем кто-либо другой из правителей. Перикл в этих делах был туповат, а Александр еще щенок. Меня часто попрекают легкомысленным отношением к женщинам. Это ерунда. Из всех, с кем я имел дело, я только одну сделал своим врагом, да и та стала врагом всех мужчин еще до встречи со мной. И ее я почти излечил от ненависти к себе и, пожалуй, спас от ада, но довести это дело до конца мог бы только бог.

Я приписываю недолговечность благотворного влияния празднеств перенапряжению; участницы приходят в такое возбуждение, что теряют рассудок, а ведь оно — результат непристойностей в обрядах. Я полагаю, что их больше в заключительном ритуале, который начинается в полночь. По обычаю девственные весталки, незамужние женщины и беременные в это время расходятся по домам; теперь я понимаю, почему моя возлюбленная Корнелия и Аврелия в полночь притворялись больными и удалялись в свои покои даже тогда, когда играли в этих церемониях важную роль, а руководство передавали Сервилии — уж она-то, будь покоен, вела себя, как менада!

Ты будешь прав, если скажешь, что я действую вслепую, от невежества пытаюсь изменить тут пропорцию добра и зла. Но когда же я не действовал вслепую? Особенно за последние месяцы; каждый мой шаг я делал словно человек с завязанными глазами, надеясь, что впереди не развернется пропасть. Я пишу завещание, делаю своим наследником Октавиана — разве это не шаг наугад в темноту? Я назначаю Марка Брута городским претором и делаю его приближенным ко мне человеком — разве и это верный шаг?

Я перечел последние строки через два дня после того, как их написал. Удивительно, как это я сам не сделал из них очевидных выводов.

Кто она такая, эта Добрая Богиня?

Ни одному мужчине никогда не называли ее имени, ни одной женщине не разрешается его произнести, быть может, и они его не знают.

Где она? В Риме? Присутствует при родах наших жен? Не допускает, чтобы много детей рождались волчата? Надо полагать, что она присутствовала и при моем рождении, когда врач вырывал меня из чрева матери.

Нет! Я убежден, что если она и существует, то разве что в воображении верующих. Но ведь это тоже существование, и, как мы наблюдали, вовсе не бесполезное.

А если наш разум может создавать таких богов и если от созданных нами богов исходит подобная сила — а ведь она есть не что иное, как сила, заключенная в нас самих, — почему же нам не пользоваться этой силой непосредственно? Женщины исполняют лишь малую толику своей силы, ибо не подозревают, что она у них есть. Они считают себя беспомощными жертвами злокозненных духов, облагодетельствованными этой богиней, которую им положено молить и убажывать. Ничего удивительного, что их экстаз скоро проходит, они снова тонут в бездонной трясине мелочей, любая из этих мелочей может привести их в восторг или опечалить; они погружаются в непрестанную суету, похожую на отчаяние, — отчаяние, даже не сознающее, что оно отчаяние; либо выполняют свои обязанности с такой самоотдачей, что она поглощает даже отчаяние.

Пусть каждая женщина отыщет в себе собственную богиню — вот в чем должен быть смысл этих обрядов.

И первым шагом к такой цели должна быть по меньшей мере отмена всякой непристойности. Допустим хотя бы, что религия предполагает одухотворенность каждой частицы нашей плоти, а вовсе не хочет, чтобы дух наш был поработен и поглощен плотью. Ибо главным достоянием богов вовне и внутри нас является дух.

XLIII. Клеопатра из Египта — Цезарю (17 августа)

Клеопатра, вечноживущая Изида, дитя Солнца, избранница Пта, царица Египта, Киренаики и Аравии, императрица Верхнего и Нижнего Нила, царица Эфиопии и пр. и пр.,— Каю Юлию Цезарю, диктатору Римской республики и верховному понтифику.

Сим письмом царица Египта просит, чтобы ее включили в число тех римлянок, коим дозволено присутствовать на Таинствах Доброй Богини.

XLIII-A. Дневник в письмах Цезаря — Луцию Мамилию Туррину на остров Капри

975. Это у тебя почерпнул я мысль, которая до того самоочевидна, что я опасаясь, как бы не забыть, кто высказал ее первый: властям необходимо всячески утверждать тождество чужеземных богов с нашими собственными. Кое-где эта задача оказалась весьма трудной, а кое-где на удивление простой. В большей части Северной Галлии бог дубов и бурь (ни одному римлянину не удалось произнести его имени — Годан, Квотан...) давно слился с Юпитером; он каждый день с улыбкой взирает на браки наших солдат и чиновников с златовласыми дочерьми тамошних лесов. Храмы моей прародительницы (*Венеры, дог Юлиев считал себя потомками Юла, сына Энея, сына Афродиты*) на востоке стали одновременно храмами Астарты и Иштар. Не знаю, доживу ли я до этого, а нет, так, может быть, мои наследники поймут, как важно объединить различные культы — мужчины и женщины во всем мире будут звать друг друга братьями и сестрами, детьми Юпитера.

Такое всемирное уравнение богов дало недавно довольно забавный результат, доказательство чего я прилагаю к всему письму. Ее Пирамидное Величество царица Египта заявила о своем желании участвовать в Таинствах нашей чисто римской Доброй Богини. Ты всегда питал интерес и к генеалогии и к теологии, но даже ты не захочешь изучать бесчисленные документы, которыми она подкрепляет свое ходатайство. Клеопатра ничего не делает наполовину, моя приемная загромождена тюками этих свидетельств.

Ее притязания подкрепляются двумя доводами: происхождением от богини Кеб и происхождением от богини Кибелы.

Даже от беглого перечня может голова закружиться, но я кратко изложу тебе страниц триста в ее силе, хотя самих документов у меня нет перед глазами.

«Греческие богословы разрешили отождествлять Кебу с Кибелой уже более двухсот лет назад (см. приложение на двухстах страницах). По случаю посещения Рима царицей Прибрежной Армении Дикорией (в 89 году) главный жрец указал на тождество эманаций Кибелы и Доброй Богини (см. прилагаемые кипы X и XI).

Верховный понтифик, наверное, помнит, что когда царица Египта предъявила ему в Александрии свои генеалогические таблицы (чепуха!), хотя в то время она еще не обнародовала своей египетской родословной (вот это верно), она основывала свои притязания на Тир и Сидон брачным союзом, заключенным ее прадедом (ее прадед был таким же бессильным в постели, как и на поле брани) с царицей Ахолибой. Таким образом, через цариц Иезавель и Аталию я прямой потомок и наследственная верховная жрица Иштар. Благодаря этому родству и ввиду того, что царица Иезавель являлась двоюродной сестрой Дидоны, царицы Карфагена (обрати внимание на угрозу: мой дед обидел ее двоюродную бабу)...)» — и т. д. и т. д. Все это верно. Поголовно все восточные владыки приходятся сами себе двоюродными братьями и по отцу и по матери. Я написал ей, что после соответствующего инструктажа она будет допущена к начальной стадии Таинств; это разрешение дается ей не из-за ее притязаний на прямое происхождение от Доброй Богини или какого-либо другого божества, а просто потому, что Богиня с радостью принимает в начале вечера всех женщин, желающих ей поклониться.

Хочу добавить, что весь этот вздор может создать неверное представление о царице Египта. Он отражает ту единственную область, где ее мышление лишено обычной рассудительности.

Надо добавить, что, подкрепляя доводами свою просьбу царица упустила из виду

один весьма любопытный факт. Может быть, он ей неизвестен. Почитательницы Доброй Богини носят во время службы головной убор явно не греческий и не римский, который сами они называют «египетским тюрбаном». Откуда он появился, никто объяснить не может. Да и кто возьмется объяснять символы и воздействие религии, ту вселенскую помесь восторга и ужаса, каковой она является?

XLIV. Госпожа Юлия Марция из дома Цезаря в Риме—Клодия
(30 сентября)

Письмо это секретное.

Юлия Марция приветствует Клодию Пульхер, дочь и внучку самых близких ее друзей.

Я с нетерпением жду вашего завтрашнего обеда, знакомства с вашим братом, возобновления старой дружбы с Марком Гуллием Цицероном и встречи с вами.

Я вернулась в город три дня назад для участия в собрании руководительниц религиозного праздника, издревле и с благоговейным трепетом почитаемого верующими. На собрании мне было вручено восемь прошений, в которых меня уговаривают не допускать вас на Таинства. Я прочла эти прошения с огорчением и более того — с глубокой печалью, но не считаю изложенные в них обвинения достаточно серьезными и обоснованными, чтобы оправдать подобную меру. И все же, получив такие прошения, ни я, ни другие матроны, ответственные за благочестивое исполнение религиозных обрядов, не можем ими пренебречь.

Я хочу предложить компромисс. Уверена, что мне удастся его добиться, если, конечно, не поступят новые прошения, содержащие неопровержимые доказательства необходимости вашего исключения. Предлагая такой компромисс, я не хочу, чтобы меня заподозрили в том, будто я легкомысленно отметаю недовольство, которое — справедливо или несправедливо — вызывают ваши поступки. Мною движет желание избежать открытого скандала вокруг Таинств Доброй Богини, которые были так дороги тем, кому были дороги вы.

Я сообщаю вам под большим секретом, что в недалеком будущем в Риме появится царица Египта Клеопатра; она просит допустить ее к Таинствам, о которых идет речь. Ее прошение, сопровождаемое многочисленными доводами, списком прецедентов и аналогий, было прислано нам, руководительницам, и верховному понтифику. Царице, по видимому, разрешат присутствовать на празднестве до полуночи, когда, согласно обычаю, девственные весталки, незамужние и беременные, а также (*здесь приведен термин, означающий, что данное лицо не принадлежит к трибам, на которые делятся римские граждане*) покидают храм. Я собираюсь предложить, чтобы вас назначили екаставницей египетской царицы, и таким образом, вам придется в полночь сопровождать ее назад во дворец. Ваших врагов, я уверена, успокоит, что вы не сможете дольше присутствовать на обрядах, так как вы будете вынуждены уйти вместе с почетной гостью.

Прошу вас, Клодия, обдумать мое предложение и надеюсь, что завтра вы найдете время сообщить мне о вашем согласии. У вас есть и другая возможность: опротестовать эти прошения и встретиться лицом к лицу с вашими обвинителями на пленарной сессии комитета. Если бы речь шла о светских делах, я бы посоветовала вам так и поступить; однако обвинения и опровержения все равно наносят урон чувству благопристойности, достоинству и репутации. Открыто их обсуждать — самому признаться, что урон этот нанесен.

Верховный понтифик не подозревает о всех этих затруднениях, и я, разумеется, приложу все силы, чтобы его внимание не было к ним привлечено. Я извещу его лишь о том решении, которое предлагаю вам принять.

XLIV-A. Дневник в письмах Цезаря — Луцию Мамилию Туррину на остров Капри
(Приблизительно 8 октября)

1002. (О Клодии и пантомиме Пактина.)

Меня чаще выводят из равновесия мелочи, чем серьезные происшествия. Вот сейчас мне пришлось запретить представление пьесы на сцене. Прилагаю копию этой

пьесы — пантомимы Пактина под названием «Награда за добродетель». Ты, может быть, знаешь, хоть я и упустил тебе об этом сказать, что я учредил двадцать различных наград для девушек из простонародья, получивших самую высокую оценку соседей за хорошее поведение, примерное отношение к родителям, хозяевам и т. д. По-моему, эта мера дала отличные результаты. Попутно она вызвала такой поток острот и насмешек, как ни одно из моих нововведений. Я дал богатую пищу Риму для веселья; каждый подметальщик улиц открыл в себе остряка, и, как ты себе представляешь, меня не щадили.

Одним из следствий моей меры был потрясающий успех прилагаемого фарса. Обрати внимание на четвертое явление — там изображены Кладия с братом. Зрители сразу поняли, о ком идет речь. Мне говорили, что на каждом спектакле в конце этой сцены публика рукоплескала стоя, разражаясь бурей аплодисментов, издевок, злорадного хохота. Незнакомые обнимались, все орали, подпрыгивали от восторга и дважды ломали перила яруса.

После восьми представлений я приказал пьесу снять. После второго спектакля ко мне в приемную явился Клодий Пульхер с жалобой на то, что его оскорбляют. Я просил ему передать, что занят африканскими делами и принять его не могу. Мне хотелось, чтобы эта прославленная парочка хоть какое-то время глотала горькое пойло, которое сама же сварила. Наконец он явился снова с достаточно униженным видом, и я удовлетворил его мольбу.

Мне было обидно снимать пьесу. В ней нет литературных достоинств, но до сих пор я еще ни разу не насиловал свободу слова и не наказывал за убеждения, как бы они ни были возмутительны. Более того, меня ксрежит от мысли, что многие воображают, будто я запретил спектакль потому, что в нем содержались выпады против меня.

Театральная публика — самое нравственное из сборищ. То обстоятельство, что все эти римляне сидят вместе плечом к плечу, словно внушает им ту возвышенность суждений, какой они не проявляют нигде. Они не колеблясь решают, хорошо или плохо ведут себя персонажи пьесы, и требуют от них того высокого нравственного уровня, какого и не думают спрашивать с себя. Пандар из публики дрожит от благогого негодования, когда видит такого же сводника на сцене. Двенадцать проституток, сидящих рядком в театре, целомудреннее любой девственной весталки. Я часто замечал, что морально-этические суждения театральной аудитории устарели лет на тридцать; в массе люди выражают те взгляды, которые они усвоили в детстве от своих родителей и воспитателей. Вот так и в этом фарсе обличение Клодии приводило зрителей в экстаз. Каждый из них ощущал себя образцом добродетели.

Таких возвышенных чувств обычно хватает на час. Ах, если бы среди нас жил Аристофан. Он сумел бы приковать к позорному столбу Клодию и Цезаря, а потом осмеять смеющихся зрителей. Где ты, Аристофан?

XLIV-Б. Отрывок из «Награды за добродетель» — пантомимы Пактина

(Судья соревнования — в его образе явно выведен Цезарь — сидит у себя в приемной и опрашивает претендентов на приз. Его изображают хитрым, распутным стариканом. Ему помогает писец.)

Пьеса написана в стихах.

Идет четвертое явление.

Писец. Вашу честь желает видеть хорошенькая девушка.

(Хорошенькая полагыни — пульхра.)

Судья. Что? А хорошенький мальчик не придет?

(Литература полна была бесчисленных намеков на педерастические склонности Цезаря.)

Писец. Это его сестра, ваша честь.

Судья. Ну что ж, пусть войдет. Ты знаешь, я не разборчив.

Писец. Она плачет, ваша честь.

Судья. Как же ей не плакать, дурень, если она добродетельна? Добродетель-

ные женщины плачут первую половину жизни, а недобродетельные — вторую, поэтому Тибр и не высыхает. Впусти ее.

Входит молодая девушка в лохмотьях.

Подойди поближе, деточка. Я плохо вижу все, кроме вилл в Тиволи. (*Цезарь конфиденциально поместя двух знатных приверженцев Помпея, пользовавшихся особой любовью римского народа.*) Значит, ты хочешь получить награду за добродетель, так ведь, малютка?

Девушка. Да, ваша честь. Во всем городе не сыскать более добродетельной девушки, чем я.

Судья (*лаская ее*). А ты уверена, что не ошиблась адресом, голубушка? Гм... дай-ка поглядеть... Дай-ка поглядеть... Ты ведь, гм... не первой молодости, а?

Девушка. Да нет, ваша честь! Моя первая молодость прошла при консульстве Корнелия и Муммия. (*То есть в 146 году до Р. Х.*)

Судья. Вижу, вижу. Скажи, мой цветочек, папа твой жив?

Девушка (*плача*). Ах, господин, как вам не стыдно этим меня попрекать?

Судья. Тогда скажи мне, жив ли твой муж?

Девушка. Ваша честь, я пришла сюда не затем, чтобы меня обвиняли то в одном, то в другом, да еще так грубо!

Судья. Тс, тс-с-с! Мне просто показалось, что я заметил снежинку у тебя на руке. (*Существовало поверье, что убийцы страдают золотушным шелушением кожи на ладонях.*) Скажи, милочка, ты нежно заботилась о твоих отце и матери?

Девушка. О да. Я им помогла испустить последний вздох.

Судья. Вот это любящая дочь. А ты была добра к твоим красавчикам братьям?

Девушка. Ваша честь, я ни в чем им не отказывала.

Судья. Надеюсь, ты не преступала пределов скромности?

(*«Скромностью» — назывались деревня и храм в десяти милях от Рима.*)

Девушка. О нет, господин! Я не выходила за городские ворота. Мы устраивались дома.

Судья. Совершенство! Совершенство! Ну а теперь скажи мне, золотко, почему ты одета в лохмотья?

Девушка. Вы еще спрашиваете, добрый мой господин? В Риме больше нет в обращении денег. Наверно, Мамурра все их увез в Нижнюю Галлию. (*В предыдущей сцене Мамурра, одетый галльской вешуньей, получал награду за то, что «вымел дом гочиста».*) Старший брат денег в дом не приносит, недаром он пенсионер Носа-в-прожилках (*то есть Цезаря. Из-за крайней скромности домашнего уклада Цезаря изгавна обвиняли в скупости.*) Второй брат не приносит денег, потому что все его имущество было зажучено в Тибр (*Цезарь недавно спрямил русло Тибра, срыв часть берегов пог Ватиканом и Яникульским холмом. Римское население сбегалось глядеть на эти работы, где применяли новую землеройную машину. Ее изобрел Цезарь во время военных походов, и она тут же была окрещена «навозным жуком». В затопленном районе раньше находились городские притоны.*)

Судья. А ты, моя пташка? Говорят, будто ты зарабатываешь немало трехгрошовых монет?

(*И т. г.*)

XLV. Служанка Помпеи Абра — метрдотелю таверн в Коссутин (агенту разведывательной службы Клеопатры)

(17 октября)

Как вы приказывали, сперва по порядку отвечу на ваши вопросы.

1. Я прослужила у госпожи Клодии Пульхер пять лет. Во время войны мы уехали из Рима и жили в ее доме в Байях. Через два года я получу свободу. Здесь я служу два года. Мне тридцать восемь лет. У меня нет детей.

2. В этом месяце мне не разрешено выходить из дому. Никому из слуг не разрешено. Дознались, что кто-то ворует. Так они говорят, но я думаю, что дело не в этом. Мы все подозреваем, что тут дело в секретаре с Крита — за ним следят.

3. Моему мужу позволяют приходить ко мне раз в пять дней. Когда он уходит, его обыскивают. Ни один разносчик не может войти в дом. Они подходят к садовой калитке, и мы там у них покупаем.

4. Да, я посылаю письма госпоже Клодии Пульхер всякий раз, когда приходит повивальная бабка Хаджия. (*Надо предполагать, что повивальная бабка пользовала кого-то из челяди Цезаря.*) Ее не обыскивают. Госпоже Клодии Пульхер я пишу примерно вот о чем: как египетская царица приезжала в гости к моей хозяйке; когда хозяйина всю ночь не бывает дома; иногда о том, о чем они разговаривают за столом — мне это пересказывает дворецкий — и когда на хозяйина находит падучая. Госпожа Клодия Пульхер денег мне не платит. Она подарила моему мужу таверну на Аппиевой дороге возле гробницы Мопса. Если мои письма вас устраивают, нам с мужем хотелось бы купить корову.

5. Нет, я не уверена, там ничего нет определенного. Но по-моему, хозяин меня недолго любит. Полгода назад они из-за меня поссорились, а еще пуще ссорились они два дня назад. Но хозяйка ни за что ему не позволит меня выгнать, она будет плакать. Ей никогда не надоедает болтать о драгоценностях, нарядах, прическах и пр., а с кем же ей разговаривать, кроме меня? Вот как обстоит дело.

6. О письмах моей хозяйки. В прошлом году хозяин велел привратнику все письма к хозяйке класть вместе с его письмами. Поэтому все письма за день держат в комнате привратника, а потом отсылают в рабочую комнату хозяина. Но хозяйка по нескольку раз на день навевается к привратнику, спрашивает, нет ли для нее писем, и тогда он их ей отдает. Она устроила большой скандал и плакала, теперь все письма поступают к ней. Он только сказал, чтобы анонимные письма уничтожали не читая. Большую часть уничтожают. Их много. Некоторые очень интересные. А некоторые нет.

Вот теперь начинаю письмо.

Хозяин очень добр к хозяйке. Когда он возвращается домой из своего присутствия, он почти все время проводит с ней. Если к нему приходят по делу, он принимает посетителей в соседней комнате, при открытых дверях, и старается их побыстрее спровадить. Когда она ложится спать, к нему на час-другой приходят друзья, потому что он не любит много спать, я хочу сказать, что у него нет потребности долго спать. А так как эти друзья вроде Гиртия, Мамурры или Оппия много пьют и громко смеются, они уходят с ним в рабочую комнату на скале над рекой. Но хозяйка чуть не два часа готовится ко сну, поэтому когда он возвращается, она часто еще не спит. А когда она собирается лечь, он частенько оставляет своих друзей, садится возле нас и разговаривает с ней, пока я ее причесываю и пр. Я хочу вот что сказать: она вечно ищет повода с ним поспорить. И почти всегда плачет. Часто он отсылает меня из комнаты, когда они разговаривают. Она ссорится с ним из-за законов против роскоши, из-за детеныша леопарда, которого ей подарила египетская царица, из-за того, что госпожу Клодию Пульхер не приглашают в дом, и в какой день нам лучше ехать на виллу у озера Неми, и почему она не может пойти в театр.

Два дня назад они здорово поссорились. Когда хозяйка на минутку вышла из комнаты, хозяин, наверно, пошарил на ее туалетном столике и там среди всех ее баночек и скляночек нашел анонимное письмо, которое она получила несколько месяцев назад. Он его, видно, прочел и положил на место. А когда хозяйка вернулась, сделал вид, будто нашел письмо только что. Вот как, по-моему, было дело. В этом письме говорилось, что Клодий Пульхер, тот, что сжег дом Цицерона и грозился убить всех сенаторов, любит мою хозяйку до беспамятства, и ее против него предостерегают, потому что, может статься, он не сумеет совладать с такой любовью. Хозяин был очень спокоен, но я-то его знаю! Он даже побелел от ярости. Он сказал, что письмо наверняка написал сам Клодий Пульхер и что только человек, глубоко презирающий женщину и желающий ее надуть, мог написать такое письмо. Хозяйка же сказала, что она терпеть не может Клодия Пульхера, но не верит, будто он сам написал письмо. Тут меня прогнали из комнаты. Когда я вернулась, она была вся в слезах и опять принялась плакать и все причитала, что так жить не может и такую жизнь вынести нельзя.

Хозяин послал за мной и сказал, что это я принесла письмо. Я поклялась страшной клятвой, как он потребовал, что ничего про письмо не знала; но, по-моему, он догадался. И все же я не думаю, что он меня выгонит.

Хотите ли вы, чтобы я писала, когда хозяин приходит домой под самое утро?

Виночерпий говорит, будто он слышал, как хозяин разговаривал с Бальбом и Брутом — Децимом Брутом, а не тем красавцем — и сказал, что хочет перенести Рим в Трою. Троя эта вроде в Египте.

Секретарь, тот, из Сицилии, говорит, что он передумал: войны с парфянами не будет. Критский секретарь сказал: дурак ты, еще как будет. Больше я ничего об этом не знаю.

Говорят, будет эдикт: повозкам после десяти часов не разрешат въезжать в центр города и стоять больше часа.

Забыла написать: когда хозяйка ехала на озеро Неми, Клодий Пульхер подскакал к носилкам и завел с ней разговор, но Аффий подошел и сказал, что ему приказано никого не подпускать к разговорам. Аффий — надсмотрщик на ферме и ведаёт нашими поездками. Он был с хозяином на войне и у него только одна рука.

Ну, теперь я кончаю.

Еще я хочу сказать, что мне здесь не нравится, как-то не по себе. Я просила госпожу Клодию Пульхер взять меня обратно, но она велит мне оставаться здесь. Но я знаю, как сделать, чтобы уйти отсюда. Если такое письмо вам подходит, я здесь останусь и еще напишу.

Корову нам хотелось бы иметь буренку, пятнистую.

XLVI. Дневник в письмах Цезаря — Луцию Мамилию Туррину на Капри (Приблизительно 13 октября)

1012. Мы с царицей Египта поссорились. Это не те ссоры, которые постоянно кипят в будуарах и частенько кончаются весьма избитым способом.

Клеопатра утверждает, будто я — бог. Она возмущена, что я только недавно признал себя богом. Клеопатра глубоко уверена в том, что она богиня, и каждодневное поклонение народа укрепляет ее веру. Она внушает мне, что благодаря своему божественному происхождению она одарена редкой пронизательностью и сразу распознает богов. Поэтому она может заверить меня, что я тоже принадлежу к их числу.

Все это дает пищу для весьма приятных бесед, прерываемых игривыми интермедиями. Я щиплю богиню, богиня визжит. Я закрываю рукой богине глаза, и, клянусь бессмертными богами, она не видит ни зги. Но на все эти коварные доводы у нее есть ответ. Правда, это единственная область, где великой царице изменяет разум, и я научился, говоря на эту тему, не переходить на серьезный лад. Только в этом вопросе, пожалуй, она поистине восточная женщина.

Нет ничего опаснее — и не только для нас, власть имущих, но и для тех, кто взирет на нас с большим или меньшим обожанием, — приписывания нам божественных свойств. Ничего удивительного, что многие из нас вдруг начинают верить, будто в них вдохнули сверхъестественную мощь или что они невольные носители конечной истины. Когда я был моложе, я часто это испытывал, теперь же подобное состояние вызывает у меня гадливую дрожь. Мне не устают напоминать — обычно лстецы, — как однажды в бьюрю я сказал оробевшему лодочнику: «Не бойся, ты везешь Цезаря». Какая чушь! Житейские невзгоды щадили меня ничуть не больше, чем других.

Но это еще не все. История разных народов показывает, как глубоко укоренилась в нас склонность приписывать сверхчеловеческие свойства тем, кто обладает талантами или просто занимает видное положение. Я не сомневаюсь, что полубоги и даже боги древности — всего лишь те наши предки, которых высоко почитали. Это давало свои плоды — питало воображение отроков, укрепляло нравственность и общественные институты. Однако все это нам пора преодолеть и отбросить. Все, кто когда-либо жил на земле, были только людьми; их успехи должны рассматриваться как проявление человеческой природы, а не как ее аномалии.

Кроме тебя, мне не с кем об этом поговорить. С каждым годом вокруг меня сгущается душная атмосфера обожествления. Я со стыдом вспоминаю, что в былое время и сам нагнетал ее для государственных нужд, и одно это уже доказывает, что я только человек со всеми его слабостями, ибо нет большей слабости, чем пытаться внушить другим, будто ты бог. Как-то ночью мне приснилось, что у входа в мой шатер стоит

Александр, он занес меч, чтобы меня убить. Я сказал ему: «Но ты же не бог» — и он исчез.

Чем старше я становлюсь, дорогой Луций, тем больше я радуюсь, что я человек смертный, ошибающийся, но не робкий. Сегодня секретари смущенно подали мне пачку документов, в которых я допустил всякие ошибки (в душе я зову их Клеопатрины ошибки, так одержим я этой чародейкой). Я, смеясь, исправил их одну за другой. Секретари надулись. Они не могли понять, почему Цезарь радуется своим ошибкам. Секретари не больно веселая компания.

Последнее время у нас часто употребляют слова «божество» и «бог». Они имеют тысячу значений, а для каждого в отдельности не меньше двадцати.

Вчера вечером я застал жену в большом волнении, она молила богов послать солнечную погоду для поездки на озеро Неми. Тетка моя Юлия занимается сельским хозяйством, она не верит, что боги в угоду ей изменят погоду, но убеждена, что они охраняют Рим и назначили меня его правителем. Цицерон не сомневается, что они преспокойно дадут Риму скатиться в пропасть (и не склонен делить с ними честь спасения государства от Катилины), однако он верит, что они вложили понятие справедливости в сердца людей. Катулл, видимо, считает, что идея справедливости родилась у людей в результате бесконечных дряг из-за земельных наделов, но он верит, что любовь — единственное проявление божественного начала и что только через любовь, даже когда она оклеветана и обесчещена, мы постигаем смысл нашего существования. Клеопатра думает, что любовь — самое приятное из занятий, а ее привязанность к детям — самое властное чувство, какое она может испытывать, но не видит ни в том, ни в другом ничего божественного, божественны для нее сила воли и энергия. И ни одно из этих убеждений не убеждает меня, хотя в разные периоды своей жизни я их придерживался. Но, теряя их одно за другим, я становился только сильнее. Мне кажется, что, избавляясь от ложных убеждений, я ближе подойду к истине.

Но я старею. Время не ждет.

XLVI-A. Из записок Корнелия Непота

Диктатор эдиктом запретил городам брать названия в его честь. Причина, по-моему, в том, что его обожествление приняло чересчур наглядный характер, и это ему не по душе. Он перестал посылать дары городам и легионам; их, как правило, возлагают на алтари, куда потом стекаются паломники и молят о чуде.

И это, несомненно, происходит не только на варварских окраинах республики и в италийских горах, но и здесь, в столице.

Говорят, будто его слуг подкупают, чтобы они крали его одежду, обрезки ногтей, волос и даже мочу — все это, как уверяют, наделено волшебными свойствами и становится предметом поклонения.

Иногда фанатикам удается проникнуть к нему в дом, тогда их принимают за убийц. Одного из них застали с кинжалом в руке у ложа Цезаря. Тут же на месте стали чинить суд. Допрос вел сам Цезарь. У преступника заплетался язык, но отнюдь не от страха. Весь допрос он пролежал на полу, восторженно глядя на Цезаря и бормоча, что он хотел «всего лишь каплю крови Цезаря, чтобы ею себя освятить». Цезарь, к вящему изумлению слуг и стражников, стал задавать ему подробные вопросы и постепенно вышпытал всю историю его жизни. Этот живой интерес — а его не всегда удается вызывать даже консулам — привел беднягу в еще больший экстаз, и он в конце концов взмолился, чтобы Цезарь убил его своею собственной рукой.

Обернувшись к остальным, Цезарь, как рассказывают, с улыбкой сказал: «Видите, как трудно отличить любовь от ненависти».

Я пригласил на обед врача Цезаря Сосфена.

Он говорил о впечатлении, которое Цезарь производит на окружающих:

«О ком еще ходят такие нелепые слухи? А ведь в них верят... До последнего времени каждую ночь родственники привозили десятки больных и укладывали их к стене, окружающей дом Цезаря. Их стали прогонять, и теперь, как видите, они лежат рядами

вокруг его статуй. Во время его путешествий крестьяне молят его ступить ногой на те поля, которые плохо плодоносят.

Каких только легенд о нем не рассказывают! Ими полны солдатские песни, стихи и рисунки, нацарапанные в общественных местах. Говорят, что мать зачала его от удара молнии, что он появился на свет через рот или через ухо, родился без половых органов, а потом пересадила их себе от таинственного незнакомца, которого он убил в священной дубраве Зевса в Додоне, или же что он добыл их со статуи Зевса, вылепленной Фидием. Нет такой противоестественной склонности, которой ему не приписывали бы: говорят, будто он, как Юпитер, не брезгует и животными. Широко распространено мнение, что он отец своей страны в самом буквальном смысле этого слова и что у него сотни детей в Испании, Британии, Галлии и Африке.

Суеверие и народная молва не боятся противоречий. Наряду с этим он славится таким суровым воздержанием, что якобы люди нецеломудренные, приближаясь к нему, испытывают нестерпимую боль.

Кто, кто другой из смертных сумел так разжечь воображение народа и породить целую сокровищницу легенд? А теперь, когда в Рим приехала Клеопатра, чего мы только не слышим? Клеопатра — этот плодоносный нильский ил. Зайдите в таверну, в казарму — головы римлян кружат картины их любви. Мы празднуем бракосочетание непобедимого Солнца и плодоносящей Земли.

Я его врач. Я лечил его во время конвульсий и перевязывал его раны. Да, тело его смертно, но мы, врачи, учимся вслушиваться в тела своих пациентов, как музыканты вслушиваются в звуки различных инструментов. Он лыс, его стареющая плоть покрыта рубцами от ран, полученных в бесчисленных боях, но каждая ее частица одушевлена разумом. У него необыкновенная способность восстанавливать свои силы... Болезнь — это малодушие. Болезнь, от которой страдает Цезарь, — это единственная болезнь, свидетельствующая о неумеренном напряжении духа. Она связана с природой его ума.

Ум Цезаря. Он противоположен уму большинства людей. Он наслаждается, вынуждая себя работать. Всем нам каждый день предъявляет десятки требований; мы должны сказать «да» или «нет», принять решения, которые повлекут за собой длинную цепь последствий. Некоторые долго раздумывают, другие отказываются принять решение, что само по себе уже есть решение; третьи принимают решение очертя голову, что тоже решение отчаянное. Цезарь бросается решению навстречу. Ему кажется, будто мозг его живет только тогда, когда его работа сразу же приводит к важнейшим последствиям. Цезарь не бежит от ответственности. Он все больше и больше взваливает на свои плечи.

Может, ему в чем-то недостает воображения. Он, как известно, мало думает о прошлом и не пытается предугадывать будущее. Он не поощряет в себе угрызений совести и не дает воли пустым мечтам.

Время от времени он разрешает мне подвергнуть его некоторым опытам. Я прошу его выполнить тяжелые физические упражнения, а потом спокойно полежать, пока я буду вести различные исследования и т. д. Однажды во время такого вынужденного бездействия он меня спросил: «Если меня не убьют и я доживу до старости, какая болезнь приведет меня к смерти?» «Ваше величество, — ответил я, — вы умрете от апоплексического удара». Он был очень доволен. Я понял, о чем он думает. Его страшат только две вещи: физическая боль, которую он плохо переносит, и унижительная форма, которую часто принимает болезнь.

В другой раз он меня спросил, существует ли какой-нибудь способ покончить с собой быстро и не проливая крови. Я указал ему три таких способа и с того дня не сомневаюсь, что он относится ко мне с симпатией и признательностью.

Я же, со своей стороны, многому у него научился. Раньше я думал, что еду, сон и удовлетворение полового инстинкта желательно регулировать определенными навыками. А теперь, как и он, я считаю, что лучше всего удовлетворять эти потребности при первом их появлении. Этим я не только удлинил свой день, но и добился духовной свободы.

О, это человек необыкновенный! Все легенды о нем не лишены основания, неверно только одно: Цезарь никого не любит и не внушает к себе любви. Он распространяет

на всех ровный свет осознанного доброжелательства, бесстрастную энергию, которая творит без лихорадочного жара и расходуется без самокопания или недоверия к себе.

Разрешите мне вот что шепнуть вам на ухо: я не мог бы его полюбить и всегда, расставаясь с ним, испытываю облегчение».

XLVI-Б. Из донесения тайной полиции Цезаря

Объект 496: Артемизия Бакцина, повивальная бабка, знахарка и гадалка, проживает в предместье Козы. На допросе призналась в том, что присутствовала на молебствиях Братства Погребенного Солнца. Говорит, что у них в Риме десять или двенадцать капитулов (см. объекты 371 и 391). В конце, после усиленного допроса, показала, что Братство возглавлял Амазий Лентер (объект 297, казнен 12 августа). Начинается обряд медленными истязаниями и закланием черной свиньи, черного петуха и пр., а заканчивается поклонением сосуду с кровью, якобы кровью диктатора. Объект высылается в Сицилию под надзор тамошней полиции.

XLVI-В. Из заметок Плиния Младшего

(Написаны лет сто спустя)

Странно. Садовник рассказывал, что в простом народе широко бытует следующее поверье. Во время прогулок я спрашивал виноградарей, разносчиков и прочий люд, и его слова подтвердились.

Они верят, что тело Юлия Цезаря после убийства не было сожжено (хотя для нас это несомненно): им якобы завладело какое-то сообщество или тайная секта и, разделив на множество частей, захоронило каждую отдельно в разных районах Рима. Они уверяют, будто Цезарю было известно древнее предсказание, что Рим выстоит и сохранит свое величие, если он будет убит и тело его расчленено.

XLVII. Царица египетская заявляет:

(26 октября)

Клеопатра, царица Египта (и прочая и прочая), сожалеет, что досточтимая коллегия девственных весталок не сможет присутствовать завтра вечером у нее на приеме.

Однако мы готовы принять досточтимую коллессию в три часа дня.

С соизволения верховного понтифика и верховной жрицы коллессии в указанное время будет дано представление:

Величественное явление Гора,

Красота Озириса,

Нападение на корабль Нешме,

Явление владыки Абидоса в свой дворец.

Те части этой церемонии, которые неуместно показывать вечером, будут исполнены со всей торжественностью перед посвященными днем.

Царица Египта благосклонно примет в эти часы досточтимых девственниц.

XLVIII. Цезарь — Клеопатре

(29 октября)

Весь Рим говорит о великолепии приема, устроенного царицей; самые разборчивые ценители твердят о ее царственной осанке, искусстве принимать гостей, ее такте и обаянии ее красоты.

Мне же разрешено говорить только о моей непреходящей любви и преклонении.

В ближайшие дни я не смогу так часто посещать великую царицу. Однако заклинаю ее не сомневаться ни в моей любви, ни в моих неуспынных заботах о благоденствии ее державы.

Мне доставило бы огромное удовольствие, если бы я мог чаще принимать царицу у себя. Я попросил актрису Кифериду давать моей жене уроки пластики и декламации, необходимые для участия в Таинствах Доброй Богини. Так как и вы будете присутство-

вать на этих церемониях, вам, по-моему, тоже были бы интересны ее уроки, хотя я далек от мысли, что царице есть чему учиться в смысле красоты речи или благородства осанки.

Не сомневаюсь, что, если вы того пожелаете, Киферида не откажется в конце урока прочесть вам отрывки из греческих и римских трагедий,—милость, которой будут завидовать наши потомки.

Госпожа Клодия Пульхер временно отбывает на свою загородную виллу. Вам, по-моему, следует знать, что я в свое время посоветовал ей это сделать, но она просила разрешить ей остаться в столице до конца вашего приема. Причиной ее отъезда послужили обстоятельства, которые, если вы пожелаете, я вам когда-нибудь изложу.

Радость, которую я испытываю от приезда царицы, отвлекает меня от трудов. Будь я помоложе, эта радость только придавала бы мне сил и подвигала на новые труды. Но дни мои идут к закату и у меня уже нет, как прежде, неограниченного времени для замыслов и свершений.

Разрешите же мне совместить приятное с полезным и во время моего посещения (в субботу) показать царице планы поселений в Северной Африке. Если погода будет благоприятствовать, я хотел бы отвезти царицу по реке в Остию и объяснить ей, какие меры мы принимаем для обуздания паводков и течения Тибра. В Остии мы сможем посмотреть, как продвигаются работы в порту, насчет которых царица удостоила меня своими неценными советами.

Мне хотелось бы сообщить великой царице вот еще что: я искренне надеюсь, что ее пребывание в Италии продлится дольше, чем она предполагала. И желая укрепить ее в этом решении, я рекомендую ей послать в Александрию за своими детьми. Для этой цели я предоставляю ей одну из только что построенных галер, которые уже показали себя самыми быстроходными, и надеюсь разделить с царицей радость этого свидания.

XLVIII-A. Клеопатра — Цезарю

(С тем же посланным)

Великий Цезарь, между нами возникло недоразумение.

Я понимаю, что никакие уговоры не в силах рассеять то ложное впечатление, какое у вас сложилось. Страдая, могу лишь надеяться, что время и дальнейшие события убедят вас в моей преданности.

Я должна еще раз повторить, что положение, в какое я попала — оно удивляет меня не меньше, чем вас,— было подстроено злокозненными особами.

Марк Антоний уговорил меня сопроводить его в сад — поглядеть, как он выразился, «на еще невиданный в Риме подвиг». Он уверял меня, что совершит этот подвиг сам с помощью пяти или шести своих приятелей. А так как я все равно должна была снова обойти мои владения, то, взяв с собой Хармиану, я согласилась на его просьбу. Остальное вы знаете.

Я не успокоюсь, пока не получу доказательств соучастия других лиц в том, что произошло. Я знаю, что никакие доказательства не убедят вас в моей невинности, если не проявлю своих неусыльных забот обо всем, что касается вас, ваших интересов и вашего благополучия. Только это и заставляет меня принять ваше предложение продлить мое пребывание в Риме. Я с благодарностью принимаю и ваше приглашение посещать уроки Кифериды в вашем доме.

Я, однако, не хотела бы посылать сейчас за моими милыми детьми, но благодарю вас за то, что вы даете мне такую возможность.

Великий друг, великий Цезарь, возлюбленный мой, больше всего удручает меня мысль, что вас заставили страдать напрасно. Я горько проклинаю судьбу, которая с адским коварством, недоступным простым смертным, сделала меня причиной ваших огорчений. Не верьте ничему, молю вас. Не становитесь жертвой столь очевидного недоразумения. Помните о моей любви. Не допускайте сомнений в искренности моего взгляда, в радости, с какой я вам отдаюсь. Я еще молода; не знаю, как бы стала защищать свое невинность женщина более опытная. Негодовать, что вы мне не доверяете? Сохранять гордость и сердиться? Не знаю; я могу лишь говорить от души, даже в ущерб моей скромности. Я никогда не любила и уже не буду любить так, как любила вас. Кому дано

было знать то, что знала я: восторг, неотделимый от признательности, страсть, пронизанную почтением, но ничуть оттого не меньшую? Такой и должна быть любовь при разнице наших лет; ей нечего было страшиться сравнений. Ах, вспомните же, вспомните! И верьте! Не отгораживайте от меня завесой божество, живущее в вас. Самой черной из завес — подозрением в предательстве. Это я-то предательница? Это я — не люблю?

Слова мои лишены царственного достоинства. Но они искренни. Я говорю с вами об этом в последний раз, пока вы не разрешите мне беседовать с вами по-прежнему. А пока я буду вести себя как правительственная гостья, ведь покорность вашим желаниям для моей любви — закон.

**XLIX. Алина, жена Корнелия Непота,— сестре своей Постумии, жене Публия Цекция из Вероны
(30 октября)**

Ты уже, наверно, читала письма о том, что произошло; мы их отправили с посланным диктатора тебе и семье поэта. Теперь я хочу сообщить по секрету кое-какие подробности. Муж горюет, словно потерял родного сына (только бы не сглазить! Наши мальчики, слава богам, здоровы). Я тоже любила Гая (*Катулла*), любила его с тех пор, когда мы вместе играли детьми. Но привязанность не должна ослеплять — с тобой я могу говорить откровенно, — и пусть эта горестная, полная заблуждений жизнь послужит нам уроком. Мне не нравились его друзья, мне, конечно, не нравилась эта подлая женщина; мне не нравились стихи, которые он писал последние годы, и у меня никогда не найдется ни симпатии, ни добрых слов для диктатора, который в эти дни то и дело появлялся у нас, словно старый друг дома.

Мы часто приглашали Гая к себе погостить, но ты знаешь, каким он был резким и независимым. Поэтому когда он однажды утром появился у наших дверей в сопровождении старого Фуско, который нес его постель, и попросил разрешения пожить у нас в беседке, я поняла, что он тяжело болен. Муж тут же сообщил об этом диктатору. Диктатор прислал своего врача, грека по имени Сосфен, — более самонадеянного молодого упрянца я не видела! Я не стесняюсь утверждать, что сама я прекрасный врач. Думаю, что таким даром боги наделяют всех матерей, но этот Сосфен отвергал все издавна проверенные средства. Впрочем, об этом долго рассказывать.

Понимаешь, Постумия, я нисколько не сомневаюсь, что его убила эта женщина. Три года он благодаря ей испытывал все муки ада, и вдруг она стала сама доброта. Это его и убило. Сама она у нас не появилась, но каждый день присылала письма, еду — и какую еду! — греческие рукописи и дважды в день справлялась о здоровье. Гай был, конечно, счастлив, но счастье бывает разное; тут было то зыбкое, призрачное счастье, которое, наверно, испытывают обманутые мужья, когда их жены неожиданно становятся очень ласковыми. Но дни шли, она так и не появлялась, а он на наших глазах терял надежду на выздоровление и отдавался во власть смерти. 27-го часа в три пополудни слуга его Фуско — ты его помнишь, он раньше был лодочником на озере Гарда — вбежал в дом и сказал, что хозяин его в бреду стал одеваться, чтобы идти на прием к египетской царице. Я кинулась в беседку — Гай лежал без сознания в луже желчи: его вырвало. Муж сразу же послал за Сосфеном, и он просидел возле Гая до рассвета, пока тот не умер. Меня к больному не пустили, но как ты думаешь, кто к нам явился часов около десяти? Сам диктатор. Он был в роскошном одеянии, должно быть, сбежал с приема царицы — ее дворец, кстати, не дальше чем в миле от нашего дома. Всю ночь до нас доносилась музыка и было видно зарево костров. Я случайно подслушала, как Фуско рассказывал мужу, что когда диктатор вошел, Гай приподнялся на локте и дико заорал, чтобы тот убирался. Он обзывал его «похитителем свободы», «чудищем жадности», «убийцей республики» и всякими другими ругательными словами, и, конечно, совершенно заслуженно! В это время появился муж — он ходил за нашим стариком — курителем бальзама. Муж мне потом рассказывал, что диктатор слушал всю эту ругань молча, но был бледен как полотно. Цезаря, видно, давно не выгоняли вон, но тут он безропотно ушел.

Часа в два ночи он вернулся, сняв парадные одежды. Гай спал, а когда проснулся,

то как будто примирился со своим посетителем. Муж говорит, что он даже улыбнулся и спросил: «Где же ваш царственный пурпур, великий Цезарь?» Как ты знаешь, муж преклоняется перед этим человеком. (Мы с ним условились не говорить о нем друг с другом.) Корнелий уверяет, что Цезарь вел себя замечательно — и молчал и отвечал очень достойно. Цезарю, конечно, чаще других приходилось присутствовать у смертного одра. Ты ведь слышала эти рассказы, как в Галлии раненные отказывались умирать, пока полководец не кончит ночной обход. Я вынуждена признать, Постумия: хоть он и дурной правитель, в личности его есть что-то значительное и в то же время он ведет себя естественно. Муж сказал, что они с Сосфеном сидели в дальнем углу и поэтому он плохо слышал, о чем говорили те двое. Раз Гай, обливаясь слезами, рванулся с кровати и закричал, что загубил свою жизнь и свой певческий дар ради благосклонности потаскухи. Я бы не знала, что тут сказать, а диктатор, как видно, нашелся. По словам мужа, он заговорил еще тише, однако можно было разобрать, что Цезарь превозносит Клодию Пульхер словно богиню. Болей у Гая не было, но он час от часу слабел. Он лежал, уставившись в потолок, и слушал Цезаря. Время от времени Цезарь замолкал, но когда тишина казалась Гаю чересчур долгой, он дотрагивался пальцами до руки Цезаря, словно требуя: говори, говори. А Цезарь просто рассказывал ему о Софокле! Гай умер под хор из «Эдипа в Колоне». Цезарь прикрыл ему веки монетами, поцеловал Корнелия и негодного врача и при первых лучах зари отправился домой один, без стражи.

Если хочешь, перескажи кое-что его отцу и матери, хотя, по-моему, их это только еще больше огорчит. Я бы лично считала себя виноватой, если бы один из моих сыновей стал жертвой такого увлечения. Думаю, однако, что мое воспитание уберегло бы их от подобной беды!

(Далее в письме обсуждается продажа земельных участков.)

XLIX-A. Дневник в письмах Цезаря — Луцию Мамилию Туррину на остров Капри
(В ночь с 27 на 28 октября)

1013. *(О смерти Катутла.)* Я сижу у постели умирающего друга, поэта Катутла. Время от времени он засыпает, тогда я берусь, как всегда, за перо, быть может, для того, чтобы не думать (хотя мне пора уже понять, что писать тебе — это вызывать из глубины сознания те вопросы, которых я всю жизнь избегал).

Он приоткрыл глаза, назвал шесть звезд из созвездия Плеяд и спросил название седьмой.

Еще совсем молодым человеком ты, Луций, умел безошибочно определить неминуемость причины и неизбежность следствия. Ты не терял времени на сожаления, что мир устроен так, а не иначе. От тебя и я усвоил, хотя и не сразу, что в жизни существуют целые области, где все наши стремления не в силах ничего изменить, а наши страхи — предотвратить. Я многие годы цеплялся за самые разные иллюзии: верил, что силой воли можно внушить ответное чувство равнодушной возлюбленной, а одним негодованием помешать победе врага. Вселенная движется своим неодолимым ходом, и мы едва ли можем добиться перемен. Помнишь, как я был возмущен, когда ты небрежно кинул мне: «Надежды не могут повлиять на завтрашнюю погоду»? Поклонники без конца заверяют меня, будто я «добился невозможного» и «изменил порядок вещей»; я отвечаю на эти похвалы важным кивком головы, жалея в душе, что со мной нет друзей, с которыми я мог бы над ними поиздеваться.

Я не только склоняюсь перед неизбежностью; она придает мне силы. Достижения человека куда более примечательны, когда думаешь о том, как он ограничен в своих действиях.

Самая характерная из неизбежностей — смерть. Я хорошо помню, как в юности считал себя ей неподвластным. Но когда умерла моя дочь и потом, когда ранили тебя, я понял, что смертен, а теперь я считаю те годы, когда не подозревал, что смерть неотвратима, да что там — возможна в любую минуту, растраченными зря, пропавшими. Теперь я сразу распознаю тех, кто еще не предвидит своей смерти. И понимаю, что это за дети. Они думают, что, избегая мыслей о смерти, обостряют вкус к жизни. Но верно

обратное: только те, кто заглянул в небытие, способны наслаждаться солнечным светом. Я не поклонник учения стоиков и не верю, что созерцание смерти учит нас тщете человеческих усилий и призрачности радостей жизни. С каждым годом я все более иступленно прощаюсь с весной и с каждым днем все больше хочу обуздать течение Тибра, хотя те, кто придет мне на смену, возможно, позволят ему бессмысленно стекать в море.

Он снова открыл глаза. Очередной приступ горя. Клодия! Наблюдая за ним, я с каждым мигом все яснее постигаю ее загубленное величие.

Ах, в мире царствуют законы, чье воздействие мы едва ли можем разгадать. Как часто мы видим, что нечто возвышенное и великое рождено цепью злодеяний, а добродетель произросла из низости? Клодия — необычная женщина, и столкнувшись с Каттулом, высекла огонь необычной поэзии. Приглядываясь к жизни, мы любим мерить ее понятиями «добро» и «зло», но мир выигрывает только от энергии. В этом скрыт его закон, но мы живем недостаточно долго, чтобы ухватить больше, чем два звена в цепи. Вот почему я горюю о краткости бытия.

Он спит.

Прошел еще час. Мы разговаривали. Мне не впервые сидеть у смертного одра. Тем, кого мучит боль, говоришь о них самих; тем, у кого сознание ясное, хвалишь жизнь, которую они покидают. Разве не унизительно оставлять мир, который ты презираешь, а умирающий часто боится, что жизнь была недостойна затраченных на нее сил. У меня всегда хватает доводов для ее восхваления.

В этот час я заплатил старый долг. Много раз за десять лет военных походов мне виделся один и тот же сон наяву. Ночью я шагал перед своим шатром и сочинял речь. Я представлял себе, будто вокруг меня избранное общество — мужчины, женщины и особенно молодежь — и я хочу передать им все, чем я обязан как юноша и муж, как солдат и правитель, как любовник, отец и сын, как страдалец и весельчак великому Софоклу. Хоть раз перед смертью вылить все, что у меня накопилось на сердце, зная, что оно тут же переполнится снова восторгом и благодарностью.

Да, вот это был человек, и груд его был трудом человеческим. Он дал нам ответ на извечный вопрос. Дело не в том, что боги отказали ему в помощи, хотя они ему и не помогали. Это не в их обычае. Если бы они не были от него скрыты, он так не напрягал бы свой взор, чтобы их отыскать. Я тоже шел через высочайшие Альпы, не видя перед собой ни зги, но у меня не было его самообладания. Он умел жить так, словно Альпы были всегда тут, перед ним.

А теперь и Катулл мертв.

L. Цезарь — Кифериде (1 ноября)

Можете себе представить, любезная госпожа, как неловко человеку в моем положении обращаться с просьбой к тем, кого он глубоко почитает, ибо в его просьбе могут прочесть нежелательное для него понуждение. Предположите, что я занимаю то же место, что и тогда, когда я имел честь с вами познакомиться и вы впервые вызвали во мне восхищение, которое со временем лишь возросло.

Жена моя учится отвечать на вопросы, которые будут ей заданы во время декабрьских церемоний. Мне разрешено ее обучать, но лишь в тех пределах, какие допускает тайна этих обрядов. Могу ли я просить вас уделить нам несколько часов и научить ее, как произносить ответы и как себя держать в соответствии с их торжественным характером?

Так как египетская царица тоже будет присутствовать на этой церемонии, хоть и не до конца, я был бы крайне признателен, если бы вы позволили ей разделить с моей женой те часы, которые вы сможете им подарить.

Меня чрезвычайно обрадовало, когда я случайно узнал, что вы близкий друг Луция Мамилия Туррина и иногда посещаете его на острове Капри. Он желает, чтобы о нем как можно реже упоминали, и даже простая ссылка на него придает моему письму некую секретность. Счастлив же я не только потому, что вы наслаждаетесь его дружбой, а он вашей, но еще и потому, что через вас (и надеюсь, госпожа, что и через

меня) этот гений, если можно так выразиться, проявит себя в мире, хотя нам и не дозволено называть его имя. Разве не удивительно, что человек, попавший в такое безнадежное положение и вынужденный сносить его последствия, сохранил твердость духа; но что такая беда произошла с человеком, который превосходил всех людей мудростью, так же как он превосходил их и в том, что мы зовем красотой души, кажется мне поистине непостижимым. Остров Капри вызывает во мне чувство, которое я могу назвать только благоговением. А то, что не я один отражаю свет этого гения, меня не только радует, но и приносит облегчение. Между мной и моим другом многое остается невысказанным. В том числе существует немой уговор: я не получаю писем от него и могу посещать его только раз в год. Иногда меня печалит эти ограничения, но с годами я все больше начинаю понимать, что в них, как и во всем, сказались его почти сверхчеловеческая мудрость.

Так как речь у нас зашла о великих людях, я прилагаю список последних стихов Гая Валерия Катулла, умершего ночью пять дней назад.

II. Царица Египта: памятка министру иностранных дел

(6 ноября)

Царица Египта довольна полученными от вас донесениями. Особенно вашими отчетами от 29 октября и 3 ноября с прилагаемыми к ним документами.

Царица приняла к сведению список очагов недовольства.

(Далее следуют замечания Клеопатры относительно двенадцати лиц или групп, от которых следует жать попыток устроить государственный переворот или убить диктатора. Среди возможных заговорщиков нет имен Каски, Кассия или Брута. Эти материалы найдут отражение в книге четвертой.)

В дополнение царица обращает ваше внимание на следующие обстоятельства.

1. Донесения источника 14 (Абра) ничего не стоят. Ее простодушие показное. Нетрудно добиться от нее более ценных сведений, пригрозив, что ее разоблачат, а также применяя другие методы воздействия.

2. Уверены ли вы, что доподлинно знаете причины исчезновения диктатора с моего приема 27 числа? Его дежурство у одра охальника-стихоплета не кажется мне достаточным объяснением.

3. Надо приложить все силы к тому, чтобы внедрить своего агента в дом Марка Антония. Возвращаю собранные вами доказательства его измены диктатору (в 46). Их следует хранить вместе с документами, которые вы особенно тщательно оберегаете от кражи или изъятия. Прочие материалы, найденные у него дома, оставляю у себя.

4. Портниха Мопса. Добудьте поскорее полные сведения о ее жизни, происхождении, знакомствах и пр. А также расписание деловых визитов на этот месяц. Она придет ко мне 17-го — шить одеяния для Таинства Доброй Богини.

5. Задание на эту неделю: пристально следить за госпожой Клодией Пульхер и ее братом. Какие толки идут по поводу ее отъезда в деревню? Когда она возвращается в Рим? Донесение Сосигена (египетского астронома) неудовлетворительно. Разъясните ему, за чем вести слежку.

Я тоже думаю, что Клодий Пульхер пытается соблазнить жену диктатора. Следите за этим очень внимательно. Не сомневаюсь, что они поддерживают связь через источник 14. Сообщите ваши соображения, как можно это использовать.

В награду за усердие и ловкость, которые вы проявили в столь трудном деле, я охотно предоставляю в вечное пользование вам и вашим потомкам Соссебенский Оазис вместе со всеми его доходами и податями, кроме указанных в эдиктах 44 и 47 (ограничения на сборы, взимаемые областными чиновниками и землевладельцами с крестьян, а также на плату за водопой верблюдов в источниках и реках).

III. Помпея — Клодия

(12 ноября)

Дорогой Мышоночек, я так по тебе соскучилась. Никто не понимает, зачем тебе вздумалось забираться в глушь, когда в городе столько всяких событий. Я спрашивала

мужа, что за интерес для тебя в этой математике, а он говорит, что ты сильна в таких делах и знаешь все на свете про звезды и чем они занимаются.

Ручаюсь, гадай хоть десять раз, все равно не угадаешь, кто к нам теперь ходит реже чем через день и как мы проводим время. Клеопатра! А теперь не только Клеопатра, но и актриса Киферида. И все это — затея моего мужа. Ну разве не странно?

Сперва Киферида пришла учить меня — сама знаешь чему. Потом стала приходиться и Клеопатра тоже поучиться этому. В конце урока царица попросила Кифериду подекламировать, и как ты думаешь, что? — прямо кровь в жилах стынет. Как Кассандра сходит с ума, а Медея вздумала убить своих деток и как все там умирают. Муж теперь стал рано приходиться домой и все та-та-та да та-та-та насчет греческих пьес. Потом встает, он — Агамемнон, Киферида — Клитемнестра, Клеопатра — Кассандра, мы с Октавианом изображаем хор, ну а потом все идем ужинать. Ах, дорогая, вот жалость что тебя нет, мне ведь не с кем посмеяться, они все такие серьезные. А мне ужасно смешно, когда муж вдруг принимается рычать, а Клеопатра становится как бешеная.

Честное слово, царица мне даже нравится. Конечно, она не такая, как мы с тобой. Раньше мне казалось, что она просто уродина, но иногда она делается чуть ли не красавицей. И я ни капельки не ревную. Муж обращается с ней совсем как с тетей Юлией.

Вчера царица спросила его, когда ты возвращаешься. Она надеется, что скоро, потому что ты должна наставить ее в обрядах. Муж говорит, что не знает твоих планов, но думает, что ты вернешься к 1 декабря.

Душенька, я видела твоего брата, то есть твоего младшего брата; по дороге к озеру Неми он подъехал к моим носилкам на лошади. Он так на тебя похож, что я просто удивляюсь. Люди говорят, будто он человек нехороший и даже ты так о нем сказала, но я знаю, что это неправда. Дорогая Клаудилла, не смей так к нему относиться, кто же не станет дурным, если ему все время твердят, что он плохой?

Судя по моему письму, ты еще подумываешь, что мне очень весело, но это не так. Я почти не выхожу из дому, и никто, кого бы я хотела видеть, к нам не ходит. Один раз я была у египетской царицы и навестила по случаю беременности жену Брута Порцию. Иногда я просто сижу дома и думаю, что лучше мне умереть. Если не живешь, пока молода, когда же еще жить? Я обожаю своего мужа, и он обожает меня, но я люблю общество, а он не любит.

Только что мне сказали, что я зря ездила к Порции: у нее выкидыш и, значит, мне вовсе незачем было туда тащиться.

ЛIII. Киферида — Луцию Мамилию Туррину на остров Капри (25 ноября)

Атмосфера в Риме, дорогой друг, грозовая, беспокойная; языки становятся все острее и злее, но смеха не слышно, что ни день передают рассказы о гнусных проделках и преступлениях, где не столько страсти, сколько безрассудства и распущенности. Раньше я думала, что тревога живет во мне самой, но теперь ее ощущают все. Наш Хозяин еще деятельнее, чем всегда: что ни день — эдикт. Издаются постановления о ростовщичестве, о том, что все должны чистить улицу у себя перед домом; в мостовую перед судом вделали большую карту, на ней выбиты золотые орлы, обозначающие новые города. Молодые мужья стоят над ней и, поглаживая подбородки, решают, где завести новый очаг — во льдах или под пальщим солнцем.

Я было приняла ваше приглашение приехать на Капри, но тут Хозяин попросил меня учить его жену и царственную гостью, как вести себя на церемониях в начале декабря. У нас было восемь уроков, которые часто заканчивались чтением отрывков из трагедий, в чем принимали участие все, включая Цезаря, и я почувствовала, как за этими трагедиями разыгрывается подлинная трагедия.

Я начинаю понимать эту загадку — брак Цезаря. И вижу, что он держится не на извращенной склонности к молоденьким девушкам, как утверждают злые языки. Цезарь — учитель; это его страсть. Он способен любить лишь тех, кого можно учить; в ответ он требует только успехов и тяги к просвещению. От молоденьких девушек он хочет только того, чего Пигмалион просил у мрамора. Насколько я знаю, он трижды

был вознагражден — своей дочерью, Корнелией и царицей Египта — и много раз получал отпор. Спротивление, которое ему оказывают сейчас, непреодолимо и сокрушительно. Помпея не так уж глупа, но его метод обращения с ней так неумен, что только пугает ее и лишает последних умственных способностей. Любовь как воспитательница — одна из величайших сил на свете, но она хрупка и также редко создает гармонию отношений, как любовь, основанная на чувственности. А будучи безответной, она вносит еще больший разлад, ибо, как и всякая любовь, она безумна. С одной стороны, он любит ее как нежное растение и как женщину (надо видеть, как Цезарь смотрит на женщину!), а с другой стороны, он любит в ней ту новую Аврелию или новую Юлию Марцию, которой она могла бы стать. В его представлении Рим — олицетворение женщины; он женился на Помпее, чтобы вылепить из нее еще одну живую статую великой римской матроны.

Клеопатра тоже обманула его ожидания. Можно догадываться, как упоительно сочтала она поначалу все качества любимой ученицы. Она еще не перестала ею быть. Я боготворю этого титана, но я старая женщина, меня уже не воспитает. Однако мне понятен тот жадный восторг, с каким она внимает каждому его слову. И вдруг он обнаружил, что не может научить ее самому главному, ибо главное, чему он учит, — это мораль, ответственность, а Клеопатра не имеет даже смутного понятия о том, что хорошо, а что плохо. Цезарь не осознает своей страсти к учительству — для него она невидима, как всякая самоочевидность. И поэтому учитель он из рук вон плохой. Он предполагает, что все люди одновременно и учителя и жадные до знаний ученики, что в каждом бьется живое нравственное начало. Женщины куда более хитроумные учителя, чем мужчины.

Меня глубоко трогает, когда я вижу, как великие люди пытаются создать семью там, где никакой семьи быть не может, и продолжают затрачивать безответную нежность на неподходящих жен. Терпение, которое они проявляют, совсем не похоже на терпение, с каким жены относятся к своим мужьям, у тех оно естественно и так же не заслуживает похвалы, как честность честных людей. Иногда видишь, как оскорбленные мужья прячутся в свою скорлупу; они узнали истинное одиночество человека, которого никогда не почувствуют их более удачливые собратья.

Такой муж и Цезарь. Другая его жена — Рим. Он плохой муж обеим, но от избытка мужней любви.

Разрешите мне несколько продолжить мысль.

Я только недавно поняла слова, которые вы обронили много лет назад: «зло определяет границы личной свободы» — верно я запомнила? — и что «оно может быть поисками предела того, что можно уважать». Как глупо, что я не усвоила этого раньше, дорогой господин; я могла бы сыграть это в Медее и в Клитемнестре. Да, исходя из этой мысли, разве нельзя сказать, что многое из того, что мы зовем злом, это самая сущность добродетели, старающейся проникнуть в законы, которые ею управляют? И не это ли подразумевала Антигона, моя Антигона, наша Антигона, когда она говорит (*в трагедии Софокла, в ответ на утверждение Креона, что ее убитый «добрый» брат не захотел бы, чтобы ее злого брата похоронили с почестями*): «Кто может знать, а вдруг в загробном мире его (*злые*) деяния покажутся безупречными?» Вот в чем объяснение безумных выходов Клодии, и если Цезарь будет зевать, Помпея тоже станет искать, где лежат пределы ее любопытству. Природа кладет предел нашим чувствам: огонь обжигает пальцы, сердцебиение мешает бегом карабкаться на горы, но лишь боги могут положить предел вольностям нашего ума. Если же они не желают вмешиваться, мы принуждены выдумывать свои собственные законы или в страхе бродить по пугающему бездорожью свободы, мечтая найти опору хотя бы в запертых воротах, хотя бы в глухой стене. Авторы фарсов любят шутить, будто жены радуются, когда их бьют мужья. В этой шутке, однако, есть доля истины: как утешительно знать, что тебя любят настолько, что берутся определить пределы допустимого. Мужья часто оступаются — в обоих направлениях. Цезарь — тиран и как муж и как правитель. Но вовсе не в том смысле, как другие тираны, которые скупаются дать свободу другим; просто он, будучи недосыгаемо свободен сам, не представляет себе, как растет и проявляется свобода в других: поэтому он всегда ошибается и дает то слишком мало, то слишком много этой свободы.

LIV. Клодия — своему брату
(Из Неттуно)

(Избранные места из почти ежедневных писем в ноябре.)

Не приезжай сюда, Безмозглый. Я никого не желаю видеть. Я очень довольна тем, как живу. В соседнем доме сидит Цицерон, ворчит и пишет лицемерные слезницы, которые он зовет философией. Несколько раз мы встречались, но теперь ограничиваемся посылкой друг другу фруктов и пирожных. Он не смог увлечь меня философией, а я не смогла увлечь его математикой. Он очень остроумный человек, но почему-то никогда не острит со мной. Я его угнетаю.

Я целый день ничего не делаю, и тебе со мной будет скучно. Я изучаю числа и могу сутками забывать обо всем, кроме них. В науке о бесконечном есть такие свойства, какие никому и не снились. Я напугала Сосигена. Он говорит, что они опасны.

Я очень на тебя сердита. Зачем ты попросил старика Орлиного Клюва запретить пьесу? Унижение чувствуешь только тогда, когда обращаешь внимание на подобные вещи. Поймешь ли ты наконец, что злобные люди довольны вдвойне, когда их выпады нас ранят?

Ты прав, обидно, когда тебя обвиняют во множестве преступлений, которых ты не удосужился совершить. Я действительно покинула своих дорогих родителей при первой же возможности, но я и пальцем не шевельнула, чтобы им досадить. Я не только не убивала моего бедного мужа — я на коленях молила его не убивать себя обжорством. Я никогда не трепетала от страсти ни к тебе, ни к Додо, напротив, меня поражали портовые девки, которые умудрялись находить тебя привлекательным.

Что же касается последнего вопроса (*смерти Катуллы*), запрещаю тебе когда-нибудь о нем поминать. Все это так сложно, что никто тут ничего не поймет. И я не хочу, чтобы об этом поминали.

Однако хуже всего не то, что тебя облыжно обвиняют в преступлениях, а что потом тебе неметается эти обвинения заслужить. Тебе тут уж хочется сотворить нечто неслыханное. От чего небу станет жарко.

Конечно, меня злит молва, что это он-де заставил меня уехать в деревню. Хотя это и полная чепуха, такая сплетня бесит меня больше, чем все остальные, вместе взятые. Но я и не подумаю вернуться в город только для того, чтобы ее опровергнуть.

(27 ноября)

Приезжай в Неттуно, Публий. Я больше выдержать здесь не могу, а в город возвращаться еще рано.

Ради бога, приезжай, только никого с собой не привози.

Безделье вызывает тягостные мысли об уходящем времени — вот что в нем хуже всего. А меня оно заставило предаться воспоминаниям, словно я уже старуха. Вчера я не могла заснуть; встала и сожгла все свои математические записи, потом бросила в огонь все письма, полученные за десять лет. Сосиген вилял вокруг, как старый комар, пытаясь меня удержать.

Выезжай сразу же, как получишь это письмо. У меня есть идея. Марку Антонию не удалось совершить еще невиданный в Риме подвиг. Ну так я придумала другой.

Мопса здесь, мастерит мне новое одеяние и тюрбан для сам знаешь чего.

(28 ноября)

Надеюсь, это письмо тебя не застанет и ты уже в пути. Если нет, выезжай немедленно.

Я только что получила письмо от диктатора с просьбой вернуться в Рим и приступить к обучению египетской царицы. Он пригласил меня 2 декабря на обед.

LV. Клеопатра — Цезарю
(5 декабря)

Великий Цезарь, я сообщаю вам эти сведения, отлично сознавая, что вы можете превратно истолковать мои побуждения. Полтора месяца назад я рассказала бы вам все не колеблясь, и поэтому я решила на этот шаг.

Госпожа Клодия Пульхер заказала два одеяния и тюрбаны для церемоний, которые должны состояться ночью 11 декабря. Она намерена обрядить в одно из них своего брата и ввести его к вам в дом. Ваша жена знает об этом, что доказывает ее письмо, попавшее мне в руки.

LV-A. Цезарь — Клеопатре
(Обратной почтой)

Благодарю вас, великая царица. Я обязан вам многим. Но сожалею, что вынужден быть вам признательным и за то досадное сообщение, к которому вы привлекли мое внимание.

LVI. Алина, жена Корнелия Непота, — сестре своей Постумии, жене Публия Цекциния из Вероны
(13 декабря)

Несколько слов наспех, дорогая Постумия. В Риме страшный переполох. Такого никогда еще не было. Общественные места закрыты, а большинство торговцев даже не отпирают лавок. До тебя уже, верно, дошли слухи, что Клодия Пульхер ввела своего брата, переодетого весталкой, на Тайнства Доброй Богини. Когда его поймали, я была в нескольких шагах от него. Говорят, будто первая его заметила госпожа Юлия Марция. Песнопения и молитвы продолжались уже час. Несколько женщин кинулись к нему и сорвали тюрбан и повязки. Таких воплей никто еще не слышал. Одни принялись его избивать. Другие суетились, спеша прикрыть святыни. Конечно, сколько ни кричи, ни одного мужчины поблизости не было, но потом появились стражники, подняли его и вытащили, стенающего, залитого кровью, вон.

Дальше ехать некуда, право, не знаю, что тут скажешь. Все так и твердят: дальше ехать некуда. Люди даже говорят: ну раз так — пусть Цезарь переведит Рим в Византию. Сейчас бегу в суд. Цицерон вчера произнес потрясающую, просто замечательную речь против Клодия и Клодии. В свидетели вызывают самых разных людей, и кругом ходят всевозможные слухи. Кое-кто думает, что к этому причастна царица Египта, ведь Клодия наставляла ее в обрядах; но царице нездоровилось, и она не явилась на церемонии.

Самое странное тут — поведение Цезаря. Как верховный понтифик он должен был сам вести следствие, но сразу же отказался принимать в нем участие. А ведь его жена виновна не меньше тех двоих — это факт. Вот ужас-то! Просто ужас!

Только что пришел муж. Говорит, будто родственники Помпеи — человек двадцать — вчера вечером ходили к Цезарю уговаривать его выступить в защиту жены. Кажется, он был очень спокоен, выслушивал их целый час. Потом встал и сказал, что не намерен появляться в суде; может быть, Помпея тут и не замешана, но женщине в ее положении нужно вести себя так, чтобы быть выше всяких подозрений; уже одно подозрение настолько пагубно, что он разведется с ней завтра же, то есть сегодня.

Дорогая, бегу в суд. Может, и мне придется давать показания. Странное чувство испытываешь, когда бежишь по улицам города! Будто опозорен сам город и всем нам лучше отсюда уехать.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

LVII. Сервилия из Рима — своему сыну Марку Юнию Бруту
(8 августа)

(Письмо это застало Брута в Марселе, откуда он возвращался в Рим, закончив службу в качестве губернатора Ближней Галлии.)

Возвращайся, Марк, возвращайся в город, где все взоры обращены на тебя.

Герой, чье имя ты носишь (*Юний Брут, изгнавший Тарквиния*), живет в тебе — если не в крови, то в сердце; и его долг лег на твои плечи.

Вернись в город, чье здоровье — твое здоровье и чья свобода — твоя свобода. Римляне снова взывают к Бруту, и все взоры устремлены на тебя.

Человек, который вызвал ярость Рима,— не маленький человек. Человек, который душил Рим, велик во всем, но более всего велик он в своих прегрешениях. Убийца не должен уступать величием убитому, не то Рим будет поработен вдвойне. Есть лишь один римлянин, достойный стать с ним вровень, и все взоры устремлены на тебя. Рука, которая его поразит, должна быть бесстрашной, как правосудие. Долг тиранубийцы — святой долг; еще не рожденные поколения вспомнят о нем со слезами благодарности.

Приди и взгляни на него; воздай ему честь, которую он заслужил; взгляни на него, как великий сын смотрит на великого отца, и ударом не одного человека, а десяти тысяч — убей его.

Помня о ребенке, который скоро должен у тебя родиться, подними руку и нанеси удар.

LVII-A. Брут — Сервилии (Возвращая ей письмо)

Письмо принадлежит тебе. Я прочел его, но это не делает его моим.

Слова, которыми ты толкаешь меня на убийство моего друга и благодетеля, достаточно ясны. Слова же, которыми ты бросаешь тень на мое происхождение, неясны.

К двадцати годам, моя госпожа, каждый мужчина должен сам себе быть отцом. Отец его по плоти имеет большое, но все же меньшее значение. Однако те, кто ставит отцовство под сомнение, должны подтверждать свои слова клятвой, самой священной клятвой, и выразаться при этом ясно.

Ты так не поступила. Тем самым я вдвойне утратил то уважение, которое я к тебе питал.

LVII-B. Заметки Корнелия Непота (О беседе с Цицероном)

Я выбрал подходящий момент, чтобы задать ему вопрос, который вот уже тридцать лет хочет задать ему весь Рим: «Скажите, мой друг, каково ваше мнение: Марк Юний Брут — сын Юлия Цезаря?»

Он сразу протрезвел.

«Корнелий,— сказал он,— слово «мнение» надо употреблять с осторожностью. Имея доказательства, я отважусь сказать: это мне известно; имея ограниченное число доказательств, я отважусь сказать, что имею на этот счет мнение; обладая еще меньшими доказательствами, я отважусь лишь высказать предположение. В таком вопросе, как этот, у меня нет достаточных оснований даже для них. Но допустим, однако, что у меня есть предположения, неужели я выскажу их вам; ведь вы несомненно включите их в свою книгу? А в книге предположения почему-то больше выпирают, чем факты. Факты можно опровергнуть; их можно перетолковать, а предположения не так-то легко отбросить. История, которую мы читаем, как правило, лишь цепь предположений, прикидывающихся фактами.

Сын ли Цезаря Марк Юний Брут? Поставим вопрос так: знаю ли я или считаю ли я, что в такое родство верят Брут, Цезарь или Сервилиа? Брут — один из моих ближайших друзей. Цезарь... Цезарь — человек, за которым я пристально наблюдаю уже тридцать, нет, уже сорок лет. Сервилиа — что ж, когда-то делалась попытка женить меня на Сервилии. Давайте взвесим этот вопрос.

Я видел первых двух вместе несчетное число раз и могу утверждать, что никогда не замечал между ними ничего, что могло бы навести на мысль о подобном родстве. Цезарь высоко ставит Брута. Он питает к нему привязанность, молчаливую привязанность старшего к высокоодаренному младшему. Быть может, правильнее было бы сказать, невольную привязанность — он испытывает к нему даже нечто вроде страха или, по крайней мере... Послушайте, Корнелий, разве нас, старших, всегда радует то, что в будущих поколениях появятся блестящие историки или ораторы? Разве нам не кажется, что наши преемники обязаны быть хуже нас? Кроме того, Цезарь всегда держался на расстоянии от людей неподкупных и независимых, от всей горсти таких, от всей горстки таких людей. Надо ли повторять, что Цезарю неприятно общество людей одаренных, или, вернее, обладающих и способностями и благородством характера. Да, это так; да, да, это так. Он благоволил к людям одаренным, если они бессовестны, и к людям

высоконравственным, если они не от мира сего, но не выносит того и другого вместе. Он окружил себя негодями: ему нравится беседовать с ними, нравятся их шутки, всех этих негодяев, — Оппия, Мамурры, Милона. А в делах он сотрудничает с такими, как Азиний Поллион, — честными, преданными посредственностями.

Отношение же Брута к Цезарю ничем не отличается от его отношения ко всем нам, людям старшего возраста. Брут никого не любит, не любил и не будет любить, кроме, конечно, своей жены, а из-за нее отчасти и своего тестя. Вы же знаете это бесстрастное красивое лицо, эту размеренную речь, эту суровую вежливость. Если бы он думал, что Цезарь — его отец, или хотя бы это подозревал... нет, не верю! Я видел, как он благодарил Цезаря за покровительство; я видел, как он спорил с Цезарем; да что там — я видел, как он представлял Цезарю свою жену. Цезарь — законченный лицедей, мы никогда не узнаем, что он думает. Брут отнюдь не лицедей, и я могу поклясться, что такое родство даже не приходит ему в голову.

Теперь остается предположить, что думает об этом Сервилия.

Но прежде чем перейти к ней, надо добавить вот что: тридцать лет назад многие были уверены, что их сожителство — факт несомненный. Сроки, так сказать, подтверждают это отцовство. В то время Цезарь укреплял свою политическую карьеру серией продуманных двойных любовных связей. Женщины тогда играли гораздо большую роль в республике, а Сервилия выделялась своим блестящим политическим умом не только среди патрицианок, но и среди патрициев. Она могла влиять на политику двадцати глупых и неустойчивых мультимиллионеров; ей достаточно было им подсказать, чего им в очередной раз надо бояться. Не судите о Сервилии тех лет по сегодняшней Сервилии. Сегодня это просто обезумевшая интриганка, которая запуталась в самых нелепых противоречивых идеях и забрасывает город анонимными письмами весьма прозрачного происхождения. Климат Рима испортился для женщин. Даже о Клодии десятилетней давности не стоит судить по теперешней Клодии. Рим двадцать—тридцать лет назад был ареной, где подвизались властные женщины, вспомните мать Цезаря, мать Помпея и тетку Цезаря. Их мало что занимало, кроме политики, и они не разрешали своим мужьям, любовникам, гостям и детям думать ни о чем другом. Люди теперь делают вид, будто их возмущает, что их матери и бабушки по многу раз выходили замуж и разводились из чисто политических соображений. Они забывают, что эти невесты не только приносили мужьям богатство и полезные семейные связи, — все тогда знали, что жена сама по себе политический вождь. Да ведь когда борьба между Суллой и Марием достигла своего апогея, отравления так участились, что, бывало, дважды подумаешь, стоит ли пойти пообедать к родной сестре.

И представляете, каким искусством должен был обладать Цезарь, чтобы переходить из постели одной воинственной Клитемнестры в постель другой. Как ему это удавалось, так никто и не знает. Но самое замечательное, что все его возлюбленные до сих пор его обожают. Часто в обществе одной из этих пожилых матрон я принимался его хвалить, и что же — я замечал, что, затаив дыхание и чуть не падая от переполняющих ее чувств, мне внимают юная дева, убежденная, что она одна была музой этой царственной судьбы».

Тут Цицерон разразился смехом, поперхнулся, и мне пришлось стукнуть его по спине.

«И заметьте, — продолжал он. — Цезарь, которому в браке удалось произвести на свет лишь одного ребенка, вне брака весьма справедливо заслужил прозвище отца своей страны. Думаю, что он почти наверняка пытался привязать к себе влиятельных возлюбленных при помощи детей. Часто замечали также, что, когда его пассия объявляла ему, что она беременна... вы меня слушаете?... и когда Цезарь был убежден, что он и впрямь отец будущего чада, он щедро за это расплачивался, вручал даме подарок, и весьма ценный притом.

Не забывайте, что в те годы, о которых мы говорим, Цезарь был нищим. Да, в течение двадцати решающих лет своей жизни Цезарь был... расточителем, не имеющим доходов, щедрым на чужое золото.

(Далее следуют рассуждения Цицерона об отношении Цезаря к деньгам, уже приведенные в документе XII.)

Как бы там ни было, Цезарю удалось пустить в оборот столько денег своих дру-

зей, что он смог подарить Волумнии «Андромаху» Апеллеса (куда как подходящий сюжет для неверной жены), самое великое произведение живописи в мире, хотя и вылинявшее подобие того, чем оно было первоначально. Можно ли сомневаться, что ее дочери-близнецы — отпрыски Цезаря? Разве это не тот же нос, повторенный дважды? А Сервилию он подарил розовую жемчужину, которую она носит словно святыню на каждом празднике в память основания Рима. Это самая большая жемчужина в мире, и в свое время о ней только и говорили. Малоаппетитная грудь, на которой она ныне покоится (как вызов законам против роскоши), была когда-то, мой друг, не менее прекрасной, чем эта жемчужина. И не награда ли это за появление на свет Марка Юния Брута? Этого мы никогда, никогда не узнаем».

LVIII. Цезарь из Рима — Бруту в Марсель

(17 августа)

(С нарочным)

Стоит ли говорить, с каким удовлетворением я узнал из разных источников, насколько образцово ты справился со своими высокими обязанностями. Надеюсь, моя похвала приятна тебе по двум причинам: во-первых, потому что тебя хвалит друг, который радуется и гордится всем, что ты делаешь; но, главное, потому, что я и сам слуга Римской республики, который переживает ее обиды и радуется, когда ей примерно служат. Клянусь бессмертными богами, я хотел бы слышать, что во всех других провинциях так же царит правосудие, так же неусыпно пекутся о подданных и так же энергично исполняют законы. Тысячам людей, пробужденным от дремоты варварства, ты внушил любовь и почтение к Риму; страх же к нему ты вселял лишь в той мере, в какой все мы должны чувствовать трепет перед законом.

Возвращайся, мой юный друг, на родину, она ждет от тебя все более важных услуг.

Письмо это предназначено лишь для тебя: уничтожь его сразу же. Не торопись с ответом, нарочный подождет сколько понадобится.

Я не считаю, что при республиканском строе вождь обязан выбирать или назначать себе преемника. Правно как и не считаю, что глава республики должен быть облечен диктаторскими полномочиями. Однако же я диктатор и убежден, что власть, которую я был вынужден взять, необходима стране, а также что назначение преемника сможет уберечь государство от новой изнурительной гражданской войны. Мы с тобой много и подолгу беседовали о природе власти и о том, насколько в данное время римским гражданам можно доверить самоуправление. В какой степени они способны самостоятельно править, мы с тобой не всегда сходились во мнениях. Я назначил тебя на пост, который ты сейчас покидаешь, чтобы на повседневной административной работе ты понял, до какой степени рядовые люди полагаются на вышестоящих. Теперь я хочу, чтобы ты занял такую же должность в столице и проверил эту истину на наших итальянских согражданах.

Я хочу, чтобы ты стал претором. И назначаю на ту же должность вместе с тобой твоего зятя (*Кассия*). Я хочу, чтобы ты был претором в столице; это пост более трудный, больше на виду у народа и ближе ко мне.

Как я уже говорил, помня нрав наших граждан и политическое положение на полуострове, я считаю своим долгом назначить себе преемника. Правда, в моем положении я могу только его предложить, но не могу узаконить. Только одного не в силах знать человек — это будущего. Преемник должен утвердиться сам. Однако у меня есть возможность — буду я жив или мертв — оказать помощь тому, кто придет следом за мной. Прежде всего открыть ему, как правят государством, и поделиться сведениями и опытом, которых он нигде больше не сможет получить. В качестве римского претора все это будет тебе доступно.

Мне каждый день дают понять, что жизнь моя постоянно висит на волоске. Я не желаю принимать предосторожностей, которые, обезопасив меня от врагов, ограничат мое передвижение и отравят мою душу страхом. В течение дня убийце нетрудно найти подходящее время, чтобы меня уничтожить. Сознание опасности вынуждает меня подумать о преемнике. Умирая, я не оставляю после себя сыновей. Но даже если бы они

у меня и были, я не считаю, что политическую власть следует передавать от отца к сыну. Она должна принадлежать только тем, кто дорожит общественным благом и обладает способностью и умением управлять. Я верю, что ты наделен и любовью к обществу и способностями им править; опыт же я смогу тебе передать. Теперь решай, хочешь ли ты взять на себя верховную власть.

Прошу тебя сообщить мне свои соображения.

LVIII-A. Брут — Цезарю
(*Ответ с тем же нарочным*)

Благодарю за высокую оценку моей службы. Благодарю за помощь, оказанную во время исполнения моей должности. Я принимаю пост претора Рима и надеюсь, заняв его, сохранить то доброе мнение, которое позволило вам мне его предложить.

О том более высокопоставленном, о котором вы пишете, я не желаю даже думать. Причины моего отказа содержатся в вашем собственном письме. Разрешите привести ваши слова: «Я не считаю, что при республиканском строе вождь обязан выбирать или назначать себе преемника». Место Цезаря может занимать только Цезарь; опустеет оно — тогда и сама должность и единовластие тоже исчезнут. Пусть бессмертные боги надолго сохраняют вас, дабы вы могли править страной, как вы один это умеете; когда же вы покинете свой пост, да сохраняют они нас от гражданской войны.

Другие причины моего отказа касаются только меня лично. С каждым годом я чувствую, что меня все больше влечет к изучению философии. Послужив какое-то время вам и государству в качестве претора Рима, я попрошу освободить меня, ибо хочу целиком отдаться науке. На этой стезе я надеюсь оставить по себе память, достойную наших римских традиций и вашего доброго мнения обо мне.

LIX. Цезарь — Порции, жене Марка Юния Брута, в Рим
(*18 августа*)

Спешу доставить себе удовольствие и сообщить вам, что несколько дней назад я отозвал вашего супруга назад, в столицу. И отозвал я его не без сожаления, потому что те, кто любит Рим, несомненно пожелали бы, чтобы он навсегда остался в Ближней Галлии и продолжал так же отменно служить ей, как он это делает сейчас.

Позвольте повторить вам то, что я ему недавно писал: «Клянусь бессмертными богами, я хотел бы слышать, что во всех других провинциях так же царят правосудие, так же неусыпно пекутся обо всех подданных и так же энергично исполняют законы».

Разрешите сказать вам, что все, имеющее касательство к вашему дому, затрагивает и меня лично. Никакие разногласия не смогли пошатнуть глубочайшего уважения, которое я питаю к людям, наиболее вам близким. (*Порция была дочерью Катона Младшего.*) До меня дошли слухи, что вы ждете ребенка. Не вы одна, госпожа, а весь Рим ожидает появления на свет потомка таких благородных родов. Я рад, что отец ребенка будет с вами в столь знаменательный час.

LIX-A. Порция — Цезарю
(*19 августа*)

Порция, жена Марка Юния Брута, выражает свою благодарность диктатору Каю Юлию Цезарю за его любезное письмо и за участие в том радостном событии, о котором он мне сообщает.

LIX-B. Дневник в письмах Цезаря — Луцию Мамилию Турринну на Капри
(*Приблизительно 21 августа*)

947. Никому из нас не чужда зависть. У меня для зависти только три повода (если можно так называть три объекта моего восхищения). Я завидую твоей душе, певческому дару Катуты и Бруту из-за его новой жены. О первых двух я тебе уже подробно писал, хотя, наверное, вернусь к ним еще.

Третий объект стал недавно занимать мои мысли. Я заметил ее еще тогда, когда она была женой моего друга — этого тщеславного растяпы (*Марка Кальпурния*) Бибула. Как поразительно идет женщине молчаливость, не та молчаливость, которая выражает рассеянность и пустоту, хотя и такая встречается редко, а умение молчать, ни на миг не теряя внимания. Оно украшало как мою Корнелию — я ее звал «мое говорящее молчание», — так и мою Юлию, давно умолкнувшую и молчащую даже в моих снах, украшает и Порцию Катона.

Но когда их что-нибудь побуждало заговорить, кто с ними мог сравниться в красноречии или остроумии? Они могли разговаривать о самых ничтожных домашних делах, и даже Цицерону в сенате не удавалось так захватить своих слушателей. Раздумья, полные зависти, объяснили мне, почему это происходило. Банальность непереносима в устах того, кто придает ей важность. Однако вся наша жизнь в них погрязла. Значительное обростает со всех сторон бесчисленными банальностями, а банальность имеет лишь то достоинство, что существует, и существует повсеместно. По самой своей сути женщины — хранительницы огромного числа таких важных незначительностей. Воспитание детей кажется мужчине рабством значительно более тягостным, чем скотоводство, и более раздражающим, чем ночевка среди мошкары в египетской пустыне. Молчаливая женщина умеет мысленно отделить мелочи, которым надлежит кануть в Лету, от мелочей, еще заслуживающих внимания.

Считается, что завидовать другому из-за его жены не сулит мира, однако у меня эта зависть носит вполне мирный характер. Пока был жив Бибул, я часто бывал у него дома и завидовал его вечерам в этой атмосфере размеренного покоя. Когда Бибул умер, у меня появились далекоидущие планы, но всякие попытки в этом направлении казались невозможными. У Брута, несомненно, тоже были далекоидущие планы; его очень порицали за развод с Клавдией (*дочерью Аппия Клавдия, дальней родственницей Клодиус*) после такого долгого брака; но я его понимал, и теперь весь Рим видит, что такому счастью может позавидовать самый суровый стоик, а самый бдительный диктатор его простит. (*В результате этого брака усилилась единственная оппозиционная партия аристократов, которая и правда пользовалась широкой народной поддержкой. Брут женился на своей двоюродной сестре — его мать Сервилия приходилась сестрой отцу Порции Катону Младшему; Кассий и Лепид были женаты на единоутробных сестрах Брута, дочерях Сервилли от ее предыдущего брака с консулом Силоном, обе они пользовались очень дурной репутацией.*) Можно ли сравнить Порцию с твоей или моей матерью и моей теткой? Не знаю. В ее добродетелях есть та прямолинейность, которая так вредит ее мужу и отцу, людям мрачным. Можно лишь пожалеть об этой суровости, которую породило отвращение к своей развратной среде; она слишком быстро обретает нравоучительность и самодовольство. Мне приятно вспомнить, что мой юный друг Брут не всегда был таким твердокаменным моралистом. Некогда он вздыхал у ног Несравненной (*актрисы Кифериды*) и нажил богатство, выжимая соки из кипристов и каппадокийцев; я был в тот год консулом и с трудом спас его от громкого процесса о вымогательстве.

Да, эти моралисты праведны из чувства отвращения, отсюда их прямолинейность. Дай бог, чтобы это «говорящее молчание» оказало благое влияние на прекрасного и благородного Брута. (*Игра слов: по-латыни «брутус» — и уроливый и низкий.*)

IX. Листовка заговорщиков

(*Нижеследующая листовка, или письмо по цепочке разошлось по всему полуострову в тысячах экземпляров в первой половине сентября 45 года. Первое из них появилось в Риме 1 сентября.*)

Совет двадцати — римлянам, достойным своих предков: готовьтесь свергнуть тиранию, под которой стонет наша республика. Отцы наши умирали за те свободы, которые отнял у нас один человек. Образован Совет Двадцати; он дал клятву у алтарей, и знаменья говорят, что дело его правое и увенчается успехом. Пусть каждый римлянин, получивший этот листок, переписшет его пять раз. Постарайтесь, соблюдая тайну, передать эти копии в руки пятерым римлянам, которых вы считаете своими единомышлен-

никами, или тем, кого вы можете привлечь на нашу сторону; пусть они сделают также по пять копий.

Ждите следующих листовок. Со временем мы перейдем к более решительным действиям.

Смерть Цезарю! За нашу родину и наших богов! Молчание и Решимость!

Совет двадцати.

ЛХ-А. Азийий Поллио — Цезарю

(Заключительная часть приведенного в документе XIV донесения Поллиона Цезарю из Неаполя от 18 сентября)

Я пересылаю военачальнику тринадцать копий листовки, полученных за последние шесть дней: три на квартиру в Позилито и десять сюда. Военачальник заметит, что пять из них явно написаны одной рукой, хотя почерк пытались изменить. Квинт Котта получил шестнадцать листовок, Люций Мела — десять.

Подрывная работа велась в здешних местах и среди простого народа, то есть среди тех, кто не умеет ни читать, ни писать. Среди них распространяли камешки и раковины, на которых написано «XX/C/Ц» (*Совет двадцати. Смерть Цезарю*). Мой вестовой собрал много таких. Уверяет, будто к ним относятся скорее с негодованием, чем с энтузиазмом, и поэтому стали распространять другие камешки, с надписью «XX/C». (*Смерть Совету двадцати.*) Надписи выцарапывают на мостовых, на стенах и пр.

Я не смею давать советы, какими мерами военачальнику пресечь эту деятельность. Сообщи, однако, к чему пришли при обсуждении этого вопроса Котт, Мела, Анний Турбатий и я.

1. Движение началось в Риме. В Неаполе первые листовки появились на пятнадцать дней позже.

2. Задержаны три раба, распространявшие эти письма. Их подвергли пытке. Двое заявили, что нашли листовки, адресованные нам, в общественных местах (одна старуха нашла листовку на лотке с финиками, которыми она торговала) и решили доставить по адресу в расчете на вознаграждение. Широкое распространение листовок основано на обычае делать подарки тем, кто приносит письма. Третий раб сказал, что письмо, адресованное мне, дала ему на набережной женщина, закутанная в покрывало, и заплатила за доставку.

3. Люди, затеявшие это дело, вряд ли принадлежат к группе Клодии Пульхер — она не обладает для этого ни настоящей хитростью, ни выдержкой — или к недовольным из окружения Кассия и Каски, которые ограничились бы небольшой группой заговорщиков. Желание вовлечь как можно больше участников, отсутствие откровенных призывов к насилию, а также притязания на божественную поддержку показывают, что тут замешаны люди серьезные и скорее всего пожилые. Мы не исключаем возможности, что к таким мерам могли прибегнуть Цицерон или Катон.

4. Трудно представить, как такая цепочка писем может побудить перейти от пассивного сопротивления к активному. Однако все мы считаем, что это движение способно нанести ущерб твердой власти, и ждем указаний о принятии мер к его подавлению.

ЛХ-Б. Вторая листовка

(Она еще шире разошлась по всему полуострову. Первые копии появились в Риме 17 сентября.)

Второе послание Совета двадцати всем римлянам, достойным своих предков. Каждого римлянина, получившего это воззвание, просят снять с него пять копий и, соблюдая полную тайну, передать их тем гражданам, которым они вручили наше первое письмо.

Вот наши указания: начиная с 16 числа сентября месяца каждый римлянин и его домохозяин должны по возможности делать покупки в городе, являться в суд и участвовать во всех общественных делах только по четным дням.

Кроме того, все живущие в Риме должны усердно приветствовать появление диктатора и сопровождать его во время публичных выступлений. В разговорах следует

восторженно поддерживать все его мероприятия, особенно перевод столицы на Восток, военный поход в Индию и восстановление царской власти.

В нашей следующей листовке мы перейдем к еще более решительным действиям. Смерть Цезарю! За нашу родину и наших богов! Молчание и Решимость!

Совет двадцати.

ЛХ-В. Заметки Корнелия Непота

(Запись сделана после смерти Цезаря.)

Осенью 45 года главной темой разговоров были так называемые цепные письма и приезд Клеопатры. По правде говоря, эту затею с письмами многие тоже приписывали царице Египта — казалось, в ней есть какое-то восточное коварство, на которое не способен римлянин. Предписание отправлять все общественные обязанности только по четным дням вызвало живой интерес. Поначалу было замечено, что люди деятельны главным образом по нечетным дням. Но постепенно это пошло на спад и деятельность явно переместилась на четные дни.

ЛХI. Дневник в письмах Цезаря — Луцию Мамвилю Турриву (8—20 сентября)

(С приложением копии первой листовки заговорщиков)

979. Кто-то изобрел новый способ подготовить народ к государственному перевороту и моему убийству.

Прилагаю копию одной из прокламаций. Они распространяются по всей Италии тысячами.

За последний год не проходило и дня, чтобы я не получал новых подробных сведений о том или ином заговоре. Мне приносят списки имен и отчеты о сборищах. Я перехватываю письма. Большинство таких сообществ невероятно беспомощно. Среди участников, как правило, находится один, кто охотно продаст остальных за деньги или расположение начальства.

К каждому новому заговору я отношусь с любопытством, я бы даже сказал, с веселым любопытством, но оно скоро проходит.

Прежде всего я знаю, что рано или поздно умру от руки тираноубийцы. Я не захотел отягощать свою жизнь постоянной вооруженной охраной, а свой мозг вечными подозрительностью и тревогой. Я, конечно, предпочел бы пасть от кинжала патриота, но не защищен и от удара безумца или завистника. А тем временем заключая в тюрьму, разоблачая, ссылая и убеждая, я пресек те заговоры, о которых мне сообщали.

Повторяю, я следил за ними с любопытством. Ведь не исключено, что среди замышляющих мою смерть найдется тот, кто прав там, где я ошибаюсь. На свете есть много людей лучше меня, но я еще не видел никого, кто мог бы лучше управлять нашим государством. Если он существует, он, наверное, замышляет мое убийство. Рим в том виде, в каком я его создал, в том виде, в каком я вынужден был его создать, не слишком привольное место для человека, обладающего даром правителя; если бы я не был Цезарем, я стал бы убийцей Цезаря. (Эта мысль до сих пор не приходила мне в голову, но я понимаю, что она верная; это одно из многих открытий, которое я делаю, когда пишу тебе.)

Но есть и более глубокая причина, почему мне хочется узнать человека, который меня убьет, хотя узнать его я смогу лишь в последнюю минуту жизни. Ибо это снова подводит меня к мысли, которая, как ты знаешь, меня все больше занимает: существует ли во вселенной или над ней Высший Разум, который за нами следит?

Меня часто называли любимцем судьбы. Если боги существуют, значит, то положение, которое я занимаю, дали мне они. Они ставят людей на положенные места, но человек, занимающий мое, — один из самых заметных их подначальных, так же как в своем деле Катулл, как ты, как в прошлом Помпей. Человек, который меня убьет, быть может, прольет какой-то свет на то, что собой представляют боги, — ведь он избранное ими орудие. Но когда я это пишу, перо выпадает у меня из рук. Наверное, я умру от кинжала безумца. Боги скрываются от нас даже в выборе своего орудия. Все мы отда-

ны на милость падающей с крыши черепицы. Нам остается представлять себе Юпитера срывающим с крыш эти черепицы, которые упадут на голову продавца лимонада или Цезаря. Судьи, приговорившие Сократа к смерти, не были орудиями богов; не были ими и орел с черепахой, убившие Эсхила. Очень возможно, что в последние сознательные минуты я получу последнее подтверждение тому, что все в жизни течет так же бессмысленно, как поток, несущий палые листья.

Я изучаю каждый новый заговор с любопытством, вот почему еще мне так хотелось бы узнать, что меня смертельно ненавидит человек, чья ненависть бескорыстна. Так редко встречаешь бескорыстную любовь; в побуждениях тех, кто меня ненавидит, я пока что видел лишь зависть, честолюбивую жажду самоутверждения или самоутешительную жажду разрушения. И может быть, в последнее мгновение мне будет дано взглянуть в глаза тому, кто думает только о Риме, кто думает только о том, что я — враг Рима.

980—982. *(Уже приведенные в документе VIII.)*

983. *(О погоде.)*

984. *(О все большем разрыве между литературной и разговорной латынью и об отмирании падежных окончаний и сослагательного наклонения в просторечье.)*

985. *(Снова о праве старшего сына на наследование имущества.)*

986. *(Сопроводительное письмо ко второй листовке.)*

Прилагаю второе воззвание Комитета двадцати. Я еще не узнал зачинщиков этих писем. Тут пахнет какой-то еще невиданной формой мятежа.

С самого детства я присматривался, как ведут себя люди с теми, кто поставлен над ними и может ущемлять их волю. Сколько почтения и преданности, скрывающих столько же ненависти и презрения! Почтение и преданность вызваны благодарностью к вышестоящему за то, что он освобождает их от ответственности за важные решения; презрение и ненависть — злобой к тому, кто ограничивает их свободу. Каждый день и каждую ночь даже самый кроткий человек хотя бы бессознательно становится убийцей тех, кто его подчиняет. В юности я бывал поражен, осознав, что и во сне и наяву способен мечтать о смерти своего отца, своих наставников и своих учителей, к которым я хоть и не всегда, но питал искреннюю любовь. Поэтому я с некоторым удовольствием слушал песни, которые распевали мои солдаты у походных костров; на каждые четыре, прославлявшие меня как божество, всегда бывала пятая, поносившая меня за идиотизм, старческое сладострастие и немощь. Эти песни распевались громче всего, и лес звенел от счастливого предвкушения моей кончины. Я не чувствовал ни малейшей злобы, мне было чуть-чуть смешно, и я ощутил быстрое приближение старости, когда узнал, что даже Марк Антоний и Долабелла на какое-то время примкнули к заговорщикам, замышлявшим мою гибель; начальник, которого они любили, вдруг слился в их представлении со всеми начальниками, которых они ненавидели. Ведь только собака никогда не кусает своего хозяина.

В таком противоречии душевных побуждений одна из движущих сил нашей жизни, и не нам ее одобрять или порицать, ибо, как все наши главные побуждения, она приносит одновременно и зло и добро. И этим лишний раз подтверждается мое убеждение, что умом прежде всего движет желание неограниченной свободы, а это чувство неизменно сопровождается другим — паническим страхом перед последствиями такой свободы.

ЛXII. Заметки Катутла, обнаруженные тайной полицией Цезаря

(Поступили к диктатору 27 сентября)

(Эти беглые заметки были набросаны на оборотной стороне листов с отрывками из стихов поэта и на грифельных досках. И там и тут они были небрежно стертые.)

...Был образован Комитет десяти...

...Этот Комитет двадцати принес клятву у алтарей...

...Начиная с 12-го будущего месяца сентября...

...По нечетным дням месяца воздержаться от всех...

...Неуклонное присутствие при всех публичных появлениях диктатора... выражение безудержной лести...

LXII-A. Цезарь — Катутлу*(27 сентября)*

До меня дошло, что кое-кто из ваших друзей затеял выпуск серии документов, имеющих целью свергнуть правительство данной республики.

Я считаю эти попытки скорее мальчишеским заблуждением, чем преступным умыслом. Ваши друзья должны были заметить те меры, которые я уже принял, чтобы обезвредить их и выставить на всеобщее посмешище. Однако на меня оказывают давление, чтобы я публично наказал виновных.

Мне трудно поверить, что вы принимали участие в такой наивной попытке вернуть общественные дела; но есть доказательства, что вы, во всяком случае, были о ней осведомлены.

Во имя моей долголетней дружбы с вашим отцом я хочу проявить снисхождение к этим заблуждающимся молодым людям. Я отдаю их судьбу в ваши руки. Если вы верите меня, что их участие в распространении подметных писем будет положен конец, я сочту инцидент исчерпанным.

Я не желаю ничего слышать в защиту их действий. Одного вашего заверения будет достаточно. Вы сможете его дать послезавтра, когда, как мне сказали, мы встретимся на обеде у Публия Клодия и госпожи Клодии Пульхер.

LXII-B. Катутл — Цезарю*(28 сентября)*

Письма, о которых вы говорите, задумал я один и первые копии разослал также я один. Никакого Комитета двадцати не существует.

Разумеется, диктатору мог показаться наивным способ, которым я хотел напомнить римлянам о все большем сужении их свобод. Его власть безгранична, так же как и его ревнивое отношение к любой свободе, кроме своей собственной. Его власть разрешает ему даже рыться в личных бумагах граждан.

Я прекратил сочинять письма, так как они потеряли всякий смысл.

LXII-B. Третья листовка заговорщиков (написанная Юлием Цезарем)

(Говоря, будто листовки «потеряли всякий смысл», Катутл погрязнует, что страну наводнили письма, написанные в погражание его собственным. Граждане растерялись и все меньше испытывали к ним интерес, поэтому заговор быстро сошел на нет. Третья листовка, появившаяся через несколько дней после второй, имела самое широкое хождение в народе.)

Совет двадцати посылает всем римлянам, достойным своих предков, третье сообщение.

Совет двадцати считает, что его письма получили достаточно широкое распространение. В сотнях тысяч людей пробудилась патриотическая ненависть к угнетателю и ненасытная жажда его смерти.

А пока что надлежит подготовить народ к этому радостному событию. Поэтому не теряйте ни единой возможности высмеять так называемые достижения тирана.

Умалайте его завоевания. Помните, что земли были отвоеваны полководцами, служившими под его началом, заслуги которых он отрицает. Его зовут непобедимым, но всем известны его дорого стоившие поражения, которые он скрывал от римского народа. Распространяйте рассказы о его трусости перед лицом врага.

Вспомните гражданскую войну, вспомните Помпея. Напоминайте народу о великолепии его зрелищ.

Раздача земель: распространяйтесь о том, как несправедливо поступили с крупными землевладельцами. Намекайте, что ветераны получили только каменистые или заболоченные земли.

Совет двадцати составил подробные планы сохранения общественного порядка и управления финансами. Все слабоумные эдикты диктатора: законы против роскоши, ре-

форма календаря, новые денежные знаки, система раздачи зерна, бессмысленная трата общественных средств на обводнение земель и контроль за водными путями — будут тут же отменены. Благосостояние и достаток воцарятся вновь.

Смерть Цезарю! За нашу родину и наших богов! Молчание и Решимость!

Совет двадцати.

LXIII. Кай Кассий из Палестрины — своей теще Сервилии в Рим

(3 ноября)

(В этом письме между строк говорится о возможностях покушения на Цезаря и о способах вынудить Брута примкнуть к заговору.)

Общество желающих воздать почести нашему другу растет с каждым днем. Имен многих мы даже не знаем. Наши попытки выяснить имена тех, кто воздал ему почести в прошлом месяце *(тех, кто напал на Цезаря 27 сентября?)*, оказались тщетными.

Подобрать подходящий случай нелегко — ведь почести должны быть неожиданными для чествуемого и в то же время произвести сильное и по мере возможности приятное впечатление на окружающих. Был план осуществить это в конце приема, устроенного царицей Египта. Однако наш почетный гость таинственно исчез с праздника; есть предположение, что его предупредили о готовящихся овациях.

Я все больше склоняюсь к тому, что это радостное событие следует отложить, пока хотя бы еще один из ближайших соратников нашего друга тоже не пожелает воздать ему эти почести. Мы глубоко благодарны вам за ваши старания добиться этого. Тот, кого я имею в виду, избегает моего общества и даже прислал извинения, что не сможет принять меня у себя.

Вы убедили нас, досточтимая госпожа, в необходимости спешить. Мы также опасаемся, что другие могут нас опередить в этом похвальном начинании, и это приведет к самым пагубным результатам. Надеюсь посетить вас, когда в следующий раз приеду в город.

Желаю многих лет жизни и здравия диктатору.

LXIV. Порция, жена Марка Юния Брута, — своей тетке и свекрови Сервилии

(26 ноября)

При всем моем уважении к вам я вынуждена настойчиво вас просить больше не бывать в нашем доме. Мой муж не утаил от меня, с какой неохотой он вас принимает и какое облегчение испытывает при вашем отъезде. Вы должны были заметить, что он никогда не посещает вашего дома, из чего можно заключить, что вас он принимает у себя только из сыновнего долга. Его раздраженное состояние и беспокойный сон после вашего ухода вынуждают меня писать это письмо. Мне бы следовало сделать это раньше, ибо я считаю неприличным, чтобы меня, его жену, высылали из комнаты всякий раз, когда вы беседуете.

Вы знаете меня уже много лет. Вы знаете, что я не сварлива и прежде не раз выражала вам свою признательность. Но ведь и мои близкие были вынуждены прибегнуть к такой же мере, отчего мне, правда, не легче. *(То есть ее золовки, жены Кассия и Лентула, по-видимому, тоже закрыли перед своей матерью двери.)*

Муж не знает о том, что я вам пишу. Однако я не возражаю, чтобы он об этом узнал, если вы найдете нужным ему сообщить.

Благодарю за сочувствие по поводу моей тяжелой утраты *(выкидыша)*. Меня бы больше тронули ваши заверения в любви, если бы вы считали меня членом семьи, который вправе участвовать в ваших жарких спорах с моим мужем.

LXIV-A. Надпись

(Нижеследующие слова были начертаны на золотой табличке, вделанной наряду с другими памятными таблицами в стену за домашними алтарями рода Порциев и Юниев, где они и оставались вплоть до разрушения Рима.)

Порция, дочь Марка Порция Катона Утического, будучи замужем за Марком Юнием Бругом, тираноубийцей, знала, что муж скрывает от нее свои замыслы освобождения римского народа. Как-то ночью она глубоко вонзила кинжал себе в бедро. Долгие часы она не издавала ни стоны, несмотря на терзавшую ее боль. Утром, показав рану мужу, она сказала: «Если я могла молчать при этом, неужели ты не веришь, что я умолчу о том, чем захочет поделиться со мной мой повелитель?» Тогда муж со слезами обнял ее и рассказал все, что таил в своем сердце.

LXV. Госпожа Юлия Марция из дома диктатора в Риме — Луцию Мамилию Туррину на остров Капри (20 декабря)

Мы пережили такое тяжелое время, дорогой мальчик. Ты меня прости, но я не буду во все это вдаваться. Ужасное происшествие (*осквернение Таинств Добрай Богини*) нас всех просто убило.

Мы стараемся как можно реже выходить из дому и словно призраки бродим, вглядываясь друг в друга. Мы все ждем какой-то кары — я чуть было не сказала: мы жаждем этой кары. Хотя, в сущности, мы уже наказаны. Даже празднества в честь Сатурна, сам понимаешь, прошли в Риме невесело (*Сатурналии начались 17 декабря*), а мой управляющий пишет, что и наши горные деревушки окутаны мраком. Я особенно огорчаюсь за детей и рабов — для них это время года всегда было самым счастливым.

Последние новости тревожат меня не меньше, чем сам скандал. Подлую пару оправдали. Судьи несомненно были подкуплены — Клодий заплатил им громадные деньги. Что тут скажешь? Нам приходится жить в городе, где деньги сильнее общественного мнения. Мне рассказывали, что возле домов судей целый день толпится народ и плюет на стены и двери. Утром я перемолвилась несколькими словами с Цицероном. Он вне себя от отчаяния. Речь его на процессе была лучшей из всех, какие он произносил. Я ему это сказала, но он только замахал руками и по щекам его покатались слезы.

Отказ племянника выступить обвинителем мне понятен, хотя я глубоко об этом сожалею. Если у него не хватило духа сделать это как ее мужу, он был обязан выступить как верховный понтифик. Тут есть одна подробность, которую я должна тебе сообщить, но под большим секретом. Племянник знал заранее, что этот ужасный чело-век явится на Таинства. Он мог приказать схватить его у входа, но пожелал, чтобы все дело само вышло наружу; как оно и произошло.

До чего мне жаль,* что тебя здесь нет, дорогой Луций. Он сам не свой. Он меня попросил, чтобы я побывала с ним какое-то время. По моему настоянию мы остались жить в общественном здании. (*Верховный понтифик обычно жил в общественном здании на Священной дороге,³ которое предоставлялось ему государством. Цезарь в связи с тем, что в скандале была замешана его жена, предпочел бы переселиться в свой дом на Палатинском холме.*) Он⁴ еще больше погрузился в работу. Теперь мы уже почти наверняка вступим в войну с парфянами. Коринфский перешеек будет перерезан каналом. Марсово поле перенесено⁵ в другой район, к подножью Ватиканского холма, а на месте теперешнего поля будет большой жилой массив. Откроют библиотеки для народа, целых шесть, в разных концах города. Вот темы наших застольных бесед, но мысли его заняты другим. Ах,⁶ если бы с ним был друг, перед которым он мог бы излить душу. Он больше не приглашает своих всегдашних сотрапезников. Время от времени у нас бывает Деций Брут и другой Брут, но вечера проходят невесело. Наш друг умеет проявлять дружбу только к тем, кто сам относится к нему с приятелью. Как говаривал мой муж о таких людях: «Смельчак в любви всегда робок в дружбе».

Хочу поделиться с тобой еще одним секретом. Первое предостережение о наглом святотатстве, замышляемом Клодием, пришло к нам, как бы ты думал, от кого? — от египетской царицы. В городе упорно говорят, будто племянник на ней женится. Тогда было бы понятно, что ее побудило разоблачить чудовищный заговор. Однако могу тебя заверить, что в подобных слухах нет ни капли правды. Что-то между ней и нашим другом произошло; не знаю, что именно. Думаю, что это играет большую роль в его угнетенном состоянии; я замечаю, что и она страдает. Люди считают, что мы, пожилые

женщины, тонко разбираемся в любовных интригах. А вот я — нет. Могу сказать одно: какая-то дурацкая помеха испортила в высшей степени приятные отношения. Бросилось мне в глаза и то, что мой внучатый племянник (*Марк Антоний*) совершил поездку на восточное побережье.

Глупо, что Цезарь живет здесь один. Мы с ним об этом говорили. Пора смазливых девушек миновала. Кто мог бы стать ему более подходящей женой, чем наша милая Кальпурния, которую все мы так давно знаем? Она вела себя сдержанно и с достоинством при многих весьма сложных обстоятельствах. По-моему, ты скоро услышишь, что она переехала в этот дом после весьма скромной церемонии бракосочетания.

Лают собаки. Он вернулся. Я слышу — он здоровается с домашними. Только тот, кто сильно его любит, почувствует, как притворен его веселый тон. Я не перестаю себе удивляться: за свою долгую жизнь я многих любила и потеряла, но никогда еще я не чувствовала себя такой бессильной помочь чужому горю. Я даже не знаю его причин, вернее, главную из многих возможных.

На следующий день.

Пишу второпях, дорогой Луций. С кем же мне поделиться, как не с тобой?

Странные творятся дела. Даже он не смог удержаться и рассказал мне с деланной небрежностью о множестве заговоров, которые то и дело открывают, — о попытках произвести государственный переворот и убить его. Он свертывал и развертывал какие-то бумаги. «В прошлом году это был Марк Антоний, — сказал он. — А теперь, кажется, об этом подумывает и Юний Брут». Я с ужасом отшатнулась. Он наклонился ко мне и сказал со странной улыбкой: «Никак не дождется, чтобы упокоились эти старые кости».

Как мне жаль, что тебя здесь нет, дорогой Луций!

LXVI. Клеопатра — госпоже Юлии Марции на ее ферму в Албанских холмах (13 января)

Меня очень обрадовало, что вы совсем оправились от вашего недомогания. Надеюсь, мои ежедневные посланцы не слишком обременяли тех, кто за вами ухаживал.

Я ожидала вашего выздоровления для того, чтобы задать вам неотложный вопрос. Я со всех сторон окружена врагами, однако мне все же повезло: вы не только единственный человек, к кому я могу обратиться, но и лучше чем кто бы то ни был можете дать мне совет.

Милостивая государыня, я приехала в Рим в интересах той великой страны, которой я правлю. Я приехала как чужестранка, не знающая обычаев римлян и рискующая совершить ошибки, пагубные для моих целей. Желая от этого уберечься, я учредила сеть наблюдателей, которые осведомляют меня о том, что происходит в столице. Я никогда не пользовалась полученными сведениями во вред законнейшим интересам римских граждан; в ряде случаев я имела возможность оказать услуги общественному порядку.

Благодаря упорству и счастливому случаю я имею возможность пристально следить за кознями лиц, замышляющих совершить переворот и убить диктатора. Это не первые заговорщики, на которых обращали мое внимание, но наиболее решительные. Вряд ли стоит перечислять в этом письме их имена.

Милостивая государыня, самой мне трудно в настоящее время оповестить диктатора. Во-первых, ему может быть неприятно, что женщина, и к тому же иностранка, во второй раз сообщает ему о вещах, столь близко его касающихся. Во-вторых, обидное недоразумение лишило меня его доверия. Утешает меня лишь то, что он знает, как тверда и непоколебима я в своем желании видеть его на том высоком посту, который он занимает в Римской республике.

Группа заговорщиков, о которых я вам пишу, замышляла убить диктатора в полночь 6 января, когда он возвращался с выборов членов городской управы. Они собирались устроить ему засаду у моста через речушку возле храма Тебетты и под этим мостом. В тот раз я разослала анонимные письма четверем из заговорщиков и сообщила им, что Цезарь знает об их намерениях. Теперь они собираются напасть на него,

когда он 23 января будет возвращаться с игр. Вы понимаете, что было бы неосторожно снова писать заговорщикам, к тому же я обещала моему осведомителю, который входит в их число, что я этого не сделаю.

Я настоятельно прошу вас, высокочтимая госпожа, поскорее дать мне совет, что делать. Проще всего, как я полагаю, было бы сообщить эти сведения начальнику тайной полиции диктатора. Однако этого я сделать не могу. Я слишком хорошо знаю, как беспомощна эта организация. Она представляет диктатору доклады, где неверные данные прикрывают халатность, а личные пристрастия выдаются за факты, где утаиваются важные сведения и раздувается всякая ерунда.

Прошу вашего ответа.

LXVI-A. Госпожа Юлия Марция — Клеопатре
(С тем же посланным)

Благодарю вас, великая царица, за ваши письма, а также за многочисленные знаки внимания во время моей болезни.

По поводу последнего письма: мой племянник осведомлен в общих чертах о тех лицах, о которых вы пишете. Речь идет об одной и той же организации, имена ее участников ему известны. Я сужу об этом по тому, что он говорил со мной о засаде у моста. Я не сомневаюсь, однако, что вы располагаете более подробными сведениями, а это чрезвычайно важно. Меня глубоко тревожит, великая царица, что мой племянник не подавляет подобных заговоров с той энергией и бдительностью, какие он проявляет, когда опасность грозит государству.

Я позабочусь о том, чтобы он узнал о покушении, назначенном на 28-е число. И, выбрав подходящую минуту, сообщу ему, что этим предостережением мы обязаны вам.

Время, в которое мы живем, повергает нас в такую растерянность и горе, что счастливые часы, проведенные с вами, кажутся мне канувшими в далекое прошлое. Да вернут поскорее бессмертные боги Риму хоть немного покоя и да отвратят от нас свой праведный гнев.

LXVII. Дневник Цезаря — письмо Луцию Мамелию Туррину на остров Капри
(Записи, видимо, сделаны в январе и феврале)

1017. (Соображения за и против постройки канала через Коринфский перешеек.)

1018. (О растущем спросе на римские предметы роскоши в Галлии.)

1019. (Просьба прислать книги для новых публичных библиотек.)

1020. Ты как-то раз со смехом спросил меня, снилось ли мне когда-нибудь «ничто». Я ответил, что да. Но мне оно снилось и потом.

Быть может, это вызвано неловким положением тела спящего, несварением желудка или другим внутренним расстройством, однако ужас, который ты испытываешь при этом, невыразим. Когда-то я думал, что «ничто» видишь в образе смерти с оскаленным черепом, но это не так. В этот миг ты словно предвидишь конец всего сущего. «Ничто» представляется не в виде пустоты или покоя — это открывшийся нам лик вселенского зла. В нем и смех и угроза. Оно превращает в посмешище наши утехи и в прах наши стремления. Этот сон прямо противоположен тому, другому видению, которое посещает меня во время припадков моей болезни. Тогда, мне кажется, я постигаю прекрасную гармонию мира. Меня наполняет невыразимое счастье и уверенность в своих силах. Мне хочется крикнуть всем живым и всем мертвым, что нет такого места в мире, где не царит блаженство.

(Запись продолжается по-гречески.)

Оба эти состояния порождены телесными парами, но рассудок говорит и в том и в другом случае: отныне я знаю. От них нельзя отмахнуться, как от миража. Обоим наша память подыскивает множество светлых и горестных подтверждений. Мы не можем отрицать реальность одного, не отрицая реальности другого, да я и не стану пытаться, как деревенский миротворец, улаживающий ссору двух противников, приписывать каждому свою убогую долю правоты.

В эти последние недели я, однако, не во снах, а наяву видел тщету и крушение всего, во что верил. Или даже хуже: мои мертвецы с издевкой взывают ко мне из-под погребальных одежд, а еще не рожденные поколения молят, чтобы я избавил их от шутовского хоровода земной жизни. Но даже в своей безмерной горечи я не могу отвергнуть воспоминаний о былом блаженстве.

Жизнь, жизнь наша обладает тем таинственным свойством, что мы не смеем сказать о ней своего последнего слова, не смеем сказать, хороша она или дурна, бессмысленна или упорядочена свыше. Но мы все это о ней говорим, тем самым доказывая, что все это живет в нас самих. Та «жизнь», по которой мы идем, бесцветна и не шлет нам знамений. Как ты когда-то сказал, вселенная и не подозревает, что мы существуем.

Поэтому дай-ка я откажусь от детской мысли, что одна из моих обязанностей — разгадать наконец, в чем сущность жизни. Дай-ка я поборю всякое поползновение говорить о ней, что она жестока или добра: ибо одинаково низко, попав в беду, обвинять жизнь в мерзости и, будучи счастливым, объявлять ее прекрасной. Пусть меня не дурачат благополучие и неудачи; дай мне радоваться всему, что со мной было и что напоминает о тех бесчисленных проклятиях и криках восторга, которые исторгали люди во все времена.

От кого же как не от тебя мог я этому научиться? Кто с таким постоянством решается сопоставлять крайности, кто, кроме Софокла, считавшегося на протяжении девяноста лет своей жизни счастливейшим человеком в Греции, хотя ни одна темная сторона жизни не была от него скрыта?

Жизнь не имеет другого смысла, кроме того, какой мы ей придаем. Она не поддерживает человека и не унижает его. Мы не можем избежать ни душевных мук, ни радости, но сами по себе эти состояния нам ничего не говорят; и наш ад и наш рай дожидаются того, чтобы мы вложили в них смысл, так же как все живые твари смиренно ожидали, чтобы Девкалион и Пирра дали им имена. Эта мысль позволяет мне наконец собрать вокруг себя благословенные тени прошлого — тех, кого до сей поры я считал лишь жертвами жизненной неразберихи. Я осмеливаюсь просить, чтобы от моей доброй Кальпурнии родилось дитя, которое скажет: в бессмыслицу я вложу смысл и в пустыне непознаваемого буду познаю.

Рим, служению которому я отдал жизнь, — только понятие, лишь нагромождение построек более или менее монументальных, скопище граждан более или менее работающих, чем в других городах. Наводнение или безрассудство, огонь или безумство в любое время может его разрушить. Я думал, что связан с ним кровно и воспитанием, но такая привязанность значит не больше, чем борода, которую я сбрываю по утрам. Меня призывали защищать его сенат и консулы; но Верцингеториг также защищал Галлию. Нет, Рим стал для меня городом только тогда, когда я вознамерился, как и многие до меня, придать ему свой смысл, и для меня Рим может существовать лишь постольку, поскольку я вылепил его по своему замыслу. Теперь я понимаю, что многие годы хранил детскую веру, будто люблю Рим и что мой долг любить Рим, ибо я — римлянин, словно человек может любить нагромождение камней и толпу мужчин и женщин и еще быть достойным за это уважения. Мы не испытываем привязанности к чему бы то ни было, пока не придали этому смысл, и мы не уверены, что это за смысл, пока самоотверженно не потрудились над тем, чтоб вложить его в объект нашей привязанности.

1021. *(О восстановлении разрушенного Карфагена и постройке мола в Тунисском заливе.)*

1022. Сегодня мне сказали, что меня дожидается какая-то женщина. Она вошла ко мне в приемную, закутанная вуалью, и только когда я отпустил секретарей, она открыла свое лицо, и я увидел, что это Клодия Пульхер.

Она пришла предупредить меня о заговоре на мою жизнь и заверить, что ни она, ни ее брат в нем не участвуют. Потом она стала называть мне имена подстрекателей и дни, на которые назначены покушения.

Клянусь бессмертными богами, эти заговорщики забыли, что я любимец женщин. Дня не проходит, чтобы эти прекрасные осведомительницы не оказывали мне помощи.

Я чуть было не сказал своей гостье, что мне все это уже известно, но прикусил

язык. Я мысленно представил себе ее старухой у очага, вспоминающей, как она спасла страну от гибели.

Она сообщила мне только одно новое обстоятельство: эти люди задумали убить и Марка Антония. Если это правда, они еще бездарнее, чем я предполагал.

Надо бы напугать этих тираноубийц, но я медлю: никак не могу решить, что с ними делать. До сих пор я всегда дожидался, чтобы смута дозрела; народ учит само деяние, а не та кара, которую за него налагают. Не знаю, что делать.

Друзья наши выбрали неудачное время для покушения на мою жизнь. Город постепенно наполняется моими ветеранами. *(Снова набирались войска для войны с парфянами.)* Они ходят за мной по улицам, выкрикивая привѣтствия. Сложив возле рта руки трубкой, они радостно перечисляют названия выигранных нами битв, словно это были веселые состязания в беге. А ведь я подвергал их всяческим опасностям и нещадно муштровал.

Заговорщиков же я подавлял только добротой. Большинство из них я уже раз простил. Они приползли ко мне из-под складок тоги Помпея и целовали мне руку в благодарность за дарованную жизнь. Но благодарность скисает в желудке мелкого человека, и ему не терпится ее выблевать. Клянусь адом, не знаю, что с ними делать, да и мне, в общем-то, все равно. Они благоговейно взирают на Гармония и Аристокитона *(«классические» тираноубийцы Древней Греции)*, но я зря отнимаю у тебя время.

LXVIII. Надписи в общественных местах

(Таблички были прикреплены к статуе Юния Брута-старшего.)

О, будь ты с нами, Брут!

.

О, будь ты жив, Брут!

(А эти таблички нашли на курульном кресле Брута.)

Брут! Ты спишь?

.

Ты не Брут!

LXVIII-A. Заметки Корнелия Непота

(Начиная с декабря Непот зашифровывал свои заметки, даже относящиеся к древней римской истории.)

Пяти. Пришел очень взволнованный. Говорит, будто его подговаривал Голенастый *(Требоний? Децим Брут?)*. Не мог указать ему на безумие этой затеи. Ограничился тем, что дал ему хорошую взбучку и высмеял заговор. Указал ему, что среди подстрекателей нет ни одного, кто бы был неизвестен моей жене и ее друзьям; что всякий заговор, в котором ищут его участия, неизбежно провалится, ибо все знают, что он не умеет держать язык за зубами; что раз он пришел ко мне — значит, он нетвердо верит в задачи восстания и поэтому не должен принимать в нем участие; что ему нечего дать заговорщикам, кроме своего богатства, а заговор, требующий денег, заранее обречен на провал, ибо на деньги никогда нельзя было купить соблюдение тайны, отвагу или верность; что если этот заговор удастся, он в пять дней потеряет все свое состояние; что Цезарь почти несомненно знает все в мельчайших подробностях и в любую минуту может вытащить бунтарей из их домов и запереть в пещеры под Авентинским холмом; что великий человек, которого они хотят убить, даже не удостоит их казни, а сошлет на берега Черного моря, где они будут бессонными ночами вспоминать полуденную толчею на Аппиевой дороге, запах жареных каштанов на ступенях Капитолия и взгляд человека, которого они собирались убить, когда он поднимался на трибуну и обращался с речью к хранителям Рима.

.

Город затаил дыхание. 17-е число *(февраля)* прошло спокойно.

.

Каждое общественное событие сейчас толкуется только с одной точки зрения. Народ снова пристально следит за ежедневными знамениями. Цицерон вернулся в

город. Видели, как он грубо разговаривал с Голенастым, а мимо Кузнеца прошел. не поздоровавшись.

С тех пор как Цезарь снова женился, царица Египта вдруг стала очень популярной. В общественных местах ей вывешивают оды. Было сообщено о ее отъезде, но к ее дому ходят делегации граждан и просят продлить свое пребывание.

.

Волна слухов стала спадать. Новый вожак и более жесткая дисциплина? Приток в город ветеранов?

LXIX. Дневник в письмах Цезаря — Луцию Мамилию Туррину на остров Капри

1023. Клянусь бессмертными богами, я злюсь, и эта злость меня даже радует.

Мне никогда не бросали обвинения в том, что я враг свободы, пока я командовал римскими армиями, хотя, клянусь Геркулесом, я так ограничивал свободу солдат, что они не могли и на милю отойти от своих палаток. Они поднимались по утрам, когда я им приказывал, ложились спать по моей указке, и никто не роптал. Слово «свобода» на языке у всех, хотя в том смысле, в каком его употребляют, никто никогда не был свободен и никогда не будет.

В глазах моих врагов сам я вкушаю свободы, украденные у других. Я тиран, и они сравнивают меня с восточными самодержцами и сатрапами. Они не могут сказать, что я кого-нибудь ограбил, отнял деньги, землю или работу. Я отнял у них свободу. Я не отнимал у них право голоса или мнения. Я не восточный человек, поэтому я не скрывал от народа того, что он должен знать, и я ему не лгал. Римские остряки уверяют, будто народ устал от сведений, которыми я наводняю страну. Цицерон обзывает меня «школьным учителем», но и он не обвиняет меня в том, что я неверно преподаю свой предмет. Римляне не рабы невежества и не страдают от тирании обмана. Я отнял у них их свободу.

Но свобода существует только как ответственность за то, что делаешь. И я не мог ее у них отнять, потому что ею они не обладают. Я предлагал им все, чтобы ее обрести, но, как выяснили еще мои предшественники, они не знают, что она такое. Меня радует, что галльские гарнизоны вынесли нелегкое бремя свободы, которое я на них возложил. А вот в Риме царит растление. Римляне научились мастерски отыскивать любые лазейки, чтобы уклониться от ответственности и ничего не платить за политические свободы. Они стали паразитировать на свободе, которой я так охотно пользуюсь — свободе принимать решения и придерживаться их — и которую я хотел бы разделить со всяким, кто взвалит на себя ее бремя. Я приглядывался к моим преторам (*Кассию и Бруту*). Они выполняют свои обязанности с чиновным прилежанием; они бурчат «свобода, свобода», но ни разу не заглянули в завтрашний день и не подняли голоса в пользу процветания Рима. Наоборот, они выдвинули кучу предложений, которые могут только подкрепить их мелочное самолюбие и ослабить его величие. Кассий желает, чтобы я заткнул рот энтузиастам, которые изо дня в день публично поносят меня и наши эдикты. Брут желает сохранить чистоту нашей римской крови, ограничив права на гражданство. Клянусь погружением созвездия Диоскуров в волны морские, даже его африканский привратник лучше разбирается в этом вопросе. Ведь это же отказ от свободы, потому что только делая прыжок в неизведанное, мы ощущаем свою свободу. А тех, кто отказывается от своей свободы, неизменно пожирает зависть; у них желтушный глаз, который не успокоится, пока не припишет низменных мотивов людям, при вышшим самим создавать свою свободу, а не брать ее из чужих рук.

Но я напоминаю себе, что разум свободен, и гнев мой проходит. Разум легко утомляется и легко поддается страху; но нет числа тем представлениям, которые он порождает, а мы неумело стремимся их осуществить. Я часто слышал, как люди говорят, будто есть предел, дальше которого нельзя добежать или доплыть, выше которого нельзя возвести башню или глубже вырыть яму, однако я никогда не слышал о каком-нибудь пределе для мудрости. Путь открыт для поэтов лучших, чем Гомер, и для правителей лучших, чем Цезарь. Нет мыслимых границ для преступления и для безумства. Это меня тоже радует и кажется мне необъяснимым чудом. Это же дает мне сде-

лать окончательные выводы относительно нашего человеческого существования. Там, где есть непознаваемое, есть надежда.

LXX. Цезарь — Бруту. Памятная записка

(7 марта)

(Рукой секретаря.)

Намечены следующие даты.

Я уеду 17-го (на парфянскую войну). Вернусь в Рим, если понадобится, на три дня 22-го, чтобы выступить в сенате об избирательной реформе.

Размещение по квартирам: цифры (число рекрутов и ветеранов, вступающих в армию) превысили мои ожидания. Восьми храмов (переданных квартирмейстерам в дополнение к имеющимся казармам) будет недостаточно. Завтра мы переезжаем из общественного здания на Палатин. В общественном здании можно разместить не менее двухсот человек.

(Цезарь продолжает письмо своей рукой.)

Кальпурния и я надеемся, что вы с Порцией придете 15-го числа к нам на обед по случаю моего отъезда. Мы приглашаем также Цицерона, обоих Марков (Антония и Лепида), Кассия, Децима, Требония—с женами, у кого они есть. Царица Египта присоединится к нам после обеда.

Твое общество и общество Порции так мне приятны, что я предпочел бы провести это время только с вами двоими. Но поскольку там будут и другие, я, памятуя о нашей долголетней дружбе и о том, что ты неизменно предлагаешь мне свои услуги, разрешаю себе воспользоваться случаем и дать тебе одно поручение.

Мне будет тяжело расстаться с моей дорогой женой, тяжело будет и ей. На короткое время я встречу с ней осенью в Далмации или — негласно — на Капри. Пока же меня бы очень утешило, если бы вы с Порцией взяли ее под свою опеку. С Порцией ее связывает близкая дружба с детства; к тебе она питает заслуженное уважение, зная твой характер и верность мне. Нет другого дома, где она могла бы часто бывать с большей для себя пользой и куда я стал бы чаще обращать свои мысли.

LXX-A. Брут — Цезарю

(8 марта)

(Черновик неоконченного письма, которое так и не было отослано.)

Я учел пожелания, о которых вы мне сообщили.

К сожалению, вынужден сказать, что не смогу быть вашим гостем 15-го. Я все больше и больше стараюсь посвящать занятиям немногие часы на исходе дня, которые у меня остаются свободными.

Во время вашего отсутствия я, конечно, сделаю все возможное, чтобы быть полезным Кальпурнии Пизон. Однако было бы хорошо, если бы вы поручили заботу о ней не мне, а другим, более светским людям, меньше занятым общественными делами.

В вашем письме, великий Цезарь, вы пишете о моей верности вам. Я этому рад, потому что теперь мне ясно, что вы понимаете верность так же, как я. Вы ведь не забыли, что я поднял против вас оружие, получил ваше прощение и часто выражал мнения, противоположные вашим? Отсюда я могу заключить, что вы признаете верными тех, кто прежде всего верен себе, и понимаете, что та и другая верность порой могут столкнуться друг с другом.

В вашем письме, великий Цезарь, вы пишете о моей верности вам. Ваши слова...

С огорчением должен сообщить вам, что болезнь моей жены помешает нам...

...перед вашим отъездом как-то выразить благодарность, которую я к вам питаю. Долг мой вам неоплатен. С раннего детства я получал...

Я учел ваши распоряжения.

Неблагодарность — самое низкое из всех помыслов и дея...

(Следующие фразы написаны на архаической латыни. По видимому, текст присяги, даваемой в суде.)

«О, Юпитер, невидимый и всевидящий, ты, кто читаешь в людских сердцах, будь свидетелем, что слова мои — правда, и если я прегрешу против истины, пусть...»

Три ярда шерсти средней плотности, отделанной по коринфскому обычаю; одно стило, тонко отточенное; три широких фитиля для светильника.

Жена моя и я, конечно, с удовольствием... что такой могучий дуб... не забывая, на ком в последний раз остановится взор этих могучих глаз... не без удивления... и незабвенный вовеки.

LXX-B. Брут—Цезарю

(Отправленное письмо)

Я учел пожелания, о которых вы мне сообщили.

Порция и я с удовольствием посетим вас 15-го.

Будьте уверены, великий Цезарь, мы — как из-за нее, так и из-за вас — сердечно любим Кальпурнию и будем счастливы, если она сочтет наш дом родным.

LXXI. Дневник Цезаря — письмо Луцию Мамелию Туррину на остров Капри

1023. Я был нерадив в своей переписке с тобой. Дни были заняты подготовкой к отъезду.

Мне не терпится скорее уехать. Мое отсутствие будет ценным подарком Риму, который измучен, как и я, непрерывными слухами о мятеже. Ну разве не ирония судьбы, что в мое отсутствие эти люди не смогут свергнуть правительство и что, когда я переплыву Каспийское море, им, хочешь не хочешь, придется вернуться к повседневным делам?

В их числе, оказывается, около пятидесяти сенаторов, причем многие из них занимают самые высокие должности. Я отнесся к этому факту с должным вниманием, но остался непоколебим.

Афиняне вынесли порицание Периклу. Аристада и Фемистокла они отправили в изгнание.

А пока что я соблюдаю разумные предосторожности и продолжаю делать свое дело.

Мой сын (то есть его племянник Октавиан, официально усыновленный в завещании, написанном в сентябре, но еще не обнародованном) вскоре после моего отъезда возвращается в Рим. Это превосходный молодой человек. Меня особенно радует, что он написал мне о своем большом расположении к Кальпурнии. Я ей сказал, что он будет заботиться о ней как старший брат, нет, скорее даже дядя.

Октавиан прожил молодость за один год и теперь уже больше похож на человека пожилого. Письма его не менее нравоучительны, чем переписка Телемака («Образцовый письмовник», изучавшийся в школах).

Великая царица Египта возвращается на родину, узнав о нас больше, чем многие люди, прожившие здесь всю жизнь. На что она употребит эти знания, на что она наделит свою паразитальную натуру, трудно предсказать. Между людьми и животными лежит пропасть; но я всегда полагал, что она не так велика, как принято думать. Клеопатра обладает наиболее редкостными достоинствами животного и наиболее редкостными достоинствами человека, но свойство, отличающее нас от самого быстрого коня, самого гордого льва и самой хитрой змеи, ей незнакомо; она не знает, что делать с тем, что у нее есть. Она слишком умна, чтобы тешиться тщеславием; слишком сильна, чтобы насытиться властью, слишком значительна, чтобы быть просто женой. В одном только ее величие проявляет себя с полной ответственностью, и тут я совершил по отношению к ней величайшую несправедливость. Я должен был позволить ей привезти сюда детей. Она еще сама до конца не сознает в себе того, что во всех странах благоговейно почитается превыше всего: она божественна как мать. Отсюда

те ее поразительные черты, которых я так долго не мог объяснить: отсутствие всякой злобности и того суетливого беспокойства, которое нас всегда утомляет в красивых женщинах.

Будущей осенью я привезу к тебе мою бесценную Кальпурнию.

ЛХХII. Кальпурния — своей сестре Луции

(15 марта)

С каждым днем я все больше дорожу временем, остающимся до его отъезда. Мне стыдно, что я до сих пор недостаточно ясно понимала, сколько мужества требуется жене воина.

Вчера мы обедали с Лепидом и Секстилией. Был там и Цицерон, все очень веселились. Вечером муж сказал, что никогда не чувствовал такого расположения к Цицерону и его к себе, хотя весь обед они поддевали друг друга так колко, что Лепид не знал, куда девать глаза. Муж изобразил восстание Катилины так, словно это был бунт мышей против сердитого кота по кличке Цицерон. Он встал из-за стола и забегал по комнате, обнюхивая все углы. Секстилия так хохотала, что у нее закололо в боку. Что ни день я открываю в своем муже все новые черты.

Мы ушли рано, до темноты. Муж спросил, не разрешу ли я ему показать мне его любимые места. Я, как ты понимаешь, не очень хотела бродить с ним по темным улицам, но уже научилась его не остерегать. Я вижу, что он прекрасно знает о грозящей опасности и сознательно предпочитает рисковать. Он шел рядом с моими носилками в сопровождении нескольких стражников. Я обратила его внимание на громадного эфиопа, который, казалось, нас преследует. Муж объяснил, что когда-то пообещал царице Египта терпеть присутствие этого провожатого, с тех пор он то таинственно появляется, то исчезает, а иной раз целую ночь простаивает перед нашим домом и по три дня кряду следует повсюду за ним. Вид у него, правда, устрашающий, но муж, кажется, очень к нему привязан и то и дело с ним заговаривает.

Поднялся резкий ветер, обещая близкую бурю. Мы спустились с холма на Форум, останавливаясь то там, то тут, а он вспоминал разные исторические события и эпизоды из своей жизни. Как он дотрагивается до того, что лобит, и как заглядывает мне в глаза, проверяя, делю ли я с ним его воспоминания! Мы заходили в узкие темные улочки, и он погладил стену дома, где в молодости прожил десять лет. Потом мы постояли у подножия Капитолия. Даже когда разразилась буря и прохожие понеслись мимо нас, как сорванные листья, он и тогда не захотел ускорить шаг. Он заставил меня напиться из источника Реи (*считали, что это помогает деторождению*). Отчего же я, счастливейшая из женщин, полна таких зловещих предчувствий?

Наша прогулка была неразумной. Оба мы провели беспокойную ночь. Мне снилось, что фронтон дома сорвало бурей и швырнуло на мостовую. Я проснулась и услышала, как он стонет рядом со мной. Потом и он проснулся, обхватил меня руками, и я почувствовала, как сильно бьется его сердце.

О, бессмертные боги, храните нас!

Сегодня утром ему нездоровится. Он уже совсем оделся и собрался в сенат, как вдруг передумал. Он на минутку подошел к своему столу и вдруг там заснул, чего, по уверению секретарей, никогда не бывало.

Теперь он проснулся и все же ушел. Мне надо торопиться — вечером у нас гости, а еще не все готово. Мне стыдно за это письмо, полное женской слабости.

Светоний. Жизнеописание двенадцати цезарей. Книга первая

(Видимо, написана лет семьдесят пять спустя)

Он сел, и заговорщики окружили его словно для приветствия. Тотчас Тиллий Цимбр, взявший на себя первую роль, подошел к нему ближе как будто с просьбой, и когда тот, отказываясь, сделал ему знак подождать, схватил его за тогу выше локтей. Цезарь кричит: «Это уже насилие!» И тут один Каска, размахнувшись сзади, наносит ему рану пониже горла. Цезарь хватается Каску за руку, прокалывает ее грифелем, пытается вскочить, но второй удар его останавливает. Когда же он увидел, что со всех

сторон на него направлены обнаженные кинжалы, он накинул на голову тогу и левой рукой распустил ее складки ниже колен, чтобы пристойнее упасть укрытым до пят; и так он был поражен двадцатью тремя ударами, только при первом испутив не крик даже, а стон, хотя некоторые и передают, что бросившемуся на него Марку Бруту он сказал: «И ты, дитя мое?»

Все разбежались; бездыханный, он остался лежать, пока трое рабов, взвалив его на носилки, со свисающей рукою, не отнесли его домой. И среди стольких ран только одна, по мнению врача Антистия, оказалась смертельной — вторая, нанесенная в грудь¹.

¹ Гай Светоний Транквилл. Жизнеописание двенадцати цезарей. Перевод М. Гаспарова. М. «Наука». 1964, стр. 32.

Перевела с английского Е. ГОЛЫШЕВА.



О ЧЕ Р К И Н А Ш И Х Д Н Е Й

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

В. ДЖАЛАГОНИЯ, Б. ЧЕХОНИН



ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ

В парткоме КамАЗа нам показали снимок: грузовик с выведенным на передке номером «0000001», поднятый на постамент почета, и группа очень счастливых людей у его подножия.

Их было 175, тех, кто победил в соревновании за право участвовать в сборке камского первенца. Уместить в кадр всех, да так, чтобы помимо богатыря новорожденного, занявшего добрую половину фотографии, можно было разобрать и лица, оказалось технически невыполнимо. Поэтому они снимались по очереди, группами, уступая друг другу место у грузовика, — строители, монтажники, автозаводцы.

В сущности, это была семейная фотография: большая рабочая семья и их коллективное детище, получившее при рождении славное имя «КамАЗ».

Происходило это 16 февраля нынешнего года, в день исторический для Камского комплекса, да, пожалуй, и всего советского автомобилестроения.

А несколько дней спустя, выступая в Москве с трибуны высшего партийного форума, первый секретарь Татарского обкома партии товарищ Фикрят Табеев сказал: с чувством большой радости докладываем XXV съезду, Центральному Комитету КПСС и Советскому правительству, что коллективы строителей и монтажников, автозаводцев, проектировщиков и конструкторов, участвующих в сооружении Камского комплекса заводов по производству большегрузных автомобилей, претворяя в жизнь решения XXIV съезда партии, одержали замечательную трудовую победу. Начал работать в наладочном режиме главный конвейер автомобильного комплекса, и с него 16 февраля этого года сошли первые автомобили с маркой «КамАЗ»...

1. ИНТЕРВЬЮ ЗА РУЛЕМ

Первый «КамАЗ» вывел с конвейера водитель-испытатель Валерий Перетолчин.

Этот момент был тоже запечатлен для истории. Валерий высунулся в окно кабины, вскинул левую руку, правая на руле, и улыбка...

— Хорош, а? — откровенно любуясь, сказал Наиль Галиуллин, заместитель секретаря парткома. — Красивый, как космонавт!

Сравнение неожиданное, но в чем-то и точное. Кандидатов в отряд космонавтов, надо думать, не отбирают по красоте. Но для нас все они без исключения красивы. Наверное, потому, что мы знакомимся с ними в звездный момент жизни, в момент свершения, наиболее полно раскрывающий красоту человеческого духа, и все это словно бы сфокусировано в их улыбках.

«КамАЗ», привязанный к дорожной ленте конструкторской мыслью и силой земного притяжения, и космический корабль, вырвавшийся из-под его власти и

виток за витком оплетающий планету,— это явления разномасштабные, а пространственно даже полярные. И все же Валерий Перетолчин, поворачивая ключ зажигания в первом, самом первом камском грузовике, материализовавшем в себе труд, волю и мечту 120 тысяч строителей автогиганта в Набережных Челнах, несомненно пережил свой звездный миг, и в улыбке его нам не случайно почувдился отблеск знаменитой улыбки Гагарина...

— Волновался, Валера? Сознавал, что входишь в историю?

Мы сидим рядом с Перетолчиным в просторной трехместной кабине «КамАЗа», но не того, с постамента, а обычного дорожного работника — бортового грузовика под номером «64-01». На спидометре 3500 километров, первые шаги «КамАЗа» по земле. Ход у грузовика мягкий, накатистый, и наши шариковые ручки скользят по блокноту в такт беседе легко, без спотыканий.

— Об истории, ясное дело, думал меньше всего. А вот волновался просто ужасно,— рассказывает Перетолчин, голубоглазый блондин в кудряшках, которому самую малость не хватило, чтобы стать открытово рыжим. Синяя куртка с эмблемой КамАЗа сидит на нем с небрежной элегантностью.— А с чего, казалось бы, волноваться? Сколько уже километров на колеса намотал, пока экспериментальные модели «КамАЗов» обкатывали! А тут всего делов — съехать с приемочной площадки и аккуратно вкатить машину на помост. Весь путь от силы десять метров, а запомнились метры эти на всю жизнь. Такое чувство я, пожалуй, испытал еще только раз: когда колонна «КамАЗов» на Красную площадь въезжала...

Это было главным пунктом социалистических обязательств камазовцев: собрать первые грузовики в процессе пуско-наладочных работ к открытию XXV съезда. Когда главный конвейер пришел в движение, решили отправить колонну серийных машин — основателей династии камских большегрузов в Москву. Представить съезду рапорт, так сказать, в натуральном выражении. На грузовике номер «000001» так и написали: «XXV съезду КПСС. Принимай, родина, первый «КамАЗ»!»

— В путь собрались девятнадцатого февраля под вечер,— вспоминает Перетолчин.— Старт пробегу был дан у здания генеральной дирекции КамАЗа, на главной нашей магистрали — проспекте имени Мусы Джалиля. Провожать колонну собрался чуть ли не весь город. Скомандовали: «По машина!» — а тут вдруг чудак какой-то подбегает, молодецкий совсем парнишка. «Умоляю,— говорит,— подождите хоть минутку. Понимаете, родители ко мне приехали, хочу им «КамАЗ» показать, чтоб видели, чем мы тут занимаемся. Уважьте стариков, издалека ехали...»

— Ну и как? Уважили?

— А куда деваться? — смеется Валера.— Парнишка больно симпатичный оказался, а родители у него и того лучше. Будет что рассказать, когда домой вернутся...

Путь «КамАЗам» предстоял не близкий: Набережные Челны — Казань — Горький — Владимир — Москва, итого 1300 километров. А тут еще февральские метели и всю дорогу то гололед, то слякоть. Но грузовики вели себя безупречно, шли ходко, со средней скоростью 70 километров. Через двое суток — Москва.

— В столице у нас есть родной дом — НАМИ: Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт,— продолжает рассказ Перетолчин.— Пока базовую модель «КамАЗа» доводили, не сосчитать, сколько раз сюда заворачивали. Поставили грузовики на прикол на институтскую стоянку, а в воскресенье с утра туалетом занялись. Надраили машины так, что в дверцы, как в зеркало, глядеться можно было. Как-никак первые смотрины в столице! В понедельник, в канун открытия съезда, поехали на Красную площадь. Москва нарядная, в праздничном убранстве, да и погода подгадала: солнце и тепло, хотя на улицах снег не стаял. Ну и у нас настроение соответствующее, весеннее. Идем, между прочим, исключительно красиво. Впереди патрульная «Волга» с мигалкой на

крыше зеленую улицу обеспечивает, а за ней в линию наши грузовички с включенными фарами. Светом мы колонну обозначали, и вообще вроде так торжественней. Прокатились с ветерком по Садовому кольцу, а на проспекте Калинина остановку сделали. Москвичи — народ бывалый, удивить их трудно, но «КамАЗов» Москва еще не видала. Окружили нас, расспрашивают, поздравляют. Ну а потом через центр прямо к Кремлю. Въехали на Красную площадь, развернулись и у Спасской башни выстроились. Принимай, родина, первые «КамАЗы»!.. — Валерий заново переживал торжественность тех мгновений. — Мой «КамАЗ», первенец наш, так в Москве и остался. Говорят, его на ВДНХ показывают. Теперь буду к нему на свидания ездить. Случится на выставку заглянуть, поклон передайте... — Перетолчин глянул на нас искоса раз, другой, словно прикидывая: стоит говорить, нет? — Мелочь это, конечно, плюнуть да забыть, но осадок неприятный от одного разговора остался... Имеется у меня в Москве знакомый, сильно информированный товарищ, из тех, что все про все и всегда знают. Так он мне заявил: «Эти грузовики, что вы в Москву привезли, здесь же, в Москве, и сделали, на ЗИЛе. Спецзаказ для наглядной агитации. Вам же в Челнах еще строиться и строиться, пока конвейер пойдет!» Я ему: «Ты что — больной?! Я же сам грузовик с конвейера брал, и не на ЗИЛе, а в Челнах». А он посмеивается: «Все правильно, Валера! Ты так и должен говорить. Я же понимаю». Понимает он!.. Сказал бы я, что он понимает, только вы блокноты закройте, это не для печати... Ну растолкуйте вы мне, откуда шептуны такие берутся?

В самом деле, откуда? Из обывательского болота. А само болото откуда? Наверное, и на этот вопрос можно ответить. Но что-то не хотелось ни думать, ни говорить про обывателей. Мы мчались на новой отличной машине, мощной и красивой, которая сама по себе лучший ответ обывателям. За окном кабины стремительно разворачивалась панорама нового отличного города, выросшего в степи, где всего несколько лет назад беспрепятственно гулял ветер.

Друзей у Валеры, похоже, вся дорога. Что ни машина во встречном потоке, в окно кабины непременно рукой помашут или улыбку вдогон пошлют.

Встречались нам и родичи — «КамАЗы», их уже несколько десятков по Челнам бегают. На шоссе они хоть и при исполнении обязанностей, с полной грузовой выкладкой, все равно на щеголей смахивают. И не только потому, что свежим лаком сверкают и расцветки веселой, весь спектр радуги — красный, желтый, голубой, оранжевый... Есть что-то щегольское, современное, модное в самом их облике, стремительном и точном силуэте.

А Валера между тем крутанул баранку и съехал с асфальта. Нам надо к генеральной дирекции, а «КамАЗ» хоть и любимое дитя челнинцев, но транспорт грузовой. Подъезд же с проспекта только для легковушек.

Стали пробираться задами, через покосившиеся избы-срубы старого города и сразу запрыгали по ухабам.

— Обратили внимание, какая амортизация? — ревниво спрашивает Перетолчин. — Это мы еще порожняком идем, а с грузом вообще кажется, что на воздушной подушке катишь. По сути дела, «КамАЗ» — вездеход.

И словно для иллюстрации Валера независимо въехал в глинистую топкую хлябь, по размерам заслуживающую быть нанесенной на географические карты. Мартовские вешние воды поработали здесь на славу, изукрасили ландшафт.

— Обратили внимание? Свободно проходим, — говорит Перетолчин не то чтобы хвастливо, но тоном человека, хорошо знающего меру вещей и согласного поделиться этим знанием с окружающими. — Я ведь «КамАЗ» погонял по полигонам, а там набор любых дорог — от бетонки до таких вот «грязевых ванн». Да что полигоны! Прежде чем на конвейер встать, наш большегруз побегал по белу свету — и по горам на Кавказе полазал, и в пески нырлял... Кстати, о песках. Ребята, когда вернулись из пробега по Средней Азии, рассказывали: чуть привал объявят, шоферы с других грузовиков врассыпную из кабин, одна мечта — до тени добраться. А наши, камазовские, наоборот, в кабине отсиживались. Теплоизо-

ляция жар с улицы не пускает, включил вентилятор и кейфуй! В стужу кабина тоже дом родной: отопление, теплой одежды не надо...

Перетолчин оглядел с любовью свой дом на колесах — что бы такое еще популярно разъяснить? — и оживился.

— А вы обратили внимание, на что камазовская кабина похожа? Не обратили? — Валера чуть расстроился. — А вот я однажды с летчиком ехал, тот сразу обратил: на пилотскую кабину. Смотрите сами: все средства управления под рукой, ноги только педалями заняты, так? На панели подсветка с регулятором, выбирай яркость по вкусу, так? Сиденье такое, что за рулем сидишь, как за обеденным столом. А главное, полно автоматике, всякие хитрые сигнализирующие устройства — «защита от дурака» называются. Возникла, допустим, аварийная ситуация, а ты зазевался — сейчас же получаешь доклад от приборов...

Перетолчин излагал все это до того увлеченно, что у нас появилось нездоровое желание попасть в небольшое дорожное происшествие, лучше бы с благополучным исходом.

— Любопытно, как все это происходит на практике? Нельзя показать?

— Аварию организовать? — хохотнул Валера. — Печать я уважаю, но ГАИ не меньше... Впрочем, ладно. Покажу вам одну штуку. Только вы наблюдайте внимательно. Вот я выкачиваю воздух из тормозной системы, так?.. На обычной машине, особенно если она с грузом, для шофера нет большей беды, чем когда тормоза отказали. А здесь... Вы наблюдайте, наблюдайте...

Честно говоря, особой наблюдательности от нас не потребовалось. Тревожно загудел зуммер — его не услышал бы разве что глухой, — вспыхнул красный глазок с римской цифрой «I» (первая колесная пара), и грузовик встал как вкопанный. Сработала система автоматической аварийной остановки.

— Вот так и живем, — сказал Перетолчин, довольный произведенным впечатлением. — С автоматикой дружим и не тужим...

Позднее, беседуя со многими другими автозаводцами — от рабочих конвейера до высших технических руководителей, — мы не раз убеждались, что увлеченность своим делом, самозабвенная преданность автогиганту на Каме, который еще весь в движении, в росте, но и сегодня поражает воображение, — черта истинно камазовская, нечто вроде основополагающей заповеди в фирменном кодексе чести.

Кстати, мы обратили внимание, что слово «камазовец» в Набережных Челнах чаще всего произносится не просто как обозначение места службы, а как некое почетное звание, право на которое надо заслужить. «Это камазовец», — говорят здесь, заменяя этим емким словом развернутую характеристику. «Оң еще не камазовец», — скажут о другом, и это тоже мнение, говорящее о многом. «Ему камазовцем не стать» — это уже приговор. Но выносится он, надо оговориться, не часто. Камазовцы по природе своей оптимисты, и вера в человека тоже в числе их заповедей.

Что же это такое — камазовец, и как им стать?

— Я не теоретик, — говорит Валерий Перетолчин. — Но если коротко, то камазовец — это, по-моему, человек, который не требует книги жалоб, когда встретится с трудностями, а подворачивает рукава на робе и их устраняет. И еще: покопаться в технике для него интереснее, чем многосерийку по телевизору посмотреть.

Как стать камазовцем? Для этого многое требуется. Но начать, я думаю, надо с того, чтобы купить билет и приехать сюда, на Каму. Я, во всяком случае, поступил именно так.

— А билет где покупал?

— В Железноводске. Вообще-то родом я сибиряк, из Якутска происхожу. Но жизнь по стране помотала. Как-никак пятнадцать лет за баранкой, а шофер, он что перекасти-поле. Службу армейскую тоже на колесах проходил. А потом женился, дети пошли, бросил якорь в Железноводске. Вроде бы все нормально: езжу на «скорой помощи», жизнь людям спасаю. Жена тоже человек в белом халате —

медсестра. А кругом, сами понимаете, город-курорт. Народ не просто ходит, а терренкуры совершает, в организованном порядке природой любуется и кружечками бодро зьякает — карминводы пьет. Пожил я так года два — и скучно что-то стало. А тут слово новое пошло по стране и к нам на курорт докатилось: КамАЗ, стройка века... «Как, Нинка, смотришь, — говорю я не очень даже серьезно, а больше для зондажа, — может, поедем?» А она совершенно спокойно отвечает: «Давай». Так вот и приехали на Каму. А курорт, куда он денется? На курорт мы в отпуск будем ездить. А пока, уважаемые товарищи пассажиры, наш рейс окончен. Вот она, генеральная дирекция. Спасибо за внимание!

2. ЛЮДИ И МАШИНЫ

Борис Трофимович Клепацкий занимает должность, которой нет ни на одном советском предприятии: он заместитель генерального директора КамАЗа по исследованиям и техническому развитию.

— Мы много думали о структуре управления таким гигантским промышленным комплексом, как КамАЗ, — говорит Борис Трофимович, распечатывая пачку сигарет. Курит он много, и курганчик пепла, подрастающий в пепельнице на его столе, хронометрирует ход нашей беседы с добросовестностью песочных часов. — Вопрос этот рассматривался на разных уровнях, в том числе на Президиуме Академии наук СССР — ходили на совет к ученым.

Клепацкий — высокий, поджарый, в безупречном костюме, рубашка в модную полоску и седая щеточка усов — сам походит скорее на ученого, чем на производственника. Но он производственник, и очень опытный: около тридцати лет работает в автомобилестроении, до КамАЗа долго был главным инженером Минского автозавода.

— Как это ни парадоксально на первый взгляд, чем крупнее предприятие, тем оно в потенции консервативнее. Огромные капитальные вложения, огромный машинный парк, масса в муках рождавшихся, но уже реализованных в металле технических идей — все это может породить подсознательное стремление возможно дольше сохранить производство в сложившемся виде. Чтобы преодолеть эту тенденцию в зародыше, и было решено создать на КамАЗе принципиально новый блок — исследований и технического развития.

Традиционным руководителем технической политики на предприятии является главный инженер. Но каждодневный груз неотложных дел, пресловутая текучка зачастую мешают ему думать о перспективе, о завтрашнем дне. На КамАЗе круг этих проблем строго разграничен. Служба главного инженера занимается текущими делами комплекса, решает, так сказать, тактические задачи, техническую же стратегию, перспективу определяет блок исследований и развития. Именно он еще на том этапе, когда КамАЗ существовал лишь в чертежах, заказывал для будущих заводов оборудование, которое не устареет и завтра. Курс этот неукоснительно выдерживается и ныне: своевременно, более того, чуть забегая вперед, внедрять в производство все самое передовое из практики мирового автомобилестроения, обеспечивать непрерывное динамичное наращивание технического потенциала КамАЗа. Для решения этих задач новому подразделению приданы управление главного конструктора с экспериментальным цехом и испытательным полигоном и лабораторно-исследовательский центр.

— Соединение в одном блоке двух этих направлений технического творчества — конструкторско-технологического и научно-исследовательского, на мой взгляд, представляет собой близкий к идеалу синтез науки и производства, — говорит Клепацкий. — Мы имеем возможность замыкать на себе всю цепочку, по которой движется техническая новинка, не позволяя ей стареть, — от идеи до ее реализации, всесторонней проверки и запуска в серию. Сейчас весь коллектив Камского комплекса нацелен на пуск его первой очереди, — продолжает Борис Трофимович. — Это задача номер один, решить которую надлежит до конца года.

Наш же блок уже сегодня вплотную занимается всем кругом проблем, связанных с выходом КамАЗа на полную мощность, разрабатывает долгосрочную перспективу его развития.

— Иными словами, вы футурологи от техники, люди, пытающиеся предвидеть завтрашний день технического прогресса?

— Благодарю за честь — вот уже и в провидцы попали, — улыбается наш собеседник. — Но если говорить серьезно, без предвидения в век НТР не обойтись. Технический износ оборудования не столь страшен, обветшалые узлы можно заменить. Хуже, если техника ветшает морально. Оборудованию, которое частью уже смонтировано и продолжает монтироваться на КамАЗе, это не грозит. Заложенные в нем технические решения столь прогрессивны, что позволяют гибко менять технологию, без реконструкции переходить на выпуск новых видов продукции. КамАЗ начинается с очень высокого уровня — выше в мире просто нет, — и снижать его мы не вправе. Это уже наша марка. Мы обеспечили себе очень важную фору — огромное ускорение во времени, поломав классическую схему развертывания автомобильного производства. Хрестоматийные каноны требовали, чтобы мы сначала создали объект производства. — Для наглядности Борис Трофимович поставил перед собой на попа зажигалку. — Затем на базе этого образца следовало начать проектирование заводов, выдать целую гору чертежей от эскизных до рабочих и прочую проектную документацию. Лишь завершив этот бумажный цикл, можно было приступить к строительству, а затем монтажу оборудования. Ввинтил последний болт — пожалуйста, пускай конвейер! Если бы речь шла о производстве зажигалок, эта схема сработала бы безупречно и мы наводнили бы рынок этими нехитрыми приборами для высекания огня на уровне мировых стандартов.

Клепацкий щелкнул одним из вышеназванных нехитрых приборов, высек огонь, прикурил и небрежно его отбросил.

— При строительстве же КамАЗа с его беспрецедентными по масштабам производствами — семь заводов, каждый крупнейший в отрасли! — верность традициям обернулась бы для нас драмой. С конвейера в будущем, причем изрядно отдаленном, сошел бы грузовик вчерашнего, а то и позавчерашнего дня. Нам же уже сегодня нужен завтрашний! И мы его получили, слив воедино процессы проектирования, строительства и выпуска продукции. Да еще красавец город рядом построили! Конечно же, подобный — без преувеличения — революционный подход к делу возможен лишь в условиях планового социалистического хозяйства. Здесь, на берегах Камы, была обеспечена гигантская концентрация людских и материальных средств, мощной строительной техники. Если не бояться высоких слов, в этом одно из наглядных проявлений реализации программной установки партии: соединение преимуществ социализма с достижениями научно-технического прогресса. Результат налицо: строительство продолжается полным ходом, для Минавтопрома мы еще несданный объект, а грузовик — на конвейере. И какой — мечта поэта, если, конечно, допустить, что поэты хоть что-то смыслят в грузовом автомобилестроении!

Борис Трофимович пересекает по диагонали кабинет, высланный голубым ковролитом — это фирменный цвет камазовских офисов, — и достает коробку с большими, отпечатанными в красках фотографиями. Первый сверху — ярко-красный «КамАЗ».

Как это всегда бывает, цветная фотография выглядит чуть более празднично, чем жизнь, которую она отражает. Но и сквозь лакировочный глянец уверенно проступает точный, без единой лишней линии абрис камского большегруза, где все функционально обусловлено, подчинено цели: сила, скорость, высокая проходимость.

— Я бы начал с последнего, — говорит Клепацкий. — Именно в нем главное достоинство нашего грузовика. КамАЗ — это целое автомобильное семейство: бортовые машины, самосвалы, тягачи грузоподъемностью от восьми до двадцати тонн в составе автопоезда. Но в любом варианте нагрузка на каждую из трех осей

грузовика не превышает шести тонн, что делает его пригодным для эксплуатации на всей сети дорог.

Для сравнения Борис Трофимович сообщает, что двухосный «МАЗ» имеет нагрузку на ось 10 тонн, с той же силой давит на дорогу трехосный «КРАЗ».

Мощность установленного на «КамАЗе» дизеля от 210 до 260 лошадиных сил — на уровне мировых требований. Возвышающаяся над кабиной трубка воздухозабора обеспечивает приток к двигателю воздуха из «верхних слоев атмосферы», где он почище. Десятискоростная коробка передач дает возможность двигаться в режиме, оптимально отвечающем рельефу местности. Скорость, предусмотренная техническими условиями, — 85 километров в час. Машина маневренная, развернуться может практически на пятачке.

— Таков грузовик, который мы поставили на конвейер, — резюмирует Клепацкий. — Машина хороша, тут двух мнений быть не может. Я объездил автомобильные центры всего мира, перебивал во множестве автомобильных салонов и с полной ответственностью заявляю: «КамАЗ» конкуренции не боится. Но сейчас для машины начинается новая жизнь: она встала на конвейер и должна в серии сохранить свой высокий класс. Процесс, который ныне происходит, мы называем отехнологичиванием конструкции. Машина должна быть не просто хорошей, но еще и удобной в сборке, причем не вручную, а в автоматическом режиме. Отработка сборки для завода сегодня, пожалуй, самое важное. Наш главный конвейер пока только разминает мускулы, и это позволяет на ходу отлаживать сборку.

— А какой будет конечная мощность Камского комплекса?

— Первая очередь — семьдесят тысяч большегрузных автомобилей в год, с выводом комплекса на полную мощность — сто пятьдесят тысяч. Можете взять на заметку такую справку: фирма Форда выпускает в год сто тысяч грузовиков, «Дженерал моторс» — шестьдесят четыре тысячи, «Даймлер-бенц» — пятьдесят пять тысяч. И если угодно, еще один подсчет: грузоподъемность годового выпуска автомобилей «КамАЗ» в составе поездов соответствует примерно половине суммарной грузоподъемности всех машин, работающих с прицепами, которые были выпущены в СССР в прошлом году. Ну как, впечатляет?

— Впечатляет! — вполне искренне признались мы и задали заместителю генерального директора вопрос, с которым уже обращались к Валерию Перетолчину: — Борис Трофимович, как бы вы определили, что такое настоящий камазовец?

— Вот это вопрос! Да на эту тему диссертацию можно защищать, и, уверен, со временем будут. Социально-нравственный портрет камазовца — тут, знаете, есть что исследовать!..

Клепацкий вышел из-за стола и стал крупными шагами мерить комнату.

— Давайте расчленим проблему, она слишком объемна. Попытаемся для начала представить себе, что такое КамАЗ. Некоторой информацией о его масштабах вы уже располагаете. Это важно, но это не главное. Уникальность Камского комплекса не только в том, что это самое крупное, с наибольшей степенью концентрации производство грузовых автомобилей. Еще более важно, что здесь, на Каме, собрано самое современное оборудование из всего, что знает, а во многих случаях еще даже не знает мировое автомобилестроение. К примеру, нигде в мире нет такой технологии производства лонжеронов, основной несущей части автомобиля, как у нас. Рама, имеющая сто шестьдесят восемь отверстий для выполнения монтажных операций, целиком изготавливается в автоматическом режиме, человеческая рука к ней ни разу не прикасается. Или, скажем, автоматическая линия, штампующая деталь такой сложной конфигурации, как коленчатый вал: оператор только нажимает кнопку, все остальное выполняют машины. И схема эта типична для нашего комплекса, где в общей сложности будет смонтировано около четырехсот автоматических линий. — Клепацкий посмотрел на нас с некоторым сомнением и спросил: — Как, вы в состоянии еще воспринимать технические проблемы или возможности усвоения информации исчерпаны? Только честно? Ладно, сами на возмолог вызвали, теперь терпите... Еще один чрезвычайно важный момент: автоматическая транспортировка, загрузка и выгрузка деталей.

Когда-то знаменитый Тейлор, тот, что НОТ в капиталистическое производство внедрить пытался, заявил: технический прогресс — на острие резца. Сегодня этот афоризм устарел. Резать металл мы научились виртуозно. В наши дни одно из магистральных направлений технического прогресса проходит через организацию транспортных коммуникаций, причем на малые расстояния. Да, да, на малые. Экономить время и силы на больших расстояниях мы научились, а вот на малых часто проигрываем почти все, что заработали на больших. Сколько времени вы потратили, чтобы долететь от Москвы до Набережных Челнов? Час сорок. А потом около часа ушло только на то, чтобы дождаться тележки с багажом! Вот как безжалостно грабят нас малые расстояния! И вы согласны это терпеть?

Это прозвучало укором, но мы только плечами пожали. В аэропортах действительно черт знает сколько ждешь свои чемоданы, и добраться до центра, скажем, из Домодедова — тоже немалая потеря времени.

— Так вот, — с торжеством сказал Борис Трофимович. — На КамАЗе мы этого грабителя с малой дороги обуздали. Гибкий транспорт, манипуляторы, автоматические загрузчики в считанные секунды доставят все что нужно и туда, куда нужно. Люди переносной тяжести на КамАЗе не занимаются. У нас вообще нет неквалифицированного труда. А деление труда на физический и умственный во многих случаях стало чистой условностью. А теперь давайте подводить итоги. Что такое КамАЗ? Это масштабы, это не виданная никогда прежде степень насыщенности техникой и ее высочайший уровень. Это очень напряженный производственный ритм, это, наконец, качественные изменения в самой природе труда рабочего. Машины в огромной степени облегчили труд людей, приняли на своя надежные плечи все самое тяжелое, утомительное, неблагодарное. Это прекрасно! Но как чувствует себя человек, столь плотно окруженный техникой, причем такой, с которой ни он, ни кто другой никогда раньше не сталкивался? Это новая и исключительно важная проблема — психологическая совместимость человека и почти разумной машины, вернее целой системы таких машин. Вот вы поминали футурологов. То, о чем я говорил, еще недавно волновало лишь писателей-фантастов. Ученые в этом плане оказались менее эмоциональными, а жаль: их рекомендации нам оченьгодились бы. Но ждать их у нас просто не было времени. Для КамАЗа все это уже не будущее, а проблема сегодняшнего дня, и если бы мы не начали к ней готовиться вчера, она застала бы нас врасплох.

Начиная с семидесятого года, когда строительство КамАЗа еще только разворачивалось, мы начали готовить кадры для него. Главное требование, которое предъявлялось к будущему рабочему будущего завода, — учиться, учиться и учиться. С общеобразовательной подготовкой дело обстоит в целом неплохо. Средний образовательный индекс камазовцев самый высокий в отрасли — десять и двадцать семь сотых. Сложнее организовать производственное обучение, потому что со многими видами нашего оборудования познакомиться было практически негде: оно уникально. Поэтому приходилось изучать фрагменты технических систем как части мозаики, которые в состыкованном виде предстояло увидеть лишь позднее в стенах родного завода. Наши учебные базы мы организовали в Москве на ЗИЛе, в Минске, Ярославле, Горьком, Казани и прежде всего, конечно, на Волжском автомобильном заводе в Тольятти — предприятию с очень высоким уровнем технической культуры. Многие работники завода, в том числе рабочие, стажировались за границей. Незаменимой школой для большинства камазовцев стало участие в монтаже оборудования непосредственно в Набережных Челнах. Когда ты собственными руками собираешь самую сложную автоматическую линию, заглядываешь в ее электронные внутренности, это психологически раскрепощает, снимает с техники некий мистический ореол. И наконец, продолжение учебы — я не хочу говорить о завершении, потому что завершить этот процесс нельзя. — происходит уже на самом рабочем месте в процессе производства. Итак, вы спрашиваете, что такое камазовец? Отвечаю: это человек, который работает в мире сложных и умных машин и чувствует себя их хозяином. В известном смысле камазовец — модель рабочего завтрашнего дня для всей советской индустрии.

— Борис Трофимович, вы не только один из руководителей КамАЗа, но и инженер. Что ощущаете вы как профессионал-автомобилестроитель, работая на таком предприятии?

— Я счастлив, — просто ответил Клепацкий. — Многие поколения советских автостроителей мечтали о предприятии такого класса, как КамАЗ, мечтали с того самого дня, когда пятьдесят два года назад по Красной площади прошли десять первых советских грузовиков марки «АМО». Камский автогигант был бы невозможен без огромного опыта, накопленного советским автомобилестроением, и прежде всего бесценного опыта ЗИЛа, о котором Леонид Ильич Брежнев так хорошо и верно сказал: весь его путь достоин описания в хрестоматиях по истории отечественной промышленности. Мы ценим опыт наших старших собратьев, уважаем традиции, заложенные ими, и полны решимости достойно их развивать. Работать на КамАЗе — это честь, это ответственность, это счастье.

3. ЧУЖОГО БРАКА НЕ БЫВАЕТ

Николай Иванович Федченко растолковывал нам, как будет действовать автоматизированная система контроля за работой главного конвейера, и для наглядности, с учетом недостаточной профессиональной подготовленности слушателей иллюстрировал лекцию чертежом, который быстро и уверенно создавал тут же по ходу рассказа:

— Вот здесь наверху, над конвейером, будет склад гребенчатого типа с набором различных рам. Нужную модификацию выберет и подаст на сборку компьютер. Здесь мы поставим светящееся табло с выходными данными. Справа будет первый контрольный пункт...

Чертеж, судя по всему, был очень точным и подробным, но ориентироваться в нем оказалось непросто. Дело в том, что чертежной доской для Федченко служил кирпичный настил автосборочного цеха, а вместо мела он использовал носок ботинка, не оставлявший на полу ни малейшего следа.

— Вот здесь, здесь и здесь стоят компьютеры-регистраторы. Ясно?

Может, и не вполне. Но слушать увлеченного человека всегда интересно, и мы внимательно следили за скорописью ботинка...

Служба Федченко на КамАЗе — одна из ключевых. Он начальник управления организации производства. Когда мы попросили Николая Ивановича рассказать о его любимом детище — АСУ (внедряемой на Камском комплексе уникальной автоматизированной системе управления), он сказал:

— Конечно, мы можем запереться в кабинете, и я вам прочту вполне научную лекцию. Но имеется встречное предложение. Сегодня мы проводим на автосборочном совещание по проблемам оперативного учета и регулирования производства. Могу вас прихватить. Сидите, слушайте, вникайте в проблему. А вопросы потом.

Приехали мы минут за пятнадцать до срока, и Федченко повел нас смотреть главный сборочный конвейер. Протяженность его такова, что на ленте конвейера мог бы разогнаться и взлетать самолет средней мощности. Но вместо него с конвейера неторопливо сползает грузовик. В будущем это будет происходить через каждые 3,2 минуты — хоть часы проверяй. Сейчас ритм иной, пуско-наладочный. Собственно, сам главный конвейер мог бы хоть сегодня расправить плечи, рвануть и выдать полную мощность. Но для этого необходимо поточное бесперебойное поступление всех узлов и деталей, а их автомобиль и двигатель имеют ни много ни мало 4898! Производственные же мощности на КамАЗе, как мы уже знаем, вступают в строй поэтапно, строго по графику.

Мы для себя решили, что непременно вернемся на завод ко времени, когда конвейеру уже не придется вдруг с разбегу делать вынужденную паузу и он работает мощно и ровно, в полном соответствии с заложенными в нем богатырскими возможностями. Но и сегодня это впечатляет: длинная лента, с одного

конца которой под табличкой «1-я позиция» на тележки устанавливается рама, а с противоположного — «70-я позиция» — своим ходом съезжает грузовик.

По всей длине конвейера, продвигаясь в такт его неспешному движению — четыре метра в секунду, — хлопчут сборщики. Они сосредоточены, подтянуты и — в который уже раз хочется употребить это слово! — элегантны. Таков стиль КамАЗа, еще только складывающийся, но заявляющий о себе на редкость уверенно.

Наглядно проявился он и в спецодежде, созданной заводскими дизайнерами: комбинезон из голубой джинсовой ткани, такая же куртка, шапочка с длинным козырьком, вроде жонейской, и широкий пояс с пряжкой, на которой выдвинуто пять букв: «КамАЗ».

«Главный конструктор» этих доспехов, он же главный архитектор комплекса Геннадий Сысоев, очевидная молодость которого легко проглядывается сквозь окладистую бороду, рассказывал нам, что спецодежда камазовских сборщиков поразила воображение местных щеголей. На танцах и прочих культурных мероприятиях уже не раз появлялись независимого вида молодые люди в костюмах, довольно точно повторяющих рабочую форму ребят с главного конвейера. Даже с накладками на коленях и локтях, в местах, наиболее подверженных стиранию.

Что ж, наверное, это совсем не плохо, если тон нашей молодежной моде будет задавать сборщик с КамАЗа, оттеснив техасского ковбоя.

Пятнадцать минут прошло, пора было отправляться на совещание. В заводской конторе — алюминий, стекло, голубой ковролит — собрались представители двух «высоких договаривающихся сторон»: люди из службы Федченко, в местном просторечье «разработчики», и производственники, которым предстоит сотрудничать с автоматизированной системой. Докладывать приготовился Гриша Рысин, парнишка совсем еще молодой, но при должности, звучащей куда как внушительно: начальник бюро программирования управления организации производства, сокращенно — УОП. Короткая, но насыщенная трудовая биография Гриши типична для камазовских специалистов, людей в подавляющем большинстве молодых, способных и энергично растущих.

Еще будучи студентом мехмата МГУ, Рысин проходил практику на КамАЗе и с тех пор заболел им. Федченко он тоже приглянулся, и тот при распределении пригласил Гришу в свою команду. Пригласил одного, а приехали сразу два программиста, поскольку Рысин привез в Челны свою бывшую соперницу, а ныне супругу. Диплом Московского университета на КамАЗе уважают, но Грише пришлось пройти и университеты автомобильные: год стажировался на ЗИЛе, съездил на ВАЗ в Тольятти, а уж потом на самом Камском комплексе прямо-таки марш-броском проделал путь от рядового программиста до начальника бюро.

Теперь можно с уверенностью утверждать, что Гриша знает все, что положено знать разработчику, а это люди из породы энциклопедистов. Круг их профессиональных интересов практически безбрежен. Математика и кибернетика для разработчика — это даже меньше чем прожиточный минимум. Бухгалтерское дело и принципы планирования он должен знать почти так же хорошо, как планирование, технологию — как технолог, а в многотрудных проблемах снабжения разбираться на уровне снабженца.

— Наш кадр, — говорит Николай Иванович про Рысина, а в его устах это высшая похвала. — За разработчика, прошедшего школу КамАЗа, любой НИИ драться будет. Да только кто отдаст!

Все уселись за длинный полированный стол. Гриша развесил на стенке диаграммы, взял указку и без всяких предисловий — малый опыт или тоже стиль КамАЗа? — объявил:

— Предлагается следующий уровень учета производства...

Поначалу мы опасались, что это будут первые и последние слова, доступные нашему гуманитарному восприятию. Но посидели, послушали и стали понемногу вникать. Конечно, постигнуть технические тонкости проблемы отнюдь не просто, но нам этого и не требовалось, на то имеются специалисты. Куда интереснее другое — попытаться постигнуть психологию современных организаторов

производства. И в этом смысле участие в оперативке, пусть в статусе наблюдателей, оказалось для нас весьма полезным.

Речь на совещании шла о том, как с помощью мощного парка электронно-вычислительной техники, составной части будущей единой автоматизированной системы управления Камским комплексом, организовать оперативное управление производством. Основа этого — учет, учет и еще раз учет в том высоком смысле, который вкладывал в это слово Ленин, не устававший повторять, что социализм — это учет.

Споры о технических деталях было немало. Но все сошлись в мнении, что учет производства должен иметь непосредственный выход на заработную плату. Во-первых, тогда при ее начислении не потребуется производить дополнительный перерасчет (заметим, к слову, что зарплату всему коллективу комплекса выписывают машины, это тоже сфера забот УОП). Главное же, такая система дисциплинирует.

Но пик эмоций пришелся на обсуждение вопроса об учете брака. И тут мы услышали фразу, которая нам так понравилась, что мы решили вынести ее в название этой главы: «Чужого брака не бывает».

Собственно, это была сугубо рабочая формула, определяющая, где, в каком звене технологической цепочки следует регистрировать брак. Принципиальная схема такова. Если брак свой, он исправляется здесь же, в цехе. Если же установлено, что брак допущен где-то на предшествующей стадии, негодная деталь по закону бумеранга возвращается в цех-виновник. Теперь этот брак тоже свой, и те, кто его допустил, несут за него полную ответственность. Это и означает, что чужого, а иными словами. «ничейного» брака не бывает. Брак всегда свой, и будьте любезны держать за него ответ!

— Компьютер не только обеспечивает строжайший учет брака, — пояснил нам позднее Федченко, — но и анализирует его статистику, докапывается, на какое технологическое звено приходится наибольший удельный вес брака, и бьет тревогу. На некоторых участках компьютер работает в «сотрудничестве» с людьми из ОТК, а в ряде случаев осуществляет контроль целиком своими силами — устанавливает по коду на перфоленте, кто виновник брака, и указывает на него своим «электронным пальцем».

Да, формула «чужого брака не бывает» — рабочая, все из того же арго разработчиков, но за ней новый уровень технической культуры, если хотите, новая производственная этика. Следить за тем, чтобы эта этика не нарушалась, будут машины, но непримиримости к бракоделам их обучают люди.

На совещании очень долго обсуждался вопрос, что делать с бракованной деталью, если она находится внутри узла, а он не «разузловывается».

— Ладно, — раздавались голоса, — чего сейчас голову ломать! Понадобится — раскрутим в системе.

Но этот довод не проходил. Надо предусмотреть все именно сейчас, пока система не «задействована».

— А какова вероятность такого случая? — поинтересовались мы уже после оперативки.

— Близкая к нулю, — ответили нам. — Процент возможного брака на хо-рошем предприятии не превышает трех десятых. Дефект же в узле, который не разузловывается, в общей статистике брака, наверное, составляет не более десяти тысячной процента.

— И все же...

— И все же мы должны принимать в расчет и этот крайне маловероятный случай.

Мы попытались представить себе, сколько же это составляет — одна десяти-тысячная от трех десятых. Сколько бы там ни было, но это тоже мера измерения. И мера ответственности.

И еще один аспект дискуссии, показавшийся нам примечательным. В спорных случаях кто-нибудь непременно спрашивал: «А на ВАЗе как это решают?»

Опыт, опробованный ВАЗом, предприятием, где на сегодня достигнут самый высокий в отрасли уровень технической культуры и организации производства, все равно что знак качества. Но завод в Тольятти вступил в строй несколько лет назад, КамАЗ еще только вступает. Вобрав опыт волжан, многому у них научившись, он может и должен пойти дальше. В чем-то уже пошел. Техника здесь, на Каме, еще современнее, еще производительнее, АСУ будет классом выше. Но психологически это иной раз довлеет: «До ВАЗа еще расти и расти. Зачем суетиться, забегать вперед?» Скажем, пооперационный учет, о котором говорилось на совещании. На ВАЗе его не применяют, а разработчики с КамАЗа систему эту уже создали, теперь надо ее опробовать и внедрять. И опять отдельные головы с мест: «А надо ли? Не рано ли? В Тольятти-то без него обходятся...»

— С постоянной оглядкой на ВАЗ, если она догматична, может получиться то, что произошло с неким незадачливым шахматистом,— сказал нам один из камских инженеров.— Я этот рассказ по «Доброму утру» как-то слушал. Тот шахматист не мудрствуя лукаво заучил наизусть партию, сыгранную Карповым, и стал добросовестно повторять ходы чемпиона мира. А его протак-соперник взял да и сыграл по-своему. Чем закончилась партия, нетрудно догадаться... ВАЗ, конечно, гроссмейстер советского автомобилестроения. Но в технике, так же как в шахматах, нельзя повторять одни и те же ходы без учета изменяющихся условий.

Вот такая занятая автомобильно-шахматная притча!..

Оперативка закончилась поздно, и мы с Николаем Ивановичем договорились встретиться на следующий день.

— Приходите лучше всего прямо к восьми утра,— сказал Федченко.— Пообщаемся, пока дела не навалились.

Надо заметить, что рабочий день в генеральной дирекции начинается в девять. Но когда в 7.55 мы поднялись на второй этаж, где размещается кабинет Федченко, в коридоре оказалось полно народу. Кто звенел ключами у дверей, кто на ходу обменивался последними новостями, кто тут же в коридоре решал с коллегой недорешенный накануне вопрос. и все без исключения — это бросалось в глаза и поначалу даже немного удивляло — были оживлены, если не сказать просто веселы.

В длинных коридорах камазовского штаба мы бывали не раз и прежде, но так рано впервые. И это неожиданно помогло нам понять нечто простое и важное. Мы поняли, что всех этих людей, по доброй воле явившихся на службу на час раньше графика, ждет впереди нелегкий, но очень интересный рабочий день и они уже сейчас предвкушают это — радость занятия любимым делом. Тех, кому незнакомо это чувство, наверное, стоит пожалеть...

— Вы знаете, что это за штука? — спросил Николай Иванович, возившийся с предметом, который представлял собой некую помесь телевизора и пишущей машинки.

И тут мы — не хотим хвастать, но правда истории, она дороже — оказались на высоте.

— А как же, — сказали мы независимо, — это дисплей.

С дисплеями мы действительно отчасти знакомы, поскольку они внедряются в практику работы информационных агентств. Но дальше шапочного знакомство это пока не пошло.

— Вот и отлично, — сказал Федченко, на которого наша техническая эрудиция особого впечатления не произвела.— Помогайте. Будем отлаживать таблицы.

Он нажал на клавишу, и на экране вспыхнула зеленая строчка: «Наберите код».

— Набирайте, — предложил Николай Иванович и показал, куда надо ткнуть пальцем.

Клавиша мягко утопилась, и тут вдруг по экрану разбежалось что-то совершенно несусветное:

ТКБ; ЦЯХ + РЩ
У., ЗВ : ЮАГ = Д

Вот это код, дай бог Штирлицу справиться! Но как выяснилось чуть позднее, на знаменитого разведчика мы полагались напрасно. Он бы тоже стал в тупик. Просто мы не в ту клавишу ткнули.

В дальнейшем Федченко отлаживал таблицы уже без нашего технического содействия, и они вспыхивали на экране одна за другой.

«КамАЗ

Отчет о состоянии номерного учета на 25.04.76

п/п Код	Номер	Дата	Где
автомобиля	автомобиля	закладки	находится»

И в каждой графе колонка цифр и прочие необходимые сведения.

«КамАЗ

Аналитический отчет о состоянии сборочного производства на 25.04.76

Код	Заложено	Сдано в сбыт»
автомобиля	план — факт	

И снова колонки цифр...

— Раньше информация как собиралась? — Николай Иванович выключил дисплей. — Звонит, допустим, зам генерального на автомобильный и спрашивает: «Как у вас с дефицитом?» На заводе отвечают: «Сейчас справимся». Кустарщина... А запросно-ответная система, которую мы сейчас отлаживаем, по первому требованию предоставит в распоряжение руководства оперативную информацию о положении дел на любом производственном участке. Для этого достаточно простого нажатия клавиши. Сам же дисплей получает все эти сведения из интегрированного банка данных. Запросно-ответная система будет работать уже в мае, а в июне мы думаем пустить первую очередь АСУ. Мы всемерно форсируем создание АСУ и вводим ее в строй, как и все производства КамАЗа, поэтапно. Такое гигантское, густо начиненное техникой предприятие, как Камский автомобильный комплекс, обходиться без автоматизированной системы управления не может. КамАЗ без АСУ — это все равно что суперсовременный атомоход, который вынужден отправиться в плавание под парусами. Основная задача, которую решает АСУ, — синхронизация работ всех подразделений, питающих сборочное производство. Главный конвейер у нас — как метроном, по которому выверяют ритм все технологические звенья. АСУ КамАЗа поистине универсальна. Она будет не только собирать, передавать и анализировать информацию о ходе производства, но и вырабатывать на основе полученных данных управляющие воздействия, проще говоря — подавать необходимые команды всем технологическим службам. В распоряжение АСУ передана целая армия электронно-вычислительных машин с четким разделением обязанностей и со своей машинной субординацией — от головной ЭВМ до мини-компьютеров. Перечислить, что делают эти работяги, крайне сложно, проще, наверное, было бы назвать, чего они не делают. Я чувствую, у вас вертится на языке вопрос: а что же тогда остается делать руководителям людям? Именно это и делать: руководить. АСУ ни в коей мере не подменяет командиров производства, а лишь всемерно облегчает их работу. Можно, наверное, сказать, что компьютер — это высококвалифицированный технический консультант. Но решающее слово, право выбора — за человеком...

— Последний вопрос, Николай Иванович. Кто, по-вашему, истинный камазовец, а кто нет?

— Можно, я отвечу примером? Вот вы сидели вчера на нашей оперативке, слушали дискуссию. Кто мыслит творчески, пусть ошибается, но ищет, пытается взглянуть в завтрашний день и приблизить его — это камазовец. А кто бунит: «Нам еще до ВАЗа дорасти надо, чего вперед забежать?» — тот не камазовец. И вазовцем он, между прочим, тоже не стал бы. В Тольятти-то как раз народ творческий собрался. Без этого такую отличную машину, как «Жигули», не сделаешь.

4. ГЕНРИ ФОРД И САША ГРЕБЕНЩИКОВ

Отправляясь в Набережные Челны, мы прихватили с собой любопытную книжку: Генри Форд, «Моя жизнь, мои достижения». Издание 1924 года, можно сказать, раритет. Никакого утилитарного значения запискам создателя первого конвейера и основателя гигантской автомобильной империи мы, естественно, не придавали. О Форде и фордизме, было время, много писали и копыя ломали, но страсти давно улеглись, история с этим делом разобралась и возвращаться к нему нет никакой надобности. Так что житие старика Форда было для нас просто занимательным чтением в немногие свободные челнинские вечера, не более того.

И все же хотелось бы здесь привести несколько строк, принадлежащих перу Генри Форда-старшего. Они хоть и напечатаны на истлевшей до хрусткой ломкости бумаге, но звучат актуально, в полной мере отвечают характеру современно-го капиталистического производства. «Чтобы работать рука об руку, нет надобности любить друг друга. Слишком близкое товарищество может быть даже злом, если оно приводит к тому, что один старается покрывать ошибки другого. Это вредно для обеих сторон», — утверждает Форд.

Несколько цинично (современных апологетов капитализма, в совершенстве овладевших искусством социальной демагогии, такая «простота» слога наверняка покоробит), зато предельно ясно. Идеал отношений между людьми, работающими рука об руку, — соперничество, но только, упаси бог, не «слишком близкое товарищество», то бишь классовая солидарность.

Саша Гребенщиков с ремонтно-инструментального завода едва ли читал Форда и вступать с ним в полемику не собирался. Но движение, которое начал он со своей комсомольско-молодежной бригадой, — прямой ответ Форду и его единомышленникам, претворенное в практические дела наше, социалистическое понимание взаимоотношений в трудовом коллективе. «Трудовую и общественную дисциплину — под коллективную ответственность», — решили Гребенщиков и его друзья. По существу, это уговор о круговой поруке людей, работающих рука об руку, но цель ее не покрывать ошибки друг друга, а сообща добиваться, чтобы их не было вовсе.

Надо сказать, что на нынешнем этапе развития КамАЗа, когда его рабочий коллектив еще только складывается, человеческие отношения выковываются в процессе труда, коллективная ответственность за все, что сделано любым членом бригады, имеет огромное воспитательное значение. Проявилось это весьма наглядно.

Поначалу вроде бы все в бригаде Гребенщикова обстояло благополучно: работа спорилась, никаких ЧП. Но вдруг кто-то из новичков совершил прогул, и всей бригаде срезали премию. Коллективная ответственность — это ведь не просто красивое слово. В групповом обязательстве, которое подписала бригада, черным по белому записано: в случае нарушения трудовой и общественной дисциплины со стороны любого члена коллектива материальную и моральную ответственность несут все. Кое-кому такая возможность, наверное, представлялась чисто умозрительной, а тут суровая проза жизни — осязательный удар по карману. И дроннул сначала один, потом другой — не объясняя причин, попросились в другую бригаду. Их не задерживали. Наверное, это был тяжелый, но неизбежный процесс выбраковки человеческого материала, из которого слагается коллектив. Те двое ушли, а бригада осталась. Более того, именно с этого момента она стала Коллективом.

На апрель этого года (на КамАЗе все движется, растет столь динамично, что ссылка на календарь не помешает) по примеру Саши Гребенщикова и его товарищей договоры о коллективной ответственности подписали еще 134 бригады, а это означает, что более трех тысяч человек связали себя круговой рабочей порукой! Любопытно, что сказал бы об этом Генри Форд-старший? Мы же продолжим беседу о проблемах формирования трудового коллектива Камского комплекса с

начальником отдела социологических исследований Нариманом Садриевичем Фатхулиным.

Но сначала два слова о нашем собеседнике. Он выпускник философского факультета Московского университета, потом была аспирантура в Казани, диссертация с мудреным названием «Социальное единство как ступень развития субъективного фактора», работа на кафедре. И вдруг крутой зигзаг в жизни, где все было ясно, четко, с долгосрочной перспективой, — отъезд на КамАЗ.

Мы смотрим на резиновые сапоги Фатхулина, не очень-то гармонирующие с его академичным костюмом и модным галстуком.

— Грязно еще у нас на подступах к заводам: строительство продолжается, а весна делает свое дело, — говорит Нариман Садриевич, перехватив наш взгляд.

— Как вы, философ-теоретик, попали на КамАЗ?

— Ну знаете, грош цена теории, если она сквозь горнило практики не прошла, — отшучивается Фатхулин. — А в принципе в Челны я прибыл как раз по следам диссертации. Во второй главе у меня степень возможностей коллектива анализировалась. Вот я и решил на практике увидеть, каковы они, эти возможности. Объекта более благодарного, чем КамАЗ, в этом плане нет. Ведь автогигант на Каме — это не только уникальный технический эксперимент, но и переплетение чрезвычайно глубоких и интересных социальных процессов. Главное направление работы нашего отдела — комплексное определение меры надежности и управляемости человеческого фактора в системе крупного современного производства. Звучит это довольно академично, но тема, поверьте, самая что ни на есть жизненная. По существу, это одна из важнейших проблем нашего времени. Нынешняя пятилетка — пятилетка эффективности и качества, но ведь главный резерв повышения эффективности производства — это как раз человеческий фактор, поиск путей оптимального раскрытия возможностей человека, совершенствование отношений, которые складываются между людьми в процессе труда.

Нариман Садриевич говорит с большой внутренней убежденностью. Чувствуется, что мысли, которые он высказывает, многократно обдумывались, выверялись, быть может, еще на том этапе, когда зрело решение об уходе из «чистой» науки в самую гущу производства...

— Наш отдел не научное учреждение, — продолжает Фатхулин, — хотя большинство его сотрудников пришло на КамАЗ из научных центров. Мы функциональная служба гигантского промышленного предприятия, и эффективность нашей работы будет определяться не количеством выходящих из отдела диссертаций — кстати, у нас есть негласная договоренность: о диссертациях на обозримое будущее забыть, — а тем вкладом, который мы, социологи, внесем в формирование и стабилизацию коллектива Камского комплекса. Для КамАЗа на данном этапе это вопрос вопросов.

И Фатхулин объясняет почему. Нарращивание коллектива осуществляется небывальными темпами. Как сплотить воедино эту огромную, пеструю, съезжающуюся со всех концов страны людскую массу, сделать ее коллективом единомышленников, способным решать задачи, которых мировое автомобилестроение еще не знало? Этой цели подчинены усилия администрации, партийной, профсоюзной и комсомольской организаций комплекса. И все они ждут от социологической службы конкретных рекомендаций.

Что сделано? Фатхулин перечисляет. Прежде всего проведено комплексное исследование причин, влияющих на текучесть кадров, а она все еще тревожно велика. Есть бесстрастные цифры, в которых все отражено, разложено по полочкам. 53 процента уволившихся — самая большая группа — мотивировали причину отъезда семейными обстоятельствами. 16,4 процента порвали с КамАЗом потому, что не получили жилья в сроки, на которые они рассчитывали. Есть и другие причины — нехватка детских учреждений, недовольство заработной платой и т. д. Но это статистика, которая, как давно установлено, знает все. А за ней, за каждой цифрой, за каждой долей процента — человеческая судьба, чье-то разочарование, быть может, жизненная драма.

— Мы убеждены, что в большинстве случаев люди, покидающие КамАЗ, совершают ошибку, — говорит Нариман Садриевич. — А ведь жизнь не имеет черновика, переписать ее заново нам не дано. Главное, что необходимо сделать, чтобы предотвратить человеческие ошибки, — повысить информированность людей о КамАЗе, вооружить их точным знанием перспектив развития комплекса и города, не скрывать трудностей, которые неизбежны при осуществлении столь грандиозного проекта, но объяснять их временный характер. Некоторые анкеты свидетельствуют, что люди, ехавшие на Каму, рассчитывали встретить на ее берегах райские кущи, причем в период плодоношения. Это тоже недоработка по части информации, значит, где-то кем-то допущен опасный крен в сторону лакировки действительности... В общем, анкеты дали достаточно пищи для размышлений, а их плоды отражены в наших рекомендациях. Огромное значение для укрепления людей, стабилизации коллектива имеет создание здорового социально-психологического климата на всех производственных участках. А тон здесь во многом создают непосредственные руководители рабочих — мастера, бригадиры. Серия исследований установила, что в большинстве это люди технически грамотные, хорошо знающие свое дело, но несравненно слабее разбирающиеся в вопросах социальной психологии. Для современного же руководителя любого уровня знание это необходимо. Поэтому в программу школы мастеров включен специальный раздел «Психологические вопросы руководства коллективом». На лекциях и семинарских занятиях изучаются пути разрешения конфликтных ситуаций, методы воздействия на личность в процессе производства, анализируются типичные случаи нарушений трудового законодательства, проводятся тренировки по методике деловых игр.

К такому новому и сложному производству, как КамАЗ, нельзя подходить с привычными мерками, — говорит Фатхулин. — Скажем, мы установили, что на комплексе довольно высок процент внутривозовских перемещений. Это тоже текучесть, а следовательно, зло, с которым надо бороться. Но вот что любопытно: опрос показал — там, где выше число перемещений, выше и удовлетворенность рабочих заводом. Объясняется это просто: профессионально-квалификационная структура комплекса настолько богата и разнообразна, что новичок не сразу может в ней разобраться. Ему надо некоторое время, чтобы определиться, найти свое место в общем строю. Можно потерять человека для цеха — и огорчение цехового начальства будет понятно, — но сохранить его для КамАЗа. Так что при умелом регулировании текучка, враг стабильности, в данном конкретном случае может стать как раз фактом стабилизирующим. Самая же последняя наша работа, она только-только завершена, и, пожалуй, самая крупная — это разработка основных направлений социального развития коллектива КамАЗа в десятой пятилетке. Но это тема отдельного, очень долгого и серьезного разговора...

— Тогда вопрос попроще. Как вы, социолог, представляете себе социальную модель камазовца?

— Вы всерьез считаете, что это просто? Если бы мы могли дать вам окончательный ответ на этот вопрос, социологическую службу на КамАЗе можно было бы закрывать — главное сделано. Но в порядке эскиза можно поразмышлять... Камазовец — это, наверное, прежде всего человек, соответствующий требованиям времени столь же полно, как соответствует им завод, на который он пришел работать. КамАЗ будет таким, каким его сделают работающие на нем люди, это бесспорно. Но КамАЗ, в свою очередь, будет формировать их, заставляя расти вместе с собой. Человек, понявший во всей глубине и сложности значение Камского комплекса и готовый преодолеть любые трудности ради счастья участвовать в этом грандиозном свершении, уже камазовец или непременно им станет. Понимаете, наверное, КамАЗ надо заслужить. Представьте, что человек приходит на все готовое: лучшая техника, лучший быт, лучший город. Не приведет ли это к пресыщению? Мы не программируем трудности, они реально существуют. Преодолевая их, человек мужает, приобретает социальную зрелость. И КамАЗ — достойная награда за это. Наверное, придет время, когда людей с Камы будут перебрасывать на новые стройки, новые, еще более совершенные заводы, туда, где

понадобится их опыт, знания, мужество. Уверен, что «выпускник» КамАЗа, прошедший его профессиональную и социальную школу, всюду окажется на высоте...

Мы вспоминали этот разговор, в частности мысль Фатхулина о том, что КамАЗу нужна самая широкая, без намека на лакировку информация о нем, когда вечером заглянули «на огонек» в одно из общежитий комплекса. В красном уголке яблоку негде было упасть, а дверь то и дело хлопала, и опоздавшие бочком на цыпочках пробирались в глубину зала. Шла очередная «ленинская пятница».

Это одна из традиций КамАЗа: в четвертую пятницу каждого месяца руководители комплекса встречаются с рабочими, информируют их о текущих делах и ближайших задачах, а потом отвечают на вопросы — любые, которые могут возникнуть. Такие встречи одновременно проходят во всех производственных подразделениях. Мы были на «пятнице» автосборщиков.

Сначала слово взял Рудольф Дмитриевич Кукуничков. Он исполняет обязанности директора автомобильного завода, сам директор вместе с группой других руководящих камазовцев неделю назад улетел в США. Командировка длительная — на несколько месяцев — и специализированная: знакомство с современными методами управления производством. Вообще международные связи камского гиганта так широки, что впору создавать свою службу внешних сношений. Может, со временем так и будет...

Кукуничков говорил коротко, по-деловому — что сделано, что надо сделать. Этап сейчас важный и сложный, потому что переходный: стройка становится заводом. Многие автозаводцы сами готовили себе рабочие места: трудились бок о бок со строителями. Теперь их ждут в цехах. Рудольф Дмитриевич изменил своему слову и выразился с неожиданной торжественностью:

— Мы призываем их под свои знамена...

Час долгожданный, теперь главная забота — грузовик.

— Есть у нас такая мысль, хочу поделиться, — говорит Кукуничков. — Хорошо бы поднапрячься и еще триста сделать, чтобы строителям передать. Пусть это будет нашей рабочей благодарностью за то, что они для КамАЗа сделали.

На голосование это предложение не ставится, но зал одобрительно загудел.

— Я так понимаю, что вы за, — говорит Кукуничков.

После него отчет держал зам директора по кадрам и социальному развитию Юрченко Владимир Александрович.

— С жильем картина такая, — докладывает он. — На сегодня квартиры получили все, кто на завод пришел до мая семьдесят второго года. В ближайшие дни получаем еще сто двадцать пять квартир. Списки первоочередников вывешены, это ваши товарищи, вы их знаете. Как и договорились, предпочтение отдается семейным. Нельзя допускать, чтобы наши люди подолгу в отрыве от семьи жили. Перспектива складывается неплохая: в течение нынешнего и будущего года острота жилищной проблемы будет снята по всему комплексу. С детскими учреждениями сложнее. Вы знаете, такие детсады и ясли, как в Челнах, не часто встретишь: все с плавательными бассейнами и зимним садом. Однако их не хватает. Можно было бы строить похуже, но больше. Но наша заповедь: никаких временок! Будем строить лучше и больше. За год вступит в строй еще восемь детсадов на две тысячи триста шестьдесят мест. Это программа-минимум. О питании. Были жалобы, что перерыва не хватает, чтобы пообедать. С завтрашнего дня по цехам будут ходить люди и предварительно продавать талоны на комплексные обеды. Это даст экономию времени, но полностью вопроса не решает. Через месяц пускаем заводскую столовую на тысячу сто мест, до конца года — еще одну. Тогда пообедать можно будет за пятнадцать минут, да еще въехать из цеха в столовую на эскалаторе. Хотите ускорить это дело, давайте поможем строителям.

Пришел черед вопросов, и зал зашевелился, задвигал стульями, рук поднялось столько, сколько их увидишь разве что в классе, где собрались сплошь отличники.

— Вот тут о чистоте говорили, и правильно. А кто нам объяснит, почему в кабину садятся в грязной спецодежде, бензином пропахшей? Какой товарный вид у «КамАЗов» после этого будет? Что покупатель о нас скажет?

— Это наша недоработка. Завтра выдадим технологические чехлы на сиденья. А водители тоже за своим внешним видом следить должны. Не стройка уже — завод.

— Пятилетка у нас качества, так? — азартно начинает очередной вопрошатель. — А где склад для лакокраски? Где анализы делать? Малюем на глазок, как маляры.

— Монтаж склада начинается на будущей неделе. Нас плиты лимитировали, сейчас они получены.

— Я о транспорте. Город растет, а к нам на завод по-прежнему только первый автобус ходит. В час пик пока в него влезешь, все пуговицы пооборвешь. А по другим маршрутам, между прочим, полупустые машины ходят. Что делается в этом направлении?

— Это наболевший вопрос, товарищи, — отвечает Юрченко. — Мы выделили общественных контролеров. Они на остановках провели хронометраж движения рейсовых автобусов и проверяли их загрузку. Все заводы внесли свои предложения, они обобщены и переданы в штаб по транспорту при горкоме. На следующей пятнице доложу о результатах.

— А как с фирменной одеждой? — интересуется парень стильного вида, с усами в форме подковы. — Ребята с главного конвейера в джинсовых костюмах щеголяют, а мы чем хуже?

— Фирменная одежда будет у всех подразделений, причем у каждого своя, дизайнеры над этим работают. Наберись терпения, тебя еще для журнала мод сфотографируют на обложку...

Вопросы сыплются со всех сторон, важные и масштабом помельче, но все они без исключения продиктованы заботой об общем деле. Их задают и на них отвечают люди, в равной мере ощущающие себя хозяевами КамАЗа, и глаз у них на недостатки зоркий, хозяйский...

И еще об одной встрече, которая помогла нам дополнить какими-то очень существенными штрихами групповой портрет камазовца.

Напротив нас через стол сидят четверо рабочих парней. Они очень разные: серьезный, с холодноватым блеском очков без оправы Валерий Классен; крутолобый, чуть ироничный, чем-то похожий на молодого Горького Володя Башаров; немногословный Назиб Хабибулин в коричневом берете, надвинутом почти до бровей; похожий на былинного доброго молодца Валентин Бирюков с разлетистыми бровями, лицом крупной лепки и быстрым веселым взглядом. Это рабочая гвардия КамАЗа, представители самой важной на комплексе профессии — наладчики автоматических линий. Социологи считают, что эта рабочая специальность, рожденная веком НТР, наиболее ярко отражает сдвиги в социальной структуре советского общества. Наладчик — это рабочий нового типа, который сочетает в своей деятельности элементы физического и умственного, исполнительского и организаторского труда. По содержанию своей работы он вплотную приближается к инженерно-техническому персоналу.

Наши собеседники демонстрируют эту закономерность с предельной наглядностью: трое из четырех имеют высшее образование, четвертый — среднее.

— Оправданно ли это, что инженер трудится на рабочем месте?

По договоренности вопросы, которые мы задаем, адресованы всем, а отвечать на них можно коллективно, сольно или вообще не отвечать — полная свобода выбора. Мы расположились в пустом в эту пору парткабинете завода двигателей — все ребята «здешние» — и беседуем сугубо доверительно, без утвержденной повестки дня.

— Конечно, оправданно. Автоматические линии на КамАЗе технически столь совершенны, что для их обслуживания высшее образование желательно, а среднетехническое минимально необходимо, — говорит Володя Башаров. Он окончил Казанский авиационный институт, собирался строить самолеты, а стал — автомо-

били, и оказалось, что это не менее интересно. — Ну а если говорить о моих личных ощущениях, то в цехе на автоматической линии работать интереснее, чем за письменным столом в конторе.

— Мы слышали много разговоров о сложности камазовской техники. В чем ее особенность с точки зрения наладчика?

— Знаете, есть такое выражение: он с техникой на ты, — вступает в разговор Бирюков. — С камазовской техникой лучше быть на вы, она фамиллярности не любит. Отлаживать ее с помощью кувалды я бы не советовал.

Валентин постарше своих товарищей, ему тридцать пять. Он из Волгограда, работал там на моторном заводе, заочно институт окончил, четыре года в армии служил. Кстати, армейскую школу прошли все четверо, и мы вспоминали, что социологическая служба КамАЗа рекомендовала кадровикам в первую очередь отбирать для работы на комплексе ребят, вернувшихся с военной службы. Практика показала, что народ этот наиболее стойкий, целеустремленный и организованный.

— А что вас на КамАЗ привлекло?

— Я после армии на строительстве газопровода Средняя Азия — Центр работал, — рассказывает Назиб Хабибулин. — А тут услышал, что в моих родных краях такое грандиозное дело затевается — КамАЗ. Вот и приехал.

Отвечали на этот вопрос и другие ребята — кто как. А один откровенно сказал:

— Приехал, чтобы квартиру побыстрее получить.

— А теперь не жалеешь? Не думаешь еще куда податься? Жилья ведь всюду много строят.

— Ну нет. С КамАЗа уйти — все равно что в другую техническую эпоху попасть, на порядок ниже.

Ребята улыбаются этой категоричности, но, в общем, согласны: уйдешь с КамАЗа — будет его не хватать.

И еще один вопрос хотели задать мы собеседникам, наш традиционный вопрос: что это такое — камазовец? Но не задали. Потому что ребята, сидевшие напротив нас, и были самыми настоящими камазовцами.

А потом мы говорили о памятной медали, которую служба главного архитектора комплекса готовит в честь события, страстно ожидаемого всеми: выпуска «КамАЗа» с порядковым номером «5000». Мы видели несколько вариантов медали, но если бы выбор зависел от нас, не задумываясь остановились бы на том, где изображена рука. Это крепкая и умелая рука современного рабочего человека, ритуальной принадлежностью которой давно перестали быть мозоли. На раскрытой ладони эта рука надежно и бережно держит камский грузовик, свое детище.



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ВЛАДЛЕН КУЗНЕЦОВ



ЕВРОПА И РАЗРЯДКА

*К первой годовщине Совещания по безопасности
и сотрудничеству в Европе*

Вот уже год как «Зеленая тетрадь» — Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, скрепленный 1 августа 1975 года подписями высших руководителей тридцати трех европейских стран, а также США и Канады, — хранится в государственном архиве Финляндии. Но хартия европейского мира, как называли Заключительный акт, отнюдь не стала просто архивным документом. Вокруг него и по сей день кипят страсти, скрещиваются полемические шпаги, идет напряженная идейно-политическая борьба. И современную историю континента политики, ученые, журналисты уже делят на два периода: до Хельсинки и после Хельсинки.

Десять лет боролись Советский Союз и другие социалистические страны за созыв европейского форума, убеждая в его целесообразности несогласных и колеблющихся, заряжая своей энергией пассивных и равнодушных, ломая сопротивление его откровенных врагов. И после Хельсинки страны социализма на своем примере показывают, как честно и скрупулезно, целеустремленно и эффективно надо выполнять то, о чем договаривались на встрече тридцати пяти.

Эти вопросы обсуждались на декабрьском совещании 1975 года министров иностранных дел Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, СССР, Чехословакии и январском совещании этого года секретарей Центральных Комитетов коммунистических и рабочих партий социалистических стран по международным и идеологическим вопросам. Советский Союз провел серию переговоров на высшем уровне с лидерами США, Франции, ФРГ, Великобритании, Италии, Португалии, Финляндии, Швеции, Турции и других стран. На каждой из этих встреч непременно ставилась и обсуждалась проблема реализации хельсинкских принципов и обязательств. Довольно интенсивный обмен мнениями по этим вопросам провели с западными партнерами — участниками общеевропейского совещания и другие социалистические государства.

В послехельсинкский актив, вне сомнения, можно занести заключение Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и ГДР, подписание Декларации о дальнейшем развитии дружбы и сотрудничества между СССР и Францией, ряд конкретных соглашений экономического и гуманитарного характера ГДР и Польши с ФРГ, окончательное урегулирование территориальных пограничных вопросов между Югославией и Италией и другие акции.

Фактор Хельсинки действует, он стал огромной силой, мобилизующей европейскую и мировую общественность на новые мирные усилия. С ним вынуждены — хочешь не хочешь — считаться и противники разрядки.

Реакция Запада на совещание в Хельсинки с самого начала была неоднозначной. Правящие круги одних государств оказались более восприимчивыми к его решениям, лидеры других сочли, что их миссия в основном закончилась про-

цедурой подписания Акта. «Демаркационная линия» пролегла и внутри государств. Правительства испытывают сильное давление тех кругов, которые хотели еще в колыбели задушить идею общеевропейского совещания. И этот неослабевающий нажим не проходит бесследно.

Кое-где на Западе решили создать органы по наблюдению за тем, как выполняются положения Заключительного акта .. другими. В ФРГ вознамерились создать «рабочую группу, которая будет регистрировать все (разрядка моя. — В. К.) нарушения решений общеевропейского совещания» (то есть, разумеется, не у себя). В США родилась идея создания «объединенной комиссии конгресса», которой вменено было бы в обязанность следить за тем, как обстоят дела в Советском Союзе, «в особенности в сфере прав человека». Воистину — куда проще «надзирать», чем выполнять самим.

Еще не успели высохнуть чернила на страницах «Зеленой тетради», как на Западе начались ее злоключения. Прежде всего постарались замолчать то, что обязались широко обнародовать. Если Советский Союз и другие социалистические страны опубликовали полный текст Заключительного акта массовыми тиражами и в газетах и отдельными брошюрами, то на Западе он едва-едва просочился к читателю. Там, где не устают уверять в своей приверженности принципу свободы информации, расправлялись с «Зеленой тетрадью» как хотели — кромсали, усекали, препарировали, отбрасывая одно и выпячивая другое.

О появлении «официального голландского текста» этого документа министерство иностранных дел Голландии объявило только спустя полгода после его подписания. Почему с таким запозданием? «Трудность перевода». В Бельгии итоговый документ появился через пять месяцев после совещания в выходящем ограниченным тиражом официальном вестнике правительства «Монитор бельж». Западногерманская «Франкфуртер рундschau» начала печатать текст Заключительного акта четыре месяца спустя после его подписания...

Замалчиванием дело не ограничилось. Немного, пожалуй, найдется в истории документов, которые подверглись — и подвергаются сейчас! — таким ожесточенным нападкам, как «Зеленая тетрадь». Если некоторые политики, принимавшие, кстати, участие в общеевропейском совещании, считают возможным говорить о «слабостях» Заключительного акта, то буржуазная пресса, даже считающая себя респектабельной, отнюдь не стесняется в выражениях. Итоги Хельсинки преподносятся как «просчет», «политическая ошибка» Запада, его «близорукость» и даже «глупость». «Хельсинским маскарадом» называет совещание парижская «Котидьен де Пари». Газета буквально захлебывается от злости: «Европейцы, которые по наивности, незнанию или бессилию подписали договор от 1 августа, теперь знают, что они глупцы». Почему выходит из себя газета? Да потому что не удалось расшатать «сильный советский бастион»...

Весь год после Хельсинки империалистическая пропаганда внушает: раз Запад «проиграл» там, он должен «отыграться», взять реванш в чем-то другом, занять более «жесткую позицию» в отношении Востока, «продемонстрировать твердость», «усилить нажим». По адресу Советского Союза раздается другое: совещание вам было нужно больше, чем Западу, вы в ущерб ему добились всего, чего хотели, — расплачивайтесь за это! И политические торгаши спешат предъяснить советским людям счета. Их, по крайней мере, три.

Счет первый. Мы (то есть Запад) обеспечили вам в Европе территориальное статус-кво (как будто Запад не заинтересован в прочности и нерушимости европейских границ), а вы нам предоставьте статус-кво социально-политическое, откажитесь от классовой борьбы, которая несовместима с разрядкой. Аргументируют примерно так: если, как вы утверждаете, «разрядка не отменяет законов классовой борьбы», значит, она «просто удобней фон, который весьма устраивает Советский Союз и его союзников, потому что они рассчитывают, действуя на этом фоне, поглотить страны некоммунистического мира одну за другой». И это говорится в то время, когда в Вашингтоне закатываются истерики по поводу возможного участия коммунистов в правительствах стран НАТО, когда к атлантической колеснице беззастенчиво приковывают долларовыми и милитаристскими

цепями Грецию, Турцию, Испанию, когда бесцеременно вмешиваются во внутренние дела Португалии!

Счет второй. Откажитесь от поддержки национально-освободительных движений, от солидарности с борьбой других народов за свободу и прогресс. Особенно навязчиво этот мотив звучал в связи с событиями в Анголе, с крушением планов ее удержания в орбите колониализма и стратегических интересов Запада. Такие требования выставляются, несмотря на то, что «всякий, — как авторитетно заявляет Г. Киссинджер, — кто хоть мало-мальски знаком с коммунистической философией, знает, что Советский Союз будет поддерживать национально-освободительные движения. В этом нет ровным счетом ничего нового. Это часть коммунистической доктрины, часть коммунистической истории, и ни один из нас, из тех, кто имеет дело с Советским Союзом, ни на мгновение не допускает мысли, что он автоматически откажется от этого во имя дружественных отношений». И все-таки предлагают отказаться да еще не мешать тем, кто посылает военные корабли к берегам Ливана как вещественное напоминание о ближневосточных нефтяных интересах Вашингтона, кто помогает удержаться последней цитадели колониализма в Южной Африке. Иначе, мол, разрядки не будет.

Счет третий. Прекратите идеологическую борьбу. Дескать, без отказа от нее со стороны Советского Союза и других социалистических стран политическая разрядка не может быть сколько-нибудь устойчивой и глубокой. Но сами зачехлять свою пропагандистскую артиллерию отнюдь не собираются.

Больше того. Чтобы обосновать свою позицию, притягивают за волосы Заключительный акт. Он преподносится чуть ли не как охранная грамота для капиталистических порядков и в то же время как мандат для идеологического разоружения социализма. Французская «Фигаро» заявляет, что «Хельсинки — это открытие идеологического оборонительного вала для различных веяний с Запада». А натовский бюллетень «Нувсель атлантик» требует от Советского Союза «открыть свою систему для западных влияний».

Трудно, пожалуй, подобрать вопрос, который был бы на Западе так запутан, как вопрос о взаимосвязях мирного сосуществования, разрядки, гуманитарных и культурных обменов, идеологической борьбы.

Анализируя материалы XXV съезда КПСС, федеральный канцлер ФРГ Гельмут Шмидт пришел к выводу: результаты форума советских коммунистов ясно показывают, что мирного сосуществования в идеологической и общественно-политической области не существует. Канцлер реалистически признал: «Напряженность в идеологической сфере продолжает существовать. Ни разу Советский Союз не оторкался от международной классовой борьбы. Ни разу он не пропагандировал сосуществования в идеологической сфере. Совсем наоборот».

Реалистическое понимание проблемы идеологической борьбы, ее неизбежности и неустранимости — это, безусловно, необходимый, неотъемлемый компонент политики политического реализма и разрядки в отношениях Востока и Запада. Этим отношениям служит как раз признание непримиримости идеологических разногласий, а не настаивание из тех или иных побуждений на отказе от идеологической борьбы. Непримиримость идей и взглядов вовсе не повод для упреков и обвинений в нарушении кодекса разрядки. Излагая мысли министра иностранных дел ФРГ Г.-Д. Геншера, «Франкфуртер альгемайне» справедливо писала: «Соревнование идей целиком совместимо с разрядкой. Никто поэтому не может упрекать другую сторону во враждебности к разрядке». А ведь некоторые органы прессы на Западе, например «Вельт», пытаются приписать Советскому Союзу такую позицию: раз он отклоняет «идеологическое сосуществование, то он отвергает и мирное сосуществование вообще, как его понимает Запад».

Идеологическая борьба не помеха ни мирному сосуществованию, ни разрядке. В интервью парижскому еженедельнику «Пуэн» в январе этого года нынешний премьер-министр Великобритании Джеймс Каллагэн оспорил мнение о том, что «отказ Советского Союза прекратить идеологическую борьбу» является одним из признаков «конца разрядки». Дж. Каллагэн заявил: «Я считаю, что СССР вполне искренен в своей политике разрядки. Это слишком важно для него. Но раз-

рядка вовсе не означает перемирия в войне идей. Было бы нереально ожидать, что СССР перестанет проповедовать теории, в которые он верит. Это было бы равносильно тому, чтобы просить папу отказаться от христианства». Добавим, что столь же нереально было бы ожидать, что Запад может отказаться от проповедования своих теорий.

На Западе есть немало деятелей, которые не только признают неизбежность идеологической борьбы, не только не требуют «деидеологизации мировой политики», «идеологической разрядки», но и призывают капиталистический мир осознать все значение идейной конфронтации и привести в порядок идеологическую амуницию. Президент ФРГ Вальтер Шеель сформулировал свою позицию так: «Мирное сосуществование Востока и Запада не означает перемирия между идеологами». Этой констатацией В. Шеель не ограничивается: «В этой борьбе нас победят, если мы не поймем, почему коммунистические идеологи эффективны в Европе и в странах третьего мира. Мы видим, что коммунизм достигает успехов там, где господствуют несправедливость и нищета. Мы должны стать более чуткими».

Заметим, что президент ФРГ очень близко подошел здесь к пониманию причин того, почему Запад проигрывает в «борьбе идей». Источник силы идеологии не в изошренности ее пропаганды, а прежде всего в ее жизненности и гуманизме, чуткости к тому, в каких условиях и чем живет человек, в ее ответе на потребности и устремления общества, в ее неприятии материального и духовного закабаления личности. «В западном мире, — отмечал бывший директор Информационного агентства США (ЮСИА) Ф. Шекспир, — все чаще задают вопрос о том... какова философия, которую мы защищаем, каковы наши традиции и правильно ли мы подходим к вопросу о свободе человека, об организации общества». Да, именно на этот вопрос и не находит удовлетворительного ответа «свободный» мир...

Иную точку зрения на проблемы идеологической борьбы выдвигают президент Франции Валери Жискар д'Эстэн, министры иностранных дел Дании, Голландии, Австрии и некоторые другие лидеры западного мира. Датского министра К. Б. Андерсена не устраивает такая трактовка «мирного сосуществования», которая «оправдывает продолжение и активизацию идеологической борьбы». Восток «делает упор на идеологическую борьбу» — и вот уже озабочен судьбой разрядки, «настроен мрачно» голландский министр ван дер Стул.

«Отношения между государствами Востока и Запада лишь тогда могут успешно развиваться, когда ни одна из сторон не будет вовлекать в них идеологию». Ни история, ни современность не подтверждают, однако, этого тезиса австрийского министра Э. Биелки-Карлтроя.

Не коммунисты выдумали идеологическую борьбу. Она постоянная спутница человеческого общества. Все развитие этого общества, политической мысли — не что иное, как борьба идей. Идеологическая борьба — объективная реальность, неотъемлемая черта жизни человечества. Отменить, устранить ее не в состоянии никакое правительство. Отношения двух мировых систем — это диалектическое сочетание, органический синтез сосуществования, соревнования и борьбы. Из этой триады невозможно что-либо изъять, невозможно что-либо запретить в ней или отменить. Сколько бы ни говорили о «несовместимости» классовой борьбы и межгосударственного сотрудничества, они вполне совместимы, и это уже доказанный самой жизнью факт.

На Западе нередко можно слышать, что, мол, идеологические разногласия являются главным источником международной напряженности, камнем преткновения на пути успешного осуществления политики мирного сосуществования, разрядки, гуманитарных обменов. Но разве главной и исключительной первопричиной еще не забытых человечеством войн были идейные конфликты, а не материальные интересы, не жажда захвата чужих земель и богатств, не ищущие выхода силы милитаризма? Разве, допустим, нефтедобывающим странам все еще угрожают интервенцией из «высших идейных побуждений», а не из-за цен на нефть и стремления ее владельцев суверенно распоряжаться своим богатством? Нет,

не идеологические расхождения, а попытки применять силу, нарушать права других государств, рецидивы «холодной войны» создают опасность сегодняшнему миру, грозят процессу разрядки.

Не будем, однако, упрощать и сглаживать проблему. Идеологическая борьба отнюдь не дискуссионный клуб, участники которого заключили «джентльменское соглашение» и упражняются в красноречии, думая только о том, как бы не задеть и не обидеть друг друга. Но ведь и мирное сосуществование, которому, как полагают в некоторых кругах Запада, «вредит» идеологическая борьба, — не идиллия и не всепрощение. Если даже вообразить, что идеологическая борьба вдруг исчезла, мирное сосуществование не перестанет быть соревнованием, соперничеством в невоенных сферах.

Вместе с тем, как это ни парадоксально на первый взгляд, упрочению мирного сосуществования содействует в определенной степени именно идеологическая борьба, которую ведут Советский Союз и другие социалистические страны на международной арене. Ведь ее острие направлено против пропагандистов насилия и вражды, против приверженцев «холодной войны», против всего, что является бременем для проведения политики взаимопонимания и доверия между Востоком и Западом.

Буржуазное и социалистическое видение мира противоположны и непримиримы. Ни одно, ни другое не собираются выбрасывать белый флаг. Но идеологические противники могут — и это уже вполне доказано — сотрудничать во многих областях межгосударственных отношений.

Проблема в том, чтобы научиться увязывать идеологическую конфронтацию с решением одной из главных задач мировой политики — углублением разрядки. Именно увязывать, сочетать, а не ждать, что в один прекрасный момент может наступить «деидеологизация международной политики».

Не соглашаясь с мнением Э. Биелки-Карлтроя о «невовлечении идеологии» во взаимоотношения Запада и Востока, можно солидаризироваться с ним в другом: «Тот, кто на Западе или Востоке будет пытаться играть роль миссионера другого общественного строя, кто в рамках расширяющегося сотрудничества захочет сделать более западным Восток и более восточным Запад, может лишь подложить мину под дело Хельсинки».

У Советского Союза нет миссионерских замашек, и он не ищет способов «сделать Запад более восточным». Он убежден, что народы западных стран сами в состоянии решить, что им больше подходит. Но и советскому народу не нужны западные мессии. И дух и буква Заключительного акта требуют «уважать право друг друга свободно выбирать и развивать свои политические, социальные, экономические и культурные системы, равно как и право устанавливать свои законы и административные правила».

Во время визита в Москву в октябре 1975 года В. Жискара д'Эстэн высказался за «разрядку в идеологическом состязании, с тем чтобы соревнование между различными экономическими и общественными системами, которые разнятся в силу характера народов и объективных факторов, не привело к чрезмерной напряженности». К этой же теме он вернулся в январе этого года, выступая в Париже перед дипломатическим корпусом.

Но вот что любопытно. Французская пресса обратила внимание на то, что призыв президента к «идеологической разрядке» не согласуется с антикоммунистическими нападками, к которым причастны и официальные деятели Парижа. Видимо, двусмысленность ситуации почувствовал и сам президент. В прессе появилось его высказывание, адресованное министру внутренних дел М. Понятовскому: «Я убедительно прошу вас воздерживаться впредь от любых нападок на Советский Союз». Некоторое время спустя газеты процитировали новое его предупреждение: «Нужно избегать антикоммунизма».

Избегать антикоммунизма... Видимо, это теперь необходимо для деятелей Запада не только по соображениям политической конъюнктуры или дипломатического этикета. На то есть и более глубокие причины. Политика мирного сосуществования и разрядки, как откровенно поведал журнал «НАТО ревью», офи-

циальный орган службы информации Североатлантического блока, «стала исключительно действенной... ее растущее влияние особенно заметно среди молодежи, которая по горло сыта навязшей в зубах антикоммунистической пропагандой и стремится ныне побольше узнать о коммунистическом мире».

Следует приветствовать, конечно, что представители правящих сфер на Западе считают уместным соблюдать известную дистанцию в отношении тех, кто склонен к одиозным проявлениям антикоммунизма. Однако если заметны попытки воздействовать даже на собственных коллег, занимающих официальные посты, то почему никто не одернет «джентльменов пера», которые, требуя от других «идеологической разрядки», сами изо дня в день ведут настоящую «холодную войну» в эфире и на печатных страницах? Часто приходится слышать, что нет, мол, никаких рычагов влияния и воздействия на «свободную прессу». Но ведь некоторые правительственные ведомства и спецслужбы (как стало особенно ясно сейчас, когда мировая общественность получила возможность заглянуть за кулисы ЦРУ) отнюдь не жалуется на отсутствие таких, к тому же безотказных, рычагов. А значительная часть средств массовой информации непосредственно контролируется правящими кругами Запада. Так что, на наш взгляд, у лидеров западных стран вполне достаточно возможностей для того, чтобы отстаивание и пропаганда теоретических доктрин своего строя не выходили за рамки достойной борьбы за убеждения, не сопровождалась эксцессами и рецидивами «холодной войны», реликтами маккартизма. По меньшей мере нелогично требовать «идеологической разрядки», «идейного перемирия», сдержанности другой стороны, если в то же самое время против нее используются «недозволенные приемы» идейной борьбы. В течение многих веков люди договаривались или хотя бы пытались договориться о запрете использования того или иного оружия. Теперь отравленные стрелы, разрывные пули и ядовитые вещества, фигурально выражаясь, стали применяться и в сфере «психологических сражений». В условиях разрядки это нетерпимо.

Выступая в октябре 1975 года на конференции редакторов и издателей, организованной в Лондоне агентством ЮПИ, председатель СДПГ Вилли Брандт считал необходимым предостеречь своих слушателей от попыток «умалить достижения» общеевропейского совещания, не считаться с «важными изменениями» в отношениях между Востоком и Западом. «Чтобы начать «холодную войну», — заявил В. Брандт в той же речи, — нужно нечто большее, чем одни только газетные заголовки. В равной мере справедливо и то, что мир не может воцариться благодаря одним только редакционным статьям. Однако органы массовой информации могут внести вклад своими проникнутыми чувством ответственности сообщениями, поощряющими тех, кто ратует за мир в условиях безопасности. Правда — это эликсир демократии. Она должна стать также ферментом мира».

Все это справедливо. Но разве можно назвать «эликсиром демократии» угрозы по адресу тех западноевропейских стран, где за коммунистов голосует значительная часть населения и где они играют заметную роль в политической жизни? Разве «чувством ответственности» продиктованы периодически повторяющиеся сообщения о «вторжениях» Советского Союза в Западную Европу? Угрозы и инсинуации не могут быть ферментами разрядки, правды и объективности. Это ферменты недоверия, подозрительности, вражды.

Советский Союз и другие социалистические государства в свое время выдвинули проблему преодоления наследия «холодной войны» в сферах, связанных с развитием гуманитарных и культурных обменов, в пропагандистской деятельности. Идеологическая борьба не «психологическая война». И если кто-то на Западе ставит знак равенства между ними, то это типичное проявление инерции периода, предшествовавшего разрядке.

Не подрывать, а продвигать разрядку вперед; не отравлять международную атмосферу, а оздоровлять ее дальше; не подпиливать, а наводить мосты доверия, взаимопонимания между странами и народами — таково благородное призвание органов пропаганды. Разрядка, пронизывающая ныне сферу международных отношений, должна утвердиться и в сфере действия средств массовых коммуникаций.

Вопрос о форме, в которой ведется неизбежная в современном мире идеологическая борьба, не надуманный и не абстрактный. Это одна из насущных практических задач мировой политики. Объективная, правдивая, корректная информация способствует более тесным отношениям между народами и государствами. Дезинформация, злостное искажение фактов, намерений другой стороны расширяют контакты, вносят рознь. Если государства — участники общеевропейского совещания взяли на себя обязательство содействовать «созданию атмосферы доверия и уважения между народами», «воздерживаться от пропаганды агрессивных войн или любого применения силы или угрозы силой», то это имеет прямое отношение к деятельности массовой информации. Речь идет не о том, чтобы «надеть намордник» на «свободную прессу», как пытаются интерпретировать это иные деятели и органы печати на Западе, а о том, чтобы определенным образом регламентировать пропагандистскую деятельность, ввести ее в такие рамки, которые исключали бы идеологические диверсии и провокации, дезинформацию, заведомую ложь и клевету, злостную дискредитацию, подрывные методы и давление. Такая регламентация не противоречит ни принципу свободы слова и печати, ни международному праву.

«Психологическая война» уже нанесла серьезный ущерб отношениям между Востоком и Западом. Она сокращала масштабы сотрудничества государств, вызывала трения между ними, мешала урегулированию важных вопросов мировой политики, серьезно тормозила, если не исключала вообще, обмен подлинными ценностями культуры. Вести идеологическую борьбу цивилизованными методами, отбросив все средства фальсификации и манипуляций, — таково одно из необходимых условий успешного развития процесса разрядки и утверждения принципов мирного сосуществования в современных международных отношениях.

Задумываясь об условиях и возможностях углубления разрядки, нельзя не прийти к выводу, что ее прогресс сдерживает и замедляет не идеологическая борьба, а неурегулированность ряда вопросов, связанных с разоружением и уменьшением военного противостояния. Обмениваться людьми, информацией и идеями лучше всего не в мире, перенасыщенном оружием, а в мире, свободном от него. В атмосфере страха, недоверия, взаимных подозрений гуманитарным и культурным контактам процветать трудно. Забота о дополнении политической разрядки военной — это в то же время и забота о создании наиболее благоприятных условий для сближения народов, для улучшения духовного общения между ними.

Собственно говоря, такой подход, такие приоритеты мировой политики, приоритеты разрядки определены в самом Заключительном акте. Это видно в отнюдь не формальной очередности «корзин», как называли сами участники комплексы проблем, которыми им пришлось заниматься. Первая «корзина» — вопросы безопасности. Вторая «корзина» — сотрудничество в области экономики, науки и техники и окружающей среды. Третья «корзина» — сотрудничество в гуманитарных и других областях.

Между тем трудно отделаться от впечатления, что на Западе после Хельсинки сделали перестановку — впереди оказалась третья «корзина», а две первые отодвинуты в сторону. Причем такую манипуляцию пытаются оправдать тем, что, мол, у Запада нет никаких проблем с третьей «корзиной»: она и наполнена доверху, и плоды ее без малейшей червоточки, и обмен ими бесхлопотный. «Вашингтон пост» так вот прямо и пишет: «Соглашения, заключенные в Хельсинки в гуманитарной области, не требуют (!) от западных правительств, чтобы те делали что-то такое, чего они еще не делают». Пусть, мол, этим занимаются другие... Но, может быть, в таком случае развязаны руки для того, чтобы сделать «что-то такое», что относится к первым двум «корзинам»? Увы, особой активности не наблюдается и тут. Сошлось на два примера.

Еще в декабре прошлого года Советский Союз выдвинул идею проведения общеевропейских конгрессов или межгосударственных совещаний по вопросам сотрудничества в области охраны окружающей среды, развития транспорта, энергетики. Что может дать осуществление советского проекта? Во-первых, это прак-

тическая реализация и конкретизация процесса, начатого общеевропейским совещанием. Во-вторых, это наполнение второй «корзины» реальными плодами сотрудничества в столь важных для всех европейских стран сферах. В-третьих, реализация советского предложения будет иметь и гуманитарный аспект, позволит обогатить и третью «корзину». Ведь подготовка конгрессов или межгосударственных совещаний предполагает расширение контактов между людьми, обмена делегациями, литературой, информацией. Казалось бы, на Западе, где столь много говорят о своей приверженности к гуманитарным контактам, должны были бы мгновенно подхватить советскую инициативу. Однако, недоумевает «Хельсингин саномат», «кажется странным, что западные страны прохладно относятся к этой инициативе Советского Союза». Действительно странно! Да еще предпринимаются и попытки скомпрометировать идею, загубить ее, что называется, на корню. Пишут, например, как сообщал 1 апреля корреспондент агентства Рейтер из Женевы, где советское предложение обсуждалось на сессии Европейской экономической комиссии ООН, что, прежде чем приступить к «новым планам», надо «подождал оценки результатов Хельсинкского соглашения на последующих переговорах, которые намечено провести в будущем году в Белграде». Но разве не разумнее было бы прийти к этому совещанию с конкретными результатами осуществления Заключительного акта, чем сидеть и ждать сложа руки?

16 февраля уполномоченные Совета Экономической Взаимопомощи передали в Люксембурге представителям Европейского экономического сообщества проект соглашения на основах взаимоотношений этих двух крупнейших экономических организаций. Лед, которым долгое время были скованы отношения между СЭВ и ЕЭС, тронулся. От взаимного зондажа и рабочих контактов обе стороны перешли к установлению прямых и, возможно, договорных отношений.

В чем смысл, каково значение инициативы СЭВ? Поставить огромный потенциал СЭВ и ЕЭС на службу интересам всеобщего мира, безопасности и благосостояния всех европейских народов — эта задача прямо вытекает из договоренностей общеевропейского совещания. «Создать нерасторжимую взаимозависимость экономических интересов, общих для обеих Европ, — справедливо отмечала бельгийская «Пёпль», — значит служить делу умиротворения на нашем континенте».

Однако прогресс в отношениях между СЭВ и ЕЭС станет и прогрессом разрядки только в том случае, если их отношения будут строиться на полностью равноправной основе, если будут ликвидированы препятствия в торговле между социалистическими и капиталистическими странами Европы, если будут отброшены все формы дискриминации, эмбарго, протекционизма. Именно поэтому страны СЭВ в статье шестой проекта соглашения предложили государствам ЕЭС «применять в отношении друг друга режим наибольшего благоприятствования».

На долю Западной Европы приходится три четверти всего товарооборота европейских социалистических стран с капиталистическими государствами. И это далеко не предел возможностей. Страны СЭВ — гигантский, емкий, стабильный и выгодный рынок сбыта готовых изделий, который особенно ценен в условиях экономического кризиса на Западе. Это вместе с тем и рынок, где можно приобрести многие виды дефицитного сырья.

Казалось бы, все ясно, польза взаимная. Но снова прохладное отношение, снова проволоочки. Предложение СЭВ все еще дебатруется в брюссельской штаб-квартире «Общего рынка», «все еще анализируется юристами в первую очередь с точки зрения его лингвистического толкования», сообщает без тени юмора экономический бюллетень «Эроп», выходящий в Париже. Тем временем кое-кто строит планы насчет уступок со стороны Совета Экономической Взаимопомощи. Да каких еще! Приоткрывая завесу, лондонская «Гардиан» сетует: «Нет особых признаков готовности СЭВ идти на какие бы то ни было другие уступки, для того чтобы приспособить (!) свою плановую экономику и структуру торговли к рыночной экономике». Ну что можно ответить на это? Только одно: таких уступок никому не дожидаться...

Свои выводы из результатов общеевропейского совещания делают силы реакции, милитаристские круги. На материализацию разрядки они отвечают мате-

риализацией все того же духа «холодной войны», пытаюсь перекрыть все пути к уменьшению военного противостояния на европейской земле. Главным орудием этой деятельности по-прежнему выступает Североатлантический блок.

Именно милитаристские круги НАТО поставили своей целью если не сорвать, то обречь на бесконечное топтание на месте переговоры в Вене о сокращении вооруженных сил и вооружений в Центральной Европе. Генеральный секретарь НАТО Й. Лунс явно претендует на то, чтобы давать генеральную установку представителям Запада — требовать, чтобы страны Варшавского Договора согласились на «большее сокращение вооруженных сил, чем западная сторона». По логике Лунса, предоставление Западу некоторых преимуществ вытекает из... результатов форума в Хельсинки. «Готовность Советского Союза пойти на это простое предложение,— объявил Лунс,— явится реальной проверкой того, действительно ли страны Варшавского Договора прониклись духом Хельсинки».

«Дух Хельсинки», как известно, обязывает к сдержанности, к поискам путей уменьшения военного противостояния, к дополнению политической разрядки военной. А чем заняты военные ведомства натовских стран, милитаристские круги?

Каждый день в капиталистическом мире расходуется свыше 600 миллионов долларов на вооружение. «Золотые галуны» Пентагона снова бьют рекорды: новый военный бюджет США — самый крупный в их истории — перевалил за 100 миллиардов долларов. «Традиционная оппозиция расходам на оборону в конгрессе и за его пределами прекратилась,— сообщает «Нью-Йорк таймс».— Почти все, что смог побудить себя сделать конгресс, это отобрать у генералов и адмиралов несколько кухонных рабочих, буфетчиков и садовников».

150 миллиардов долларов израсходовали на военные цели в 1975 году страны НАТО (это в 8 раз больше, чем в 1949 году, когда был создан этот блок), и кривая милитаристских ассигнований непрерывно ползет вверх. Даже самые робкие попытки некоторых стран хотя бы чуть-чуть ослабить непомерное бремя военных расходов беспощадно подавляются законами НАТО. Выступая в конце сентября 1975 года на ежегодной сессии Североатлантической ассамблеи, верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Хейг недвусмысленно предупредил, чтобы «западный мир не питал надежд на то, что экономический и социальный кризис может быть решен за счет уменьшения вклада в общую оборону».

Как раз на этом кризисе и пытаются сейчас спекулировать боссы военно-промышленного комплекса. Они прельщают и правящие круги и общественность перспективой выхода из трясины кризиса на ходулях «процветающего» военного бизнеса. И пропаганда дельцов не остается гласом вопиющего в пустыне. Развертывается самый настоящий бум вооружений и для внутреннего потребления — под видом так называемой стандартизации в рамках НАТО — и для продажи в другие страны.

Адвокаты военных или полувоенных монополий призывают возродить «добрую славу» немецкой военной промышленности, требуют от правительства ФРГ ослабить «ограничения» на экспорт оружия, в том числе и в «кризисные» районы. Западногерманские промышленники явно почувствовали в себе силы вступить в конкуренцию с американскими, французскими и другими фабрикантами — экспортерами оружия.

«Сектор вооружений,— пишет парижская «Эко»,— гарантирует в настоящее время исключительные рынки сбыта». Рынки, что и говорить, обширные. Американским оружием, по данным министерства обороны США, снабжаются 72 страны. Недавняя «делка века» на поставку американских военных самолетов в Западную Европу на сумму в два миллиарда долларов разожгла аппетиты повсюду. «Франция ожидает рекордного года в экспорте оружия. Она продает вертолеты, как горячие пончики»,— сообщает из Парижа корреспондент английского агентства Рейтер. Франция, писал западногерманский еженедельник «Штерн», вышла на третье место в мире по экспорту оружия (Федеративная

Республика Германия занимает пятое место по вывозу более или менее крупных систем оружия). Конца этой спирали восружения, которая в последние двадцать пять лет раскручивается все быстрее и принимает все больший размах, не видно.

В материальной подготовке к войне милитаристские круги Запада видят единственное средство вернуть во многом утраченные ныне позиции. Решающая роль в осуществлении этой стратегии отводится военно-политическим группировкам.

В последнее время можно наблюдать, какие лихорадочные усилия предпринимаются с целью «вдохнуть новую жизнь» в организм Североатлантического блока, который подвергается эрозии в условиях климата разрядки и усиливающихся внутренних трений. Лидерами НАТО подготавливаются все новые программы модернизации и стандартизации вооружений, форсируется «двусторонний обмен между Европой и Северной Америкой в деле приобретения военной техники».

Там, где не срабатывают обычные для НАТО методы грубого давления и шантажа или где эти методы применять в условиях разрядки становится «неудобно», там подключаются более гибкие рычаги Европейского экономического сообщества. Особенно наглядно это видно на примере Греции и Португалии. Греции обещают членство в ЕЭС и солидную инъекцию экономической помощи, если та «одумается» и вернется в лоно военной организации НАТО. С помощью экономических посулов «Общего рынка» хотят воспрепятствовать и свободному выбору Португалией своего пути.

Все чаще и чаще НАТО и ЕЭС выступают своеобразным тандемом, в котором объединены агрессивная мощь военного альянса и экономический потенциал замкнутой торгово-экономической группировки. Разрабатываются различные совместные проекты. Главные из них — «европейская оборона» и «европейские ядерные силы». Они поддерживаются не только в некоторых западноевропейских столицах, но и в Пекине.

В кругах НАТО и ЕЭС то говорят о том, что «НАТО со временем станет военным компонентом «Общего рынка», то о том, что «девятка» станет филиалом Североатлантического блока. Как бы там ни было, «лидеры западного мира все больше сталкиваются с проблемой — где кончается ЕЭС и где начинается НАТО», — приходит к выводу датская «Актуэльт».

Милитаристская активность НАТО, политико-экономические маневры «Общего рынка» вызваны, по справедливым словам «Вашингтон пост», «широко распространившейся нервозностью из-за разрядки». Да, у многих на Западе после Хельсинки расшатались нервы. Смятение царит в стане Лунса, Джексона, Мيني, Штрауса, Уокера и прочих трубадуров антиразрядки. Американский обозреватель Сайрус Сульцбергер полагает, что им после «горячей финской бани» «может помочь только одно средство: окунуться в ледяную воду».

Не вражда и конфронтация, а ослабление военного противостояния, сокращение вооружений — таким хотят видеть народы будущее Большой Европы.

Совещание в Хельсинки недвусмысленно высказалось в пользу дополнения политической разрядки военной, в пользу эффективных мер, ведущих к всеобщему и полному разоружению. Важную роль в упрочении мира и безопасности на континенте призваны сыграть и согласованные меры по укреплению доверия, направленные на уменьшение опасности возникновения вооруженных конфликтов. Практически речь идет прежде всего о предварительных уведомлениях о крупных военных учениях.

В январе — феврале этого года в Советском Союзе проводились военные учения «Кавказ». На маневры были приглашены наблюдатели из Болгарии, Румынии, Югославии, а также из двух стран — участниц Североатлантического блока: Греции и Турции. Представитель греческого правительства заявил, что «это является проявлением доброй воли Москвы в духе хельсинкского совещания». Высокую оценку приглашению дал министр обороны Великобритании Р. Мейсон: «Тегерь, когда Россия довела до сведения НАТО о своих предстоящих военных учениях и пригласила на них западных наблюдателей, сделан един-

ственный в своем роде первый шаг. Поэтому нужно признать, что сейчас предпринимаются очень большие усилия ради ослабления напряженности в отношениях между самыми могущественными в мире военными союзами».

Однако со стороны НАТО эти «большие усилия» еще заставляют себя ждать. В заключительных документах и коммюнике натовских заседаний стало за минувший год правилом отдавать дань конструктивным результатам совещания в Хельсинки. Выражается удовлетворение по поводу принятия Заключительного акта и готовность к его осуществлению. Высказывается «полная решимость» продолжать усилия в целях установления отношений с Советским Союзом и другими странами Варшавского Договора на более прочной основе. Но за всем этим неизменно следует обязательный внушительный список мероприятий «в целях увеличения военного потенциала» НАТО, которые весьма неподходящи для того, чтобы служить «более прочной основой» для развития отношений с Востоком, и не вписываются в ландшафт разрядки.

Видят ли это несоответствие в НАТО? Думается, видят. И все-таки продолжают противоречивую и двусмысленную политику. Видят и тем не менее продолжают предлагать общественности своих стран и другим государствам противоестественный, неосуществимый симбиоз ослабления напряженности и гонки вооружений. Традиционная зимняя сессия этого года в Брюсселе (первые натовские заседания после Хельсинки) «не приведет, — как заявлял министр обороны США Д. Рамсфельд, — к новым шагам по пути разрядки между Востоком и Западом. — И пояснял: — Это (разрядка. — В. К.) более широкий вопрос, чем тот, который обсуждается здесь».

В Хельсинки, однако, представители Запада мыслили достаточно широко, и притом категориями разрядки. Вместе с представителями Востока они высказались за уменьшение военного противостояния в Европе. Но за столом штаб-квартиры НАТО широта взгляда у западных деятелей исчезает. Тонет, растворяется в новых милитаристских программах, сменяется подстегиванием военных расходов и осуждением тех, кто хотел бы их сократить, попытками втягивания Франции назад в военную организацию блока, в сотрудничество с органами НАТО по производству вооружений, поисками «полной гаммы средств» для некоей «стратегии соразмерного ответного удара», как будто кто-то замышляет первым коварно ударить по НАТО. Но горизонты европейской политики, которые открылись в столице Финляндии, отнюдь не становятся уже, если их рассматривают сквозь призму натовского прицела...

Итак, военные арсеналы Запада не могут пожаловаться на пустоту. А как обстоит дело с духовными арсеналами? Не обольщаются ли на Западе способностью выступать «с позиции силы» и в вопросах гуманитарного, культурного обмена?

Приходится констатировать, что и здесь совершается подмен духа Хельсинки. Вместо того чтобы заниматься реализацией программы гуманитарного общения, иные культуртрегеры продолжают муссировать застарелые предубеждения, легенды о «несбалансированном, неэквивалентном обмене» и «закрытом обществе». Послушать их, так Советский Союз вот уже свыше полувека только и отгораживается от западной культуры и лишь на общеевропейском совещании и, конечно уж, под напором Запада согласился на культурный обмен. При этом утверждают, что согласиться-то согласился, а вот выполнять достигнутые договоренности боится, не хочет. Дезинформаторы сделали, кажется, все, дабы изобразить СССР должником Запада в сфере культурного общения. Что им до того, что Советский Союз сразу же после Хельсинки приступил к реализации гуманитарной, культурной программы встречи тридцати пяти. Уже через месяц после завершения совещания в Москве была проведена Международная выставка «Книга-75», в которой приняло участие свыше 500 фирм и организаций из более чем 40 государств. Сейчас развернулась подготовка к московской книжной выставке 1977 года. Что им до того, что Юрий Любимов поставил оперу Луиджи Ноно в миланском Ла Скала, а Акиро Куросава создал фильм «Дерсу Узала» по сценарию Юрия Нагибина, что советские и финские кинематографисты выпустили

совместный фильм «Доверие», что в полет по экранам США отправилась «Синяя птица», созданная совместно мастерами советского и американского кино. Что им до советских издательских планов, по которым в этом году будет издано общим тиражом свыше 60 миллионов экземпляров полторы тысячи произведений зарубежных авторов, переведенных с сорока языков. По инициативе Советского комитета за европейскую безопасность и сотрудничество подготавливается издание трехтомного сборника «Поэзия Европы», в котором каждое произведение будет опубликовано на языке оригинала и в переводах на различные языки народов нашего континента. Советский Союз предлагает государствам — партнерам по совещанию в Хельсинки предпринять совместные многосторонние издания, например серию «Европейский роман».

Дезинформаторы твердят свое: Советский Союз предпочитает больше давать, чем брать, он должен еще «погасить свою задолженность» в сфере межгосударственных культурных отношений. Факты, однако, не подтверждают превосходство западных стран в объемах культурного обмена. Например, книги Дж. Лондона изданы в СССР общим тиражом 30 миллионов экземпляров, В. Гюго — 25, Ч. Диккенса и О. Бальзака — по 24, М. Твена — 21, Э. Золя — 20, Ж. Верна — 19, Т. Драйзера — 18, Ги де Мопассана — 15, Дж. Голсуорси — 13 миллионов, то есть большими тиражами, чем в странах, где эти писатели родились.

За послевоенные годы в Советском Союзе издано примерно 15 тысяч названий книг американских, французских, английских и западногерманских авторов. Эти же четыре страны за указанный период выпустили в общей сложности не более 2500 названий книг русских и советских авторов.

Но, может быть, в других сферах духовного общения диспропорции не столь разительны?

Ежегодно Советский Союз покупает и запускает в массовый прокат 50—60 фильмов капиталистических стран. За последние два года на широком экране — по всей стране — демонстрировалось 14 новых французских фильмов, 10 американских, 7 итальянских, 3 английских, не считая купленных ранее картин. Советские же фильмы, приобретенные западными странами, на широкий экран практически не выпускались за исключением одного-двух.

В настоящее время в театрах Советского Союза идут спектакли, поставленные по 129 произведениям современных западных авторов. Пьесы же их советских коллег, идущие на западных сценах, можно буквально пересчитать по пальцам.

Факты — упрямая вещь, говорят в Англии. И вот уже Би-би-си занялась робкой самокритикой: «Совершенно верно, что в СССР, к примеру, издается больше современных западных романов и пьес, чем в любой западной стране современной советской литературы. То же самое относится к кино. В Москве нередко легче посмотреть западный фильм, чем в Лондоне советский».

Вряд ли кто возьмется оспаривать, что масштабы распространения русского языка на Западе существенно уступают тому размаху, с которым в СССР преподаются четыре наиболее распространенных европейских языка. 13 миллионов изучают их в советских школах и высших учебных заведениях, не говоря уж о других иностранных языках. А сколько изучающих русский язык, скажем, в Англии, США? В лучшем случае, в относительных цифрах, несколько десятков тысяч человек.

Обратимся попутно к некоторым данным двустороннего советско-американского обмена. США обладают, как считается на Западе, едва ли не самой мощной системой информации, способной, надо полагать, многое черпать из культурного богатства других стран и народов. Начиная с 1917 года в Америке опубликовано около 500 названий книг русских и советских авторов. За тот же период в Советском Союзе переведено и издано массовым тиражом (несравненно более значительным, чем в США) 6305 книг американских авторов.

За последние два года в широком кинопрокате США советские фильмы отсутствовали вообще. В советском же прокате постоянно находится 20—25 ки-

нокартин американских продюсеров. В театральных сезонах 1972—1973 годов американский зритель увидел 4 пьесы дореволюционных русских авторов и ни одной советской. На советской сцене в эти годы шло около 40 пьес американских драматургов.

По недавним подсчетам финского профессора Каарле Нурденстренга, который с 1972 года работает в ЮНЕСКО, изучая международное сотрудничество в области культуры, США и Западная Европа направляют в восточноевропейские социалистические страны ежегодно примерно трехтысячечасовой поток телевизионных передач, а сами берут лишь около тысячи часов. Западное «Евровидение» и восточноевропейское «Интервидение» обмениваются равными порциями информации, но первое предоставляет своим телезрителям лишь десятую долю того, что предлагает своим второе. Доля западных оригинальных телевизионных программ в вещании социалистических стран составляет примерно 10 процентов, а на телеэкранах Запада доля программ из социалистических государств измеряется двумя процентами — к такому выводу пришел состоявшийся в Финляндии международный семинар по проблемам информации. В его же материалах говорилось: «Объем информации, поступающей с Запада на Восток, не равнозначен объему сведений, поступающих с Востока на Запад, поскольку социалистические страны импортируют из капиталистических стран во много раз больше информации в самых разнообразных формах, чем капиталистические из социалистических».

Как видим, виновником диспропорций в культурных обменах является отнюдь не Советский Союз. И не ему, стало быть, надо выравнивать баланс.

Советский Союз считает, что совещание в Хельсинки открывает новые, весьма многообещающие горизонты в сфере гуманитарных обменов. Не нам бояться «культурного давления» Запада, «проникновения» его культуры. Было бы качество! А вот его-то как раз и не хватает подчас той духовной продукции, которую предлагают капиталистические страны. И если Советский Союз посылает в другие страны истинный цвет своей культуры и искусства, то он хочет рассчитывать на взаимность, на подлинно эквивалентный обмен. И никто не может отказать ему в праве избавить своих читателей и зрителей от иных образчиков так называемой массовой культуры, которые не очень-то благосклонно встречаются и на самом Западе.

Демонстрация последнего фильма Пазолини «120 дней Содома» была запрещена в Италии и Франции, в ряде городов ФРГ. Что ж, естественно и законно право общества защищать принципы элементарной морали, ограждать себя от того, что может разрушающе подействовать на сознание и поведение людей, особенно молодежи. Но почему же иные сторонники культурного обмена считают возможным отказывать другим в том, что они практикуют сами?

Американский журнал «Ю. С. Ньюс энд Уорлд рипорт» задал как-то директору Информационного агентства США Джеймсу Кио такой вопрос: «Порой складывается впечатление, будто мы экспортируем поп-культуру, рок-н-ролл, джинсы, ковбойские фильмы и безалкогольные напитки. Принимают ли нас всерьез как страну искусства и культуры?» Как видим, щепетильность в этих вопросах проявляет не один Советский Союз. И если такую щепетильность будут проявлять все, то это пойдет только на пользу широкому международному культурному обмену.

На Западе можно наблюдать прелюбопытнейшую, не лишённую пикантности картину: те, кто рьяно обвиняет других в несоблюдении правил и норм «свободного» культурного обмена, сами или бесцеременно навязывают друг другу свою культурную продукцию, или же возводят друг против друга всевозможные баррикады.

Боссы американской пропаганды (в США производится, по некоторым данным, 65 процентов всей информации, распространяемой в мире) свою, американскую дверь приоткрывают лишь на маленькую щелку: доля информации иностранного производства, распространяемой в США, составляет... 3 процента.

Зато сквозь французскую дверь, как отмечал не так давно парижский журнал «Монд дипломатик», «веет в издательском мире сильный ветер американизма». «В научной сфере господствует английский язык», совершается «культурное насилие», «американский образ мысли изо дня в день завоевывает все новые позиции». «Проиграть «битву против джинсов», — как сказал бывший министр иностранных дел Мишель Жюбер, — это значит отказаться от культурной, экономической и политической самостоятельности. Мы уже имеем евродоллары. Если мы не встрепенемся, а это необходимо, мы вскоре превратимся в евrorиканцев, поскольку в атлантической метрополии принадлежность к галлориканцам будет рассматриваться как чересчур «локальное» явление».

Во Франции появился закон об «обогащении французского языка». Он запрещает употребление около пятисот английских слов и выражений и предписывает использовать во многих сферах, в том числе в передачах радио и телевидения, исключительно французские слова и выражения. Французская академия собирается изгнать из французского языка все англицизмы, составив «черный список» нежелательных слов.

Канадскому парламенту приходится принимать правительственный законопроект об отмене налоговых льгот канадским изданиям американских журналов «Тайм» и «Ридерс дайджест», если те откажутся посвящать 80 процентов публикуемых ими материалов стране, где они распространяются. В настоящее же время «в международных обзорах журнала «Тайм» Канаде, — как полагает ее бывший премьер-министр Дж. Дифенбейкер, — отводится не большая роль, чем какой-либо маленькой банановой республике». Нынешний премьер-министр Канады Пьер Трюдо также открыто говорит о «культурном засилье США» в его стране. В кинотеатрах едва ли не полностью господствуют американские фильмы. Монополия в эфире также захвачена Вашингтоном, и правительству Канады не остается ничего другого, как предписывать радио- и телевизионным компаниям посвящать 30—50 процентов времени вещания продукции канадских авторов.

Об ограждении своих национальных интересов вынуждены так или иначе задумываться все, к чьим границам подступает поток «свободной» информации. Правительство Исландии в переговорах с США о статусе американской военной базы в Кефлавике добилося того, чтобы оградить свою столицу Рейкьявик от влияния телевизионных передач с этой базы. Требование Исландии было обосновано тем, что американское телевидение способствует нежелательной американизации жизни и разрушает исландские культурные ценности.

Надо полагать, что и в других странах задумываются над возможными последствиями «культурной» экспансии. В Западной Европе примерно треть телевизионных программ заокеанского происхождения. Не многовато ли «американизма» для стран, обладающих самобытной, богатой, идущей из глубин веков культурой? Разумеется, соотношение своего и чужого — внутреннее дело каждого государства. Что касается Советского Союза и других социалистических стран, то они при всей тяге к культурному общению с другими народами не склонны допускать в этом общении очевидных диспропорций. При этом социалистические страны думают далеко не только о себе. В принципе выступая за суверенное равенство и полную самостоятельность всех государств в мировой политике, за демократизацию международных отношений, социалистические страны убеждены в необходимости возведения непреодолимых барьеров на пути таких влияний, в том числе и идеологических, которые одни государства ставят в привилегированное положение, а другие в зависимое. Когда нет возможности навязать прямое господство, возникает искушение прибегнуть к методам духовного закабаления. В особенно невыгодную ситуацию попадают при этом малые страны, составляющие, кстати, основную массу государств в Европе. Некоторые из них оказываются безоружными перед лицом тех, кто обладает мощными информационными агентствами, радио- и телевизионными станциями, полиграфическими базами и кинопромышленностью.

Кто больше всего печется о «свободном обмене информацией и идеями»? Как раз те, кто способен насаждать «информационный империализм». Президент

Финляндии Урхо Калева Кекконен говорил по этому поводу, что «глашатаи беспрепятственной информации служат не делу равенства между народами, а находятся на стороне более сильного и состоятельного. Все более широкие общественные круги обращают внимание на то, что чисто либеральная свобода средств массовой информации в повседневной действительности является не нейтральным идеалом, а попыткой тех, кто обладает большими возможностями, утвердить свою духовную гегемонию над более слабыми».

Советский Союз считает свои идеалы, духовные ценности и моральные категории заслуживающими самого широкого распространения. Но он далек от того, чтобы навязывать их кому бы то ни было. Подлинно великие идеи овладевают умами, потому что благородны, гуманны, отвечают жизненным потребностям человека, созвучны его духовным запросам и устремлениям. И напрасно некоторые органы буржуазной печати все еще пишут о «подрывной красной пропаганде»: Советский Союз считает, что любой народ может вполне самостоятельно остановить свой выбор на тех идеях, которые ему покажутся более привлекательными. В конце концов в соревновании и споре идей верховным арбитром выступает история...

Итак, Европа отмечает первую годовщину общеевропейского совещания. Что, казалось бы, значит этот первый его юбилей в сравнении с великими вехами многовековой истории Старого Света? И все-таки он значит много, очень много. Этот год — переломный, знаменательный, исторический.

Сколько помнит себя Европа, столько ищет она путей и способов предотвращения конфликтов, военных катастроф, нескончаемых споров из-за границ, которые казались многим поколениям европейцев неизбежным злом, чуть ли не естественным состоянием.

История знает немало претендентов на господство в Европе — римские императоры, Фридрих II, Людовик XIV, Наполеон, Бисмарк, Вильгельм II, наконец Гитлер с его сумасбродной идеей «нового порядка». И все они хотели, по выражению Бисмарка, управлять Европой, «как кучер лошадьми».

Известны десятки различных доктрин и концепций, с помощью которых надеялись обеспечить европейский мирный порядок. Тут и концепции «естественных границ» (то есть по рекам, горным хребтам и другим природным рубежам), теории «равновесия сил» и «вооруженного мира», доктрины «европейского концерта» великих держав или преобладающей роли одной из них.

Известны и крупные европейские конгрессы, которые в западной печати поминали в качестве неких исторических предшественников общеевропейского совещания. Но для него прецедентов не было и нет. Целью Венского конгресса (1814—1815), в котором участвовало свыше двухсот представителей всех европейских государств за исключением Турции, были передел Европы и удовлетворение территориальных притязаний победителей Наполеона. Берлинский конгресс 1878 года перекраивал территории малых стран в угоду великим державам. В 1919 году в Версале дипломаты погрязли в спорах о границах, кромсали и делили европейскую землю, а заодно выковывали планы вооруженной интервенции против Советской России.

То были встречи победителей и побежденных. Противоречия между ними оставались и вели поэтому к образованию новых военно-политических блоков и коалиций, которые несли в себе зародыш новых конфликтов, лицемерно именуясь «системами безопасности».

Это уже далекое прошлое. А вот недавнее: «холодная война», которой, казалось, не видно конца; доктрина «оттеснения и отбрасывания коммунизма»; изнурительная и лихорадочная конфронтация из-за Западного Берлина; безрассудные территориальные претензии западногерманских реваншистов; военный психоз милитаристских кругов НАТО; планы ядерного вооружения бундесвера.

Реакционным кругам США, которые воспользовались послевоенным малокровием западноевропейских партнеров, Европа виделась «американизированной», живущей на подачки «плана Маршалла», под эгидой НАТО. Аденауэр рассматривал континент сквозь реваншистские очки. Штраус обнаруживал экспансионизм

стский «проект для Европы». Как признал в мемуарах Джордж Кеннан, на рубеже 40-х и 50-х годов в госдепартаменте США серьезно верили в возможность «передвижки» границ НАТО как можно дальше на восток. Было отчего опасаться за будущее Европы...

Много проектов «вечного мира» было погребено за долгую европейскую историю под орудийные залпы войн и конфликтов. Но одна мирная идея выжила, утвердилось. И она побеждает. Идея общеевропейской коллективной безопасности, которую вот уже свыше полувека отстаивает Советский Союз.

В Хельсинки собралась вся Европа. Социалистическая и капиталистическая. Державы великие и малые. И вся она нашла общий язык, которым написан Заключительный акт. Отныне Европа живет и будет жить по законам, сформулированным в этом мирном «кодексе поведения». Европейский инкубатор конфликтов превращается в лабораторию мирного сосуществования, разрядки, сотрудничества. И в этом уникальный характер, историческое значение общеевропейского совещания, инициативы Советского Союза и других социалистических государств, которая привела европейские народы к этому форуму.

«Результаты совещания, — говорил с трибуны XXV съезда КПСС Леонид Ильич Брежнев, — во многом обращены в будущее. Намечены перспективы мирного сотрудничества в целом ряде областей — экономике, науке и технике, культуре и информации, в развитии контактов между людьми. Определены и некоторые другие меры по укреплению доверия между государствами, в том числе и в военной области. Главное теперь — претворять в практические дела все принципы и договоренности, согласованные в Хельсинки. Советский Союз действует и будет впредь действовать именно таким образом».

Главное, что может сделать Европа для человечества, — стать континентом прочного мира и надежной безопасности.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

И. ГРИНБЕРГ



ТРУДЫ И ДНИ СТИХА

С тихи, рождающие ответное душевное движение... Оставшись наедине с ними, так ясно чувствуешь мысль и настроение, в них воплощенные, своеобычность облика их создателя, свежесть найденных им образных доказательств. Поэт — конечно, если он достоин своего высокого назначения — вводит читателя в точно очерченный круг представлений, мотивов, связей, соотносимых с многосторонней изменяющейся действительностью. Неотъемлемой ее частью оказывается и сама литература, ее развитие, становление.

Находясь в одних и тех же обстоятельствах времени и места, поэты, объединенные общим делом, не повторяют один другого, и образные миры, ими созданные, движутся по своим орбитам. И вместе с тем они отнюдь не взаимобезразличны, между ними возникает притяжение и отталкивание, они дополняют и оспаривают друг друга. Так рождается единство, противоречивое и динамичное. Рождается представление об общем состоянии поэзии в ее наиболее существенных чертах, свойствах, устремлениях.

«День поэзии 1975» открыт стихами Николая Тихонова, работающего в литературе более шести десятилетий. И в этом же ежегоднике — племя «младое, незнакомое», только еще пробующее свои голоса, свои возможности. Трогает не столько синхронность, «одновременность» творческих действий, сколько их общность. Видишь, что линии связи, соединяющие поэтов различных поколений и склонностей, необычайно многочисленны и разветвлены.

Это поэзия 70-х годов. Пока еще не прозвучали слова, с достаточной основательностью определяющие ее отличительные черты. В том нет ничего удивительного: мы находимся еще «внутри» 70-х, нам не просто

окинуть их взглядом, дать развернутые оценки, подвести хотя бы предварительные итоги. И все-таки...

1. ДРУЗЬЯ-ОДНОПОЛЧАНЕ

Наступаю, отхожу и рушу
Все, что было сделано не так.
Переформируюваю душу
Для грядущих маршей и атак.

Александр Межиров.

В поэзии продолжает жить Отечественная война, оставившая неизгладимый след в человеческих душах. Стихи того же Николая Тихонова, участника четырех войн, доносят до сегодняшних дней страстное желание освободителей Европы, советских солдат, оставивших надписи на стенах рейхстага, «чтоб знали люди будущих времен, что подвиг сей, свершенный всеми ими, во имя человечества свершен». А Юрий Кузнецов, чье имя лишь недавно стало известно читателю, рассказывает о сверстнике, отправившемся на поиски отцовской могилы, и юноша возвращается из тех опаленных огнем мест к родному крыльцу, неся в сердце тени погибших солдат, — баллада реальная и вместе с тем волшебная, она как бы переносит в наши дни то, что длилось «полчасика и тридцать лет» назад.

Поэты, чья молодость была отдана Отечественной войне, к которой они готовили свой стих, свою судьбу, и оказались достойны своих идеалов... В представлении читателей (и в своем собственном) они так и остаются фронтовым поколением. В истории поэзии трудно найти ровесников, так крепко спаянных между собою, так остро, четко осознающих свою близость и дорожащих ею.

Общность немало не ослабила ни своеобразия поэтов, ни их способности по-разному воспринимать, осваивать движение времени. Уже в первых военных стихах Михаила Дудина и Михаила Луконина, Семена Гудзенко и Юлии Друниной, Александра Межирова и Сергея Орлова отчетливо обозначились зерна самобытных поэтических индивидуальностей; теперь, на мирных дорогах, в строительную пору, они сказались с особой настойчивостью, получая опору в новых впечатлениях и переживаниях, приводящих в движении все новые душевные силы.

Перечитываю Михаила Луконина. Даже в тех случаях, когда поэт упоминает прямо о той войне или когда читатель слушает сегодняшней гневный рассказ о пылающих джунглях и «обугленной границе» или объяснение в любви к Сванетии, где торжествует «правдивость добрых сванов», ясно различима нить, тянущаяся к сорок первому, к той минуте, когда озарилось: «...жизнь сверх меры — празднество и мука». Это высокотемпературное ощущение неизменно присутствует в лучших стихах Луконина.

Признание Юлии Друниной: «Это правда, что лучшими годами заплатила я дань войне». И еще: «Долги мне отданы, все сторицей воздалось мне». Воздалось и человеческим счастьем, и гражданским достоинством, и поэтическим вдохновением. Как раз годы, отданные войне, и позволяют сейчас ввести в стих «отблеск зарев, колыханье дыма» и в нем увидеть умирающую девочку-санитарку, шепчущую: «Я еще, ребята, не жила». Или рассказать о странной фронтальной новогодней елке — «не игрушки на ней, а натертые гильзы блестели»... Конечно же, чувства и помыслы военных лет здесь пропущены через последующий опыт поэта...

Танкист Сергей Орлов смог сквозь малую смотровую щель с берегов Невы увидеть «предместья Вены и Берлина», и эта «дальнорочность», преодолевающая не только пространственные, но и временные дали, заявляет о себе в его стихах, посвященных прошлому и настоящему, историческим закономерностям и человеческим страстям.

Молодой офицер, глядя на звезду, чей луч лежал «на башнях громобойных», думал о том, что этот свет сиял, быть может, и войскам на поле Куликовом. Поэт сопрягает события и судьбы различных жизненных рядов. Он глядит словно в бинокль через годы на метельный февральский Псков и

первых красноармейцев, защитников революционного Петрограда. Он представляет себе, как в будущем «победу девятого мая отпразднуют люди без слез», и гордится, однако же, тем, что «мы-то доподлинно знаем», какою была наша страна «девятого мая с утра в сорок пятом году». Он вводит в стихи Гарсия Лорку, его безвестную могилу, зная, что «праведный суд и не скорый» над его убийцами обязательно свершится, ибо «никому не обходится даром убийство поэта».

Орлов заметил однажды, что в лирической поэзии «неоглядное пространство концентрируется в одной емкости, которая суть душа человеческая, а времена давно прошедшие и само будущее существуют вполне реально и зримо в одном времени — в настоящем, в сегодняшнем дне». Зная, как пишет поэт, произнесши эти строки, мы могли бы их считать автохарактеристикой. Однако они взяты из предисловия к книге Михаила Дудина и очень верно определяют самую суть его творчества. Поражаться этому не приходится: чем решительнее и настойчивее следуют поэты общему для них принципу сосредоточенного, страстного постижения жизни, тем больше у каждого из них возможностей для создания образов, освещавших глубины человеческого сердца и общественного бытия.

Так и Дудин, пройдя по дорогам военных и мирных лет, сберег ценнейшее — умение каждый раз воспринимать мир как бы обновленным, требующим неожиданных, ранее не применявшихся обозначений. Дудин находит эти свежие краски. В цикле «Утро в окнах» поэт увидел, как «в мелкании малых пылинок» возникает «неземных полюсов поединок, обоюдная схватка страстей». Эта «космическая» характеристика, жаркая по своему накалу, относится не столько к весенним приметам, уловленным поэтом, сколько к его душевному состоянию. При этом стихи Дудина полны «подробностей» бытия. Запечатленная красота природы предупреждает, зовет себе на помощь человека; это «весь мир, который ждет твоей от самого тебя защиты». Необразимость просторов напоминает о той неизвестности, что таится за еще не взятой горной вершиной, «куда подняться надо».

«Таится» сказано здесь к месту. Дудин и в самом деле склонен к исследованию, постижению еще неизвестного. Слова «и как разгадку всех загадок я тайну сам в себе несу» можно считать ключевыми. Они имеют

двойкий смысл: рядом со сложностями, так сказать, объективными, скрытыми в окружающем мире, существуют и сложности души самого поэта. Полнота жизни ума и сердца несет в себе, обещает разгадку тех загадок, что предлагает окружающее.

Этому фронтовому поколению и в самом деле приходилось отвечать на весьма и весьма нелегкие вопросы времени. Вновь и вновь сказывается приобретенное в годы войны умение ценить действительность, быть смелым, неутомимым в ее познании. Это родовая черта поколения.

Борис Слуцкий — поэт, исключительно дорожащий достоверностью стихового слова, заботящийся о расширении его пределов. Он не боится опасной для поэзии очерковости, репортажности. Мы читаем о том, как «старухи нашего микрорайона с упоением» слушают по радио «жаркое Сахар дыханье и обвалов Гималайских гром». Не о пустом любопытстве здесь надобно толковать: ведь грозные вихри крутятся «над страной Индией, где трудятся три семьи из нашего квартала»... В ненароком упомянутой подробности сразу проступает характерная черта времени, протягивается нить к большому миру, которому предан безраздельно сам поэт. О том свидетельствует и картина ночной Москвы, над которой «полным ходом, голосом полным трубы вечности ночью трубят»; и воспоминания о том, как «фронт проходил по Гжатскому району», когда там рос маленький Юра Гагарин, и, следовательно, от каждого солдата, сражавшегося в тех краях, зависела судьба будущего космического полета. Нет, не напрасно закликает поэт: «Вдохновенье! Средь бела дня найди меня, найди меня, найди меня!» Оно, без сомнения, должно присутствовать, присутствует в самых точных, насыщенных реальными наблюдениями, как бы документальных строфах. А питательная почва поэзии Слуцкого очевидна: внимательно присматриваясь к окружающему, он, как и многие поэты его поколения, несет в сердце фронтовое прошлое, прочно и по-своему входящее в нынешние наблюдения и раздумья. «Моя война еще стреляет рядом», — сказал как-то Слуцкий и словно «расшифровал» этот образ в стихотворении «Школа войны»:

Жизни, смерти, счастья, боли
я не понял бы вполне,
если б не учеба в поле,
не уроки на войне.

Память о войне становится живой образностью, сосредоточиваясь в сердцах поэтов, точнее — в поэтических характерах. В стихотворении, открывающем цикл «Стороны света», Максим Танк предлагает тому, кто намерен усвоить белорусскую речь, изучать ее не по канонам грамматики, не по словарям, не по вывескам, наконец, а «по испытанным письмам колодцев, дорог, тропинок». И далее разворачивается длинная череда тех реальных вещей, судеб, явлений, которые в совокупности своей и могут дать представление о том, что есть и белорусская речь и стоящая за нею современная жизнь белорусского народа. Здесь сказано о «тишине, чуть слышно звенящей над пепелищами нашей Хатыни», и о «колыбельной песне, звучащей и в сумерки и в час полночного звездопада», о «кукушкиной ворожке» и о «сиянии минских огней» и еще о многом другом... Когда поэту удастся слить, пропитать единым настроением все звенья составленного им ряда, возникает целостный образ, в котором ярко обнаруживает себя и сам лирический герой. Живое тепло человеческих рук, о котором пишет Танк, не только замыкает ряд, составленный письменами жизни, но и оказывается ее движущей силою — ведь «эти руки умело сжимали оружие, поражая врага, эти руки надежным друзьям раскрывают объятья».

Участник боев и походов, он узнал цену и горечи и радости человеческой. Глубинные истины не даются даром. И Танк рассказывает о том, как он искал

...долго и упорно —
Учился добывать из отчей почвы
Насущный хлеб и терпкое вино,
Из хлеба и вина — улыбку дружбы.
Из дружбы может вырасти любовь,
А из любви — поэзия.

Взаимозависимость материальных и духовных величин здесь намечена прихотливо и вместе с тем точно. Поэтическое мышление допускает отступление от бытового правдоподобия, но зато освещает связи тонкие и потаенные. Потому тут возможны решения непредвиденные и внезапные.

Уверенное владение разнородными фактами и творческая смелость имеют своим следствием неожиданные образные решения. В то время, когда в нашей поэзии прочно утвердился лирический строй стиха с его непосредственностью, сердечностью, с готовностью к признаниям и изливаниям, с открытым вмешательством поэта во все, что

он изображает, воплощает, когда эта мощная волна проникла и в поэмы, оттеняя, высвечивая связь происходящего с личностью художника, — именно в это время Давид Самойлов выступил с произведениями, в которых господствует повествовательный склад стиховой речи. Поэме «Ближние страны» он лал подзаголовок «Записки в стихах», чем отметил и достоверность ее, и близость к одному из прозаических жанров. Близость эту, однако, нужно считать относительной. Правда, отдельным строфам придана видимость «описаний»: «Дом был пустой. Дом просторный. Покрыт черепицей. Двор квадратный. Сарай. Хлева». Однако же в общем течении поэмы, в сочетании ее отдельных разделов, в ритмическом рисунке, в напряженности синтаксиса, во внезапно вторгающихся головокружительных образах («Потянулись вагоны сквозь память — раны старые вновь бередить») ясно видна логика поэтической выразительности. Да, Самойлов рассказывает, но это рассказ поэта...

То же можно сказать и о «недостоверной повести» Д. Самойлова (опять-таки демонстративное определение жанра) «Струфиан», недавно опубликованной. «Недостоверная» — это еще мягко сказано, перед нами произведение совершенно фантастическое. Ноябрьским вечером 1825 года в саду перед таганрогской резиденцией императора Александра I сведены лицом к лицу сам венценосец, генерал Дибич, местный обыватель Федор Кузьмин и... некие инопланетные существа, прилетевшие на «крылатом струфиане». Откровенная дерзость этой выдумки, имеющей отчасти даже пародийное звучание, однако же, не может скрыть от читателя исторической реальности всех основных мотивов «повести». Вполне достоверны и Александр I со своими беспокойными мыслями о будущем, и Федор с его трактатом «Благое намеренье об исправленье Империи Российской». Остро ощущимо приближение тех трагических часов, о которых в поэме сказано кратко, но внятно: «Попыхивало на Сенатской четырнадцатым декабря».

Дума о России пушкинской, декабристской, воодушевленной освободительными идеями, живет в поэзии Д. Самойлова. И вот что важно: когда в стихотворении «Дельвиг» поэт восстанавливает облик еще сдого лицеиста, еще одного поэта, в стихах которого «не зря хранится идеал, принадлежащий поколению», мы чувствуем:

здесь произнесено слово, драгоценное для людей нашего века, для соратников, также объединенных дружбой, боевой и литературной, дружбой, нисколько не отделяющей, не отграничивающей ровесников от окружающего мира, от предшественников и от продолжателей, а, напротив, побуждающей к деятельному общению с ними.

С заключительных страниц несравненной «Книги про бойца» Александра Твардовского к нам пришел он, «освободитель, набок шапка со звездой», — образ, воплотивший судьбу и умонастроение великого множества людей, добывших победу, которая обозначила новый период развития и нашей родины и всего человечества. У тех, кто прошел такой путь, чувство творимой истории естественно стало органической частью их личности, их душевной жизни, у художников — неотъемлемым свойством их творчества.

Поэты, выросшие на войне и воспитанные ею, оказались отлично подготовленными к постижению мирных дней. И хотя переход к созиданию был непросто — о том свидетельствуют многие стихи молодых фронтовиков, написанные сразу после окончания войны, — сама напряженность раздумий и переживаний той поры способствовала укреплению поэтических характеров. И сейчас в стихах 70-х годов дают себя знать качества, впервые проявившиеся тридцать — тридцать пять лет назад, — смелость и выдержка, умение дорожить завоеваниями революции и чувствовать себя в ответе за грядущее, сохранять твердость духа и быть настоящим человеком в самые трудные часы.

II. ЗАБОТЫ И РАДОСТИ СВЕРСТНИКОВ

...Ты наших поколений
Стань домом, словом, силою
Больших преодолений.

Владимир Соколов.

Может показаться, так ли уж важно, что поэт такой-то питает симпатию к поэту такому-то? Не относится ли это скорее к области литературного быта? Но вспомним великое наследие Пушкина, в котором такое приметное место занимают послания к собратьям по перу. Вспомним и современное — стихи Есенина, посвященные грузинским поэтам, симоновское «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины», обращенное к Алексею Суркову, вспомним написанные

Ярославом Смеляковым стихотворные портреты — «Анна Ахматова», «Павел Антокольский», «Михаилу Светлову», «Борис Корнилов», «Ксения Некрасова», «Алексей Фатьянов»... Стихотворение Кайсына Кулиева «Поэт и горы», посвященное Николаю Тихонову: с нежностью обращается поэт, выросший в Чегемском ущелье, к поэту, двумя десятилетиями ранее родившемуся на берегах Невы, их объединяет воинская судьба и мужество, любовь к горам и понимание высокого назначения стиха. Стихотворение это и сугубо личный, «интимный» документ, и программа действий большого общественного смысла.

В литературных воспоминаниях не однажды рассказано о том, как вернувшиеся с фронта молодые поэты были дружелюбно встречены их старшими товарищами, имевшими немалый творческий опыт, полученный в 20-х и 30-х годах. Прошло еще десять—пятнадцать лет с той поры — и внятно зазвучали голоса тех, для кого военные годы были порой отрочества, и уже они на грани 50—60-х годов стали предметом чуткого внимания искушенных мастеров, державших в сердце добрую истину: «Учитель, воспитай ученика!»

Михаил Дудин как-то сказал, имея в виду своих ровесников, о готовности передать «стафету мужества от сердца нашего поколения тем, кто идет следом за нами, кому предстоят более сложные и трудные дороги к вершине человеческого совершенства». Примечательно, что поэт, имеющий за плечами нелегкую воинскую судьбу, предрекал младшим братьям, вырвавшимся в мирные дни, большие и ответственные труды. И он был прав...

Сейчас для этих младших братьев настала «сорокалетья строгая пора». Пожалуй, ни одно из поколений поэтов XX столетия не вызывало таких ожесточенных споров в критике с противопоставлением дарований «деревенских» и «городских», «традиционалистов» и «экспериментаторов», «интеллектуальных» и «почвенных», как эти «сорокалетние». Время показало, однако, насколько поверхностными и насильственными были иные подразделения и, что особенно досадно, противопоставления, с мрачной предвзятостью истолковывавшие естественное несходство интересов и склонностей поэтов, пристрастие к тому или иному складу стиха. Несходство, как и следовало ожидать, не исчезло, а укрепилось, обогатилось с большей четкостью, его уже не-

возможно считать какой-то случайной и досадной разногласицей, в нем надобно видеть проявление своеобразия поэтических индивидуальностей.

И вот уже критик Л. Аннинский, с таким увлечением классифицирующий таланты и этапы их развития, называет теперь поряд «послевоенных мечтателей из стихов Фирсова — Евтушенко — Вознесенского — Соколова» «с их ассоциативно-публицистическим буйством и криками души», на сей раз противопоставляя их — обязательно противопоставляя, как же иначе! — молодым «семидесятникам». О том, как соотносятся эти два поколения, еще пойдет речь. Пока же усомнимся в необходимости такого полярного сближения, пожалуй, переходящего в обезличивание поэтов-ровесников. Развитие поэзии, напротив, усилило, проявило особенные черты каждого из них: шло становление характеров!

Так оно бывало и прежде. Вспомним, как разошлись пути бывших конструктивистов Багрицкого, Инбер, Луговского, Сельвинского, как отчетливее и отчетливее становилась несхожесть поэтов, одно время обязательно упоминавшихся рядом, — Твардовского, Исаковского, Суркова. Взаимоотяготение поэтов фронтового поколения неоспоримо, но мы имели возможность убедиться в том, что каждый из них — личность!

Так произошло и на этот раз. Кто же станет теперь толковать об однородности «урбанистических» стихов Беллы Ахмадулиной, Евгения Евтушенко, Андрея Вознесенского или «деревенских» стихов Ольги Фокиной, Владимира Цыбина, Владимира Гордейчева. Составление подобных «обойм», несостоятельность и нарочитость которых, как мне представляется, убедительно показал Ал. Михайлов в статье «Ритмы семидесятых» («Новый мир», 1976, № 3), нередко сопровождалось предпочтением одной группы поэтов и категорическим отвержением другой.

Как и можно предполагать, подобная «методология» отвергнута и большей частью нашей критики и самими поэтами. Здесь приходит на память стихотворение того же Гордейчева, рассказывающее о футбольной команде Литературного института, в которой дружно, заодно выступали Егор Полянский, Евгений Евтушенко, Владимир Цыбин и сам автор. Строфы эти, конечно, не только воспоминание, но и призыв к совместным действиям.

В самом деле, почему, к примеру, читатель должен выступать в роли Париса, отдающего яблоко предпочтения либо «столличной» Ахмадулиной, либо северянке Фокиной?! Без сомнения, Фокина не произнесет нечто подобное строкам Ахмадулиной: «Пав неминуемой рысью с ветвей, вцепится слово в загривок предмета». Ахмадулина не скажет, как Фокина: «Был у меня соколонько, весел да ясноглаз. Там, где иному — полынья, этому — мост и наст». Но что ж из этого! Порадуемся тому, что мы слышим два звонких и сильных голоса, звучащих каждый на свой лад и трогающих, как говорили в старину, различные струны нашего сердца.

Для Ольги Фокиной деревенская жизнь не только родная среда, воссоздаваемая в ее реальной поэтичности, повседневном обаянии, но также источник смелых мечтаний и высоких порывов. Выбегая из темных сеней в ветреное поле, поднимая взгляд от лужи, в которой плещется звезда, она заявляет свои права «на звездность, на высь, на бездонность», и этот взлет души сразу освобождает, окрыляет ее, позволяет проникнуть в недра жизни. Она знает: «Тайная глубина не ограничена». Но и это знание не удовлетворяет поэта. Фокина полна тревожного ожидания. Сладив простенький костер для обогрева, чтоб обсушиться после дождя, она делится своими предчувствиями: «...что-то еще непременно сбудется и не закончится день остерком». И это сочетание привычного, обиходного с неизвестным, надвигающимся дорогое стоит.

А у Ахмадулиной свои тревоги. Она строга к себе и, судя по многим признакам, не склонна мириться с собственными слабостями. В ее стихах все больше внимания к тем, кто рядом с нею, вживание в их души и судьбы, в нравственный мир встретившихся и полюбившихся людей. С какой ласковой зоркостью воспроизведем, к примеру, облик восемнадцатилетней девушки, пишущей стихи и пришедшей за советом, как тщательно подобраны слова, позволяющие читателю с возможно большей рельефностью представить себе младшую подругу поэта. «Многоугольник скул, локтей, колен. Надменность, угловатость и косматость. Все чудно в ней: и доблесть худобы, и рыцарский какой-то блеск во взгляде, и смуглый лоб»... Право же, подобное соединение пластичности наружной и душевной на пользу стихам Ахмадулиной, вытесняет из них томность и даже некоторую жеманство, сковывавшие те-

чение чувств, движение мыслей. И потому ее торжественно произнесенные слова: «День жизни, как живое существо, стоит и ждет участия моего, и воздух дня мне кажется целебным» — воспринимаются как естественное движение души, подтверждаемое новыми и новыми открытиями в полуденной людской гуще и в полуночном уединении.

Новелла Матвеева к 70-м изменилась, пожалуй, больше, чем ее ровесницы. Нет, она не отказалась от взлетов воображения, от забавных выдумок, от парадоксальных сближений, но нынче они имеют иное назначение — помогают Матвеевой в ее аналитических изысканиях, в поэтических исследованиях и размышлениях. Особенно когда Матвеева ведет речь о высоких правах и обязанностях искусства. Она уверена в том, что поэт «призван небом слов, как Зевс, распорядиться. Он двигатель идей... Он — боль и ненависть, надежда и прогноз». Книга для Матвеевой — реальное, жизненное дело. Вот она идет вслед «за Брейгелем-старшим, за Брейгелем неумолимым», чьи «отношения с вечной бессмертной Гармонией — сложны», и мы видим: в произведении искусства для Матвеевой дорого прежде всего непрекращающееся участие в человеческих делах, способность вооружать новые и новые поколения людей образами, опровергающими ложь и громящими социальное зло. В подобном почитании и возвеличении полотен, симфоний, книг нет ни камерности, ни книжности. Поэту известно, как прекрасна опера, но... «но первая песня — за нищим, но первая — за гондольером, за бледной швеей, за старухой, качающей колыбель».

Стихов о творчестве и связи его с жизнью от Матвеевой потребовало становление ее поэтической индивидуальности. Она не побоялась быть серьезной и была вознаграждена за свою отвагу. Ее стихи призывают не только к улыбке, но и к раздумьям.

Новелла Матвеева идет от поэтических образов к тем жизненным связям, которые их питают. А Римма Казакова движется встречным путем: от жизненных фактов к смыслу, сокрытому в них. «На высохших дорогах Пакистана я снова жизнь свою перелистала», — рассказывает она. И еще: «...в степи Голодной вдруг открылось мне... что не хватает и моей весне желанья вспахать, засеять поле». Эта готовность превращать путевые впечатления в опорные точки нравственного поиска стала предметней-

шим свойством стихов Казаковой и идет ей впрок. Из Голодной степи она привезла уверенность: «...голодом к работе победим извечный голод и души, и тела». Остро прорисовывается облик лирической героини, которой всего дороже «доброта и сила» умелых, вдохновенных рук, из их усилий нарождается и «слово прочное, как дело».

Способность не только собирать факты, но и оценивать их по истинному достоинству многое значит в поэтическом творчестве. Егор Исаев, выступая в дискуссии на страницах «Вопросов литературы», резонно заметил: «Город наш, по сути,— полевой, и поле наше, по сути,— городское». И приводя беседу двух людей, из которых один сетовал на то, что асфальт отсырел после дождя, а другой радовался влаге, нужной озимым всходам, заключил: «Кто из них больше горожанин? Конечно же второй! Он думал о чем-то большем, чем о сырости. Он думал о хлебе насущном!»

Конечно же, замечая лишь «сырость», невозможно быть поэтом, для этого необходимо думать о хлебе насущном, питающем и тело и дух — в единстве! А единство это добывается, завоевывается, поэтам приходится беречь, укреплять его, обретая свежие доводы, и обновление образной аргументации обычно оказывается приметной чертой творческих биографий.

Владимир Цыбин охотно вводит в свои строфы измерения и краски космического масштаба: «...сердце мое содрогнулось в груди, как сошедшая с орбиты своей планета...» — это о себе; землю так распирает весна, что «вот-вот и лопнут меридианы», — это о земном шаре. И при этом его лирического героя крепко держит родное, близкое сердцу и очам. В его стихах «обнялись вьюга с вьюгой, с вехой вежа, с далью даль и с эхом эхо, с тишью тишь, со следом след». И еще, еще длинной чередой: холмы, деревья, скирды, снега, тропы, гусиная тяга, ручьи, гроздь рябины, реактивные самолеты, летучие мыши, антенны, чистоводье синих рек, скрипучие ворота, мельницы, летящие на закат, песни, вишни и ивы, птичий свист и щебетня, легкая тень борозды — многоцветная движущаяся панорама, средоточием которой оказывается сам поэт, точнее его влюбленность в разномерные, разнородные частицы, звенья действительности. Кажется, поэту важнее всего выразить упоение жизнью, им владеющее, поделиться охватившими его чувствами, приобщить к ним тех, кто рядом с ним. Но не надо ду-

мать, что за вихревыми сцеплениями звуков, красок, запахов стоит только безоглядное растворение в материи органической и неорганической. Страсть поэта знает, чего хочет и может добиться:

Хочу во всем я тайного родства
с чужой душой, с травой, со снегом белым.
Сближаю неизбежные слова
и открываю даль за их пределом.

Новые дали обнаруживаются не только при движении в пространстве. Практика показывает, что путешествия бывают полезны только тем поэтам, которые переступают порог дома не с пустою душой. Поэт, соединяющий свои представления о жизни с новыми, свежими впечатлениями, создает путевой дневник, в котором картины действительности становятся частью его исповеди, а лирические «отступления» способствуют большей рельефности эпически-объективного изображения жизни.

Таковы, скажем, поэтические странствия Станислава Куняева. Читая его стихи о Карабахе, мы узнаем о том, как белеет Зангезур, «восстав из облачного мрака», и как течет по черным склонам гор тепло и влага. И одновременно о том, каким счастьем была для путника эта встреча со щедрым и строгим краем. В другом стихотворении протягивается «от Великой ГЭС до Усть-Илима вечных сосен черная гряда». И строки, отметившие величие сибирских строек и сибирской природы, объясняют ту настойчивость, с которой поэт ведет речь о необходимости беречь землю, ее первоизданную красоту.

В спокойной по видимости пластике стихов Куняева таится напряженность открыто, доверительно выраженных дум. Поэт пишет: «...мне повезло, что я глядел окрест, на лик земли, на человеечьи лица и сознавал, что мне не надоеет желанное призванье очевидца». Судьба и дело поэта постепенно все крепче и органичнее включаются в поток жизни, не растворяясь в нем бесследно, а, напротив, приобретая большую определенность и самостоятельность. И ты видишь, как пригодились поэту путешествия: с полным на то основанием он может быть доволен тем, что ездит, бродит по свету. «Двадцать лет. А скончания нет, и, наверно, славно, что нету».

Без сомнения, славно! Но вот Александр Кушнер выглядит завзятым домоседом. Опять и опять встает в его стихах великолепный, несравненный Ленинград. Возвра-

щается поэт в родной город преимущественно из... пригорода. Место действия его стихов зачастую квартиры, дворы, переулки — исхоженные, знакомые, воспетые... Но происходит чудо обновления: перечисляя вещи уже как бы незамечаемые, ставшие непремленной частью повседневного обихода — «едкий дымок мандариновой корки, колкий снежок, деревянные горки», — поэт изумляется своей неожиданной взволнованности. Мелочи становятся красноречивыми, приметными, потому что они сопровождали поэта на его жизненном пути, который отнюдь не свелся к бытовому вздору: «Все же на долю досталось и мне счастья, и горя, и снега, и смеха. Годы прошли — не упало в цене». Момент озарения здесь не случаен, он повторяется в городских пейзажах, в любовных признаниях, в размышлениях о поэзии. Кушнеру известны тревоги и противоречия творчества, но иной раз переживает трудные минуты и не умалчивает о них. Но он не только знает, что «новый день — это праздник света», а и видит его («явлен зримо») — «с недостроенными домами, с ненаписанными стихами, с нелетавшим птенцом в руках»...

Земляк Кушнера Глеб Горбовский, как все поэты, познавшие счастье ходить по невиским набережным и проспектам, ищет слова, достойные священных камней Ленинграда, доблестных его строителей и защитников. Он воспевает Марсово поле, где «горячие люди лежат под холодным гранитом», и склоняет голову над могилой Ольги Берггольц, чей голос пел «с неженской силой» в черные ночи блокады. И вместе с тем его тянет за горизонт, он считает, что «обязан встречать на вокзалах планеты рассвет». И в его стихах появляются малый остров Шумшу, примечательный тем, что на нем еще осталась боевая техника времен Великой Отечественной войны; Камчатка, которая постоянно его «зовет, заманивает, дразнит и прячется за пеленой»; периферийный краеведческий музей, в котором со старого полотна глядит на поэта «в вышитой рубашке крепостной крестьянский брат».

У Горбовского нет явного желания соотносить факты, привлекая его внимание, с собственной судьбой. Не подчеркивая путевой основы своих наблюдений, он попросту делится теми чувствами, которые пробуждают в нем встречи, происходящие в разных частях нашей земли. И в конце концов, когда поэт задает себе самый главный и самый трудный вопрос из всех возможных: «Зачем

я родился?» — он считает себя вправе ответить на него без колебаний: «Отвечу, изволь: чтоб радовать землю!» И тут же добавляет: «Чтоб каждое утро, пока я иду, столикую славить ее красоту». Сказано это, применяя термин самого же Горбовского, в «высоком стиле», которого он, как правило, избегает. Должно быть, он позволил себе так поступить потому, что перед этим упоминал и о так называемой прозе жизни — «о разных болячках, что втиснулись в грудь, о горьких обидах и прочих вещах». А как дело дошло до сути, потребовались иные речения. О возвышенном или просто внебудничном Горбовский может говорить без нажима. Вот пришла телеграмма «не иначе — с призывом в дорогу», и тотчас захотелось поэту «сразу побриться, одеться, снарядить рюкзачок, завертеться». Несолідные, расхожие словечки! Но мы уже знаем, что, завершая свои маршруты, Горбовский привозит в скромном рюкзачке строфы, передающие глубину и живую трепетность жизни.

Как и следовало ожидать, поэты, характер дарования которых определился, приобрели достаточно отчетливые черты на грани 50—60-х годов, подобно своим предшественникам, поэтам предыдущих поколений, ощутили потребность знакомства с краями и республиками нашей родины, с братьями, изъясняющимися на других языках. Именно бескрайнее богатство советской жизни позволило и позволяет поэтам быть самостоятельными, независимыми в своей преданности общим идеалам социалистической современности, находя в ней различные источники вдохновения, несхожие факты и способности их воплощения, разнородные сюжеты, коллизии и краски стиха.

Содружество разноязычных поэтов способствовало еще большему сближению национальных литератур. Особенно наглядным, реальным подтверждением укрепляющихся связей стала работа поэтов над переводами стихов своих иноязычных товарищей.

И вот внося свои особые черты в облик поколений, рядом с поэтами, живущими на берегах Москвы-реки и Невы, — их сверстники, выросшие на Днепре, Березине, Днестре, сибирских и среднеазиатских реках, в Прибалтике и Закавказье. Знаю, что нет такой «обоймы», которая обняла бы все значительные имена. Перечней в этой статье читатель не найдет. Без них можно передать, как многогранен, широкоохватен мир нашей поэзии, как сложно и разнородно

сочетаются в ее образах качества, характеризующие культуру социализма, особенности национальных укладов, неповторимые черты талантов. Каждый поэт, по праву носящий это высокое звание, способен сказать нам то, что не скажет никто другой, поделиться сокровенными открытиями, которые получают всеобщее значение, становятся достоянием человеческих множеств. Это главная мысль и пафос статьи. За каждым именем — неповторимость таланта и жизни.

...Иван Драч, обратясь «к истокам» (так называется ключевое стихотворение его новой книги), выпускает нас в родное жилье, где самого поэта уже нет, но пребывает его память, цепко сберегающая и лица родных и формы домашней утвари не ради тщательного их описания, а для того, чтобы выразить ценность, которую они имеют для поэта, духовный заряд, в них таящийся.

Прикоснувшись к заповедным воспоминаниям, поэт ощутил: «...вот уж катится море строф, вот уж в грудь мою бьет волной». Стихи Драча, если даже в них запечатлены медлительные, спокойные движения сердца, содрогаются от душевного напора, от нетерпения и тревоги. В подвижном, летящем стихе нет неопределенности и размытости контуров. Прощаясь с Андреем Малышко, он запоминает многие подробности скорбного обряда; говоря о Хикмете, ссылается на битвы прошедших веков, видит окровавленный Босфор. Его динамические строки плотны и рельефны. Недаром когда он заводит разговор со скульптором Теодозией Бриж, его советы собеседнице звучат так, будто поэт напутствует самого себя. «Мир принимать всерьез — твой долг, твоя повинность» — вот первая строфа стихотворения, и уже в ней звучит пафос, присутствующий во многих других стихотворениях Драча.

...Его земляк и ровесник Виталий Коротич на поверку заметно «сюжетней» в своих стихах. Коротич охотно вовлекает в стиховой оборот различные судьбы, чтобы так выразить свои представления о жизни и в творчестве.

Вот они, действующие лица его стихотворений: Бетховен, от музыки которого содрогается земля; поэт Мустай Карим, рассказывающий о том, как породнился он с Украиной, сражаясь за нее; Шевченко, погребенный на Каневской горе и знающий, что он «вечная часть земли»; Максим Рыльский, пошедший на охоту не для того, чтобы стрелять диких уток, а ради общения с лесом; Гоголь, мечущийся меж Римом и Петербур-

гом; Александр Архипенко, что лепит в Америке бюст Шевченко и безмерно тоскует о родине, покинутой им в самом начале века; Гоген, умерший на Таити с мыслями о Франции; Байрон, бросившийся в Грецию, чтобы драться за свободу и найти там смерть; Пушкин, убитый незадолго до того, как был выкуплен из крепостной зависимости Шевченко; Кибальчич, думающий о будущем накануне казни...

Ряд блистательных имен, череда ярких талантов. Но бок о бок с ними становится безымянный старый лирик, просящий перевести его перед смертью через майдан, где были сыграны и спеты все его песни и где теперь поет его сын; безымянный мальчик, умеющий лепить из глины чудесных лошадок; безымянная девочка, бегущая через дорогу, а потом по городу, а затем «вдоль параллели, спотыкаясь о меридианы».

Хочется надеяться, что даже эти кратчайшие характеристики судеб и коллизий дают представление о том, что именно волнует Коротича, какие вопросы времени привлекают его. Поэтом владеет жажда общения с людьми, так же остро чувствующими проблемы века. И уже не к великим предшественникам обращает свое слово Коротич, а к грузинскому другу-поэту Джансугу Чарквиани, как и он сам, знающему: «...счастье наше в том, что свет родства прочней враждебной тьмы».

Традиции духовного гостеприимства, издавна укоренившиеся в Грузии, были продолжены поэтами, вставшими молодою порослью рядом с еще работавшими тогда замечательными мастерами стиха Галактионом Табидзе, Георгием Леонидзе, Симоном Чиковани... Вот Шота Нишнианидзе проводит перед читателем вереницу отважных героев истории и литературы — от легендарного Цотнэ, мученика эпохи монгольского нашествия, до славного Арсена Одзелашвили, восставшего против угнетателей-феодалов, и бронзоволиких братьев, перед чьей отвагой небо Берлина «дрогнуло, треснуло ветхой бумагой». Грозный отряд бесстрашных защитников отчизны — неотъемлемое звено блистательной процессии, в которой на первом месте плоды тяжелого и сладостного труда.

Морис Поцхишвили сосредоточивает свое внимание на тончайших оттенках душевных состояний, предшествующих и сопутствующих вдохновенному созиданию. Поцхишвили провозглашает здравницу в честь той святой и живой боли — она «из всех забот за-

бота!» — которая сопутствует всякому серьезному творчеству, глубокой жизненной установке.

...Звучат голоса литовских поэтов. Альгимантас Балтакис и Альфонсас Малдонис сверстники, друзья, в их биографиях много общего. Оба они вспоминают свою боевую комсомольскую юность, грустят о погибших сверстниках. Друзья «лежат на проклятиях и криках, на осколках гранат и стекла, на черных пятнах пожарищ», скорбит Малдонис. «Снова чудится смерти топот. Сколько здесь друзей полегло — комсомольцев и коммунистов!» — горюет Балтакис.

Даже в этих немногих строках сказалось несходство темпераментов — спокойствие одного, пылкость другого. И ныне стихи Малдониса пленяют своей неспешной раздумчивостью, внутренней уравновешенностью. Он впитывает, вбирает в свои строки милую его сердцу жизнь: «Вечерний сумрак все нежней, узоры крыш и улиц стерлись, и песенный Дайнавы голос...» Но безмятежность здесь обманчива, сам поэт замечает, как несет его поток бытия, как внезапно обжигает его сердце дальняя зарница...

Переход от первоначальных незатейливых наблюдений к последующим сложным, углубленным переживаниям многое определяет в стихах Малдониса. Поэт убежден в том, что от нас «потребовала новая эпоха коротких фраз и замыслов больших». И это по душе ему; он находит смелую и точную метафору: «Мы словно города, что под землею запрятали теченье малых рек». Да, городские критерии прочно вошли в поэзию Малдониса, не вытеснив, однако же, те сельские дзукийские мотивы, которые он принес с собою и от которых не отрекся.

И Балтакис принял в свое сердце город, не отвернувшись от деревенской юности. По-прежнему он видит в ней источник образов, позволяющих выражать заветные убеждения. «Нет, меня никто не нанял, сам я прикипел к работе. Ниву твердую, как камень, выбрал по своей охоте», — определяет он свое призвание. И конечно же, трудно вспахиваемая и все же любимая, зовущая к себе нива при всей своей реальности становится обобщением, позволяющим понять, чем и как живет поэт, в чем он видит смысл своего существования.

Нет надобности распространяться о том, что стремления и силы, действующие в обиходном творчестве, могут опять и опять обновляться в зависимости от индивидуальных склонностей поэта. Олжас Сулейменов ведет

речь о далеких странах и о родных аилах, о тех, кто жил столетия назад, и о современниках, о боях и труде, о любви и космических пространствах, и это обилие тем, мотивов естественно: здесь говорит дух времени. Но размашистая резкость, жесткость оценок, умозаключений, иногда хочется сказать — свирепость характеристик, сочетающаяся со свойственной нашей поэзии аналитичностью, — черта именно Сулейменова. Он может сказать от имени павших солдат: «высоты, которые мы держали, похожи на кровавые отпечатки солдатских пальцев» — или, вслушиваясь в говор клавиш, представлять себе, как «на выручку, быстрее Листа, из эпоса джигиты мчат, опаздывая лет на триста». На первый взгляд движение стиха головокружительно и катастрофично. Метафоры и эпитеты катятся подобно горному обвалу, неся с собою разнородные определения и понятия. Но надо войти в этот безудержный поток, двигаться вместе с ним, и тогда станет ясно его направление, его логика, впрочем иногда выявленная прямо в таком, к примеру, утверждении: «...нас обвиняют в легкомыслии, а мы — фанатики в любви». Или: «Так в горле горбятся слова о самом главном. Далекое уводит нас». С присутствующей ему экспрессией, даже запальчивостью Сулейменов «горбящимися» словами ведет речь о главном. Оно присутствует и в рассказах о мудром акыне прошлого века Азербайяна, и в героической хронике времен Отечественной войны, в программных строках поэта, где он подводит итоги и намечает перспективы. «Не верили, но проверяли библию и коран... Материя всякая — надвое». Как видим, поэт влечет анализ. Но вслед за анализом появляется потребность синтеза, цельности, выраженная во многих стихах Сулейменова.

Рядом с его резкими, броскими стихами, обильными смысловыми перепадами, стихи Василия Казанцева могут показаться чересчур ровными, неторопливыми. Любимая героиня Казанцева, живая природа, — не только кормилица, но и друг, источник духовных радостей. Дивисься зоркости, чуткости поэта, улавливающего обаяние светлых просторов и укромность тенистых уголков. Но все же к этой меткости зрения, слуха, осязания, к многоцветности пейзажей не сводятся возможности Казанцева. Он умеет в общении с водой и землей, огнем и воздухом находить повод и предлог для познания человека — вот чем дороги его стихи. Отзывчивость души, обогащаемой постоянным

и длительным общением с миром,— сила, движущая поэзию Казанцева. Она позволяет ему ценить и радость наивного любования природой, и счастье трудного постижения жизненных противоречий.

Гораздо труднее охарактеризовать равнодействующую стиха Андрея Вознесенского. При всей его «узнаваемости» он на редкость переменчив и в отношении к жизни и в обращении со словом. В одном только цикле из двенадцати стихотворений «Витражных дел мастер» соседствуют ехидно-высокомерная «Реплика в дискуссии о поэзии» и неподдельно страстная «Беловежская баллада», сатирически-язвительный гротеск «Шведского кумира» и изящная угловатость «Мужиковской весны», развернуто-программное «Хобби света» (в котором опять-таки можно найти и фельетонное упоминание о «елисейской люстре»), и химико-поэтический анализ: «...человек на 60% из химикалий, на 40% из лжи и ржи, но на 1% из Микеланджело!») и исходное решающее утверждение: «свет должен быть собственным производством».

Адольф Урбан в письме к поэту, напечатанном на страницах «Вопросов литературы», отметив эту контрастность мотивов и интонаций, задал вопрос: «Не выводит ли это поэзию из сферы непосредственной душевной жизни — естественных, реальных потребностей и реакций — в сферу рискованной фантастической игры ума, где истину и ложь легко поменять местами, описать их с одинаковым эмоциональным пафосом и тем самым взаимно уничтожить?» Поэт дал лукаво-учтивый ответ, в котором отстаивал огненную метафоричность, смысловую и словесную остроту стихового строя. Он напомнил: «Прекрасное — не пресное». Но ведь «не пресное» далеко не всегда прекрасно и, следовательно, не может быть критерием в оценке поэтических образов. При подчеркнутой сложности словесных конструкций, резких и несколько стандартизирующихся переходов от «высокого» к «низкому», скажем в «Даме-треф» («оп-опере-детективе», как определяет ее жанр автор), от патетического возгласа «это света взметенное знамя, это светлая мука с креста» к набору карикатурно-пародийных зарисовок очень важно не упустить общую цель, не раздробить на осколки образ живой реальности, которая ждет своего целостного выражения.

А. Вознесенский в своем ответе А. Урбану к месту вспомнил об опыте Семена Кир-

санова. Но ведь весь путь создателя «Твоей поэмы» подтверждает необходимость и плодотворность перехода от виртуозного щегольства «песенок легкого веса» — его собственный термин! — к полноте и силе лирического выражения.

Без сомнения, в обсуждении поэтического творчества любые параллели условны и относительны. Так и в этом случае: Вознесенский как раз на первых порах настойчиво добивался прямоты и властности словесных характеристик — то ли сатирико-драматичных, то ли сердечно-доверчивых. Сейчас он в большей мере занят испытанием прочности жанровых канонов, их ломкой, их скреплением. Сопутствуют ли этим усилиям нравственные открытия, попевает ли душевный рост поэта за его работою над стихосложением — вот что решает дело.

Еще более приметное место занимает судьба, личность самого поэта в творчестве Евгения Евтушенко. И вовсе не потому, что он уделяет мало внимания окружающему. Напротив, самые яркие антагонисты поэта не могут отрицать его общительности, готовности открыть свой стих перед современниками любой профессии, возраста, национальности. Но в многолюдных, многособытийных поэмах и стихах Евтушенко постоянно присутствует и сам поэт, часто со всей непосредственностью и сосредоточенностью обсуждающий свою судьбу, свои убеждения и намерения.

В стихах, характеризующих его жизненную и творческую позицию, Евтушенко уже на протяжении двух с лишним десятилетий настойчиво подчеркивает многоликость своей поэзии, разносторонность своего поэтического характера. Казалось бы, здесь он просто-напросто «верен себе», но в действительности это не так.

В стихах двадцатилетней давности он с порога представлялся: «Я разный» — и далее перечислял качества взаимоисключающие, не сочетающиеся, противостоящие друг другу. В 70-х годах, возвращаясь снова к теме многоликости, он дает ей совсем иное толкование, выражая желание «родиться во всех странах, чтоб земля, как арбуз, свою тайну сама для меня разломил», и вместе с тем оставаться верным русской, советской земле, где он впервые «себя.., почувствовал всеми». «Быть собою мне мало — быть всеми мне дайте», — восклицает он. «Я хотел бы на всех баррикадах твоих, человечество, драться», и, конечно же, эти строки качественно отличаются от давешних, демонстри-

ровавших «загадочную противоречивость» души. Молодая неумелость, эта драгоценная черта поэтического характера как будто не покинула его и сейчас, несмотря на участвовавшие упоминания о возрастных сдвигах. Каждый возраст надо осваивать, к каждому возрасту надо привыкать... И Евтушенко, перешагнув очередной рубеж, судя по всему, отнюдь не намерен экономить силы, ограничивать силовое поле своего стиха. Совсем недавно мы прочли главы будущей поэмы о КамАЗе и сатирические портреты мещан, пошляков, тупых эгоистов, поэму «Просека», задуманную на строительстве Байкало-Амурской магистрали, и стихи — любовные признания...

Гражданская активность поэта не ослабела, не уменьшилась. Но невозможно при этом обойти молчанием недостатки исполнения, неровность стиха. В номере восьмом «Литературного обозрения» за прошлый год один из критиков, по приглашению редакции оценивавших (подчеркнем: исполненный симпатии к поэту) новые стихи Евтушенко, приводя цитаты, писал: «Вроде бы справедливая идея намечена. Но как ужасно она выключилась в строчки и слова!» Увы, с небрежностью исполнения читатель стихов Евтушенко сталкивается нередко.

Спору нет, в творчестве каждого из поэтов имеются свои взлеты и падения. Бывает так: прочитаешь хорошо, требовательно составленную книгу избранных стихотворений и словно познакомишься с другим поэтом, гораздо более зрелым, взыскательным, чем его «двойник», позволяющий себе выступать с вялыми, беглыми, громоздкими строками. Да, неотработанный, сырой стих, к сожалению, встречается даже в произведениях не версификаторов, а настоящих поэтов...

Каждое поколение, да и каждый из поэтов добывает свой опыт самостоятельно, вырабатывая свои подходы и средства. Немалое значение здесь имеют отношения, устанавливающиеся и меж поэтами-сверстниками и между поэтами разных возрастов, но действующими в одни и те же годы.

Мы знаем: поэты, сформировавшиеся в годы войны, начинали свой путь единым отрядом, где каждый боец вместе с тем обладал, как говорилось в старину, лица необщим выраженьем. По-иному входило в поэзию поколение второй половины 50-х годов: оно движется как бы рассыпной цепью. И тем яснее дает себя знать объединяющее ровесников желание понять свое время,

быть его достойным. Сама разнородность тем, настроений, мотивов таит в себе не противостояние, не полярность, а взаимообогащение, сотрудничество. Читаешь книги, несхожие по фактам, мотивам, интонациям, по словесному строю и складу души, и возникает панорама составная, мозаичная, а в конечном счете целостная, где одно звено оказывается дополнением к другим, смежным.

III. МНОГОЛИКОЕ ВРЕМЯ

Строка должна быть, как струна,

Напряжена,
Заряжена
Не только музыкой одной,
Но недр сокрытой глубиной.
Не только ритма хромотой,
Но взлетом, небом, высотой...

Николай Браун.

Всеобъемлющее и глубинное воздействие времени сказывается в самых различных явлениях поэтического творчества. Признаться, критики подчас грешат излишне скрупулезной периодизацией, обнаруживая «этапы» и «ступени» в биографиях поэтов, еще не очень много успевших сделать. Но мы обидели и обманули бы себя, постаравшись забыть о влиянии, оказываемом на молодого поэта теми годами, когда формируется, складывается его личность, определяются вкусы и склонности.

Уже были отмечены, к примеру, в нашей критике те особенности, которые отличают Константина Ваншенкина и Евгения Винокурова от поэтов-фронтовиков, что участвовали еще в финской кампании. И те и другие прошли через огонь Отечественной войны; разница в возрасте невелика — два, три, четыре года; одновременно переходили они к миру, к трудовым годам. И все же сказывается объем воспоминаний о довоенных годах, время вступления в войну. Разумеется, это лишь частности поэтического облика, к тому же с течением лет видоизменяющиеся, стирающиеся, но вовсе забывать о них не стоит: они позволяют полнее, отчетливее понять своеобразие индивидуальностей, стоящих рядом, но никак не повторяющих друг друга.

И далее: за теми поэтами, которые, как уже говорилось, завоевали право на внимание читателей в конце 50-х годов, последовали более молодые, в жизни которых война занимала меньшую долю, а мир большую. И здесь разница в годах была совсем неве-

лика, а различие все же оказалось приметным.

...В 1963 году вышел сборник стихов, имевший, можно сказать, демонстративное название «Проспекты и просеки», — первая книга Олега Дмитриева. Давая ей такое имя, поэт наотрез отказывался от пришедшей тогда по душе некоторым критикам «прописки» поэтов по разным ведомствам и территориям. И он не был исключением — в том порукой стихи Владимира Кострова, Евгения Храмова, их ровесников.

Недавно вышедшей книге Олега Дмитриева «Осенние прогулки» предпослана издательская аннотация, где сказано: «Автор открывает читателю духовный мир нашего современника — жителя большого города». И в «Осенних прогулках», и в стихах, появившихся после их выхода, Дмитриев и в самом деле не таит своих городских пристрастий. Начальное стихотворение книги — «Образ города», заключительное — «Город с тобой». Но между ними стихи, где говорится о морских волнах, криках чаек, лесных опушках, районных городах, песках Каракума. Конечно, перечисление географических наименований мало что значит. Можно, без усталости разезжая по Советской стране, а то и по всей планете, составлять безлико-информационные рифмованные путеводители, не более того. В странствиях подлинно поэтических непременно находит воплощение и мир огромной земной действительности и душевный мир путника. Поэт вбирает в свое сердце, в свои стихи дальние и близкие края, весь широчайший экоем сегодняшней жизни. Вот и в стихах Дмитриева подъем на перевал рождает мысль о жизни прожитой и предстоящей; встреча с обремененной семейными заботами и все же мечтательной ткачихой Комаровой дает возможность подумать о том, что «даже прожитым годам неподвластна эта тяга к незнакомым городам»; в холодноватых песках пустыни поэт особенно остро ощущает время и пространство; в Заполярье, созерцая зарю, загорающую над тундрой, отмечает про себя, что привычные слова «красота» или «прелесть» здесь звучали бы неуместно — «здесь годится лишь старое слово «краса», потому что в общении с Севером «душа человека открыта, горда».

Поэты путешествуют не только в пространстве, но и во времени. И Дмитриев возвращается к тем годам, когда он еще только готовился жить. «Еще о войне»... Да, и те, для кого военные годы были только

преддверием к сознательному существованию, не могут не писать о войне. «Наше право вернуться в эти годы, назад, остается навеки священным, исконным». Ясно, что эти выстрадавшие, уверенные слова произнесены сыном одного из тех, кто отдал свою жизнь за отчизну. Память об отце позволяет поэту видеть будущее, когда он на дальней заставе глядит на мальчишеские лица пограничников, где «какая-то тревога в каждом камне и листке». Да, «жизней былых воскрешенье, возвращенье далекого дня» идет на пользу поэзии, безраздельно принадлежащей современности, проникнутой ее духом, помогает ей отчетливее различать связь событий, разделенных годами, но входящих в единую историческую цепь.

Стихи Николая Рубцова в нашем представлении тесно связаны с северной природой, с северной деревней. Поэт умеет передать печаль старой дороги, на которой «то полусгнивший встретится овин, то хуторок с позеленевшей крышей, где дремлет пыль и обитают мыши»; или чистоту свежеевыпавшего снега, что «летит по всей России, словно радостная весть»; или дикую прелесть запущенного парка. В его изображениях природы отчетливо просвечивает переживание — душа пейзажа. И вот что еще примечательно: он чутко вслушивается, всматривается в окружающий его мир, идет навстречу ему и воплощает в своем слове то едва уловимое состояние души, которое как бы разлито, рассеяно в воздухе и на поверку есть не что иное, как воспоминание или предчувствие, — дума о делах, что здесь вершились или будет вершиться. Так чутко и полно воспринимают жизнь, ее противоречивую многослойность очень даровитые поэты.

Рубцов пришел в нашу литературу поэтом Севера с его благородными историческими, культурными традициями, так плодотворно сказавшимися в стихах и в прозе наших лет; и вместе с тем так же, как герои Федора Абрамова и Василия Белова оказались близкими и интересными всем читателям, и тем, кто никогда не бывал в Архангельском и Вологодском краях, так и стихи Рубцова находят отзвук в душах людей самых несхожих биографий. Это происходит потому, что в картинах северной жизни оказались воплощенными черты, стремления, переживания, трогающие каждого вне зависимости от того, где он живет, чем занимается и в каком году родился... Заявила о себе она из замечательных закономерностей со-

циалистического общества, так много значащая в развитии нашей литературы, в сближении ее национальных отрядов, и тем более областных.

Самый характер таланта Рубцова, его способность сливать в едином слове переживания и события, настроения и поступки, стремления и факты не позволяли ему оставаться в пределах «пейзажа и жанра» (как любил говорить Н. С. Лесков), побуждали обращаться к коренным вопросам бытия, к жгучим проблемам нашего времени. Он способен был сказать, что перед ним возникает «сумрачная цепь загадок и вопросов», признаться: «...я чуток, как поэт, бессилен, как философ», а в другом стихотворении порадоваться тому, как «душа простая пронесится в мир чудес», и, наконец, провозгласить: «Соединяясь, рассудок и душа даруют нам светильник жизни — разум!» Вот так — разумное и чудесное были для Рубцова верными, надежными побратимами. И сказались здесь не только личный опыт талантливого поэта, но и те общие устремления поэтического слова, что так ярко проявились в наши дни.

Образность смелая и вольная, предоставляющая широкое поле действия воображения и фантазии, многое дает нашему стиху. Порой ее называют сказочной. И в самом деле, многие проницательные, серьезные, реалистически мыслящие поэты — Ярослав Смеляков, Владимир Луговской, Михаил Светлов — посвящали стихи сказке, превознося ее могущество, способность выражать глубинную логику действительности. Александр Твардовский в дни войны и в дни мира добывался наивысшей, предельной, сущей правды стиха, «прямо в сердце бьющей», заботясь о том, чтоб она была «погуще», и для этой «сгущенности» вводил в свою «Книгу про бойца» «косую» — Смерть, вступающую в схватку с Теркиным, а затем давал слово Солдату, что был убит подо Ржевом.

Эти возможности поэзии нынче выступают с новой силой, проявляются в творчестве поэтов различных национальностей и поколений.

Юрий Кузнецов, книга которого и последующие за нею стихи привлекли сочувственное внимание критики, решительно позволяет занять господствующее положение в своем стихе сказочным мотивам и связям. В одном из сильнейших стихотворений сборника (он имеет странноватое, но на поверку точное название — «Во мне и рядом даль»)

возникает образ, будто вышедший из старинной легенды, прихотливый и полный смысла: солдат, что взорвался на минометном поле, превращается в «столб крутящейся пыли... одинокий и страшный», являющийся в таком виде к своим родным, когда они его вспоминают...

Тема отцовской кончины не покидает Кузнецова. Уже упоминалась его баллада «Четыреста», в которой сын погибшего бойца «буйну голову склонил над памятной плитой», где павшие воины «лежат — лицо в лицо», «лежат — ничто и все». Это не единственный странник, не единственная плита в поэзии Кузнецова. В поэме «Золотая гора» перед нами снова скиталец, трижды (как и полагается в сказках!) склоняющийся над плитой, на сей раз чтобы прочесть начертанную на ней надпись. Только теперь это семнадцатилетний герой, который ищет свою собственную долю, одержимый отважной надеждою.

И в новых стихах поэта — опять странствия, скитания, пути-дороги, преодолеваемые пространства. Суть, содержание смятенных строк — в самом движении, в той силе, что неотвратимо влечет лирического героя в неясные дали, в загадочные просторы жизни.

Но что же думает и чувствует не насыщенный, неутомимый путешественник? Неужели он только играл роль стихий — покорно подчиняющийся им, ничего не желающий, ни о чем не помышляющий? О нет, прежде всего он знает, что отец оставил ему родину, завещал неостывающую ненависть к войне. Пускаясь в путь, он подумал и о том, как «опасно встать с горами равным, имея душу не горы», и признался, что «не написана лучшая книга, но небесные замыслы есть». И еще — в «Балладе об ушедшем» примечательные строки: «Человек в человеке толпится, за стеною стена шевелится. Дорогое лицо, отпусти! Дай познать роковые пути». Право же, эти слова могут считаться девизом Кузнецова.

Поэт ведет речь о «неземном» не для того, чтобы отречься от реальных вопросов времени, но чтобы оттенить их масштабность, возвышенность. Он как бы готовится к их постижению, очерчивает их сложность, их огромность. Следующая ступень — приближение к ним, их освоение.

Толкуя о сказочности поэтических образов, стоит отметить некоторую условность этого определения. Народные сказки при всей их волшебной фантастичности чрезвычайно прозрачны, ясны, просматрива-

ются насквозь. Сказочные краски современной поэзии бывают по преимуществу многослойными, не всегда смысл лежит на поверхности слова. И все же можно обнаружить и в таком образном строе его близость к народной поэзии. Но только не к сказкам, а к другому ее виду.

Александр Блок в статье «Поэзия заговоров и заклинаний» писал: «Влюбленная душа — самая зрячая и чуткая, она как бы видит вдаль и вширь, и нет предела ее познанию мировых чудес. Это — душа кудесника, и влюбленный сам становится кудесником. Вот почему любовь, как высшая тайна, — родная стихия заклинаний». Вместо «колдуна» и «кудесника» скажем «поэта» — и нам откроется одна из тех могучих и добрых сил, которые действуют в нашей поэзии, способствуя ее действенности, ее способности зажигать сердца и обогащать умы читателей, слушателей.

Примечательно, что эта «заклинательная» энергия обнаружилась себя прежде всего в творчестве поэтов, близко стоящих к сокровищнице народной поэзии. Она присутствовала в записках Александра Прокофьева, введшего в свою поэзию песенную стихию Севера, давала себя знать в стихах Николая Асеева, дорожившего звонким, летучим словом, принесенным из курских краев. Традиция эта спорила в 30-х годах с повествовательностью конструктивистского стиха, разработавшегося Сельвинским, дружила с метафорической лирикою Николая Тихонова и Бориса Пастернака, Эдуарда Багрицкого и зрелого Владимира Луговского.

Сегодня опыт первых десятилетий развития советской поэзии переосмыслен, обновлен, продолжен. Отзвук, отсвет ранее созданных стиховых систем иногда не сразу обнаружишь в свежих образных сочетаниях. На каждом из них лежит отчетливый отпечаток поэтической индивидуальности, отличающийся и жизненными, нравственными устремлениями и самобытными красками, связями стиха. Их объединяет осознанная и возведенная в принцип устремленность нашей поэзии к действительному, последовательному, развернутому, многокрасочному, разностороннему восприятию жизни. Поэты проявляют подчеркнутое внимание к сокровенному, к тому, что еще не освещено ясным лучом познания и требует предельного напряжения разума, интуиции, таланта пронизательности.

Леонид Мартынов в своих новых стихах запросто беседует с луною о ее целях и ви-

дит, как «звезда проделась в звездный хулахуп и тешится!»; любит тем, как «буйствуют ветки, буйные братцы». Егор Исаев дает волю воображению в своей новой поэме «Даль памяти»: «он разворачивает цепь образов, обладающих высокой емкостью, переходящих один в другой. Вот сказал он о коне (которого «в крестьянском обиходе... набольше лошадю зовут»), поблагодарил его за «безотказный труд» и увидел «за ним — возы, за ним — крутые дали». И пошло, пошло вычитанное из древней неписаной книги установление генеалогии: земля — от неба, дерево — от корня. И далее: река — от родника. И далее: дорога — от копыта, от полоза. А в финале многообещающие строки: «Когда там развиднеются эпохи и книгу ту до атома прочтут».

И еще один разматывается клубок жизненных связей — движение по борозде, что «испокон веков шла по земле за пахарем». Вдоль этой борозды располагаются и деревенская кузня, и новенький трактор, что «весь городской», а «по-деревенски ладится к земле», и «родники, роднящиеся с рудниками» так же, как «кровь-руда с рудничною рудой».

Так пытливая мысль, одетая образной плотью, заключенная в сцепления разветвленных метафор, становится основой поэмы, ее своеобразным сюжетом, в котором жизненная достоверность и поэтический, а временами и сказочный вымысел питают друг друга.

Разнородные мотивы отлично уживаются и на тесной, казалось бы, территории небольшого стихотворения. Евгений Винокуров, путешествуя по Западной Европе, воспроизводит деловитый бег машин, моментальные вспышки блицев, залы, в которых с удобством расположились порнография и бесстыдство, — воспроизводит с тем, чтобы остановить свой взгляд на человеке, уныло стоящем в этом бедламе пред «непостижимой тайной вышины». Бессилие ума, неспособность к познанию поэту страшнее всего. Он почтительно знакомит нас с тем, «кто в страсти следопыта уходит в глубь веков», и с ваятелем, добывающимся, «чтобы торжествующая Ника прямо встала символом побед». И восклицает: «Я верю в вечные вопросы!»

Читатель знает: Винокуров в самом деле посвятил свое творчество осмыслению тех проблем, решение которых досталось в наследство нашему времени от прошлого. Теперь он уже может сказать о себе: «...итог

кой-какой подвожу». Или еще: «Я-то знаю всю меру риска». За этими словами — опыт, позволяющий понять, что и кажущееся поражение поэта может пойти ему на пользу, обернуться успехом. И больше всего боясь «разочарований», «пустынь полночных», понимая ничтожность тщеславия, он тем самым продолжает свой труд, потому что его неотъемлемой частью оказывается и проверка своих возможностей, и осмысление сделанного, пройденного, и предвидение новых планов, и мир сказки...

А сказки, как мы убедились, часто пишут поэты, умудренные жизнью, но сохранившие отвагу, юность сердца, умение и желание воображать, фантазировать. Тем естественнее проявление этих качеств у поэтов, чья биография еще не слишком длинна и они молоды не только душой, но и годами.

Морис Чаклайс если и старше Юрия Кузнецова, то ненамного. Сходство этих несхожих поэтов (позволяю себе применить здесь определение, предложенное В. Б. Шкловским) примечательно — у Чаклайса свой источник, свое родовое начало: история латышского народа, веками отстаивавшего политическую и культурную независимость от тевтонских поработителей, латышский фольклор, старая Рига с ее преданиями и легендами... И вместе с тем характерное для значительной части нашей поэзии приобщение наилучших традиций прошлого к современной жизни, а значит, и умение взглянуть на минувшее глазами советского человека второй половины XX столетия.

Чаклайс знает, что «прошлые века, как железные кони, промчались, все растапывая». И все же уцелело самое прочное — народное. К примеру, «праздник праздником остался языческий день травы», а вместе с ним любовь к живой природе, желание не расставаться с нею, подтвержденное многими строфами, воспевающими сирень и вишню, пчел и сосны. Но нет в этих пейзажных строфах идилличности, потому что поэт не забывает о больших человеческих делах, и картина мирного вечера вдруг взрывается тремя словами: «Вчера умер Хикмет». А пышное цветенье примул перекрывается коротким: «Я все никак не привыкну, что живу в Саласпилсе...»

Поэт рассказывает о том, «как на карточках, в рамках дверей видят матери сыновей, не пришедших с войны», и подобно звезде, мчащейся к Земле, «возвращается капитан Сент-Экзюпери». Такими вечерами, по мнению поэта, утихают все «почему», «прихо-

дит ясность». Подобное состояние души — редкость, оно драгоценно, за него надо бороться. Моменты ясности перемежаются с днями напряженных исканий. Исканий не только ради удовлетворения собственных душевных потребностей, но и во имя общих целей — чувства эти взаимообусловлены. Вот почему когда Чаклайс завершает стихотворение «В сад» словами «пускай во мне переболят боли всех других», здесь находит выражение сугубо личное желание и вместе с тем чувство, известное многим мастерам стиха. В строфах, говорящих о силе волшебства, кипят страсти реальные, рожденные жизнью.

Можно сказать, что образы украинской народной поэзии не «гостят» в стихах Павла Мовчана, не выделены, не ограничены, а как бы растворяются в изображении жизни столь милой, дорогой сердцу поэта и вместе с частицами повседневного обихода дают ему опору в старании добиться, «чтобы времени стремнина понятней стала хоть на миг». Так крепко вошла в стихи Мовчана эта мечта, что мы ощущаем ее присутствие и в строках порывистых и в спокойно-раздумчивых, в дифирамбах урожаю, материнской слезе, в медитациях «о вечно сущем и неизменном», в стихотворении, изображающем ссыльного Гравовского, и в динамическом «портрете» казака Мамаля, где фраза «Казачья жизнь — на сто сторон» воспринимается как программное слово о природе поэтического творчества, распахнутого навстречу зовам и вопросам, мольбам и советам жизни. Именно об этом говорят и строки, высказанные поэтом прямо (привожу их в подлиннике, не располагая переводом) и как бы материализовавшие его заветные убеждения и надежды:

В розкритих в захваті очах
відбито обшир світу.
І радісно слова звучать,
що сонцю вік горіти.

Часто такие высокие слова, произносимые теми, кто только начинает работу над стихом, остаются заявкой, которая получит истинную стоимость лишь после того, как реализуется в «рядовой» строке. Но в устах Мовчана мечта о широте, емкости поэтического зрения воспринимается и как обещание и как характеристика сделанного.

...Сокровенные побуждения трогают своей доверительностью. Звучат слова жизненно точные и сказочно смелые. Поэты действуют каждый по-своему, по-особому, опираясь

на собственные поиски и открытия. Поэзия вбирает в себя эти индивидуальные усилия. Из них и складывается ее нынешний облик, на котором отпечаток времени — точных расчетов и головокружительных замыслов, упорных трудов и возвышенных устремлений.

IV. ПЛЕМЯ МЛАДОЕ

Ведь все двадцатое столетие —
весь ветер счастья и обид —
и нам, и вам, отцам и детям,
по-равному принадлежит.

Ярослав Смеляков.

Новобранцы стиха появляются десятками, может быть и сотнями. Им: способна помочь встреча приветливая и по-деловому строгая. Константин Ваншенкин недавно очень точно выразил чувства, присущие, вероятно, не ему одному, сказав: «Поколение это люблю»; он объяснил затем происхождение, основу этого своего отношения к молодежи, берущейся за перо:

С удовольствием помню всегда,
Что оно от рождения сыто
И, однажды явившись сюда,
Не прошло сквозь военное сито.

Пусть же всех обойдет по уму
И по сердцу. И станет — как века.
Ведь ничто не мешает ему —
Первый раз за три четверти века.

И в самом деле, можно только радоваться тому, что пришла очередь сказать свое слово тем, кто растет и мужает в дни мира и созидания.

Но отсюда, по справедливости говоря, и особые условия поэтического труда; главное из них — постепенное наполнение биографий, неспешное развитие характеров. Должно быть, тем и объясняется неоднократно отмечавшееся нашей критикой замедленное формирование, развертывание поколения поэтов 70-х годов.

Нет надобности повторять уже многократно высказанные наблюдения, касающиеся версификационной грамотности дебютантов. Пожалуй, важнее подчеркнуть иное: практическую невозможность определить уровень поэтического дарования по одному или нескольким стихотворениям. Может быть, в дальнейшем положение изменится, но сейчас только по книге или хотя бы по объемистому циклу стихов составляется представление о том, кто в данном случае претендует на внимание читателей — то ли по-

эт, имеющий что поведать миру и способный выполнить свой замысел, то ли слагатель рифмованных строк, обладающий большей или меньшей сноровкой.

Можно посочувствовать молодым людям, тянущимся к перу: трудности им приходится преодолевать немалые. Если и созрели они граждански, нравственно, душевно — им предстоит еще обрести слова, способные передать, выразить душевный опыт с той самостоятельностью, без которой невозможно становление поэтической личности. А вокруг так много соблазнов и в самом деле прельстительных, достойных преклонения: великолепные системы образов, созданных предшественниками, полные мудрости и страсти, покоряющие блистательным мастерством, глубиной прозрений... Но даже в самом начале пути опасно заниматься копированием (тут имеется существенная разница меж воспитанием живописцев и поэтов!), потому что самое яркое и властное слово, повторенное другим, теряет свою силу и свежесть, яркость поэтической речи оборачивается безликостью эпитонства.

Что ж, постараться забыть или даже и не знать все ранее созданное, ставшее частью духовной действительности? Но опыт показывает, что литераторы, отворачивающиеся от литературы, мало чего достигают, остаются изгоями, обрекшими себя на мучительное и опустошающее душу одиночество. Художник, обладающий необходимой для его дела решимостью и широтой взгляда, силою творческой воли, действует как продолжатель великих и славных трудов, обогащающий хоть малыми, но только ему принадлежащими открытиями необозримый мир поэзии, вечно юный и вечно обновляемый.

Слово «малыми» не обмолвка и не индульгенция, допускающая существование посредственностей. Для пояснения сути дела вернемся к временам полуторастолетней давности. Тогда были написаны торжествующие над сменою веков, приобретающие все большее могущество строфы Пушкина. Тогда писали Баратынский и Дельвиг, Жуковский и Давыдов, чьи строфы и сейчас многое говорят людям 70-х годов XX столетия. И тогда же действовали Козлов и Подлинский, Катенин и Гнедич, стихи и поэмы которых сейчас мало кому известны, но по праву вошедшие в историю отечественной поэзии. И в наши дни иные скромные, но подлинно поэтические ценности заслуживают сочувственного отношения. Что же касается меры признания или отрицания,

решающее слово, очевидно, остается за временем. Главное, не проглядеть талантов, достойных поддержки, не принять поддельное за истинное.

Здесь уже упоминалась статья Л. Аннинского «Поэзия тридцатилетних: стиль, опыт, характеры». Высказанные в ней суждения о чертах, свойственных поколению, оставляют, несмотря на категоричность тона, ощущение расплывчатости и упрямого применения очередной концепции, но индивидуальные характеристики метки, точны, хотя порою приходят в противоречие с характеристиками общими, увы, нередко насильственными.

Да, Светлана Мекшен и Лариса Щасная заслуживают сказанных о них критиком добрых слов. И отрадно видеть, что рядом с ними могут быть поставлены их ровесницы; каждая в свой черед, они выступают с первыми книгами, свидетельствующими об одаренности.

Надежда Кондакова с порога устанавливает свою родословную: «Это я, дочь комбата, Авдотьи Рязаночки дочь, из полона бежала, под танки бросалась с гранатой» — вот какие судьбы и дела она берет себе в образец, признает с о и м и и определяет-ся во времени: «...это где-то на Калке. В сорок первом году. В сорок пятом».

Обещание? Декларация? Допустим... Но произнесено это кредо, ожидающее реализации, твердо, без риторического громкогласия, взвешенными словами. Отсюда и надежда на реальность программы, здесь высказанной, надежда, пока не обманутая... Лишь изредка вкрадчивый шаблон пробирается в ее строфу. «Все было песней и судьбой» — очень красиво сказано. Но не стоит поддаваться таким обольщениям. За ними приукрашенная пустота. Сама же Кондакова строго сказала: «Прекрасная жизнь! Но, увы, не моя». А за этими безжалостными словами следует анализ сложных переживаний молодого поэта, вдруг понявшего: «Сиротство мое и моя нищета — не прихоть души, а ее неизбежность». «Нищета» и «сиротство» — пожалуй, слишком беспощадное определение. Движение стиха свидетельствует о том, что речь идет о нравственной жажде, требующей утоления, о душевном голоде, ожидающем насыщения. Ведь далее следуют строки несколько рассудительные, но очень верно разрешающие внутренний конфликт, здесь обозначенный: «Я вдруг осознала, что жизнь полюбить и значит — пройти ее лучшую школу».

Светлана Соложенкина подходит к тайнам и чудесам действительности как бы с другой стороны, имея за плечами наблюдения иного рода. Она охотно вспоминает натюрморты Сезанна, пейзажи Борисова-Мусатова, и заметно, что шедевры живописи ей не «замена» реальных фактов, они помогают ей лучше увидеть в одном случае пышность плодов земных, в другом — цветенье яблонь и бег облаков. Знает Соложенкина, что «надо слово трижды взвесить, чтобы вдруг не подвело», и это не просто напоминание о необходимости работы над словом, но и уверенность в его действительности: «Ведь когда пишу я: «месяц» — впрямь становится светло». Как тут не вспомнить о вере в магию поэтической речи! Но для «действия словом» нужно еще многое, и в первую очередь внутренняя определенность поэтического характера, богатство связей, соединяющих его с миром.

Когда Соложенкина пишет: «Хочу луну засеять васильками... Ни для чего, а просто — для души» — смущает вовсе не «утопичность», несбыточность подобного проекта, а его приторная пасторальность. Высказана не столько смелая мечта, сколько инфантильная «греза» — несмотря на то, что поэт собирается ради ее выполнения работать, «озябшими руками касаясь снега колкого»...

Когда же поэт не замыкается в кругу милых иносказаний, а озабочен судьбою живого существа, из такого зерна может вырасти настоящая отзывчивость, придающая силу, сообщающая смысл и энергию другим добрым свойствам, обычно присутствующим в стихах Соложенкиной.

И еще об одной мечтательнице надобно сказать — об украинке Юлии Ильиной. Ее стихи, печатающиеся в альманахе «Пбэзия» и в периодике, узнаваемы без труда, а это добрый признак. Песенный лад, так много значащий в украинской поэзии, усиливающий и крылатость ее и задушевность, надежно осваивается молодым поэтом. Ее стихи нежны и сердечны безо всякой сентиментальности, изящны без малой доли жеманства и изощренности. Лесной «ярмарок», где хитрый Лис выступает в роли продавца, а зайцы ловят волшебное яблоко, выросшее на елочке, точно «выпал» из сказки. Но вот автор, оставляя в стороне волшебные вымыслы, ведет нас по вполне реальным улицам слободки туда, где ее односельчане и она сама собрались на толоку — совместный дружный труд, представленный в ее

стихах чудесным танцем — настоящим творчеством народа. И в заключительных строках искреннее пожелание:

Пускай живут светло и беспечально
Все, у кого была я на толоне.

«Картинка с натуры» оказалась проникнутой тем же умонастроением, что и строфы, в которых безраздельно господствует воображение. Сама Ильина знает, зачем ей нужен вымысел, что он вносит в стихи. Чтобы в том удостовериться, достаточно прочитать ее стихотворение «Фотовыставка (Год 1943)». Глядя на изображение человеческого жилья, разрушенного войною, она охватывает внутренним зрением перемены, происшедшие на этом клочке земли: фантазия сумела воскресить и сад порубанный, поражается она. И тут же делится своими убеждениями (привожу строки подлинника): «А плід фантазій зруйнувати сповна я у житті не рвалася ні разу».

Широта и диалектичность восприятия мира могут заявлять о себе, как известно, и в стихах, передающих самые потаенные движения сердца. Строки, посвященные любви, могут служить мерлом душевной зрелости. Стоит напомнить, что уже в 20-х годах, когда право лирики на существование еще оспаривалось не только критиками, но и поэтами, были написаны прекрасные, ставшие хрестоматийными стихи о любви Маяковским и Есениным, Пастернаком и Асеевым. Высокая традиция получила развитие в 30-е годы. Война естественно высветила в ряду сердечных побуждений мотивы семейной верности, стойкости, взаимопонимания. В последние годы стихи о любви появляются во множестве. Правда, нередко здесь сказывается дробность бытовых впечатлений поэта. С радостью наблюдаешь за тем, как упорно старается тот или иной поэт найти слово, способное передать подлинную поэзию «вечного чувства».

Образы различной тональности, светлые и суровые, служат одному и тому же благородному делу. Женственность, свободная от «теремной», «салонной», «кухонной» ограниченности, так же вносит много доброго в стихи молодых поэтов, как и мужественность, очищенная от грубости, захватского высокомерия, хвастливой демонстрации своих достоинств, увы, частенько мнимых. Понятно желание неоперившегося лирика предстать перед читателями этаким значительной личностью, имеющей за плечами подвиги, а то — интереса ради! — и грехи...

Но подобное фанфаронство разгадывается без труда. И гораздо большего успеха добивается поэт, честно, без ходулей, котурнов и личин показывающий, чего он ищет и добивается, что ему интересно и важно в работе над стихом.

Так поступает Диомид Костюрин, в своей первой книге «Две минуты» не скрывающий, что он еще только приглядывается к миру, который взялся изображать, еще проверяет, что он может сделать, а с чем еще надо погодить. Правда, такая осторожность могла и сковать поэта, навсегда или надолго замкнуть в тесном кругу однородных мотивов. Но переходя от страницы к странице, от стихотворения к стихотворению, замечаешь, что Костюрин не повторяется и постепенно осваивает новые сферы стиха.

Принеся присягу в верности деду, погибшему под Каховкой, отцу, сраженному на улице Берлина, тем высоким идеалам, которые они защищали, молодой человек 70-х годов произнес обязывающие, ответственные слова: «Шагаю я — это значит, что живы навек они». Естественность высказанного здесь решения обнадеживает.

Непросты задачи, которые доводится решать каждому, кто, начиная работу в поэзии, понимает общественный смысл своих усилий. Молодой узбекский поэт Мухаммад Али вкладывает в уста своей матери, благословляющей и напутствующей его, слова, в которых заключены идеалы самого юноши: «Как я хочу, чтоб жил среди людей ты, смелостью и добротой славясь». Поэт обязывает себя действовать сообразно наставлениям самого дорогого для него человека.

И другие голоса слышит Мухаммад Али, зовущие его к деятельному труду. Общительность, нравственная открытость становятся приметной чертой творческого облика поэта. «Поделиться я с каждым готов и душою своею и жизнью» — сказал так, он и подлинно делится с читателем открытиями, которые ему удастся сделать, накапливая жизненный опыт. Поэт не утаивает того, как ему «странно чувствовать порой, что в сердце радость и беда, всегда враждуя меж собой, живут в обнимку иногда», как преодолевает он сомненья, побуждающие мгновенно каждое ловить, и сберегает уверенность в беспредельности, цельности жизни, как презирует он тех, кто живет только ожиданием мелочных благ, «не счастья он, а смерти ждет!». Одиннадцатистрофное стихотворение «Сердце мое», рассказывающее об этих и иных душевных борениях, воспри-

лимается как сжатая нравственная биография, освещающая диалектику духовного становления.

А на соседних страницах хлопковые поля, цветущие сады, родной кишлак — среда, ставшая питательной для чуткого юноши, подсказавшая слова, которые он добывал, искал бессонными ночами, чтобы выразить и красоту земли и свою любовь к ней. «И даль полей мне душу обожгла» — так обозначает Мухаммад Али счастливую минуту превращения внутренних, ему одному известных ощущений в строки, ложащиеся на бумагу и с этого мгновения претендующие на то, чтобы стать частицей общей жизни.

Труден этот переход... Замечаешь, как Александр Юдахин, имеющий для своего возраста биографию, довольно богатую профессиями и странствиями, старается найти в ней источник нравственного воодушевления, обходясь без пышных фраз, опираясь на точные факты и переживания. Он был педагогом — и обращается к пионерам, стоящим над братской могилой: «Вам жить в коммунизме. Смотрите, ребята, смелей: учитесь при жизни посмертному братству людей!» Бывал в плавании — и, вспоминая морскую стихию, провозглашает: «Да возродится человек, достойный этой колыбели!» Бродил по лесам — и вынес оттуда знание: «Тропой самолетной над лесом летят журавли. Живи и работай...» А иной раз у него и так бывает, что пойдет «пустая порода» и то, что казалось значительным, существенным, ляжет в стихе бездыханной, сухой информацией.

Молодой поэт Михаил Вишняков привлекателен тем, что его стиховой строй насыщен и ароматами, звуками, цветами родной сибирской земли, и вместе с тем неустанным движением мысли. Поэт называет и пригорки, и пашни, и трубы, и дыхание лесного ключа, с тем чтобы прочитать их как «запретную книгу», постичь не только прекрасную плоть земли, но и законы, по которым живет наша планета: «...невозвратность короткого мига, необъятность земного пути». А затем не отказываясь и от «предметности» слова, уподобляет познание тайн бытия бадье, поднимающейся из темного колодца...

Без сомнения, стихам Вишнякова придает особую крепость их трудовая природа. Речь идет не о каком-либо специальном «приобретении». Ковка жерновов, прокладка шурфа, прогон скота «через раскаленный Бычий солончак», копка колодца — обо всем этом

поэт рассказывает как прямой участник нескончаемых работ. И вот что существенно: сделанное, построенное, добытое дорого герою не только тем, что полезно, но и тем, что прекрасно, нужно душе. Конечно, хороша «коренная», холодная вода, наполняющая только что вырытый колодец, но ведь герой добыл ее для других, не для себя. Зато сам он унесет с собою и сохранит благодарность за «доброе утро, за высь возвышений и глубь глубины», за те чувства, что пришли к нему в часы созидания.

Теперь понятно, почему, вспоминая, как и все почти его сверстники, о военной биографии своего отца, Вишняков в соседнем стихотворении с гордостью сообщает: «...у отца была библиотека: Аристотель, Энгельс и Толстой». И далее почтительно изображает упорного искателя истины и красоты, задумывавшегося «над загадкой греческих стихов» в то время, как «били за околицей двустволки, по-медвежьи громоздилась тьма». Другие времена, иные условия и запросы. Но поэт чувствует себя верным наследником бойцов и книжечив предшествующих десятилетий: и в них и в нем живет дух нашей эпохи, ее рабочая хватка, ее высокие думы и чувства.

* * *

Будущее молодых поэтов определяется их способностью углубить, развить первоначальные открытия. Но ясно и сейчас: именно они, воплощенные в стиховой строке раздумья, переживания, наблюдения, так же, разумеется, как и открытия, сделанные их старшими товарищами, и есть основа и е для характеристики нашей поэзии 70-х годов. Они, а отнюдь не соображения чисто «типологического» порядка, не «концепция», дающая представление не столько о работе нашей поэзии, сколько о вкусах и пристрастиях литератора, эту концепцию измыслившего!

Наша поэзия рождает новые и новые ценности. О них-то по преимуществу и шла речь в этой статье. Хотелось, чтобы каждая очередная характеристика позволяла уловить еще одну грань, еще одну черту развернутого образного строя, находящегося в постоянном движении. В непрестанном развитии поэзии остаются в стороне выцветшие, поблекшие краски, и их место занимают свежие, сильные, сверкающие новизною, позволяющие выразить отчетливее, рельефнее непреходящие устремления,

принципы нашего искусства, испытываемые и подтверждаемые развитием жизни. Изменяющееся постоянство поэзии таит в себе обилие тем, вопросов, достойных сосредоточенного исследования и осмысления.

Поэтому осторожное обращение с «концепциями» ни в коем случае не предполагает сведения работы критиков к «портретированию», к оценке лишь индивидуальных черт того или иного поэта. Напротив, разобравшись в свойствах, отличающих один поэтический характер от другого, и далее сопоставив, сблизив эти отдельные опыты, мы и получаем представление о том, чем живет, чем дышит наша поэзия, о целостном и многообразном творческом единстве.

Замечаешь, как противопоставлены нашей поэзии — по ее же собственному самочувствию — бытовая приземленность, описательность, замкнутость и декламационная абстрактность, риторичность, умозрительность; как много дают ей неподдельное чувство действительности, близость к реальным судьбам, трудам современников, к глубинам народной жизни и готовность к просторным обобщениям, окрыленность души, приверженность высоким идеям эпохи...

Это не привносимые со стороны нормы и каноны, а принципы, вырабатываемые и уточняемые самой поэзией, проложенные и прокладываемые ею пути, на которых возникают и осуществляются самые различные образные решения.

В последнее время мы немало говорим о расширении эпического начала в поэзии.

Такая необходимость действительно есть, но, призывая к «эпизации», не следует забывать, что в литературе, созданной социалистической революцией, эпическое содержание, события и люди эпического масштаба и значения получают воплощение и в проникновенных, сугубо личных переживаниях, последовательно лирических образах. Что же касается способов, ракурсов выражения, именно разнородное обилие охватываемых поэзией фактов подсказывает возможность самых различных решений. И они существуют, появляются, умножаются.

Сочетание веры в истинность исходных позиций с пылкостью непрестанного и отважного поиска известно нашей поэзии, в том числе и тем ее работникам, что совсем недавно стали известными читателям.

Не за горами начало следующего столетия, и его отблеск будет все отчетливее, ярче ложиться на нашу жизнь, на поэзию нынешних дней. Поэзия социалистического реализма в бурях и испытаниях великого века уже показала свою способность преодолевать трехмерность времени, совмещать участие в насущных заботах дня с дальновидением, прозорливостью, памятью, обнаруживать в «текущем», «очередном» постоянное, непреходящее, сопровождающее нас на дорогах истории. Чудесное, благородное свойство!

Оно сказывается в открытиях, завоеваниях нашей поэзии нынче. Оно поможет ей и в последующих непрестанных, воодушевленных трудах.



Н. АНАСТАСЬЕВ



МАССОВАЯ КУЛЬТУРА И ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ТАЛАНТА

Массовая культура буржуазного общества вездесуща, эта распространенность тревожит людей, предлагаются самые различные способы борьбы с нею.

Психологически понятно, когда высокое искусство защищают даже с элитарных позиций. Говорят: искусству, художнику, чтобы спастись, надо уйти во внутреннюю эмиграцию. Стоит ли повторять, что такие заклинания не только бездейственны, но и губительны для искусства? Ибо, как не на одном примере показано, крайности сходятся, мнимый демократизм массовой культуры и «аристократы духа» равно выхолащивают саму идею художественного творчества.

Куда привлекательнее либерально настроенные интеллектуалы, которые искренне мечтают наладить контакт между искусством и публикой на уровне истинного переживания, а не простого потребления. На что, однако, возлагаются надежды? Профессор социологии Нью-Йоркского университета Б. Розенберг пишет так: «Массовые коммуникации обнаруживают такую обезкураживающую способность распространения тирании в царстве культуры, что нам остается только содрогнуться при мысли о том, как могут использовать их недобросовестные политики. Содрогнуться и укрепить себя. Как? Я думаю, надо просто выработать более уважительное отношение к нашему собрату-человеку. Я стою на том, что противодием массовой культуре является культура высокая, что высокая культура есть искусство и знание и что эти продукты потенциально доступны каждому, кто не страдает тяжелым умственным расстройством»¹.

Это звучит хорошо, но все же слишком романтично. Потому что апологеты массовой культуры всегда могут сослаться на то, что именно они-то и «уважают собрата-человека», ибо именно его запросы для них единственный закон. И ссылаются: «Массовая культура скорее отвечает потребностям людей, нежели формирует их»² (Д. Уайт, декан факультета журналистики Бостонского университета).

Вот что, однако, любопытно. Даже и самые неистовые ревнители массовой культуры соглашаются, что в «массовом обществе объем объектов высокой культуры резко уменьшился за счет увеличения объема средней и грубой (brutal) культуры»³. Иное дело, что, по их оптимистическим прогнозам, положение это неокончательное, соотношение в скором будущем вновь переменится, ибо «средний» и «грубый» уровни есть лишь необходимые этапы на пути массового читателя, зрителя, слушателя к истинному искусству.

Таким образом, дискуссия упирается в тупик. Этим самым ревнителям говорят — Достоевский, Дебюсси, Феллини, а они в ответ: мы за, решительно за, только хотим, чтобы и «голубым воротникам» и обитателям гетто они стали доступны. Не станете же вы утверждать, что рабочие фиатовских конвейеров либо сварщики заводов «Ю. С. Стил» уже сейчас готовы освоить философские глубины «Иосифа и его братьев» либо цветовую гамму Эдуара Мане. Попробует кто-нибудь возразить на все это — и его тут же назовут высоколобым аристократом.

Беда, однако, в том, что спор идет на по-

¹ «Mass culture revisited», Ed. by B. Rosenberg and D. White, N. Y. 1971, p. 9.

² Ibid., p. 19.

³ Ibid., p. 78.

верхности, аргументы имеют по преимуществу эстетический характер. В таком случае проблема упрощается до элементарности: кому же не ясно, что проза Фолкнера — это высокое искусство, а «сексуальные» романы недавно умершей Жаклин Сьюзен — самая жалкая поделка, какую только можно вообразить?

Но стоит выйти за пределы эстетики, как станет ясна неизбежность того, что выглядит зауряднейшей халтурой. Ибо все эти «вестерны», криминальные повести, «солдатские» романы и т. д. есть лишь способ распространения (наряду с другими способами — рекламой, телевидением, вообще средствами массовых коммуникаций) социальных и духовных стандартов современного буржуазного общества. Иными словами — одна из форм существования массовой культуры. Явление это широко описано в философской и социологической литературе; суть его, коротко говоря, сводится к формированию безликого, «среднего» человека. Человека, лишенного индивидуальных склонностей, привычек, мыслей, языка. Человека, являющего собой не цель бытия, но функцию, средство реализации ценностей буржуазной цивилизации.

Подобная общественная ориентация оккупирует, естественно, свое угнетающее влияние и на искусство, искажает его гуманистический смысл. Не в том дело, что умножается количество дешевых беллетристических сочинений — с ними все ясно, их авторы сознательно преследуют цели, ничего общего ни с творчеством, ни с гуманизмом не имеющие. Но в плен расхожих представлений попадают и писатели, обладающие — и доказавшие это — немалым художественным дарованием, искренне озабоченные судьбой человека, отодвинутого на периферию общественных интересов. Атмосферное давление массовой культуры оказывается для них слишком высоким, и тогда появляются средние книги — в меру критические и в меру конформистские, не утрачивающие уровня культуры, но явно понижающие его. Созидательные устремления уступают место излишней озабоченности будущим успехом, и вот писатель, не становясь вполне ремесленником, перестает быть в то же время и творцом.

Мне думается, подобные явления выходят за пределы индивидуальных писательских судеб, вырастают в существенную проблему нынешней художественной жизни на Западе.

Проблема эта интернациональна, характерна для любой развитой капиталистической страны, но выражает себя, естественно, в разных ликах и с разной интенсивностью. В этой статье речь пойдет об американских авторах и американских книгах.

Ни в одной стране художник как личность, творящая духовные ценности, не находился в таком неопределенном и странном положении, как в Америке. В Новом Свете не было традиции, легенды, «предания» в том смысле, в каком употреблял это слово Пушкин.

Ирвингу в Америке недоставало «драматического колорита и чувства традиции»⁴.

Нечто в этом роде высказывал и Готорн: трудно, говорил он, писать романы в стране, «где нет никаких полутонов, ничего таинственного, древнего, красочного или, напротив, отталкивающе-мрачного, нет ничего за исключением озаренного ярким солнечным светом самого банального преуспевания»⁵.

И даже Генри Джеймс, писатель реалистического склада, горько сетовал, что Америка лишена почвы для искусства, ибо тут нет дворцов, соломенных хижин, маленьких нормандских церквушек...

Буквально все это понимать, конечно, не надо — сами же авторы приведенных высказываний и доказали, что литературу можно создавать при «ярком солнечном свете» и вдали от «нормандских церквушек». Но было в подобных сетованиях и нечто болезненно реальное. Пилигримы, высадившиеся в начале XVII века на берегу марибуэкетского залива, вместо земли обетованной встретили ветра, суровую природу, местных жителей, совсем недобродушно отнесшихся к незванным пришельцам. А дальше на запад расстился дикий, неведомый, полный неожиданных опасностей огромный материк. Пуританский идеал физического труда нашел тут подходящую почву: поселенцы упорно осваивали неподатливую землю и для духовного, эстетического переживания, для занятий изящными искусствами времени, казалось, просто не было.

Сменялись эпохи, каждая выдвигала своего героя — пионер, скваттер, генерал, политический деятель, искатель золота в Калифорнии и серебра в Неваде, мореплава-

⁴ См.: М. Каули. Дом со многими окнами. М. 1973, стр. 261.

⁵ Там же, стр. 262.

тель, торговец, промышленник, изобретатель. Коротко говоря, практический человек «self-made man». А позднее, уже в легко обозримом для нас прошлом — спортсмен, звезда экрана: герои потребительских времен. И только художника, писателя в этой череде национальных типов не было, литература долгое время почиталась занятием несерьезным и даже подозрительным. В 1922 году известный критик и публицист Ван Вик Брукс сокрушительно отозвался о прошлом и настоящем своей страны: «Традиционная американская тяга к практическому... только и способна объяснить всегдешнюю вялость наших литературы и искусства... Совершенно ясно, что пока американский писатель не жорвет с «массовым фатализмом» американского народа, нашей литературе суждено оставаться явлением бесплодным, косным, второстепенным, каковым она в целом и является»⁶.

В этих словах больше раздражения, чем справедливости. Позади были романтики, рядом — Драйзер и Андерсон, а в пределах близкой видимости — Хемингуэй, Фолкнер, Фицджералд, Дос Пассос, Вулф — все блестящее поколение 20-х годов. Но и понять критика можно: именно в ту пору — не впервые в американской истории, но впервые в таких масштабах — искусство обнаружило свою зависимость от егубо практического буржуазного идеала. Именно в те (20-е) годы элита общества начала настойчиво и широко втягивать художника в сферу собственных идеологических интересов, осознавать силу слова; именно тогда распространились и массовые журналы, и «tabloids» (газеты, почти целиком состоявшие из рисунков), и кинематограф набирал силу, и телевидение было не за горами. Словом, зрело то явление, которое через несколько десятилетий назвали взрывом массовой информации; выходили наверх проблемы, которые сейчас стали главными.

Вот почему в Америке от художника требуется повышенная творческая сосредоточенность, особенная вера в искусство, особенная сила сопротивляемости давлению стандартов жизни и общественной психологии. Не всегда, как известно, эта сила обнаруживалась даже и большими талантами, Фицджералд морщился как от боли, лишь только слышал само название «Сатердей

ивнинг пост», но ведь писал всякие безделки в этот журнал, где так легко и быстро платили и где так безотказно добывался успех. Кажется несовместимым: Фицджералд — автор классических романов «Великий Гэтсби» и «Ночь нежна», и он же — белозубый кумир «века джаза», популярный и удачливый беллетрист, точно знающий, как построить рассказ, чтобы он понравился публике. И все-таки это правда, это даже не лицо и маска, а одно искаженное мукой лицо. Мука — потому что сознавал, что губит себя. И к тому же колодец оказался таким глубоким, что и после литературной поделки в еженедельниках удалось написать «Ночь нежна» и после Голливуда отлично начать «Последнего магната».

Так это все же не кто-нибудь — Фицджералд. Ведь не каждому даже одаренному автору достанет мужества, душевной глубины признать, что путь взят ложный: уверенно катит по раз проложенной колее, а случится — спохватится, так и поздно будет — ушло и то, что было.

К тому же массовая культура воспроизводит себя расширенно, атмосфера все сгущается, давление повышается — противостоять становится все труднее. И вот незаметно для самих себя мельчают таланты, вставая в эту атмосферу, поддерживая ее прежде завоеванной репутацией. Для искусства это беда. Потому что состоит оно не из одних вершин, да и вершинам надо на что-то опираться.

Успех, жажда первенства, признания всегда входили в американскую национальную мифологию; к неудачнику относятся пренебрежительно, а то и с презрением: он не вписывался в рамку Мечты. И художников тоже ценили по негласному закону: первым критерием значимости была популярность. Фицджералд, поставленный судьбою в неравное положение со сверстниками — богатыми и элегантными героями «века джаза», надеялся сравняться с ними за счет литературной славы и — боялся ее. Другой американский писатель, младший современник автора «Великого Гэтсби», Джон О'Хара, тоже стремился к славе, но в отличие от мастера не терзался никакими сомнениями, напротив, всячески стремился застолбить себе место в пантеоне. И хоть цели своей он достиг — редко кого в Америке и до сих пор читают столь широко, сколь О'Хару, — все ему казалось, будто чего-то недодано. В 1956 году он

⁶ Van Wyck Brooks. Literary Life in America в кн. «Civilization in the United States». N. Y. 1922, p. 69.

совершенно по-ребячески обиделся на джентльменов из Комитета по присуждению премии за лучшую книгу года, которые предпочли ему Бернарда Маллмуда, выпустившего тогда «Волшебный бочонок». И он продолжал, хоть покатило на шестой десяток, упорно популяризировать себя в глазах публики: выпускал каждый год по книге (так что, по остроумному наблюдению критика А. Кейзина, уже и заглавий не хватало, один из сборников был назван просто «Другие рассказы»), использовал любой повод для саморекламы, будь то интервью, где ему ничего не стоило сравнить себя с Фолкнером, газетная статья, в которой автор с равным упоением перечислял количество написанных книг и машин в гараже, или даже просто название очередного сочинения — «Поколение О'Хары».

Литература для О'Хары была делом серьезным, как производство автомобилей для Форда; и он тоже был озабочен проблемами рентабельности. В предисловии к упомянутым «Другим рассказам» (1968) он писал — вполне в своем стиле, — что хотя малой формой он овладел в совершенстве, в его возрасте «писание рассказов становится слишком дорогой роскошью. Никто не пишет их лучше, чем я, но они требуют слишком много времени и энергии, а время и энергия черпаются из тех источников, которые я должен сохранить для романа»⁷.

Так кто же О'Хара — просто удачливый делец в литературе? Если просто, то не стоило бы и речь заводить.

Подобно многим американским писателям, О'Хара пришел в литературу из газеты, и журналистская школа всегда сказывалась в его письме. Оно принципиально чуждо подтексту, все здесь вынесено на поверхность, все точно обозначено — от черты характера персонажа до марки автомобиля. Его романы и рассказы как будто вырастают из самой жизни, служат ее естественным продолжением и завершаются лишь формально — на самом деле в ту же самую жизнь и возвращаются. Вот почему он всегда столь тщательно при всей своей поспешности выверял зачины и финалы книг: надо было добиться ощущения абсолютной «несделанности». И получалось. «Поздно вечером Янка Лукаса сморило, и он заснул, а газ остался гореть» — такова

первая фраза романа «Инструмент». А вот заключительные строки: «Он быстро дочитал до конца некролог Зены Голлом, который был одновременно некрологом таланта Янка Лукаса. Если, конечно, он не найдет кого-нибудь ей в замену». Действительно ощущение того, что здесь разворачивается сама жизнь, возникает безотказно.

Конечно, такое беллетристическое мастерство вырабатывается упорным трудом, но ведь мастерство — это еще не искусство. Впрочем, в начале творческого пути казалось, что есть и искусство.

Творчество писателя — всегда слагаемое многих элементов: таланта, традиции и, конечно, эпохи, в которую он живет.

«Свидание в Самарре» (1934) — первый роман О'Хары — легко подтверждает эту известную истину. В нем ясно сказалось время — время Великой Депрессии, основательно встряхнувшей миф об американской исключительности, подорвавшей самодовольную уверенность в превосходстве ценностей Нового Света. И хоть причиной самоубийства главного героя Джулиана Инглиша был не экономический крах, в этом трагическом акте зеркально отразилось духовное смятение, утрата привычных идеалов, прочно, казалось, укорененных в сознании «среднего» американца. Собственно, путь героя к гибели начался задолго до того, как созрело роковое решение. Препевающий коммерсант, один из тех, кого называют столпами общества, вдруг ощутил бессмысленность существования, в котором значение человека определяется банковским счетом и местожительством — скажем, дом на Лантененго-стрит уже служит признаком принадлежности к местной элите. Притворные улыбки, самодовольство окружающих кажутся непереносимыми более, и вот он бросает вызов привычному. Может, это была минутная вспышка, даже наверное, вряд ли серьезную борьбу начинают с того, что выплескивают в лицо неприятному тебе человеку бокал с вином, но и этого хватило для того, чтобы круто повернулась судьба. Джулиан перестает быть с оим, перед ним закрылись двери гостеприимных некогда домов, произошел разрыв с женой. Порвав со старым и не видя реальных новых путей и начал, герой и уходит из жизни.

Очевидно, дает о себе знать и традиция. Позади были и «Уайнсбург, Огайо» Ш. Андерсона и «Главная улица» С. Льюиса, где будничность, сонный мир американского за-

⁷ Цит. по кн.: А. Kazin. Bright book of life. Boston. 1971. p. 109.

холустья обернулся страшными гротесками. Манера близких предшественников была, правда, совершенно чужда О'Харе, но он следовал им, отказываясь видеть в провинции царство не испорченного цивилизацией духа. Наконец, было собственное видение, а значит, индивидуальный талант. Ведь в те годы, когда на поверхности были проблемы в первую очередь экономические, требовалась и проницательность и писательская смелость, чтобы обнаружить более стабильный, не отменяемый финансовыми взлетами и поражениями разлад — разлад между внешним благополучием человеческой жизни и ее духовным обеспечением.

Так начинал О'Хара — хорошо и обещающе. И в пору дебюта трудно было предвидеть, что сила так скоро обернется слабостью. Это сейчас, когда творческий путь писателя завершен (он умер в 1970 году), можно и в победе обнаружить зерна поражения. Уже в «Свидании» сказалось стойкое недоверие писателя к разного рода психологическим нюансам и положениям, уже тогда он склонялся не к индивидуальной, а к ролевой характеристике персонажа — все решала принадлежность к той или иной общественной группе. Репортерский опыт оказался не только благом, он и ограничивал возможности автора — детали замечались метко, но из них далеко не всегда составлялся человеческий образ. А эта принципиальная, взятая как творческая установка однолинейность, это неумение — или нежелание — проникнуть в глубину резко обнажали другую склонность писателя, доставшуюся ему как историческое наследие американизма и настойчиво культивировавшуюся в XX веке, — почти-тельное отношение к материальному успеху. Вот почему автор «Свидания» с такой тщательностью, даже любованием описывает антураж благополучия.

Впрочем, время способно не только про-светлять, но и искажать контуры отдаленных явлений. Возможно, на нас действует дальнейший путь автора, взятое им направление. В первом романе были все же только нечеткие сигналы опасности, заглушаемые трезвым голосом художника, озабоченного моральным крахом Америки.

Нет, и в будущем О'Хара никогда не опустится до апологии бизнесмена, до прославления «американского образа жизни», иначе он стал бы заурядным «массовым» беллетристом. Но все слабее становилось

писательское зрение, все более часто подменялось оно общим, привычным, «средним» взглядом на вещи. К тому же действовала и инерция успеха — от О'Хары ждали определенного круга героев, конфликтов, слов, и он эти ожидания безотказно оправдывал. Писать он мог лучше или хуже, но литературные установки оставались неизменными, потому и для примера можно взять любое из его многочисленных сочинений. Пусть это будет известный советскому читателю роман «Дело Локвудов».

Упоминалось уже, что О'Хара без особой застенчивости сравнивал себя с Фолкнером. Сопоставление, конечно, невозможное, но если брать только внешнюю рамку фолкнеровской саги, то не такое уж абсурдно далекое. Подобно тому как классик стремился сосредоточить в Йокнопатофе все проблемы человеческого духа, О'Хара в своей собственной Йокнопатофе (Гиббсвил, Шведская Гавань, другие городки Пенсильвании, где разворачивается действие его книг) видел средоточие если не всего мира, то, во всяком случае, Америки. А американская жизнь — это, по его словам, единственная достойная тема для писателя. Есть и другие, более частные совпадения. Томас Сатпен, главный герой фолкнеровского романа «Авессалом, Авессалом!», в молодости больно столкнувшись с сословными предрассудками аристократического Юга, дал себе страшную клятву — вытеснить с насиженных мест старых хозяев, основать тут собственную — на века — династию. К цели своей Сатпен стремится, не разбирая средств — на пути его обман, убийство, кровосмешение, — этим и обусловлена гибель грандиозного замысла.

И в «Деле Локвудов» Авраам, сын Мозеса, первого из Локвудов, прославившего это имя, поставил себе целью «создать Дело, иными словами — династию, берущую начало от Мозеса Локвуда. Он приступит, вернее, уже приступил к созданию своего Дела, видя в нем смысл и стимул своей жизни и жизни членов своей семьи». И этому плану, как и замыслу Сатпена, не суждено было осуществиться (хотя причины провала были совсем иными).

Но между похожими началами и концами лежат целые жизненные пласты, и они, конечно, разительно отличны друг от друга. Фолкнер исследует историю, О'Хара только описывает, проговаривает, складывает из сугубо внешних примет. У Фолкне-

ра — колоссальное напряжение духа, фраза-монстр, долженствующая забрать в себя все потоки и ответвления жизни, все странности чувства, всю непостижимость людских поступков. У О'Хары — бойкий, стремительный диалог, ничего непонятного, следствия вытекают из причин тут же, немедленно. Проза явственно ориентирована на среднее сознание, а оно, думается автору, допускает минимум загадочного, ему нужна окончательность, не размышление — растолкование.

Вот, например: девушка выходит замуж, попадает в незнакомую среду — естественно, меняется строй чувств, происходят некоторые психологические сдвиги. Автор сразу же оповещает об этом: «Душевные переживания, привыкание к новой семье, домашние хлопоты, запоминание лиц, которые год назад вообще для нее не существовали, — и вот она уже вступила во второй год замужества». Дальше этого, однако, дело не продвигается, задачу свою писатель считает исчерпанной — суть этих самых «душевных переживаний» его вовсе не интересует.

В «Деле Локвудов» есть один любопытный пассаж, приведем его, извинившись перед читателем за растянутость цитаты: «Агнесса Локвуд руководствовалась в своем поведении услышанным однажды термином «хорошая жена», поэтому все практические сведения, полученные ею в том году, имели какое-то касательство к этой фразе и к ее горячему желанию соответствовать понятию «хорошая жена». Во время грозы скисает молоко; продуктовая лавка Крафта — лучшая в Шведской Гавани; самый удобный утренний поезд в Филадельфию отправляется из Шведской Гавани в восемь сорок пять; во время воскресных денежных сборов Локвуды кладут на тарелку по доллару... фермеры-протестанты в католический праздник вознесения не работают... Мозес Локвуд потерял нижнюю часть уха в битве на реке Булл-Ран...» И так далее.

Вот по такой же примерно модели строятся истории, биографии героев, сюжеты самого О'Хары: все держится на безусловности реакций, никаких промежуточных инстанций, отклонений от прямого пути не существует. Не трюбя интеллектуального напряжения, книги О'Хары оставляют в покое и чувства. Расстраивается брак влюбленных. Трагедия? Ничуть, даже и на драму намек нет; еще до того, как помолвка

была расторгнута, автор спешит успокоить читателя: молодой человек, оказывается, уже охладил к невесте.

В сочинениях О'Хары много смертей, вот и «Дело Локвудов» начинается гибелью мальчика, упавшего на пику ограды нового локвудского дома, а в финале умирает и сам хозяин этого дома. В промежутке кончает самоубийством брат Джорджа — Пенроуз. Однако никакого потрясения эти смерти не вызывают, да и не рассчитаны они на потрясение. К ним относятся спокойно, очень по-деловому, как к неизбежности: в жизни все случается — и рождение и смерть. Потому Джордж, не позволяя себе раскиснуть, и занимается трудолюбиво похоронными хлопотами — «весь день, следуя графику и время от времени внося в него поправки, он разговаривал с адвокатами, похоронным бюро, чиновниками административных служб».

Нередко говорят, что О'Хара уделяет преувеличенное внимание сексу. По моему, упрек напрасен. Скорее напротив — у него по нынешним временам почти пуританское отношение к интимным сторонам жизни. Дальше «они разделись и сели на край кровати» чаще всего дело не идет. Подобно тому как О'Хара не пишет духовную жизнь своих героев, а только говорит о ней, он лишь информирует о любовных связях персонажей. Так, мы узнаем о том, что добрый семьянин, человек вполне почтенный и солидный Пенроуз Локвуд влюбляется в свою секретаршу. Ситуация, конечно, банальнейшая, но в атмосфере истинного искусства и заурядное может обрести силу неподдельного переживания, высветить неожиданные грани характера. Однако психологическое, индивидуальное содержание любовной истории О'Хару вовсе не интересует, недаром она не показана, а лишь рассказана одним братом другому; мы так ни разу и не увидели героев на rendez-vous.

Зачем же понадобился автору этот сюжет? А так — для оживления действия, придания ему формального жизнеспособия. И еще потому, что чего-то в этом роде ждут, таков читательский спрос. Подобная творческая ориентация сама по себе чревата обмелением таланта, тем более умеренного. В определенном же общественном климате, в такой обстановке, которая массово тиражирует социальные мифы, утверждает некие стереотипы жизни и поведения, смысл творчества в рассматривае-

мом случае вообще утрачивается, оно само становится способом распространения тех же мифов. Примерно в таком положении и оказался Джон О'Хара. Он, конечно, видит, что Дело Локвудов строится на разного рода махинациях, знает, что в жизни могут быть более достойные занятия, нежели накопление капитала. Мелькнет, скажем, такая фраза: «Авраам Локвуд хотел лишь привить сыну джентльменское отношение к наживе денег, научить его скрывать эту свою склонность к накоплению» — и станут ясны и сомнения автора, и его несколько скептическое отношение к участникам Дела. Но не стоит преувеличивать значение таких слов и интонаций. Куда откровеннее в книге звучит другая мысль, накапливается иное отношение к персонажам — доброе, с оттенком искреннего уважения.

Для О'Хары XIX век и еще более отдаленные времена — эпоха упорного труда, честных помыслов, настойчивых и целеустремленных людей, своими руками добывших себе счастье. Да, автор может и иронизировать, но в общем Дело Локвудов — для него замысел достойный. При обращении к нему самый тон повествования, умеренный, как правило, чуждый патетики, обретает величавую торжественность. И даже — вовсе уж удивительно и непохоже на О'Хару — возникает некая многозначительная неопределенность. «Авраам Локвуд... знал, что его грандиозные планы могут быть названы Делом, но сам он их так не называл. У него вообще не было для них определенного наименования. Дело. Стремление. Кампания. План. Стратегия. Поглощенность. Цель. Мания — то, что он не дал этому названия, значения не имело... Он был столь поглощен своим замыслом, столь многие формы принимала его деятельность, что некий поступок, который можно было охарактеризовать словом «любовь», нередко сменялся поступком, который можно было охарактеризовать словом «жестокость», а к третьему не подошло бы ни то, ни другое определение» (на русском языке опубликован журнальный вариант романа, и это рассуждение в нем опущено).

Заведенный замысел, правда, не состоялся, но виною тому не основатели, а продолжатели, сбившиеся с прямого пути отцов, — так, младший Локвуд, Бинг, занявшись нефтяным промыслом, оставив родные места, пускается на всякие нечистые аферы, на что никогда бы не пошли ни Мозес

(пусть на его совести человеческие жизни), ни Авраам, ни Джордж. Те не чета нынешним — крепкие, укорененные люди, настоящие американцы.

Так происходит сращение литературы с национальной мифологией, так индивидуальное видение подменяется распространенной легендой.

На картине, висящей в художественной галерее Вашингтонского университета, изображена группа людей: простая одежда, суровые, обветренные лица, взгляд, напряженно устремленный вперед, в неведомое, в глазах, в фигурах — твердость, решимость преодолеть и покорить. Таким запечатлелся в сознании американцев облик предков-пионеров, такими, должно быть, представлялись О'Харе и его Локвуды.

В подобном взгляде есть, конечно, своя реальность, непререкаемая достоверность исторического опыта. Но опыта, во-первых, очищенного от крови и несправедливости — взять хотя бы безжалостное истребление аборигенов, — а во-вторых, неоправданно растянутого во времени. Ведь во второй половине XIX века, когда и начинают разворачиваться первые Локвуды, Америка была уже развитой капиталистической страной, приближался «позолоченный век» с его безудержным культом материального процветания, сделками, взятками, коррупцией. И люди XIX века, современники, такие, скажем, как Марк Твен или Норрис, смотрели на свои времена куда трезвее, нежели человек века XX — О'Хара.

Беллетрист, взявшийся бы сейчас прославлять настоящее Америки, высокий материальный уровень жизни, телевизоры, холодильники, касетные магнитофоны, вызвал бы только насмешку. Позиция писателя, оглядывающегося назад, напротив, кажется благородной и безусловно нравственной. Но идеологически смысл восславления прошлого равен официальному оптимизму нынешних времен, ибо оно, прошлое это, — в идеальном, разумеется, виде — используется массовой пропагандой не менее охотно, нежели реклама мифов потребительского общества: надо же как-то поднять пошатнувшуюся веру в американские ценности.

Уже незадолго до смерти О'Хара написал последнюю свою крупную вещь — роман «Инструмент». Он тоже есть в русском переводе, так что достаточно лишь вкратце напомнить сюжет. Первая же пьеса молодого драматурга Янка Лукаса имела сенса-

ционный успех на Бродвее, он разом обрел славу и деньги. Однако же мелочная суета театрального мира отталкивает его, жизнь большого города парализует творческие импульсы, вот он и бежит в поисках вдохновения в провинцию, в знакомые уже нам места — на Средний Запад. Тут работается вольно, но чем дальше, тем острее ощущается возникшая уже в начале книги антиномия: Лукас свято относится к искусству, но люди, ради которых оно создается, для него просто не существуют, превращаются лишь в инструмент творчества, своего рода допинг. Кончает самоубийством актриса Зена Голлом, которая, оказывается, была для драматурга лишь персонажем будущей пьесы, гибнет в автомобильной катастрофе юная Бетси — с нее вообще хватило мимолетной встречи с человеком, поставившим искусство выше жизни и людей. В финале О'Хара, верный своей привычке расставлять фигуры по местам, четко формулировать условие задачи и ее ответ, выносит герою приговор в словах, которые уже цитировались выше.

В новом романе происходит как будто возвращение к временам творческой молодости, к временам «Свидания в Самарре». Опять звучит мотив бездуховности современной жизни, впустую растрчиваемой в погоне за миражами, будь то слава, богатство, секс. И бегство героя в тишь провинции может показаться вызовом стандартам повседневности. Но тут-то и обнаруживается, что домой, как сказал бы Томас Вулф, «возврата нет», что постоянная ориентация на средний вкус, на обыденное сознание и культивируемые соответственно приемы письма изрядно опустошили талант писателя. Янк Лукас, сказали мы, бежит от испушений буржуазной цивилизации, из душной атмосферы потребительства, но саму эту атмосферу О'Харе воспроизвести уже не удастся. Мир театрального бизнеса построен у него из готовых кусков, взятых напрокат из соответствующих колонок американских газет. Трафаретны ситуации и стандартны фигуры — талантливой актрисы, вынужденной прокладывать путь к славе через постели режиссеров и продюсеров, принципиально безнравственного пресс-агента, театрального дельца, безжалостно эксплуатирующего талант актрисы, и так далее. Духовный стандарт изображен в стандартном же слове и образе, и эффект получается грустный: описание машинерии успеха настолько захватывает автора, что

отрицание подобного образа жизни почти и не ощущается.

Когда-то писатель действительно был увлечен Локвудами, и подробное, тщательное воссоздание способов их возвышения вполне отвечало его чувству и задаче романа. Теперь же действует инерция стиля и, разрушает замысел. По той же причине не получилась и фигура главного героя. Он выпадает из среды привычных О'Харе персонажей, будь то сонный обыватель из провинции или энергичный финансист. Непривычна и ситуация — остроконфликтная. Все это требовало инструментов психологического анализа, которых О'Хара не знает и которыми не владеет — равьше-то они просто не нужны были. А прежние — окончательная четкость ответов, безупречная причинно-следственная связь, внешний жест, за которым нет и не должно быть сложного переживания, — не срабатывают. И реальная большая проблема размывается, распадается на достоверные эпизоды, не больше. Опять средняя, массовая — в том смысле, в каком мы условились здесь понимать ее — литература.

Собственно, упрощение жизненных реалий, простое указание на проблему взамен ее художественного исследования — это есть первый признак такой литературы. И тут уж не выручает никакой литературный опыт, никакой стиль. Больше того, под давлением определенной идеологической задачи и самый-то стиль начинает неудержимо утрачивать черты индивидуальности, округляется, как галька, теряет цвет и форму. В книгах О'Хары этот процесс почти незаметен, ибо он с самого начала избрал язык средний — людям-функциям иной и не пристал. Но вот в творчестве других писателей перемена стиливого строя становится, может быть, самой решительной приметой неблагополучия.

...От старого Юга в Америке осталось сейчас немного. Редкие особняки в колониальном стиле, раздвигающие тесноту стандартных коттеджей, надпись «Dixie» на номерных знаках автомобилей. Да порой еще столкнешься со смущенно-любящим взглядом на прошлое, в буквальном смысле взглядом: помню, какими глазами смотрела дама, показывавшая нам губернаторскую резиденцию в Монтгомери, Алабама, на овальный портрет Джефферсона Дэвиса, президента Конфедерации отколовшихся южных штатов. Но это редкость, деловитая современность давно уже пришла и

сюда. И только литература, должно быть, сохранила, как принято говорить, «чувство места». Школа «южного романа», возникшая в середине 20-х годов, с ее неизменным интересом к истории, жива и поныне. Разумеется, сегодняшняя Америка со своими новыми проблемами и людьми размыкает герметический некогда мир «южного романа» — тем и поддерживается традиция. Но необщее выражение лица упрямо сохраняется: тяга к символу, приподнято-метафорический строй речи, поэтичность чувств, картины пышной природы — все это есть и у Роберта Пенна Уоррена, и у Фл. О'Коннор, и у Юдоры Уэлти.

Верна во многом испытанным творческим принципам и Шерли Энн Грау, известная советскому читателю романом «Стерегищие дом». Но вот новая ее книга (тоже переведенная на русский язык) «Кондор улетает» возмущает во многом сложившуюся стилевую стихию.

Может быть, это и неудивительно, ибо теперь романистка обращается уже не к локально-южной, а к общенациональной духовной проблематике. Снова перед нами старый конфликт — материального благополучия и духовной нищеты. Причем писательница рассматривает его как самую выразительную черту новейшей истории Америки, как стержень, соединяющий прошлое и настоящее. Возвышение Томаса Оливера (все называют его Стариком) начинается во времена «позолоченного века», кончает же свою жизнь этот некогда бедный фермер, а ныне мультимиллионер уже в наши дни. Судьба его, таким образом, служит как будто подтверждением национального мифа, но она же его безжалостно и разрушает: несметное богатство не принесло Старика ни счастья, ни покоя, он умирает в одиночестве. Словом, по внешним приметам перед нами социальный роман, такой, какие пытался писать и О'Хара. Заметим еще, что Энн Грау вовсе не склонна к любованию своим Локвудом — Томасом Оливером.

И все-таки это только внешние приметы. Пропадает психологическое мастерство романистки: ее Старик — это ведь тоже не более чем легко заменяемое лицо с совершенно стертой индивидуальностью, своего рода модель судьбы человека в обществе, где деньги важнее ума, достоинства, таланта. Быть может, это неизбежная дань теме? Да нет же, вспомните еще раз, как писал своих «очень богатых людей» Фиц-

джералд — какие яркие фигуры! А Драйзеровский Каупервуд?

Положим, писательницу просто постигла неудача, к массовой-то культуре какое отношение ее книга имеет, она ведь не культивирует, напротив, отрицает легенду?

Но отказ от самостоятельного художественного мышления мстит за себя. Раз вступив на путь клишированного воспроизведения ситуации, автор уже не может сойти с него, «модельный» стиль пронизывает всю книгу. Именно это вовлекает ее в орбиту популярного чтения, массового вкуса. Одна из дочерей Старика, Маргарет, — это все та же героиня потребления, копия Эрнестины Локвуд, если уж мы взяли сравнить «Кондора» с сочинением О'Хары. А сколько еще таких бледных фигур проходит по страницам книг нынешних американских писателей. Бледных — потому что это копии копий: не живые фигуры воспроизводятся, а уже обкатанные, своего рода вычисленное среднестатистическое явление. Все тот же душевный надлом, те же нервные попытки обрести гармонию, распавшийся смысл существования в бесконечной смене любовных связей. В этом нет художественной обязательности, есть лишь отклик на инерционное читательское восприятие. Дело не в том, что многие сценарии написаны чрезмерно откровенно; в принципе эта откровенность ничуть не отличается от скромности того же О'Хары, смысл тут один — показать знакомое. А тогда неизбежно тускнеет некогда богатый и своеобразный язык, на смену неожиданному слову приходят блоки стершихся выражений.

Первые американские реалисты — Хоуэллс, Норрис и, конечно, Драйзер — произвели настоящую революцию в литературе США: они принесли в нее конфликты, характеры, язык самой жизни. Их книги были прежде всего злободневны. Но уже через двадцать лет этого оказалось недостаточно — новое поколение писателей подходило к изменившейся действительности иным, не столь прямым путем. В пору экономического бума, сопровождавшегося катастрофическим понижением моральных ценностей, литература, напротив, нередко уходила от текущей американской повседневности, сказать точнее — становилась объемнее, прозревала в быте глубины бытия.

Пожалуй, дальше всех по этому пути пошел Фолкнер. Временные сдвиги, поток сознания, внутренний монолог — все эти

достижения литературной техники XX века — органически вошли в его грандиозный эпос. Но речь, как не раз подчеркивал художник, шла вовсе не о стиле. Американская литература преодолевала раздробленность, фрагментарность, привносимую в действительность буржуазным прогрессом, вырабатывала общую художественную концепцию современного мира. Коротко можно так сказать: она обнаружила несостоятельность Мечты, старинного национального мифа, на котором воспитывались многие поколения американцев, — равные возможности всем, чистильщику сапог не заказана дорога в Белый дом, каждый при известном усердии и удачном стечении обстоятельств может стать Рокфеллером или Карнеги. Драйзер, используя традиционные средства, увидел в Мечте трагедию разделения общества на богатых и бедных; молодежи же поколение романистов открыло тяжелую истину: Мечта есть духовный кошмар.

Словом, искусство двигалось. Сейчас, думается мне, это движение замедлилось. Конфликты жизни не исчезают, напротив, углубляются, но от художественного слова требуются уже новые формы, чтобы выявить истинную их суть, проникнуть за поверхность с ее обманчивой простотой. Для этого надо преодолеть давление стереотипов, и многим это не удастся сделать.

Вот Ванс Бурджайли (еще одно известное советскому читателю имя) пишет роман «Брилла среди развалин». Герой его, чье имя и вынесено на титул, так аттестует себя: «Я — господин одноэтажная Америка. Стоящий на углу в своих калошах. Я — демократия в действии. Я — молчаливое большинство». Конечно, в этих словах немало позы, к тому же нетрудно заметить, что герой томится и своим благополучием (он преуспевающий юрист) и тихим покоем провинциальной жизни. И все же точно — перед нами действительно средний, стандартный, безмянный американец, подробно описанный старыми и новыми мастерами литературы. И средний, безмянный городок, только что название его уже не Уайнсбург, а Розетта.

Но «среднее» в жизни не может оставаться средним в литературе, в таком случае она гибнет. То, что было открытием в творчестве Андерсона или Льюиса, у Бурджайли (не только у него, конечно) становится одним из многочисленных типографских отисков. Может быть, автор это и

сам ощущает, нарушая привычную картину новыми, современными реалиями и ликами: тут и студенческие волнения и отголоски войны во Вьетнаме. Однако снова — не произведение, а воспроизведение, не взгляд художника, а набор частностей, не образ и судьба, а только контур их (так, сын Роберта Брилла неведомым образом превращается из противника войны в ее участника, но психологически это превращение ничуть не мотивировано — просто зарегистрировано).

Роман Бурджайли — сочинение вовсе не конформистское, автор всерьез озабочен духовными недугами современников, ему не нравится климат, в котором живут его герои. Но он и сам в этой атмосфере — будто существует граница климатического пояса, за которую нельзя переступить. И совпадает эта невидимая полоса с границей читательского знания, точнее сказать — узнавания. Художник оказывается подвластен сложившимся правилам игры. Искусство же состоит в их нарушении. И между прочим, сам же автор «Брилла» и доказывает это — в его романе странным образом сочетается зависимость и независимость, нерасчлененно-массовый облик жизни и ее художественный анализ.

Ощущая неистинность привычного существования, фетишизирующего власть вещей и искажающего реальный смысл человеческих отношений, Брилла бежит из него, отправляется в Мексику на поиски следов исчезнувших цивилизаций. Реальной ценности экспедиция лишена — еще в предисловии автор сообщает, что «археологические изыскания во второй части романа недостаточно научны». Потому и предстает здесь герой не в облике ученого, исследователя; он словно бы перевоплощается, сбрасывая с себя одежды современника и принимая роль человека давно ушедших времен: бежит не только с насыщенных мест, но и от самого себя. Резко нарушается уже сложившаяся стилистика книги, в нее входит гротеск, фантастика, притча. Брилла перестает быть механической фигурой, в нем незримо происходит работа мысли и Духа — ради этого стоило пойти на разрыв эстетического единства повествования.

Легко извлечь из полуреального путешествия в Мексику такую примерно аналогию: нынешняя Америка при всем своем материальном благополучии представляет собой, по сути, те же руины, что остались от процветавших некогда цивилизаций Ду-

мается, однако, мысль автора сложнее: ему важно, повторяю, показать движение человеческой судьбы, нарушить размеренность жизни. И герой действительно не остается прежним, в нем просыпается некоторое новое знание, а скорее только ощущение — ощущение того, что и он ответствен за происходящее вокруг. На это намекает — не больше — один эпизод в финале книги, когда Брилл, оказавшись перед альтернативой иллюзорного покоя в условном раю, где его ждет соблазнительная возлюбленная, и действительной трудной жизнью в реальной Розетте, все же выбирает реальность. Как он теперь себя покажет, не соскользнет ли в наезженную колею равнодушия и самодовольства — остается неизвестным. Но тут ответ не столь и существен, важно, что вопрос возникает. Это уже признак разрыва с массовой беллетристикой, где как раз все известно заранее, все расставлено по местам.

В «Брилле» ясно отметились следы внутреннего несогласия — художник борется с беллетристом, стремится вырваться за пределы привычного, утвердить свое право творческого преображения жизни. Когда такая борьба происходит внутри одного произведения, она, понятно, обнаруживает особый драматизм, но вообще-то подобного рода конфликт между творческим сознанием и ограничивающими его стереотипами достаточно характерен. Порой этот конфликт возникает неожиданно, решительно ломает сложившиеся уже, кажется, репутации. Скажем, романист и драматург Гор Видал давно известен безупречным знанием законов литературного успеха, его книги просто «обречены» на популярность. Иногда он стремится к ней слишком явно — и тогда появляются книги типа «Майры Брекенридж», сочинения почти порнографического, чаще пишет романы на актуальные политические темы, но именно на темы. В «Вашингтоне, округ Колумбия» ошутимы как будто критические и даже разоблачительные ноты, но цель повествования, в общем, заключена просто в том, чтобы подробно описать коридоры власти. И к тому же оно «оживляется» то любовными сценами, то картинами демонического буйства природы, выдающимися не слишком выскочкой вкуса автора.

Стереотипы массового мышления и стили прочны, так просто от них не избавишься, об этом свидетельствует и новый — как раз тот самый, неожиданный в творчестве

Видала — роман «Бэр» (1974). И здесь немало беллетристики: банальна любовная история рассказчика — служащего адвокатской конторы и журналиста Чарлза Шайлера и Энн Джуит, юной содержанки из публичного дома; мелодраматичен финал: обнаруживается вдруг, что Шайлер — это незаконный сын своего патрона, вице-президента США 1801—1804 годов, чьим именем и назван роман. Вообще слишком ощутима техника построения интриги, слишком тороплив слог.

И все-таки в этой книге — только инерция беллетристики. Замысел же как раз противоположен — нарушить сложившиеся представления, встряхнуть мысль читательскую, лишить ее покоя, подвергнуть сомнению кажущееся бесспорным.

Снова приходится говорить об истории. Настоящее может вызывать у американцев любые нарекания, недовольство им возникает в самых разных общественных слоях (потому, кстати, так и зыбка тут грань между искусством подлинным и мнимым: слишком велик соблазн просто запечатлеть в слове распространенное настроение, но это и есть видимость реализма). Однако же прошлое всегда остается несомненным, оно есть источник покоя и надежды. Отцы-пилигримы, пересекшие Атлантику и основавшие первые поселения в Новой Англии, война за независимость и пионеры, осваивавшие огромный материк, «граница», зовущая смелых и решительных, — все это и многое другое важное и несущественное, бесспорное и сомнительное с точки зрения морали окрашивалось постепенно в цвета романтического идеала, превращалось в Мечту. Музыкаль звучали имена, названия, понятия, тоже утрачивавшие постепенно свой реальный и совсем не однозначный смысл, — «Мэйфлауэр» и «Леди Арабелла», Вашингтон и Джефферсон, Дэниэл Бун и Дэви Крокетт, «джексоновская демократия», скваттеры, трапперы...

Как говорилось, миф охотно используется пропагандой. Но ведь не только ею. И даже не только литераторами, которые, подобно О'Харе, простодушно идеализируют прошлое. Истинное искусство тоже не раз в XX веке обращалось к ушедшим временам.

История давила на Фолкнера тяжелым бременем, несчастья нынешние прорастали из глубины лет, однако же возникало и другое чувство: люди в старину, читаем в одном из рассказов, «были подобны нам, как

и мы — жертвы, но жертвы других обстоятельств... Они были проще нас и потому крупнее, цельнее, героичнее... Жизнь не пригнула их к земле, движимые простым инстинктом, они обладали даром любви и смерти, они не были жалкими расщепленными существами, которых слепо вытащили из капкана и свалили в общую кучу».

В рассказах Хемингуэя, очень современного писателя, тоже возникают картины нетронутой природы дикого Запада — один из неперменных обликов Мечты. А у Фицджералда в финале горькой, беспощадной, поэтической книги «Великий Гэтсби» появляется вдруг такая картина: «По мере того как луна поднималась все выше, стирая очертания ненужных построек, я прозревал древний остров, возникший некогда перед взором голландских моряков, — нетронутое зеленое лоно нового мира. Шелест его деревьев, тех, что потом исчезли, уступив место дому Гэтсби, был некогда музыкой последней и величайшей человеческой мечты; должно быть, на один короткий, очарованный миг человек затаил дыхание перед новым континентом, невольно поддавшись красоте зрелища, которого он не понимал и не искал, — ведь история в последний раз поставила его лицом к лицу с чем-то, соизмеримым заложенной в нем способности к восхищению».

...Так мы и пытаемся плыть вперед, борясь с течением, а оно все сносит и сносит наши суденышки обратно в прошлое».

Животворная сила легенды столь велика, что захватила на время и слои культуры, поднявшись на поверхность общественной жизни как раз под знаменами разрыва с традицией, — возникло было движение «новых новых левых», в чьих рамках болезненный интерес к древним религиям Востока сочетался с возвратом к природной жизни, вкус к которой в Америке XX века утрачен безнадежно, но которая в былые времена обеспечивала духу стойкость и чистоту. Опыт Торо, удалившегося в уединенную хижину на берегу уолденского пруда, стал едва ли не образцом.

Из всего этого понятно, какое мужество требуется от художника, рискующего подвергнуть сомнению столь долговечный миф. Тем более если в творчестве этого художника прочертились совсем другие линии, направленные как раз массовым сознанием. А ведь Гор Видал даже не просто задает вопросы — он решительно отвергает легенду.

Аарон Бэр — фигура необычная, даже загадочная; историки до сих пор не решили, кто это был — сильный, пронизательный политик или авантюрист, злоумышлявший против демократических принципов новой республики, стремившийся к расколу союза штатов и претендовавший на неограниченную, монархическую власть. В этом споре у Видала есть своя позиция: его симпатии на стороне героя, он считает, что суд над Бэром, организованный Джефферсоном, и последующее изгнание первого — дело явно несправедливое, акт политической мести. Однако же вовсе не ради восстановления репутации полузабытого деятеля была написана книга. «Бэр» в большей своей части построен в виде дневников умирающего политика, охватывающих несколько десятилетий американской жизни начиная с войны за независимость, но дневники эти придуманы автором. Черты исторических лиц изменены (хотя, по видимости, и сохраняют безусловную связь с оригиналами), да и само прошлое основательно «отредактировано» художником.

Джордж Вашингтон, герой революции, первый американский президент, предстает лишь как бездарный генерал, не выигравший в жизни ни одного сражения. Что же до его государственной деятельности, то, по словам Бэра, «большую часть своего президентства он проводил за придумыванием монограмм, моделей одежды, не говоря уж о протоколах пышных церемоний, в чем ему помогал Гамильтон». Томас Джефферсон — не более чем респектабельный политический интриган, безудержный честолюбец, доходящий в своем стремлении к власти и уверенности в собственной непогрешимости едва ли не до безумия. Вашингтон Ирвинг, первый национальный писатель Америки, тоже личность несколько сомнительная, втянутая в закулисные махинации. И так далее. О персонажах второго плана и говорить не приходится: продажные репортеры, бесчестные лоббисты, хозяйка дома терпимости миссис Таунсенд, сочетающая свое ремесло с прилежным чтением проповедей Джонатана Эдуардса, знаменитого теолога XVIII века, известного своим нравственным максимализмом, — эффект гротеска, не меньше.

Так постепенно складывается картина всеобщего морального распада, сопровождавшего первые же годы становления союза американских штатов и бросающего весьма мрачный свет на весь тот грандиоз-

ный эксперимент, каким привыкли видеть американцы свою революцию. Протекционизм, ложь, подкуп, считавшиеся принадлежностью нового времени, оказываются, возникли еще в колыбели республики.

«Почему исторический роман, а не история? — говорится в послесловии от автора. — Для меня прелесть исторического романа состоит в том, что автор его может быть столь же скрупулезным (и столь же небрежным!), сколь и историк, и в то же время не только сохранять право перемешивать события во времени, но, что всего важнее, и определять мотивы действия — то, чего ни в коем случае не следует делать истинному историку или биографу».

В «Бэре» все-таки даже и для исторического романа слишком много «мотивов» и слишком мало «скрупулезности». В любом случае американская революция была не бунтом самолюбий, как ее изображает Видал, а «набатным колоколом для европейской буржуазии»⁸.

Но понятны и художественные преувеличения «Бэра» — автор не историю Америки «разоблачить» стремился, ему надо было поколебать миф, вернуть американцам чувство реальности, отнять у них, у современников, счастливую уверенность в том, что все устроится само собою, ибо истоки кристально чисты. Эти преувеличения заложены, так сказать, уже в самой поэтике книги. Она только притворяется документальным репортажем. Постоянная смена временных планов и голосов рассказчиков (слово берет то сам Бэр, диктующий воспоминания о первых годах революции, то Шайлер — и тогда действие переносится на три-четыре десятка лет вперед) придает повествованию романную объемность. Стилизована и сама хроникальная манера — под дневники, послания, речи, жизнеописания, словом, те литературные жанры, что были распространены в XVIII—начале XIX века и предшествовали истинному расцвету литературы США. Деловитость, четкость, ненавязчивый, порой и грубоватый юмор, а с другой стороны, неожиданный пафос, иногда сентиментальность — все то, что характерно для повествовательного тона «Бэра», не прямо, но воскрешает-таки в памяти и «Письма американского фермера» Кревекера, и «Заметки о Виргинии» Джефферсона, и «Жизнь и достопамятные деяния Джорджа Вашингтона», описанные М. Уимсом (хотя в оценке этих деяний ав-

тор XIX века и современный писатель — прямые антагонисты).

Все это неуклонно отнимает у «Бэра» черты исторического повествования — и одновременно расширяет поле художнического видения. Должно быть, впервые в своей долгой карьере Видал рискнул — вышел за пределы привычного, отказался следовать искусственным формулам, которые массовая культура именем самого Читателя навязывает литературному творчеству. Но только на подобном превышении искусство и способно вернуть себе достоинство.

«Быть может, жизнь и не походит на ту выдержанную в черных тонах, неизъяснимо прекрасную, полную таинственности и духа одиночества картину, какой обычно предстает она в сознании художника; но она, во всяком случае, и не та залитая солнцем площадка для игр, на которой американцы столь часто теряют сначала личность, а потом и душу»⁹. В этих словах знаменитого негритянского прозаика, публициста, драматурга Джеймса Болдуина много горечи и много правды: американская Мечта, некогда высокая и благородная, измельчилась, покрылась глянцевым блеском потребительства. Обнаружен как будто и источник «солнечных» представлений — все та же массовая культура, «возбуждающая стремление к покою духа и тела». И все-таки мысль Болдуина, мне кажется, лишена ощущения сегодняшней тревоги, в ней передана только общая ситуация (правда, и сказаны были эти слова не вчера, а пятнадцать лет назад). Ведь теперь только самые отчаянные апологеты изображают Америку в райском облике, а о такой литературе мы условились не говорить. Куда шире распространены иные настроения — поражения, даже кризиса прежних идеалов, они-то и господствуют в литературе.

Не только, разумеется, в литературе. Стойкое ощущение непокоя пронизывает самую жизнь, охватывает разные общественные слои. И кажется, будто искусство, воспроизводящее это ощущение, честно делает свое дело, большего и требовать нельзя.

Это не так. Потому что ведь и сомнения, и недовольство, и протест уже твердо «взяты на учет» массовой культурой. Ностальгическая тоска при случае может стать

⁸ К. Маркс. Капитал. 1969, т. I, стр. 9.

⁹ «Писатели США о литературе». М. «Прогресс». 1974, стр. 340.

такой же социальной модой, как и барабанный оптимизм. Это раньше, в периоды экономического расцвета, от литературы ждали живописания светлых сторон жизни; сейчас привычнее картины духовного краха, безумного карнавала потребления. И этому не заявленному прямо, но витающему, что называется, в воздухе заказу писательское перо слишком послушно. Происходит чисто количественное накопление, и даже неожиданности случаются внутри строго очерченного круга. Скажем, в последнем романе Джона Алдайка «Месяц отдыха» в качестве героя потребительских времен выступает священнослужитель; это, конечно, ново, но слишком уж он похож — и обликом своим, которого не скроет сутана, и комплексами, и даже речью — на архитекторов и юристов из «Супружеских пар» и на высокооплачиваемого рабочего-линотиписта из «Кролика исцелившегося». Ярко одаренный и некогда творчески самостоятельный художник скользит по гладкой поверхности, по которой заботливо прошлись уже инструменты массовой культуры.

Нетрудно упрекнуть автора этой статьи в сгущении красок: появляются ведь и сейчас в Америке произведения, не роняющие достоинства искусства. Но я ведь и не пытался описывать нынешнюю литературную жизнь США в целом. Хотелось по возможности выявить некоторые реальные затруднения, с которыми сталкивается искусство в условиях развитого капиталистического общества.

Сегодня сила сопротивления общераспространенным клише должна быть особенно велика. Художники это ощущают, однако порой в оправданной и необходимой полемике со стандартами массовой культуры возникает, как бы сказать, преувеличение, делается лишний шаг. Характерно в этом смысле творчество Джойс Кэрл Оутс, о котором в последнее время немало у нас пишут. Уже структура ее романов, даже сюжетные их конфликты, круг персонажей с очевидностью свидетельству-

ют: писательница настойчиво преодолевает литературную обыденность, стремится проникнуть в глубину жизни. Но иногда в самом этом стремлении вдруг появляется нарочитость, как будто автор постоянно видит перед собой некоего оппонента, тянущего назад, к привычному, а писательница всячески этому противится. Тогда вместо глубины жизни возникает глубина, так сказать, вообще, то заботливо оберегаемое пространство, внутри которого художник, не связанный ничем, свободно творит собственную вселенную. В последнем романе Оутс «Делай со мной, что хочешь» немало отлично написанных страниц, ощутимо и дыхание современности, взят нестарейший конфликт: живое человеческое чувство против абстрактных параграфов закона. Заметно, однако, и другое: подчеркнутое стремление уйти в мир мечты, отбросить всяческую реальность, заменить сущее и видимое, которое есть на самом деле обман и призрак, бестелесной истинностью внутренней жизни. Недаром героине романа люди, окружающие ее, кажутся «только именами, звуками, абсурдными, неральными предметами».

Возникает, следовательно, такая (психологически легкообъяснимая) ситуация: действительность воспринимается в ее сугубо массовом облике, литература бежит его, но при этом обрывает или, скажем, ослабляет свои связи с той реальной жизнью, что не может быть искажена никакими пропагандистскими ухищрениями правящей элиты.

Может быть, это необходимое противоречие на пути искусства? Необходимое потому, что осознана опасность. Но, конечно, затем должно осуществиться новое возвращение к жизни, к ее истинным конфликтам, проблемам, людям. Последние книги К. Воннегута, Д. Болдуина, роман Д. Хеллера «Что-то случилось» убеждают в том, что движение есть, что в лучших произведениях американской прозы возрождается традиция социального искусства — истинного социального искусства.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Вл. Разумневич. Во имя дня грядущего.— **Елена Клепкина.** «Всей глубиной времени...».— **Ольга Кожухова.** Дух сурового времени.— **Г. Петрова.** «Оставляет человек имя доброе свое...»

ПОЛИТИКА И НАУКА

А. Яковенко. Расти быстрее колоса.— **В. Пашуто.** «Се бо суть реки, напающе вселеную...»

Литература и искусство

ВО ИМЯ ДНЯ ГРЯДУЩЕГО

Георгий Марков. Завещание. Повесть. «Знамя», 1975, № 9.

Помню, как лет двадцать назад, на Третьем всесоюзном совещании молодых писателей Георгий Марков, руководивший прозаическим семинаром, по-дружески журил нас, начинающих литераторов, когда замечал, что мы в своем творчестве подчас опирались не на конкретный материал действительности, не на свой жизненный опыт, а изображали придуманных людей и придуманные ситуации, рисовали географически абстрактную местность, лишенную реального пейзажного и бытового своеобразия. Он решительно выступал против книг, где отсутствовали определенные приметы времени и места действия, где невозможно было понять, когда, в каком районе нашей необъятной отчины происходили события, изображенные автором. Художественная выразительность, эмоциональное воздействие подобных произведений, убеждал он нас, значительно слабее, беднее тех, где автор раскрывает тему, используя личные наблюдения, где литературные герои живут не просто между небом и землей, а имеют точную «прописку».

Человек всегда конкретен, всегда необычен. Так же конкретны, необычны и те условия, в которых он живет, работает, действует. Условия эти влияют на его характер, воззрения и образ жизни. Вот почему лите-

ратор, взявшись описывать судьбу своего героя, не имеет права пройти мимо всего того, что наложило неизгладимый отпечаток на его духовный мир, его биографию, его представления об окружающем мире. Очень важно видеть литературного героя в развитии, в общении с людьми и природой, со всем тем, что окружает его, формирует идейно и нравственно. Писатель обязан постоянно чувствовать личную причастность к делам и думам своих литературных персонажей, досконально знать их быт, жизненные социально-этические и моральные устои, в противном случае герой становится фальшивым, ходульным, неинтересным и читатель теряет веру в истинность изображенного.

Мне хорошо запомнились эти поучительные уроки, преподнесенные нам, молодым участникам семинара, опытным мастером слова, автором романа «Строговы», которым мы все в ту пору дружно зачитывались. Потом вышли другие его романы и повести, где он с той же последовательностью и убежденностью, примером собственной литературной практики доказывал правоту своих художественных воззрений, неизменную преданность отчей сибирской земле, излюбленным своим героям — сибирякам.

Новая повесть Георгия Маркова «Завещание» переносит читателя в таежный сибирский край, к славным землякам автора, раскрывает незаурядные сибирские характеры, рисует тяготы и радости послевоенных лет.

Сразу же, буквально с первой фразы, автор вводит нас в конкретную обстановку, точно указывает и год и название сибирского городка, где разворачивается действие повести, воссоздает правдивую картину той поры, когда советские солдаты «возвращались на родную землю, пройдя через горнило войны, обожженные ее пламенем», когда все вокруг хранило еще следы военной разрухи и лишений.

«В ясный сентябрьский полдень тысяча девятьсот сорок шестого года на просторных улицах районного городка Приреченска, застроенных еще в прошлом веке бревенчатými домами, крытыми тесовыми крышами, с окнами в резных наличниках, а теперь постаревшими, осунувшимися, зияющими прогнившими углами, появился человек в поношенном военном обмундировании. На нем была короткая шинель без погон, офицерские хромовые сапоги, брюки с малиновым кантом и выцветшая серо-зеленая фуражка с тусклой кокардой. За плечами человека висел вещмешок с признаками нетяжелой поклажи. В правой руке человек держал увесистую палку, на которую опирался при каждом шаге,— что-то в пояснице мешало ему шагать свободно и легко. Из левого рукава шинели виднелся протез. Черные пальцы были полусогнуты в горсть, и казалось, что человек несет в полусжатой ладони, как сеятель на пашне, семя».

В повести немало подобных метких, зорко схваченных писательским глазом деталей и наблюдений, свидетельствующих о трудной доле и тех, кто пережил войну в глубоком тылу, работал для фронта, забыв о своем благополучии, запустив собственное хозяйство и дом родной с «зияющими прогнившими углами», и тех, кто прошел по фронтовым путям-дорогам, пролил кровь за советскую родину и с победой возвратился к мирной жизни, охваченный неутолимой жаждой труда.

Чем дальше развивается сюжетная канва повествования, тем более впечатляющи эти достоверные штрихи и отметины сурового времени. Это и невольные горькие слезы на глазах райвоенкома майора Фролова, у которого жена и дочь погибли под бомбеж-

кой, братья сложили головы в боях с фашизмом, а мать и отец были сожжены вместе со всей деревней. Это и забытые крестнакрест досками поверх ставней окна опустевших крестьянских домов и висящая под потолком закопченная керосиновая лампа с пузатым, грушевидным стеклом, заменившая электричество. Это и портреты мужей, братьев, сыновей в черной рамке на стене, скорбные фронтовые треугольники, смоченные вдовими слезами. Это и «бабий колхоз» в глухой сибирской деревушке, где всего шестьдесят семь дворов, а вдов сорок восемь... Все это создает правдивую картину жизни народа в ее главных, определяющих чертах, характерных для того героического прошлого.

Изображая без прикрас, строго и выразительно нелегкие будни послевоенной сибирской деревни, опаленные пламенем военного пожара людские судьбы, напряженный труд сибиряков в тяжелейших условиях разрухи, автор прежде всего стремится раскрыть духовную красоту, патристический энтузиазм человека-труженика, которого не смогли сломить никакие беды и страдания, жизненные невзгоды и неурядицы тех грозных лет. Автора привлекают к себе люди мужественные и стойкие, истинно народные герои, которым по плечу большое государственное дело, которые сохраняют бодрость духа, твердость характера даже в самых неблагоприятных ситуациях, находят выход из труднейших положений.

Отлично передано в повести ощущение всенародного торжества по случаю победы над врагом. По-новому, в праздничном настроении начинают сибиряки налаживать мирную жизнь, привыкая к плавному, степенному течению времени — без оружейных раскатов и бомбежек, без тревожного ожидания похоронок с полей сражений, без долгих ночных дежурств в очереди у хлебного магазина.

Конечно, жизнь не сразу и не без помех входила в мирную колею, сулила впереди еще немало испытаний. «Великое столпотворение началось,— по-крестьянски образно определила эту пору отечественной истории старая сибирячка, многое повидавшая на своем веку.— Кинулись люди вить гнезда, как птицы после вешнего перелета. Снова вывернется горе людское наизнанку. Много еще слез прольется, пока счастье проклюнется». Но бывалому воину, прошедшему огонь и воду и медные трубы, чудом оставшемуся в живых, возвращение к

труду, к жизни под ясным, чистым небом, в котором никогда больше не появятся смертоносные стальные фашистские стержняники, к жизни, о которой так сладко мечталось в затишье между боями, представляется настоящим чудом, долгожданым праздником. Стянув с плеч поношенную гимнастерку, Нестеров как бы заново начинает жить, чувствует себя несколько смущенно и неуклюже в штатской одежде, в модных штиблетах вместо кирзовых сапог; ко всему этому ему предстоит привыкнуть, приспособить себя. Но он уже полной грудью вдыхает воздух мирной жизни, ощущая прилив свежих сил, несказанную радость узнавания родной земли, которая в его представлении стала еще притягательней и краше, чем даже была тогда, в далекое предвоенное время.

Как и в прежних своих книгах, Георгий Марков в новой повести с большим художественным мастерством, психологически глубоко и точно передает эмоциональное состояние человека через восприятие природы, сибирского пейзажа во всем его величии и многообразии. Мы вместе со вчерашним фронтовиком прислушиваемся к шелесту рябиновой листвы, «опаленной уже первыми заморозками и ярко-многоцветной, как узбекский шелк, иногда доходивший сюда на плечах заезжих женщин, доставляющих в госпитали и детдома ароматные плоды южных садов и полей»; постигаем праздничность широких приреченских улиц с раскрашенными палисадниками, с ласковыми радужными бликами предзакатного солнца; наблюдаем, как последние погожие деньки теплой осени сменяются прохладными дождливыми днями с ветрами и острыми, режущими ноздри запахами.

Природа в произведении живет слитно с человеком, помогает глубже раскрыть его переживания, душевный подъем, вызванный нарастающей радостью возвращения к мирному труду. Даже наступление холодов, когда со свистом забушевали ураганы, сметающая на своем пути ометы соломы и стога, не смогло остудить чувств полковника Михаила Ивановича Нестерова, не смогло приглушить его восторга перед величавой красотой жизни, перед сказочной прелестью природы, от которой, по его признанию, «глаз не оторвешь». «Нестеров следил,— пишет автор,— за этой мудрой игрой природы с жадностью человека, пять лет не замечавшего всего того покоряющего волшебст-

ва, которое окружает всех живущих на земле.

В проливные дожди, вечерами, Нестеров, накинув на плечи плащ, выходил на крыльцо своего дома и слушал, слушал шум ветра, всматривался в темное, непроглядное небо, отыскивая в просветах мерцающие звездочки, думал беззаботно обо всем на свете.

Временами эти минуты казались ему неправдоподобными. Да точно ли, что наступил мир? Неужели отпала забота о полке, о людях, о технике, о подготовке к новым боям?

Иногда какое-то внутреннее нетерпение просьпалось в нем и подталкивало в темноту: иди, посмотри, хорошо ли укрыты бойцы, не осталось ли под дождем оружие, надежна ли круговая оборона, не притомились ли часовые,— в такую непроглядь от них нужна особая зоркость. Каждый недогляд сейчас может обернуться выигрышем для противника...

Нестеров спохватывался. Оттого, что все это осталось позади, он испытывал легкость на душе. Даже по мускулам и суставам растекалось светлое ощущение жизни, новизны всего существующего».

Уже по этому отрывку можно безошибочно судить, что за человек полковник Нестеров, как вел он себя на фронте, беспокоясь о солдатах родного полка и о сохранности вверенного им оружия, о том, как лучше организовать боевые действия, укрепить круговую оборону. Легко угадать, как будет вести себя бывалый фронтовик и в мирных условиях, выполняя завещание своего погибшего боевого друга Степана Кольцова: никогда не забывать о долге перед памятью погибшего, перед будущим его родных и близких, не пощадить ни сил, ни времени, чтобы продолжить дело, которое из-за войны пришлось прервать Степану,— исследовать историю экспедиции Тульчевского и довести результаты этой работы до возможного итога.

Михаил Нестеров, приехав в родные места погибшего друга, считает, что должен теперь работать и за себя и за Степана. Нестеров организует поиск золота и ртути в районе Приреченска, заботится о семье солдата, не пришедшего с войны. Он делает все что может, что в его силах. Делает во имя дня грядущего, за который пролил кровь на фронте, стоя у жизненной черты, рядом со смертью. Делает во славу народа и для сча-

ства людей, оставшихся в живых. Он и в мирных буднях остается таким, каким был на фронте, — отважным и благородным, волевым и бескорыстным, готовым по первому зову пойти туда, где он нужнее всего, где ждут его помощи.

Образ Нестерова выписан писателем крупно, масштабно, обстоятельно. Он — в центре повествования, мы ни на минуту не расстаемся с ним и чем ближе узнаем его, тем дороже, понятнее становится он для нас, тем глубже наша любовь к нему. В галерее марковских литературных героев Нестеров, пожалуй, занимает одно из почетных мест, его по праву можно назвать подлинным хозяином Сибири, Человеком с большой буквы. Писатель не скрывает своего восхищения героем-коммунистом, сыном своего народа. Нестеров — в числе тех, кому в высшей степени свойственны чувство гражданского долга, дальновидность мышления, высокая коммунистическая нравственность.

Среди женских портретов ярче всего запоминается председатель шихтовского колхоза «Путь Ленина» Евдокия Трофимовна Калинкина, солдатская вдова, человек редкостной душевной и внешней красоты, в котором детская непосредственность удивительным образом уживается с житейской мудростью, деловитостью. Понимая, что родине, разоренной фашистами, позарез требуется и золото и ртуть, она берется добровольно помочь Нестерову отыскать затерянные следы экспедиции Тульчешского, вместе с полковником отправляется по бездорожью к далекой таежной заимке. После долгих мытарств им удается не только обнаружить

признаки ценнейших месторождений, но и приблизиться к раскрытию тайны давних геологических разработок.

Во время путешествия по тайге Нестеров проникается сердечной симпатией к Калинкиной, и она отвечает ему взаимностью. Описание зарождающегося чувства любви между двумя уже немолодыми людьми окрашено в повести трепетным светом романтики, пронизано неподдельной душевной чистотой, целомудрием. В лице Дуни Калинкиной Нестеров обретает нежного и верного друга-единомышленника, надежную спутницу жизни. Страницы, посвященные их любви, глубоко волнуют своей искренностью, рождают в душе читателя горячую симпатию к героям, спаянным нравственно, устремленным к одной цели.

Любуясь Дуниной смелостью и сноровкой, Нестеров невольно вспоминает проникновенные некрасовские слова о красоте русской женщины, которая «в беде не сробеет, спасет: коня на скаку остановит, в горящую избу войдет!». Калинкина из тех женщин, которые на своих плечах вынесли тяжкое трудовое бремя войны и сохранили при этом свою душевную цельность, сердечную щедрость.

«Завещание» Георгия Маркова обращено в нашу современность, к людям сегодняшнего дня. Рассказывая о больших заботах сибирских тружеников первых послевоенных лет, повесть пробуждает в современном читателе чувство благодарности к героям того нелегкого, но славного времени, учит совершать добрые дела во имя коммунистического завтра.

Вл. РАЗУМНЕВИЧ.



«ВСЕЙ ГЛУБИНОЙ ВРЕМЕНИ...»

Агаси Айвазян. Отец семейства. Повести и рассказы. Перевод с армянского. М. «Молодая гвардия». 1975. 304 стр.

Существует проза, прочно опирающаяся на реальность, не «отвлекающаяся» на умозрительные построения — последние если и возникают, то как непосредственный итог сюжетной ситуации, ее смысловое и идейное резюме. В современной армянской литературе такую прозу, нацупывающую «жилы земли», коренные опоры повседневной жизни, представляет талантливо и незаурядно хорошо известный русскому читателю Грант Матевосян.

По сравнению с ним Агаси Айвазян — писатель, открыто «мудрствующий», с явным философическим, как говаривали прежде, уклоном мышления. Раздумья писателя интенсивны и оригинальны, но порой помимо материала: житейская ситуация и даже герой привлекаются зачастую для наглядной иллюстрации уже готовой мысли.

Так получилось в рассказе «Смерть Бернарда Шоу», где полный произвол автора внутри случайного материала приводит к

художественной эксцентрике, к изящной, но праздной стилизации, к милым пустячкам и сюжетным ужимкам, которые смотрелись бы вполне невинно и игриво, если бы не заключительное армянское «заземление» рассказа. Впервые мелькнувший под занавес серьезный замысел как раз и выдает художественную несостоятельность литературных «игрищ и забав».

Подмена идиллических, стилизованных под «старую Англию» декораций прочными, земными армянскими реалиями обнажает прием, дает прихотливый изгиб сюжету, но не спасает рассказ от манерности.

На целый ряд хитроумных и любопытных тезисов опирается и повесть-притча «Приключения сеньора Мартироса» — прозаическая «копилка» со множеством разностильных подпорок и включений, — в ней спрессованы любимые мысли, убеждения, идеи Айвазяна, встречаемые затем уже по отдельности в других его работах.

Обширное путешествие монаха Мартироса на исходе средневековья по разным странам и весям принимает аллегорическое обличье извечного странствия человека по жизни. В повести этой, примечательной по концепции, проникнутой духом активного гуманизма, отсутствует, однако, живой, полнокровный характер, способный придать убедительное обоснование талантливому и страстному авторскому красноречию. Центральное лицо повести — фигура во многом условная, чистый отзвук авторских идей, удобный и временами темперментный рекламатор авторских убеждений. Мартирос извне, со стороны наблюдает жизнь, вернее повторные, вечные, «железные» закономерности человеческого бытия, резюмируя свои наблюдения прекрасными и мудрыми, древними, как мир, размышлениями о необходимости добра, справедливости и любви. Он думает, например, что человек «должен соотносить себя... с временем... и надо смотреть на человека всей глубиной времени».

Авторский двойник движется по аллегорическому пространству повести-притчи, подгоняемый импульсами напряженно работающей авторской мысли. Личного бытия у героя нет — психологический, душевный инструментарий у Айвазяна здесь мало разработан. Мотивация поступков и стремлений героя сведена к минимуму, скудному и приблизительному минимуму внезапных душевных прозрений, опять-таки искусно

сведенных автором к отстоявшимся мыслям-итогам.

Сознательно я начинаю эту рецензию от обратного — с пресловутой ложки дегтя, которой по неписаному правилу принято как раз кончать критический отзыв. Перед нами автор несомненно талантливый и несомненно оригинальный в своем мироощущении, в настойчивых своих раздумьях над судьбой человека в меняющихся обстоятельствах исторического времени.

И слабые стороны его творчества, например случайность и необязательность некоторых жизненных иллюстраций, притянутых, как говорится, за волосы к заранее обмысленной и словесно оформленной идее, способны по-своему оттенить реальность самой мысли. Иначе говоря, даже в эстетических уклонах или промахах, как это ни парадоксально, со всей наглядностью выявляется творческое «амплуа» армянского прозаика. Скорее следует здесь говорить о противоречиях, чем о недостатках.

Человека, своего современника, Айвазян определяет «всей глубиной времени», отыскивая в нем коренные основы общечеловечества. За мыслью автора, глобальными выводами о жизни людей на земле — цельное историческое воззрение на протекающую, бесконечно изменчивую в своих формах и оттенках жизнь.

В повести «Приключения сеньора Мартироса» «широкоформатность» авторской манеры, пожалуй, слишком выпирает. И это обстоятельство, огорчительное для читателя, оказывается полезным для критика, чтобы по недостаткам судить о достоинствах, коих недостатки, как известно, продолжение.

Конечно же, повествование о Мартиросе — притча, исторические и житейские закономерности, вековые пружины человеческих деяний представлены в ней иносказательно, обобщенно. Не стоит, естественно, от этого жанра требовать привычных для реалистической прозы психологических и моральных истолкований. Но как часто открываемые Мартиросом нравственные итоги жизни звучат голословно и риторически, как часто Мартирос в условной и поспешной, приблизительной ситуации «опошляет» и усредняет выношенную авторскую мысль. Авторское размышление, перепорученное безликому герою, подчас переходит в голословную очевидность, в общее место. Здесь нет шероховатости, преодоления, живого

усилия, импульса мысли, постигающей противоречия жизни. Отчего так? В чем художественный просчет автора, довольно ревнивого к выразительным средствам литературы?

Оттого, очевидно, что мысль, идея, замысел, входя в художественную структуру повести, существенно искажаются, видоизменяются, получают внезапные, «боковые» оттенки. Мысль, высказанная автором-монологистом, и та же мысль, вложенная им в уста героя, существенно разнятся. Прежде всего в своей тональности, в сопровождающей — искренней, горячей или же ложной, посторонней — интонации. Айвазян склонен к активной пропаганде своих мыслей, и часто сила и жар его убеждений берут верх над мимолетной впечатлительностью героя Мартироса: страстный, активный монолог выдает автора, стоящего за спиной своего инертного и человечески маловыразительного героя. Так случается, когда Мартирос неожиданно среди всеобщей разрухи, насилия и мрака средневековья, в момент страшных бедствий Армении встречает «идеальную армянскую деревню»:

«...эта деревня есть основа, точка отсчета, от которой должны ответвляться дороги, уходить, петлять по всему миру, теряться, блуждать — потом они снова сойдутся в этой точке. Эта деревня — начало. Начало возникает просто, посредством союза двух людей. Один человек любит другого, а дальше сами собой возникают следующие связи — человек любит своего ребенка, своего отца, свою мать, своего соседа, дальнего родственника, другую нацию, весь мир... Этот первый союз двух людей наивен, гениален и велик... Эти два человека — основа материи, они — истина, они — мудрость, они — все. Если нарушится этот самый простой, самый первый союз — на свете нигде не останется любви».

Айвазян влечет к открытой, прямой монологичности. Но подбирая ситуацию к мысли, Айвазян подчас не учитывает того, что ситуация всегда «взывает» к определенному, характерному, избирательному наполнению. Склоняясь к жанру притчи, Айвазян порою не вполне уясняет себе возможности и свойства этого жанра.

Условная ситуация не значит произвольная, эфемерная. Условная ситуация притчи — это железо неопровержимая, знаменательная в высшем смысле ситуация, отрешенная от случайностей, мимолетностей,

житейского колорита. В этой ситуации специфическое, единичное обобщено до универсального.

У Айвазяна в «Приключениях сеньора Мартироса» вышло все же так: мысль, как колокольчик, бежит впереди повествования, а на ходу к ней примериваются душевные состояния героя, события, ситуации. Отсюда и поспешное и тоже условное «закругление» сюжета, поставленная без всяких наличных оснований точка... Притча завершается неотвратимо, с тяжелой закономерностью, в ней бездна обобщенного смысла и жизненных итогов. Произвольный, внешний момент здесь исключен.

Повесть «Треугольник» написана как бы в сознательной художественной оппозиции к пространному повествованию о злоключениях средневекового монаха. Это характерно для Айвазяна: его вещи подчас внутренне конфликтуют друг с другом, как бы оспаривая свое право на более точное и выразительное воплощение авторского замысла. У Айвазяна есть излюбленная и ездая им мысль об истории как судьбе людских сообществ, тесно и навечно спаянных любовью, трудом, общезитием, и индивидуализм поэтому враждебен не только коллективу, но и истории, противопоставлен ей и для нее опасен, ибо узаконивает своеволие и произвол и подтачивает изнутри стройный миропорядок и высокую гармонию, которую Айвазян видит в истории. Эту дорогую ему идею писатель множество раз, на самом различном материале и в разных литературных жанрах, как бы проверяет и, соответственно, с каждым разом все более в ней укрепляется и укрепляет ее в сознании своих читателей.

Если взглянуть на очевидное художественное «противостояние» этих двух повестей Айвазяна, можно заметить и родственность идеи и схожесть жанра, но в «Треугольнике» притча исторически конкретизирована, заземлена, а потому и акцентированная писателем мысль на этот раз не умозрительный стержень, к которому подгоняются сюжетные иллюстрации, но отстоявшийся вывод жизненной ситуации, обозначенной автором в узловых, опорных ее координатах.

Айвазян рассказывает о цеховом содружестве пяти кузнецов Мкртчей, причем профессиональному этому союзу придано значение первоначальной трудовой ячейки общества, от которой, собственно, и ведется нравственный, больше того — идейный от-

счет. Недаром с такой любовной пристальностью всматривается в Мкртчей подросток, которому доверена роль повествователя. Он жадно улавливает в трудовых, дружеских, моральных и мировоззренческих нормах, выработанных этим крохотным человеческим коллективом, идеальный образец общезжителства, которому хотел бы следовать: «Вокруг этой пятерки были и другие люди с куда более интересными судьбами, и места вокруг кузницы были красивее и примечательнее, но я жил горестями и радостями «треугольника» и его обитателей».

Старая кузница под названием «треугольник», стоящая в самом центре городка, и есть та самая «точка отсчета» человеческих связей, которая не создается каждый раз заново, а возникает на историческом перекрестке поколений: «Отец у меня был кузнецом. Отец моего отца тоже был кузнецом. Говорят, и его отец кузнечил. Но потом остались только мой отец и его товарищи кузнецы».

Если «Приключения сеньора Мартироса» исторически не закрепились, то притча о пяти кузнецах имеет множество точных временных «привязок» — 30-е годы, Великая Отечественная война, послевоенные 40-е, — которые в совокупности образуют четкий и знаменательный исторический фон, без него «производственная» повесть Айвазяна утратила бы свою художественную убедительность.

Антиэгоцентрическая, антииндивидуалистская ориентация Агаси Айвазяна, имеющая исторические и национальные обоснования, в повести «Треугольник» обретает еще и неопровержимо конкретные, бытовые и даже лирические (что не слишком свойственно этому автору) подтверждения в истории небольшого человеческого сообщества, живущего в своей кузнице такой тесной, единой «родовой» жизнью, что даже различать их по именам не потребовалось — все Мкртччи. Вместе с тем это историческая судьба поколения, на плечи которого легла особо тяжкая и особенно ответственная ноша времени.

Обращаясь к другим произведениям Агаси Айвазяна, нетрудно заметить, что в обрисовке героев он не идет по пути точных психологических аргументов, по классическому пути пристального душевного анализа, постепенного развертывания внутреннего мира личности. В человеке Айвазян под-

черкивает крупные, опорные признаки общности его и связи с другими людьми, с родственным ему человеческим коллективом, рассматривая при этом главные пружины, «приводные ремни» исторической реальности. Его волнует грубый, извечный, простейший «замес» жизни, ее коренной состав.

Лучшая и характернейшая в этом плане вещь Айвазяна — «Отец семейства».

Речь в повести идет не об одном из отцов, рачительно пестующих свою семью, не о конкретном Мисаке с точной индивидуализацией его облика. Мисак — метафоризованный герой, крупное обобщение, или, как любил говорить Гёте, первофеномен — организующая точка людского подвижного множества. С веской, торжественной медлительностью ведет Айвазян жизнеописание Мисака: «Женился Мисак на Ермон. Основал семью. И культ семьи с течением времени заполнил все его существо». Семья стала для Мисака «чем-то вроде удостоверения личности».

Повесть Айвазяна — это история «возвращения» Мисака к родному очагу, брошенному в крутые, трагические моменты судьбы. И каждый раз Мисак заново, с терпеливым упорством созидает свою осиротевшую семью: «И Мисаку хотелось только одного — собрать вокруг себя эти семь душ, защитить их, дать им силы, тепла... И работать, работать для них, и создать прочную семью, и довести ее до десяти душ, потом до... Так думал Мисак».

В повести Агаси Айвазяна как бы двойной жанровый отсчет. Ее герой живет одновременно и по законам притчи и как вполне реальный человек с конкретной биографией. И в ней легко угадать печать времени, через которое движется жизнь Мисака, — пятилетки с их трудовым энтузиазмом, четыре года войны, и среди них один особенный день, когда снаряд, как бумагу, разорвал танковую броню, и чудом остался в живых Мисак, затем возвращение солдата домой, послевоенная жизнь, трудно входящая в мирную колею...

Мисак — олицетворение чувства семейственности. Человек нравственно ограниченный, он почти не выделен личностно. Но автору важно провести свое типологическое исследование именно на этом вроде бы примитивном уровне. В бытовом, ежедневном сознании своем Мисак держит необходимость и — более того! — неотвратимость вечной преемственности поколений,

которая никогда не должна прерваться. Недаром обрусевший немец Ванделин Гак говорит Мисаку: «Есть в тебе что-то такое, Мисак... Может, обычное, но в то же время сложное... У тебя душа отца семейства...»

Писатель видит огромный исторический смысл в таких людях, как Мисак, интенсивно создающих свои семейства: «Миру нужны отцы семейств... Трудное это дело — составить семью. Но есть большая закономерность в том, что все же всегда находятся люди, которые могут это сделать. И дай бог терпения и силы отцам семейств... Горе тому народу, у которого нет отцов семейств...»

Отец семейства в художественной интерпретации Айвазяна — это неременная координата на исторической карте человеческого рода, та священная «завязь» жизни, от которой идут во все стороны разветвленные человеческие связи.

Мисак, конечно же, в специфической интерпретации Айвазяна уязвим. Порой автор склонен мерить его поступки некой особенной моралью отцовства.

Но границы повествования шире единичной судьбы героя. Финал «Отца семейства» звучит надеждой на то, что останется после Мисака среди членов его семьи то нравственное, совестливое ощущение жизни, к которому он приходит, отдав родовому клану всю свою незаурядную способность к любви и заботе. «Все ли уходит вместе с человеком?» — вечный, отнюдь не риторический вопрос искусства, не раз поставленный и в последние годы в отечественной прозе. Утрачивается ли с человеком его нравственное бытие? Не распространяются ли волны великой инстинктивной любви Мисака к своей семье на всех ее членов, и не идут ли они еще далее — к потомкам его детей, и еще, еще дальше...

Айвазян любит в прозе живописные эффекты и резкие смещения, прерывы стиля. Таковы военные воспоминания Мисака. Так обескураживающе неуместны, парадоксально умозрительны впечатления Мисака, спешащего домой после длительной разлуки с семьей. Он замечает вдруг, в стиле изысканных наблюдений героев Юрия Олеши, что у белого от муки пекаря «такая черная тень». Это вставной эффект,

неестественный в конкретной напряженной ситуации, парадоксальное зрение и чутье Айвазяна здесь явно фальшивят.

Айвазян часто выручает литературная традиция. Традиционно воспринятый жанр, сюжет и даже интонация невольно подправляют, урезают, корректируют чрезмерные «эффекты» и умозрительность авторских построений.

Обращение к традиционным формам литературы Айвазяну не во вред. Очевидное и напряженное «бытие» его мысли рельефнее и органичнее всего осуществляется в преемственно воспринятом материале. Как герою его Мартиросу, Айвазяну нужна порой «дорога, проторенная другими, уже оправдавшая себя, почтенная дорога, которой можно было довериться».

Несомненная удача Айвазяна — рассказ «Наша часть реки». Очень знакомая, «каноническая», почти банальная тема — воспоминания детства, взятые крупным планом и лирически подытоженные взрослым человеком. Здесь авторские резюме и отдельные мысли органично и уместно завершают реальные и знаменательные эпизоды становления человеческой личности. И та активная, постоянная пропаганда добра, справедливости и любви, которую автор ведет с неравноценным художественным результатом в других произведениях, вытекает в этом рассказе из конкретного случая одного человеческого самоутверждения. Душевные итоги звучат убедительно, отрадно, ибо подтверждаются ходом судьбы героя: «Я почувствовал, что я не просто мальчик, «юноша», как любил говорить наш учитель географии, но в моих силах совершить кое-что, и для другого моя жизнь что-то значит, и все люди связаны друг с другом».

Традиционные «поправки» и психологические «рецепты» Айвазяну полезны. Он увлекается порой эффектами и сюжетными трюками, забывая, что его мысли о необходимости в мире «любви, чуткости и доброты», мысли бесхитростные и ясные, «очевидные-очевидные», звучат свежо и убедительно только в художественном слове, только в кровной связи с судьбой человека, а не в рассуждениях по поводу ее.

Елена КЛЕПИКОВА.

ДУХ СУРОВОГО ВРЕМЕНИ

О Родине, о мужестве, о славе. Стихи и песни фронтовиков дней Великой Отечественной войны. Современное русское народное письменное творчество, собранное и подготовленное к печати И. И. Дорониным. М. «Советская Россия». 1975. 400 стр.

В дни Великой Отечественной войны книги и журналы до передовой не доходили. Центральные газеты зачастую тоже оседали где-нибудь в штабах, в тыловых подразделениях дивизий. Солдат в окопе неизменно получал армейскую газету, бывало, что и размокшую под дождем или снегом, измазанную в грязи во время бомбежки или арталета. Принесут ее во взвод — и тотчас возле солдата, захватившего газету первым, собираются кучкой бойцы: слушают новости с других фронтов, с особенным интересом выискивают заметки о своем направлении, о боевых делах и героических поступках товарищей, а если есть в газете стихи, то со вниманием выслушают и стихи.

Надо заметить, что поэзия, музыка, песня в дни войны имели особую, необыкновенную силу. Происходило это, наверное, потому, что к чувству, заложенному в произведении самим автором или исполнителем, мы, читатели, слушатели, зрители тех лет, добавляли еще и свои собственные чувства, увеличенные пережитым. Гнев к врагу, любовь к Родине, тревога о близких — все это находило горячий отклик в душе у бойца и оставалось в течение долгих военных лет чувством слитным, главенствующим и при этом всеобщим.

Стихи из армейской газеты вырезали, хранили вместе с комсомольским, партийным билетом. Самодеятельные композиторы в ротах и батальонах подбирали на эти тексты соответствующую музыку, тогда стихотворение становилось солдатской песней, ее пели на походе, у костра. Часто вместе с документами убитого бойца в тыл родным отправляли и стихи из армейской газеты, найденные в его полевой сумке...

Кто их вспомнит теперь, те старые фронтовые стихи? Служили они на потребу дня, особенных литературных красок не имели, писали их в газеты наряду с уже сложившимися, печатавшимися поэтами и совсем непричастные к поэзии люди, изливали на бумаге боль своих утрат, свою ненависть к врагу, свою радость победы в бою. Непосредственность чувства — вот самое характерное в этих стихах. Видимо, эта неприглаженность и привлекала к ним внимание

тех, кто спустя тридцать лет отдал должное и с благодарностью вспомнил солдатскую музу в грубошерстной шинели, шагавшую в общем строю.

Сборник стихотворений армейских поэтов «О Родине, о мужестве, о славе», вышедший в издательстве «Советская Россия», воскращает перед нами те далекие годы во всей их суровости: 1941-й, 1942-й, 1943-й — и так до великого дня победы. Однако внимательный читатель, наверное, и без специального указания мог бы с точностью определить, к какому времени относится то или иное стихотворение. Настроение бойцов, их быт, техника, с какой они идут в атаку, — все находит свое отражение в этой поэзии. Дух времени живет в неуклюжих, едва зарифмованных строчках, может быть, с такой же силой, с тем же самым накалом, с каким он предстает перед нами и в стихах прославленных мастеров:

Настанет срок, и если так случится,
Что на заре, когда уходит сон,
Любимый друг к тебе не постучится. —
Не унывай. Ты верь — вернется он.

Но если он, твой друг, прийти не сможет
Ни на заре, ни ночью и ни днем,
Пусть станет он в сто крат тебе дороже,
И ты поплачь, поплачь тогда о нем.

Но не вини, что к сроку не пришел он,
Не упрекай, что ты одна в избе.
Он верен был стране в бою тяжелом,
А значит — был он верен и тебе.

От горьких строк сорок первого года, от плакатных, откровенно агитационных красок стиха армейские поэты в середине войны приходят к самым разнообразным сюжетам и темам фронтовой жизни, начинают различать в душе бойца всю полнокровную гамму человеческих чувств от слез до смеха, со вниманием оглядывают окопный быт и находят в нем некие особенные, характерные радости. Армейский поэт начинает замечать пейзаж, его внимание привлекает не только героика боя, но и повадка бойца. Например, бронебойщика, его походка:

Их по походке все узнают,
Когда идут они вдвоем:

Слегка под ношей припадают —
Несут громоздкое ружье.

Опасность крепко их спаяла,
Из разных мест простых солдат.
Один кисет, одно кресало,
Патроны, сумка, автомат.

.

Наведена под брюхо мушка —
Минуты танка сочтены...
Удар — и пулемет и пушка
Пехоте нашей не страшны.

Впоследствии мы прочитаем в этих стихах о наших мощных танковых армиях, о воздушных армадах с красными звездами на крыльях, прочитаем о великих наступлениях на всех фронтах от Черного до Белого моря. Однако начало победы было заложено, между прочим, и этими бронебойщиками, пригibasшимися под тяжестью противотанкового ружья, и стихами о них, ибо печатное, да еще рифмованное слово на войне становилось такой же грозной силой, как орудие и снаряд...

Тот, кто не знает жизни фронтовика, уже по одним стихам в армейской газете может представить себе скучный быт солдата и великий, огненный накал его чувств. И его тоску с собственном доме при виде разрушенного чужого гнезда...

На пути ни деревни, ни хаты,
На пожарищах вьется зола,
Только столб — крестовина распятая —
Сохраняет название села.

С большим вниманием наш советский боец всматривается в жизнь сопредельных стран, по которым проходит. К концу войны он как никогда осознает свою высокую миссию воина-освободителя:

Опять, опять гремит салют московский,
Из ста громов сливаясь в гром один.
То — Пруссию штурмует Рюксовский,
То — Жуков наступает на Берлин!

Тут же сцены, которые навек запомнились тем, кто шел с оружием на запад, они не могли не потрясать сердца советских людей:

По шоссе на запад громяют танки...
По домам с чужбины едут полонянки.
Девушка в потертой, полинялой блузке
Что-то закричала весело по-русски.
Может, из-под Пскова, может, с Украины.
На ногах — опорки, на лице — морщины...

Ценой невероятных усилий, ценой бесчисленных потерь наконец-то добыта побе-

да. Солдатские поэты каждый по-своему отразили этот исторический момент, найдя свои собственные краски, свои собственные ритмы — грустные или веселые — для того, чтобы выразить, уловить этот миг:

Отгремела страшная война...
Не качнется тополь придорожный.
Над простором поля тишина,
Да такая, что оглохнуть можно.

Лег на землю теплую солдат,
Руки огрубевшие раскинул...
И не верит: пули не свистят
И не рвутся вражеские мины...

Да, во время войны все виды оружия работали на победу. И прославленные «катюши», и дивизии РГК, и танковые и воздушные армии — они награждались заслуженно. Но помогали солдату и маленькие «сорокапятки», и ручные гранаты, помогал даже нож в зубах, даже простая плащ-палатка, если набросить ее на танк, — она ослепляла вражеский экипаж и лишала его возможности маневрировать.

Действовало и искусство в годы войны. Фронтная поэзия, приходившая повседневно к солдату в окоп, помогала бойцу осмысливать свое место в войне, поддерживала в нем все живое, оптимистическое, человеческое, касаясь при этом самых нежных и самых сокровенных сторон его души, недоступных для окружающих в том суровом быту. Эта поэзия и воодушевляла и лечила, отвергая принцип всеобщности горя, ибо каждое горе есть нечто сугубо индивидуальное, но сравнивала то самое личное горе с не менее тяжким и горестным горем других — сопоставляла масштабы.

Составитель книги поэт И. Доронин сделал доброе дело. Он перечитал огромное количество армейских газет, извлекая из небытия «железки строк». Однако не всегда все же можно с ним согласиться, когда он выбирает одно и оставляет без внимания другое. Неясен сам принцип построения этой важной и нужной книги. В числе армейских поэтов в этом сборнике мы находим и профессионалов и непрофессионалов, как же их все-таки классифицировать? Ан. Ольхон, Ал. Возняк, Сергей Баренц, В. Шульчев, Ник. Новоселов, Полина Каганова, Юрий Севрук — это все-таки не новички и не «самодеятельные» поэты... В то же время в армейских газетах печатались и большие поэты с прославленными стихами, они-то главным образом и придавали газете значительность тона, а в книге их нет.

В этом смысле антология предстала перед нами как бы несколько обедненной. А надо ли делать так?

Немного смущает название книги. Мне кажется, мы чересчур уж вольно обращаемся с Блоком, переиначивая известную строку из его стихотворения и так и эдак. Даже на афишах иной раз можно прочесть

неточные цитаты из этого прославленного стиха. Вот и в книге фронтовых стихов читаем: «О Родине, о мужестве, о славе»...

В целом книга — как наша поэтическая концентрированная история: каждый фронтовик в ней найдет для себя что-то волнующее, очень знакомое.

Ольга КОЖУХОВА.



«ОСТАВЛЯЕТ ЧЕЛОВЕК ИМЯ ДОБРОЕ СВОЕ...»

Овсе́й Дри́з. Четвертая струна. Стихи. Перевод с еврейского. М. «Художественная литература». 1975. 272 стр.

Овсе́й Дри́з. Семицветная страна. Стихи и сказки. Перевод с еврейского. М. «Детская литература». 1975. 255 стр.

Овсея Дриза привыкли считать поэтом детским. Это понятно. Только издательство «Детская литература» выпустило около двадцати его книжек. Немалая часть стихов из этих сборников переводилась на разные языки народов нашей страны. А среди переводчиков были С. Маршак, С. Михалков, Ю. Мориц, Г. Сапгир, Паруйр Севак, Ильяс Таптыг, известные поэты Грузии, Эстонии, Таджикистана.

Но, может быть, немногие даже из тех читателей, которые любят поэзию Овсея Дриза, знают, что всю жизнь вместе с детскими стихами поэт писал и стихи для взрослых. Стихи эти появлялись в периодике — в разные годы, в разных журналах. И вот теперь, собранные вместе в небольшой книжечке, словно бы открыли нам нового поэта, сочетающего в своих стихах детскую простодушность с углубленной раздумчивостью, природную жизнерадостность с откровенностью неизбежной печали, мир философа и мир ребенка...

Предвижу некий скептицизм искушенного читателя: как можно судить о переводных стихах, когда все в них — настроение, образ, ритм — на твоём родном языке создал другой поэт и степень близости переводного стихотворения к оригиналу не зависит прямо даже от меры талантности поэта-посредника, а зависит от чего-то совсем другого, а точнее, от целого комплекса разных обстоятельств, сочетающихся более или менее удачно.

В самом деле, при переводе яркая индивидуальность переводимого поэта всегда рискует раствориться в индивидуальности переводчика. Мироощущение и обаяние одного таланта — трансформироваться в мироощущение и обаяние таланта другого. Ибо

вместе и одновременно в ткани одного произведения они сосуществовать не могут.

Поэзия Овсея Дриза для меня случай особый. Особый, потому что большинство из напечатанных в новых книгах стихов довелось узнать от самого автора. Услышать, как эти стихи звучат на родном языке поэта, получить комментарии к ним и их переводам.

Обычно поэт читал сначала по-еврейски («читал», пожалуй, условно — скорее это было что-то среднее между декламацией и пением), потом переводил — очень медленно, старательно подбирая слова. И только после этого следовал поэтический перевод, если, конечно, стихотворение было переведено. Такое знакомство давало достаточно полное представление и об оригинале и о переводе.

Мне казалось, поэту ничуть не мешало, что слушатели не понимают языка, не знают каких-то, видимо, широко известных особенностей и подробностей еврейского фольклора и быта. Ему нравилось рассказывать про родное местечко Красное на Украине, где он родился, вспоминать истории, которые в детстве слышал от бабушки.

Хотя местечко и называлось Красное, но вокруг было серо и уныло — ни леса, ни кустарника. Даже цветы никто не садил. Земли не хватало, ее приходилось экономить. Новый дом обычно воздвигался прямо поверх старого примерно так, как большая матрешка надевается на меньшую. Отчего в доме всегда было темно и тесно. Но так строили почти все соседи. И, как правило, строительство растягивалось на несколько поколений.

В Красном свято чтислись старые народные традиции, ритуалы, обычаи, а сказки и

шутки передавались из поколения в поколение. Среди мастеровых, живших в местечке, были плотники и портные, часовщики и кузнецы. Озорные балагуры, веселый рабочий люд. Они знали множество притч, увлекательных и забавных историй, анекдотов и шуток.

Поэт вспоминал, с какой любовью относились они к своему труду, как одухотворяли его. Ловко сшитый портным костюм «пел» на заказчике, а закончив шляпу, довольный мастер восклицал: «Это же не шляпа! Это же труба! Наденешь — и видно в сердце огонь! Вот-вот дым пойдет!»

В «Четвертой струне» и детской книге «Семицветная страна» мы не раз встретим этих веселых мастеровых и улыбнемся их забавным шуткам. И конечно же, стихи из цикла «Хеломские мудрецы», органично сочетающие фольклорную сюжетность и афористичность стиха с лукавым юмором, образностью и характерными сказочными интонациями самого автора, пришли к поэту из той далекой детской поры.

Но из детства пришли не только сказочные сюжеты и фольклорные персонажи. Жизнь среди деревенских мастеровых, с утра до вечера занятых работой, научила уважительному и бережному отношению к труду, к людям труда, научила замечать поэзию в работе, казалось бы, совсем нехитрой, но совершенно необходимой, научила понимать и ценить первозданную целостность такого труда. Не усердие, не мускульное усилие, а добрую щедрость работы на радость людям:

Вот спасибо водовозу-добряку!
В бочку он упрятал тучу,
Вместе с тучей — гром трескучий.
Все мальчишки поутру
Получайте по ведру!
Вот спасибо водовозу-добряку!..

Вот спасибо кузнецу-мудрецу!
Лунной долькой, как подковой,
Подновал он вороного.
В облаках до сих пор
Скачет конь во весь опор...
Вот спасибо кузнецу-мудрецу!..

(Перевел Г. Сагир)

Детство поэта не было ни беззаботным, ни сытым, ни щедрым на радости. Не было даже элементарно необходимого — игрушек, книжек, школы...

Но, может быть, эта будничная скудость событий и впечатлений имела и свой добрый смысл, ибо она развила в мальчишке углубленную внимательность ко всему окру-

жающему, цепкость памяти, заставила остро работать фантазию и воображение, учила находить поэзию в буднях.

Красочное романтическое восприятие мира, открывающегося каждый день ребенку, мы видим во многих стихах Овсея Дриза. В них отчетливо проступает наивная детская напряженность ожидания: вот-вот распахнутся перед тобой двери в новый мир, прекрасный и неизведанный, и радость оттого, что все лучшее — впереди, и просто точность детских наблюдений, сбереженных памятью.

«Семицветная страна» — своего рода избранный для детей. В книге много стихов, печатавшихся еще при жизни поэта. Среди них «Как сделать утро волшебным», «Дело шло к вечеру», «Дорога», «Чудак человек», «Игра», «Правая и левая» и другие, которые с полным правом, как мне кажется, войдут в золотой фонд советской поэзии для детей.

Детские стихи О. Дриза удивительно просты и бесхитростны. Ни замысловатых приключений, ни диковинных краев, ни сказочных чудовищ. Мама, бабушка, мальчик Энек-Бенек и другие дети, домашние и лесные зверушки, ветер, солнышко, старый клен — таковы герои поэта. И истины в стихах открываются не новые: будь справедливым, честным, научись добросовестно выполнять свою работу, умеи радоваться солнцу, цветам, всему хорошему, что есть вокруг.

Очень естествен мир, где живут герои Дриза. Доброта, душевная щедрость, счастливая готовность к открытиям, тревожная и радостная уверенность, что необычайное и удивительное обязательно найдут тебя в жизни, — все это органично сосуществует в стихах, надежно защищенных добрым юмором от риторической возвышенности и умиленности.

Непосредственность и живость детского восприятия нигде не переходит в наивность и инфантильность. То, что детские стихи писал зрелый и мудрый человек, ощущается постоянно. Иногда «взрослый» подтекст особенно заметен. Скажем, в стихах «Добрый путь», «Совет», «Всегда верно» и других.

И, наверное, все это вместе делает детские стихи Овсея Дриза интересными для читателей любого возраста. Только дети прочтут их, открывая для себя что-то новое в мире. Взрослые — словно бы возвращаясь в детство, в свое прошлое, которое с годами обретает новый и драгоценный смысл. Стихи позволяют тебе заново пережить дет-

скую языческую способность активно общаться с природой, с миром, испытать удивительное и прекрасное чувство собственной приобщенности к его таинствам и ценностям вечным, нестареющим:

Сперва идешь на цыпочках,
 На цыпочках идешь
 В чулан, где спят блестящие
 Двенадцать пар галош,
 Где лыжи настоящие
 Стоят на старом ящике
 У самой старой вешалки
 С корзиной на крюку,
 А на полу рассыпаны
 Ключи, не подходящие
 Ни к одному замку.
 На деревянной полке
 Ржавые иголки,
 Ржавые наперстки,
 Старый патефон.
 Но с ленточкой сиреневой
 Стоит в пыли сиреневой
 Из-под духов сиреневых
 Сиреневый флакон.
 И сказка начинается!..

(Перевела Ю. Морцц)

Такие стихи не просто пробуждают в нас воспоминания детства. Читая их, сопереживая, мы сами становимся немножко поэтами. И это, наверное, главное.

Детские стихи О. Дриза все светлые, солнечные, звонкие. Они рисуют ребенку справедливый гармоничный мир, полный открытий, радости узнавания, человеческого тепла и участия, доброты и щедрости, мир яркий и многоцветный. Поэт хочет посвятить ребенка в гармонию поэзии, научить его любить и ценить родных и друзей, дом, родину, неизменно увязывая эти понятия в одно целое. Все жизнелюбие художника, поэтичность взгляда на мир, способность удивляться и восхищаться воплотилось в детских стихах.

Иные по восприятию мира, по настроению «взрослые» стихи поэта. И это понять нетрудно. В стихах для взрослых преобладают впечатления военных лет. В них много драматизма, горестного превозмогания неизбежных потерь, желания и готовности отозваться на все боли мира.

Такое отчетливое деление стихов не кажется мне ни странным, ни противоречивым. В общем-то, и во «взрослых» и в «детских» стихах поэта выражается одна программа, одни принципы, одна система ценностей. Просто в поле зрения поэта оказываются явления совершенно различные, отсюда и разная тональность. И надо ска-

зать, эта разность придает поэзии Дриза особую полифоничность. «Взрослые» стихи что-то прибавляют к «детским», «детские» по-другому позволяют прочесть «взрослые». Это хорошо понимал сам поэт, включивший в «Четвертую струну» раздел «Из стихов для детей».

Вступление в пору поэтической зрелости совпало у поэта со временем тяжелых испытаний для родины. С первых дней войны до 1947 года Овсей Дриз был в армии. Кровь и слезы, сожженные села и города, расстрелянные, замученные дети и потерявшие рассудок матери — все это еще долго и после войны не уходило из поэзии О. Дриза, жило в сознании, наполняло сердце и стихи состраданием и ненавистью.

Стихи военных лет лишены не только обычной для поэта яркости красок, они очень сдержанны, как бы нарочито интонационно скудны — невырвавшийся, застрявший в горле крик.

Качается зыбка туда и сюда,
 Туда и сюда пус-та-я.
 Козочка белая, что ты пришла?
 Козочка белая, что ты взяла?
 Козочка белая, козочка малая
 Держит во рту соломинку алюю.
 А легкая зыбка — туда и сюда,
 Туда и сюда пус-та-я.

(Перевел Г. Сагир)

Раздел стихов военных лет (сборник «Четвертая струна») назван скорбно «Здесь покоятся...». Это реквием, эпитафия жертвам фашизма. О. Дриз оплакивает тех, чья жизнь трагически оборвалась в лихую годину, всех осиротелых, овдовевших, потерявших близких...

Дети военного времени, мы привыкли, мы любим поэзию активную, вызывающую к ненависти, действию, борьбе. Но невозможно сердцем не отозваться на эту терпеливую безысходность, звучащую в стихах, не разделить глубокое и горькое отчаянье, не почувствовать щемящей острой жалости, пронзительной боли. И не только это. Стихи О. Дриза рождают стремление помочь, защитить, восстановить справедливость. Наверное, по тому закону, по которому сильный защищает слабого.

Чрезвычайно привлекательно свойство стихов О. Дриза пробуждать в тебе доброе соучастие, заставляя задумываться над внешне простыми, а на самом деле, может быть, главными — вечными вопросами жизни. И как во всякой настоящей поэзии, ты каждый раз находишь здесь все новые от-

тенки в настроении, мыслях и чувствах, все новые глубины.

В «Четвертой струне» есть исполненные горести стихи и среди тех, что не связаны прямо с военной темой. Печаль эта естественна и понятна. Немолодой и очень больной человек, Овсей Дриз, наверное, не мог не думать о том, что пишет свои последние стихи. Но печаль поэта удивительно чиста и возвышенна. В ней нет ничего суетного, мелкого, нет обиды, страха, раздражения. Грусть его сочетается с богатой палитрой серьезных и щедрых чувств и мыслей. Читая стихи, понимаешь, что это печаль оптимиста, печаль жизнелюба.

Хочется привести одно стихотворение. Может быть, самое выразительное в этом ряду. Навеванное мыслями о конце — и чистое, прекрасное в своей нравственной основе. Думаю, оно многое может сказать о поэте читателю:

Ах, как красиво рождаются листья!
Словно кулачки новорожденного,
Еще сжатые, еще замкнутые,
Но уже в небо нацелены:
— Все мое! Все мое!

Ах, как красиво умирают листья!
Словно раскрытые восковые ладони
Того, кто уходит в мир иной:

— Глядите, мы ничего не взяли с собой.

Ничего.

(Перевел Г. Сагир)

Последняя книга Овсея Дриза — убедительное свидетельство того, какой духовно щедрой, какой полноценной может быть старость с мудрой сосредоточенностью чувств, со всем богатством зрелого восприятия, ласковой пристальностью взгляда.

В стихах ощущается нежная привязанность поэта к друзьям, глубокая любовь к родине, увлеченность и восхищение Жизнью, Добром, Поэзией, всем тем прекрасным, что есть вокруг. И точная жизненная, нравственная и поэтическая программа. И какое-то особое душевное здоровье. Поэтому в коротких афористичных строках видишь серьезное поэтическое кредо, принцип, пронесенный через всю жизнь:

Оставляет ветка плод,
Оставляет пчелка мед,
Нивы — золото зерна,
Золотой янтарь — сосна,
Овцы — тонкое руно,
Лозы — пряное питье,
Оставляет человек
Имя доброе свое.

Г. ПЕТРОВА.



Политика и наука

РАСТИ БЫСТРЕЕ КОЛОСА

Золотые зерна. Сборник очерков. М. «Колос». 1976. 368 стр.

Читательский интерес к документальным очеркам, если они злободневны, убедительны и открывают новые грани советского образа жизни, у нас достаточно велик. Человеку свойственно мерить свои помыслы и дела по высоким образцам. Чувствуя прилив энергии, находя в себе новые, неведомые до сих пор силы, ему хочется подняться над своим вчерашним днем; здесь одновременно и добрая зависть к тому, кто сумел сделать больше, а бывает, и недоверие — истинного ли героя ставят в пример? С особым пристрастием, с дотошностью к мельчайшим подробностям изучаются дела и характеры товарищей по профессии.

Вспоминается такой случай. Секретарь колхозного парткома во время короткого перекрута сообщил механизаторам свежую новость: комбайнер Николай Бочкарев (один из героев рецензируемой книги) намолотил за

сутки две тысячи центнеров зерна — выработка в ту пору неслыханная. Сначала не поверили. Споры, шум, подковырки, но и азарт: «Погоди, а если вот так...» Потом посыпались вопросы: что за человек этот Бочкарев? сколько лет работает на комбайне? не механик ли по образованию?..

Думается, найдет своего читателя коллективная работа «Золотые зерна». И, вероятно, не только сельского.

В книге собраны рассказы о тридцати новаторах и передовиках сельского хозяйства. Они живут и трудятся во всех союзных республиках, заняты разным делом — это и директор крупного совхоза, и доярка, и механизатор, и агроном, и чабан, и хлопкороб. Они люди разных поколений — если одни пробивали ратную дорогу к Берлину, то другие в те же годы босоногими мальцами собирали горькие колоски на осиротелых по-

лях. Но читая книгу, путешествуя по ее богатой географии, прикасаясь к человеческим судьбам, приходишь к пониманию неслучайности выбора героев сборника. Нет, дело не только в том, что они владеют древнейшей профессией пахаря и скотовода, что их достижения отмечены высшей наградой — Золотыми Звездами Героев Социалистического Труда. Между всеми ними существует прочная глубинная связь — родственность в восприятии мира, присущее всем им чувство большого счастья и одновременно неисчерпаемой жажды сделать новый шаг вперед.

Слова «любовь к труду» от частого употребления примелькались, мы не всегда вдумываемся в их истинный смысл. О преданности делу говорится и в «Золотых зернах», но это понятие, наполненное захватывающей былью, живыми образами, предстает здесь в первозданной силе и красоте. Многолика, многозначна любимая работа. Она радость и тревога, крылья и нелегкий груз, простор для дерзаний и утешение.

В очерке «Повесть о пахаре» А. Алимжанов пишет об известном казахском рисоводе, дважды Герое Социалистического Труда Ибрае Жахаеве. Земляки никогда не забудут день, когда третьей осенью войны в дом прославленного мастера ворвалось горе.

«Он ушел, чтобы не слышать скорбный плач, он не хотел верить в смерть сына.

...Сын собирался стать трактористом, чтобы на своей машине выкорчевать кустарники, выровнять поле, вырыть канал, вырастить здесь свой первый сноп...

Ибрай взмахнул кетменем и ударил по корням коренатого куста белого саксаула. Глухой треск покатылся по ночной тиши. Откуда-то с шумом поднялась ночная птица, где-то пискнула испуганная мышь. Слабый свет перезревшей запоздалой луны, медленно выползающей из темной бездны земли, скользнул по лезвию кетменя, и снова поле ухнуло от удара...

...Когда взошло солнце, люди нашли его сидящим на земле... Заметили: много добавила ему в голову серебра эта ночь».

Следующей осенью Ибрай Жахаев собрал на этом участке по 172 центнера риса с гектара. Фантастическая цифра, ее и сейчас с почтением произносят рисоводы всего мира, но сознание невольно отодвигает материальный результат на второй план, вперед же выступает иное. В минуту тяжелого нравственного испытания человек прибегает к самому врачующему, по его убеждению, сред-

ству, привычному, но каждый раз в чем-то новому — к труду. И не физического изнеможения, отупляющей усталости ищет он. Его действия осмысленны, цель ясна: исполнить мечту погибшего сына, отнять у пустыни поле и, влив в него силы своей души, передать людям. Это и будет памятник солдату, поклон его далекой могиле.

И уже как нечто само собой разумеющееся воспринимается решительный отпор Жахаева, данный им ретивому уполномоченному, явившемуся с категорическими и нелепыми указаниями. Истинный мастер не терпит невежества, скороспелых новаций. Он относится к ним как к грубому посягательству на творение его рук, долгое время создававшееся упорством и трудом.

Убежденность и принципиальность, разумеется, исключительно важные качества. Но еще одна замечательная черта объединяет сельских тружеников — настойчивость в поиске единомышленников. Ведь не о личной славе пекутся они, а прежде всего об общих интересах. Эта мысль в той или иной форме находит отражение в большинстве очерков.

С увлечением приступает к работе молодой колхозный агроном Нина Михайловна Попова («Дочь полей» К. Скопиной). «Тайны управления природой земли — это тайны управления природным богатством; ей казалось: открой их, и сами собой будут расти урожаи. Но ведь на земле работают люди, которые не всегда понимают землю, как она, агроном... Она доверяла им, пока однажды, проверив за трактористами качество вспашки, не поняла: никакая ученая правда не сработает сама по себе, если каждый человек не будет представлять так же, как ты, почему он делает так, а не иначе.

...С той первой ошибки, совершенной по молодости и доверчивости, и пошла ее кропотливая, многосложная работа с механизаторами. Не только учить, но и знать жизнь каждого». Так размышляет главный агроном колхоза, человек, наделенный немалыми правами и обязанностями, по служебному долгу назначенный нести ответственность за весь коллектив.

А вот еще одна история, одна судьба, во многом характерная для сегодняшнего села. Николай Васильевич Бочкарев, механизатор совхоза «Московский» (очерк Ю. Максименко и В. Могильницкого «Запев»), каждую страду садился на комбайн. От других не отставал, иногда ходил и в победителях. Как-

то директор совхоза предложил соревноваться: кто из комбайнеров лучше проведет уборку, тот получит новую машину «Колос» — собирались на следующий год купить их несколько штук. «Бочкарев, как говорят, не ел, не пил, с головой ушел в работу». Добился своего, принял мощный комбайн и за первый сезон выгрузил из его бункера 9 тысяч центнеров зерна. Очень неплохо. А все-таки на такой технике можно добиться большего, думал Бочкарев. Но не одному. Нужно собрать несколько «Колосов» в один кулак. И народ для этого есть подходящий: Афонищев, Новиков, Киселев. Пришел с этим предложением к управляющему отделением Гусеву. «Слушая Бочкарева, Гусев упрекнул себя в том, что раньше он знал этого широкоплечего, молчаливого механизатора только как исполнительного, добросовестного хлебороба».

В прошлом году звено Бочкарева, управившись дома, убирало хлеба и в Тульской области, в Алтайском крае. Всюду дружный коллектив показал высокую производительность труда. А самое примечательное — Бочкарев и его товарищи «обратили в свою веру» десятки, сотни механизаторов. Они научились жить заботой государственного масштаба: пусть рекорд станет нормой каждого комбайнера, пусть во всех хозяйствах сроки жатвы сократятся до предела — и колос не будет ронять на поле зерна.

Безусловно, в земледелии нет второстепенных работ, любая из них в зависимости от того, как выполнена, что-то прибавит к урожаю или отнимет от него. Но очерки сборника «Золотые зерна» убеждают в том, что не меньшее, если не большее значение имеет также «вспашка человеческой души», засев ее добрыми семенами. Именно здесь начало всех начал, считают белорусский льновод Л. Кучур («Ты со мной, мое поле» О. Степаненко), грузинский чаевод Т. Купуния («Сердце коммуниста» Г. Чиковани), молдавская доярка В. Петрашку («Доярка из Данчен» П. Крученюка), таджикский хлопкороб Г. Абдуллоев («Живи завтрашним днем» О. Латифи)... Коллективизм, искреннее стремление делиться с товарищами той радостью, что дает любимый труд, — общая и наиболее ярко выраженная черта характера героев книги «Золотые зерна». Эта жизненная позиция у каждого вырабатывается по-своему, но несомненно одно: фундамент ее составляет общество, весь уклад социалистического общежития, в котором коллективизм стал нормой, первым и необ-

ходимым условием для любого вида деятельности.

«От темна до темна» — так часто говорят и пишут о труде сельского работника. Верно, пока еще не везде введен на поле, на ферме заводской распорядок дня, приходится нередко, особенно в «пиковые» дни, забывать об отдыхе. Со стороны в этом может видаться безысходность серых, однообразных будней. Но это только со стороны. А «изнутри»? Вот как рассказывает о жатве механизатор Николай Прихно (очерк Н. Олейника «Служу ниве»): «Для меня большего удовольствия нет, как хлеб убирать. За день так его запахом пропитаешься — придешь домой, а от тебя спелыми колосьями пахнет...»

А еще Николай — заядлый книжник, любит возиться с ребятишками, объясняет им хлеборобские премудрости. На вопрос: «Как со временем?» — он с улыбкой отвечает: «При желании всегда найдется».

Не ощущает какой-либо обделенности и Николай Падалка, которого беспокойная должность управляющего отделением с раннего утра гонит из дому («Гордость» А. Былинова). Окружающий его мир полон ярких красок, движения, умей лишь извлечь духовное наслаждение, умей удивляться всему живому: «Нынче поднялся, к улю подошел, ухо приложил, а они уже беседуют между собой, пчелы-то, гудят. Весна нынче несмелая, прохладная, хоть и без дождей, потому и настроение у них неважное. Они человека ждут, все же как-никак серьезное хозяйство...»

Очень многие герои «Золотых зерен» несут большие общественные нагрузки — они члены партийных комитетов, депутаты, наставники молодежи. Но этот напряженный труд — не потеря нескольких часов из туго спрессованных суток, он делает будни и значительнее и интереснее, обогащает ум и сердце новым знанием. К сожалению, касаясь этой стороны, авторы порой ограничиваются беглым перечислением знаний, обязанностей, поручений. Такого рода недостатки обнаруживаются прежде всего в тех главах, где неоправданно растянуто описание технологии передового опыта, избыточно рассыпаны цифры, названия сортов, пород, машин.

Разумеется, узловые моменты новаторства, рождения рекорда должны присутствовать в рассказе, без них он будет недостаточно убедителен и достоверен. Однако главный и самый действенный стимулятор

крупных урожаев или надоев — это высокий нравственный капитал труженика. Как заметил известный кубанский хлебороб, Герой Социалистического Труда М. Кле-

пиков, человек должен расти быстрее колоса, тогда и нива его год от году будет богаче.

А. ЯКОВЕНКО.



«СЕ БО СУТЬ РЕКЫ, НАПАЯЮЩЕ ВСЕЛЕНУЮ...»

В. И. Буганов. Отечественная историография русского летописания. М. «Наука». 1975. 344 стр.

Первые летописные (погодные) записи о событиях древнерусской истории были сделаны на пергаментных листах еще в X веке. Бесхитростные это были записи, но драгоценные для нас, ибо ими датируется тысячелетняя русская историографическая традиция. Именно они положили начало тем книгам, о которых современник Ярослава Мудрого писал: «Велика бо бывает полза от ученья книжного... Се бо суть рекы, напаяюще вселеную, се суть исходящая мудрости...»

Летописание продолжалось восемь веков, из них полтора столетия уже после появления печатного станка Ивана Федорова. Время, пожары, нашествия иноземных врагов не щадили летописных сокровищ. И все же многое уцелело: сегодня историки ведут счет списков летописей на тысячи. Переписчики спасали древние рукописи, продлевали их жизнь, хотя подчас и искажали. И не мудрено: уже через век-другой их было трудно разбирать. Монах Лаврентий, копируя бесценную летопись («Лаврентьевскую») истории Северо-Восточной Руси, писал в 1377 году: «И ныне, господа отцы и братья, оже ся где буду описал или переписал, или не дописал: чтите, исправливая бога дея, а не клените, зане же книги ветшаны, а ум молод, не дошел».

Двести лет со времен первого нашего историка В. Н. Татищева продолжается изучение истории летописания. Начиная с 1841 года опубликовано тридцать два тома «Полного собрания русских летописей», около трети из них — в советское время. Это немало, потому что публикации каждого тома предшествует тщательное изучение в древлехранилищах страны (а иногда и в зарубежных, где находится немало древнерусских рукописей) по возможности всех копий или сходных списков данной летописи, определяется из них древнейший и к его публикации бережно подводятся разночтения и дополнения из более поздних. За каждым томом скрыт тяжелый

труд предварительного изучения «ветшанных» текстов, их датировка — по смыслу, почерку, бумаге, иллюстрациям и т. п. Ученые лишь медленно, подтягивая за собой объемистые публикации, шли и поныне идут к пониманию этих сложных источников.

Историков, понятно, прежде всего интересовал вопрос, сформулированный в первом киевском летописном своде XII века — «Повести временных лет»: «...откуда есть пошла Руская земля, кто в Киеве нача первее княжити, и откуда Руская земля стала есть». Но, обратившись к летописям, М. В. Ломоносов и В. Н. Татищев вскоре поняли, что ответ во многом будет зависеть и от знания того, «откуда есть пошло» на Руси само летописание, ибо чем больше летописей истории вовлекали в научный оборот, тем яснее видели царящую в них разногласию.

Во введении к книге В. Буганов характеризует попытки историков досоветской, домарксистской науки найти выход из этого лабиринта. Известный немецкий историк XVIII века А. Шлецер и его последователи предложили восстановить древний текст Нестора, критически очистив его от наслоений, внесенных, как они думали, «невежественной» правкой переписчиков; другие возражали против подобного подхода. Позднее знаток летописей И. Д. Беляев не без иронии писал, что, взявшись соскабливать последующие наслоения, критики едва не соскоблили самого Нестора.

Ученые той поры выявили и опубликовали немало списков, но, видя в них «сборники» или «архивы» погибших летописей, объяснить имеющиеся в них разночтения были бессильны. Сделать это удалось А. А. Шахматову (1864—1920), который, будучи филологом, применил к летописям сравнительно-текстологическую методику: в сходстве и различиях между текстами он увидел не порчу, допущенную переписчиками, а этапы целенаправленных перера-

боток-редакций, смысл которых он в пределах методологических возможностей буржуазного мировоззрения попытался увязать с событиями истории. Проведя многочисленные сравнения списков, он прозрел в них как бы единое древо: летописи и своды складывались под его пытливым пером в историю летописания, историю сменяющихся центров книжности, авторов, компиляций, переработок начиная с XI века и вплоть до XVII века. Это было выдающееся научное открытие, значение которого по-настоящему осознано лишь в советское время, когда произошел коренной переворот во взгляде на историю России, а сами летописи стали изучаться как памятники феодальной общественно-политической мысли, отражающие интерес господствующего класса и его сменяющихся у кормила власти групп. Впрочем, это произошло далеко не сразу.

Автор весьма тщательно обрисовал этапы постепенного становления и развития советского летописного источниковедения. Систематизируя материал, он удачно сочетал периодизацию науки о летописании с периодизацией самого летописания, фактически увязав его с историей государственного развития Руси — России до XVII века включительно, притом особо выделив хронографы и обобщающие труды. И дело не только в том, что В. Буганов привел в единую систему источниковедческое творчество свыше ста историков советского периода, полностью или частично посвятивших свой труд изучению летописей, и не в том, что ему пришлось считаться с наличием библиографии проблемы порядка двух с половиной тысяч названий. Дело прежде всего в том, что в книге выделено главное — прослежено, как летописеведение из «самоудовлеющей» дисциплины многих избранных специалистов под влиянием теории марксизма-ленинизма, практической деятельности историков, философов и литературоведов, нужд высшего образования постепенно выходило на путь историзма, становясь на службу новому обществу. Из типичных и убеждающих примеров, собранных В. Бугановым, видно (если бы шире привлечь материал дискуссий и рецензий, то было бы еще явственнее), как преодолевались взгляды достаточно известных ученых, целиком отрицавших идейность и прагматический характер русского летописания (В. М. Истрин, Н. А. Рубинштейн, И. П. Еремин) либо

увидевших в нем только национальное, но никак не социальное содержание, в крайнем случае сводивших его к церковно-политическому, искавших, наконец, истоки его идей не у нас, а за рубежом — в Византии, Болгарии.

Советская наука все более властно ставила перед летописоведами главный вопрос: где, когда, кто и ради каких политических, классовых целей составлял и не престанно, по мере смены правителей страны и усложнения ее общественно-политической структуры редактировал, переделывал, исправлял и пополнял летописи, иногда проникая в них на значительную хронологическую глубину? Лишь работая в этом направлении, историк мог понять социальную функцию того летописного материала, из которого складывалась история родины. В книге В. Буганова перед нами проходят труды выдающихся знатоков летописей — М. Д. Приселкова, М. Н. Тихомирова, Д. С. Лихачева, Л. В. Черепнина, Б. А. Рыбакова, их младших современников А. А. Зимина, С. Н. Азбелева, Н. А. Мещерского, Н. Н. Улащика и других.

И другое выясняется из книги В. Буганова: чем более возрастал историко-текстологический уровень анализа летописей, тем яснее становилось их государственное значение. А. Н. Насонов, много занимавшийся процессом образования государства на Руси, писал: «Я был поражен тем, насколько совпадают этапы этого процесса с главнейшими этапами древнерусского летописания». Чем дальше, тем больше это совпадение. Причины объяснить легко: если Владимир Мономах поручал редактировать свою придворную летопись монастырскому книжнику, то Иван Грозный уже собственноручно, и не раз, правил и переправлял летописный текст. И он и Петр Первый, не полагаясь на других, сами творили свою историографию.

В. Буганов внимательно выяснил, как в советскую пору летописное источниковедение распространялось на новые города и регионы страны. Сейчас изучаются летописи и собственно Руси — владими́ро-суздальские, галицко-волинские, тверские, новгородские, псковские, московские, смоленские, ростовские, рязанские, полоцкие (в книге нужно было упомянуть о разысканиях Л. В. Алексеева), — и Севера (коми-вымская летопись), и Белоруссии, и Великого княжества Литовского (здесь автору следовало использовать и собственно ли-

товскую историографию — работы М. А. Ючаса и других), и Сибири. Заметно расширились и его хронологические рамки — до X века в одну сторону и до XVIII века в другую. Обнаружилось и разнообразие летописей — в дополнение к княжеским и митрополичьим появились владычные, церковные, семейные... Вскрываются также все новые переводные компоненты летописания: византийские, древнееврейские, южнославянские, западнославянские; к сожалению, менее интенсивно изучается арабская историографическая струя в восточнославянской письменности. Н. Г. Бережковым заново разработана летописная хронология. Наконец, летописный текст становится нагляднее там, где досконально исследованы (А. В. Арциховским, М. И. Артамоновым, О. И. Подобедовой) сопровождающие его миниатюры. Особенно отрадно, что недавно (уже после выхода рецензируемого труда) появилась долгожданная книга О. В. Творогова о хронографах.

Искушенный читатель может спросить: выявлены десятки новых сводов, но много ли среди них всеми твердо признанных? Нет, очень немного. Цепь сводов еще долго будет находиться в движении, отмечая путь поиска, успех которого зависит от изучения и публикации рукописей. Гипотеза тем прочнее, чем шире ее фактическая основа. Число сводов будет множиться, часть из них исчезнет, другая, напротив, уплотнится, обрстет фактами, станет прочным фундаментом исторического знания.

Книга В. Буганова привлекательна тем, что она пронизана духом оптимизма в познании отечественного средневековья, она побуждает задуматься над значением летописного источниковедения для философии истории, истории идей. Наши историки неустанно выявляют в летописях их идейное богатство, зачастую им удается и персонифицировать самих идеологов. Неправота скептиков очевидна. Духовная жизнь феодальной России была пронизана борьбой идей, которая имела широкий спектр, от-

развившийся в летописях: от проповеди приоритета церкви до ее секуляризации; от восхваления единовластия, через обличение княжеского многовластия периода феодальной раздробленности — к самодержавию; все это при непрестанном осуждении классовой борьбы угнетенных и апологии социального примирения; не говоря уж о ярких идеях, связанных с национальным единством и независимостью страны.

Труд В. Буганова (а это входило в его замысел) позволяет наметить и возможные новые аспекты изучения летописей. К примеру, анализ их актовой основы (эту работу начал Б. А. Рыбаков), который сомкнет большой комплекс древнейших документов с уже опубликованным фондом и решит проблему генезиса актового делопроизводства на Руси. Перспективно и строго научное сопоставление летописей с сагами. Кстати говоря, справедливо привлекая в книге лучшие работы русских ученых по зарубежному источниковедению Е. Ю. Перфецкого, А. В. Флоровского, А. В. Соловьева, автор напрасно упустил А. Стендер-Петерсона, который занимался именно сагами. Наконец, все еще недостаточно истолковано начало московского летописания... Подобных тем немало.

Книга В. Буганова, как и предмет ее исследования, находится на стыке текстологии, истории и литературы. Автор, сам опытный археограф, хорошо знающий трудности этой специальности, написал добротную книгу о людях, которые — разные по опыту, знанию, таланту — стремились сделать для своей науки как можно больше. Стык — это не только место для дискуссий, это и точка содружества. Щедро отражая достижения советского летописного источниковедения, книга В. Буганова будет с пользой прочитана и впервые берущим в руки летопись студентом, и умудренным источниковедом, и историком, и литературоведом. Первый опыт историографического обобщения оказался своевременным и удачным.

В. ПАШУТО,
доктор исторических наук.



КОРОТКО О КНИГАХ



З. ФАЗИН. Железный перстень. Повесть. М. «Детская литература». 1975. 239 стр.

Есть на карте сегодняшнего нашего мира такие точки, такие узловые пункты, к которым стягивается духовная и физическая энергия многих людей и которые определяют смысл многих важных событий. Такого рода «магнитными» качествами, конечно же, обладает и знаменитая КМА — Курская магнитная аномалия. Ее вчерашним, сегодняшним и будущим дням посвящены страницы многих книг — научных исследований, производственных, социологических и футурологических очерков, биографических (пока сколько были и есть люди, посвятившие ей всю свою жизнь) и художественных произведений.

Новая повесть Зиновия Фазина, автора известной не одному поколению детей книги «Крепость на Волге» (о возглавленной С. М. Кировым обороне Астрахани в 1919 году) и других историко-революционных романов и повестей, рассказывает о двух годах из уже многолетней истории КМА. Но о каких двух годах!..

Восемнадцатый. Деятнадцатый. Годы, когда только что родившаяся Советская республика переживала, по мысли Ленина, самый критический момент социалистической революции. Годы отчаянной, не на жизнь, а на смерть, борьбы с Колчаком, Юденичем, Деникиным. Годы небывалого, сверхчеловеческого напряжения сил как отдельных людей, так и всего народа. Оказывается, что и в эти годы КМА (бывшая тогда загадкой), ее будущая судьба (пока что весьма гипотетическая) не остались без внимания. Молодая революционная власть и Российская Академия наук объединили свои усилия, и небольшая геофизическая экспедиция, по инициативе председателя ВСНХ А. Б. Красина и академиков П. П. Лазарева и А. Н. Крылова, посланная под Курск, произвела первоначальные магнитные съемки на местности. Проверялись давние, высказанные еще в XIX веке предположения профессора Московского университета Э. Е. Лейста и других русских ученых о том, что магнитная аномалия — признак богатых залежей железной руды.

Основные персонажи повести З. Фазина — люди одной всепоглощающей страсти, высокого гражданского долга. Это и пожилой рабочий-литейщик, партизек с дореволюционным стажем Тихон Романович Оськин, для

которого революция — и величайшее народное благо и необходимейшее личное дело, и молодая сельская учительница Полина Фомина, и, наконец, Аким Сизов. Еще мальцом он ходил в подручных у Лейста, когда тот производил изыскания неподалеку от их деревни Грибовки. Вечерние беседы с профессором помогли Акиму понять, чем занимается ученый, усилили уже развившуюся тягу к знаниям. А кроме того, он тоже «заразился» загадкой магнитной аномалии: почему именно там, где по всем показаниям должны залегать богатые железом руды, при бурении ничего не обнаружено? Эта загадка, эта мечта о спрятанном землею кладе не оставляет его и впоследствии, он, в свою очередь, «заразит» ею и Оськина и Полину. А когда придет из Москвы научная экспедиция, он станет ее первым помощником, самонужнейшим для нее человеком.

В этом вроде бы неприметном для тех бурных лет историческом эпизоде, описанном З. Фазиным, наглядно обнаружилось, как уже в самом начале развития производительных сил молодой Республики Советов объединялись воля, ум, энергия науки и народа, творящего свою историю. Закономерно, что в эпилоге повести читатель встретится с Акимом Сизовым — академиком, «крупным специалистом по Курской аномалии и по железным рудам вообще», вместе с другими советскими учеными нашедшим ответ на давнюю загадку Курской магнитной аномалии.

Ю. Ляхов.

Переяславль-Залесский.



НИКОЛАЙ САМОХИН. Где-то в городе, на окраине. Повесть. «Сибирские огни», 1975, № 10.

Фельетоны и юмористические рассказы Николая Самохина печатались в журналах и на шестнадцатой полосе «Литературной газеты», несколько сатирических книг издано им в Москве и Новосибирске. И вот он решил, сняв защитную броню юмора, в «простой», доверительной манере рассказать о своем военном детстве, о своих родителях, друзьях.

Конечно, и здесь чувствуется рука юмориста. Повесть начинается так: «Сядем же в таратайку исповедальной прозы, взмах-

нем прутиком, причмокнем на лошадку памяти и отправимся в путь. Глядишь, и нам повезет...»

Что ж, двинемся и мы в этой тарагайке к рубежам сурового времени, вспоминая которое и сейчас радуешься, что выжили, что победили, что сберегли в себе человеческое, сберегли любовь к тем трудным военным годам.

Жил герой повести на окраине только что родившегося промышленного города. Торопливо строилась Аульская улица. «Случалось, кое-где работали и ночью — при свете костра. Это означало, что утром из дома, возле которого всю ночь полыхал костер, выйдет его хозяин — с тощим вещевым мешком за плечами... Иногда эти сигнальные костры загорались сразу в нескольких местах...»

Отец был на фронте, а малолетний сын между тем ожесточенно сражался с «фашистами» и «самураями» в качестве... пограничной собаки. Но, конечно, не одними играми памятно герою детство, памятно и голодом, и нехваткой самого необходимого, и тяжелыми тумачами скрывающихся от фронта подлецов. Не подумайте, что автор старается нас разжалобить: «Но зато как интересно жилось без охранных кулаков старших братьев!.. Замирало сердце от ежеминутного предчувствия схватки... Напрягались мускулы под дырявой рубашкой. Стригли коварную тишину уши. Не было мира, и не было покоя. Был восторг непрекращающегося сражения».

Рядом с ребячьими фигурами на страницах повести встают образы их отцов и матерей.

Отец... Он работал всю жизнь возчиком, хотя выпадала возможность расстаться с весьма несовременной ломовой конягой. На фронте его собирались послать даже в военное училище, но «видя, что уговоры отца не прошибают, лейтенант вспылал:

— Да куда ты спешить-то, дурия башка?! Боишься — без тебя Берлин возьмут?

— Так точно, — ухватился за эту мысль отец. — Опасаюсь — вдруг без меня».

Мать... К своим тридцати пяти годам она успела помяться в тифозных бараках, исколесить многие сотни верст в солдатских теплушках. Тонула она и горела, отбивалась от волков, и басмачи ее конями топтали. А как мудро, с каким терпением и любовью она растила своих детей!

И вот детство минуло. Герой, юноша теперь вполне «благополучный», спортсмен и остролов, однажды увидел, как его одноклассник и сосед по Аульской улице — Ванька Ямщиков «запаленно убежал от милиционеров». Нескладная судьба Ваньки, не сумевшего, как сказано в повести, «прорваться сквозь наше детство», отозвалась болью в душе героя: «Не могу понять почему, но меня вдруг укололо чувство вины».

Так в конце книги автор раскрывает перед нами еще одну грань военного детства, как бы предлагая по-новому взглянуть на него.

Повесть волнует той жизненной силой, неистребимой тягой к справедливости, той

неуголимой радостью бытия, которые были заложены даже в бедном военном сиротливом детстве. И которые нашли воплощение в живом авторском слове.

Н. Макарова.



АГНЕССА РОШКА. Огниво и кремь. Стихи. Авторизованный перевод с молдавского Татьяны Стрешневой. М. «Советский писатель». 1975. 152 стр.

Стихи молдавской поэтессы Агнессы Рощка переводятся не впервые. «Огниво и кремь» — четвертый сборник. Перевод на русский язык — дело весьма ответственное и для поэта и для переводчика, недаром выход книги на русском языке называют выходом на всесоюзную арену.

И зрямая бесплотная душа,
Отбросив вдруг живую емкость тела,
Прыжок ошеломительный верша,
В водовороте света полетела.

Это сказано о гимнастке. Но емкость поэтической образности такова, что эти строки, полные внутренней и внешней динамики, вводят нас в глубину художественного мира Агнессы Рощка. «Бесплотная душа» чувств и переживаний, становясь зримой, вершит ошеломительный прыжок навстречу нам, читателям, захватывая нас напряжением и риском, которые почти неощутимы благодаря точности и рассчитанности.

Читаем мы молдавскую поэтессу по-русски. Как это ни парадоксально, но именно хороший перевод часто заставляет забывать о том, кто над ним трудился. Такую забывчивость можно назвать и благодарностью мастеру, но все-таки случается, что читатель пропускает имена переводчиков, рецензент не удостаивает их даже упоминанием. Часто книги переводятся коллективом переводчиков — людей с разными темпераментами, поэтическим языком и опытом. Бывает, что индивидуальные черты поэта при этом размываются, видятся как бы через запотевшее стекло. Лучшие результаты, на мой взгляд, достигаются тогда, когда перевод делается по зелени сердца, когда переводчик находит «своего поэта», а поэт, следовательно, своего переводчика. Сборник «Огниво и кремь» и является примером такого творческого взаимопонимания и, если можно так сказать, поэтического слияния: Агнесса Рощка и Татьяна Стрешнева.

Книга неразрывно связана с мироощущением послевоенного поколения. На его мирную жизнь падают ответы героини и трагичности Великой Отечественной войны (стихотворения «Девятое мая», «Мой город», «Красные листья» и др.), первый полет во вселенную Юрия Гагарина:

Сроднилось время с звездным мастерством.
Всего лишь только тонкая прокладна
Лежит меж явью и волшебным сном.
Меж повседневной жизнью и загадкой.

Жить поэзией, поэтически выражать внутренний мир современника для Агнессы Рощка естественное состояние: «Мы по ду-

шевному велению сердца искусству отдаем».

Или в другом стихотворении:

Не справиться мне с памятью, погибелью
живой.
Что нитью лета бабьего кружит над
головой.
Репейником-разбойником вцепилась в
жизнь мою.
Обнявши стволы тоненький, стою я и пою.

Агнесса Рошка поет о любви и разлуке, о человеческом взаимопонимании и недопонимании, обо всем, из чего повседневно и чрезвычайно узорно ткется душевный мир человека. Она умеет покорять и убеждать поэзией, лишенной ложной патетики, громких слов, формальных изысков. Ее стихи чаще всего непосредственны и просты, как само чувство. В этом проявляется и личность поэтессы и особенность ее почерка.

Через различные нюансы взаимоотношений людей Агнесса Рошка утверждает человеческое достоинство как высокое моральное качество личного и общественного порядка, поэтому ее лирика обладает широким дыханием и значимостью.

Ю. Кожевников.



Е. С. КОТЛЯР. Миф и сказка Африки. М. «Наука». 1975. 244 стр.

Книга Е. Котляр «Миф и сказка Африки» открывает для советского читателя сложный, яркий, многоплановый мир философских представлений о человеке, природе и мироздании, сохранившийся в мифах и сказках африканских народов. Фольклор Африки причудлив и многообразен: сказки о животных перелетаются со сказаниями о племенных героях, соседствуют с передаваемыми из уст в уста хрониками о деяниях древних королей, с неизбежными в каждом фольклоре рассказами о хитрецах и обманщиках (трикстерах), будь то люди, животные или мифологические персонажи.

Африканский фольклор неисчерпаем и потому, что сам он все еще живет и постоянно изменяется. Тем ощутимее заслуга исследователя, который в своей книге смог не только показать своеобразные «ступени сознания», отразившиеся в легендах и сказках различных народов континента, но отчасти и реконструировать те мифы и философские представления, которые явились содержанием бытующих сейчас сказок и преданий.

Эволюция сказки отмечает эволюцию человеческого общества и одновременно эволюцию общественного сознания. Уже в наиболее «простых» сказках бушменов, где героями выступают животные, перед читателем возникает сложный комплекс отношений «человек — природа» и «человек — человек», обусловленных то жесткими, то гибкими этическими и этимологическими нормами.

На ранних ступенях сознания сюжеты сказок просты. Если их лишит экзотического колорита, то они оказываются удивитель-

но близки таким же сюжетам сказок о животных, записанных, скажем, на побережье Тихого океана, в лесах Северной Америки или в русской деревне. Но несколько шагов вверх по незримой лестнице истории — и перед нами открывается ранее лишь предчувствуемый, сложный, действительно самобытный мир космогонических представлений, сохранившийся, например, в мифах бамбара и догонов. Их боги оказываются олицетворением не того или иного природного явления, как мы привыкли считать, следуя воззрениям «мифологической школы XIX века», а субстанций и понятий, резко отличных от древних философских систем Востока и Запада. Перед нами не просто иная терминология, а иная философская система (жрецы-философы догоны утверждали, что в основе мироздания, акта творения, лежит «вибрация и спиралеобразное движение»).

Восходя от простого к сложному, исследователь показывает, как мифологичность африканского сознания, оперирующего столь многоплановыми системами представлений, проявлялась буквально во всех аспектах культуры и быта от Сахары до Южной Родезии. Например, у народа моси каждый элемент жилища — дверь, порог, остов, запор, ключ — являет собой определенный символ, имеющий соответствие в структуре человеческого тела, в окружающей природе и более того — во вселенной, устанавливая внутреннее равновесие и соответствие микрокосма макрокосму. С другой стороны, показательная роль, которую отводят сказкам, преданиям и мифам, а вместе с тем и себе, профессиональные сказители, гриоты. «Мы — мешки слов, — говорят они, — мы — мешки, в которых лежат многовековые тайны... мы — память людей. Своим словом мы возвращаем жизнь былым делам и поступкам перед лицом новых поколений...»

Обширный материал, четкая продуманная композиция книги, точный и емкий язык, перспективы, которые она открывает перед исследователями древнего наследия африканского континента, дают основание сказать, что работа Е. Котляр является важным вкладом в советскую африканистику.

Андрей Никитин.



М. И. ЗЕМСКАЯ. Александр Волков. Мастер «Гранатовой чайханы». М. «Советский художник». 1975. 160 стр.

Говорить о живописи словами — трудное искусство. Оно дается в руки не всем. Создать словесный портрет картины, проникнуть в мир художника так, чтобы передать все особенности живописного языка, его особый строй и склад, — этим редким даром наделен автор монографии об Александре Волкове М. И. Земская.

Творчество Александра Волкова (1886—1957) принадлежит к числу ярких явлений русского и советского искусства. Мастер широкого творческого диапазона, редкого своеобразия, А. Волков заслуживает к себе

пристального внимания. Между тем до самых последних лет творчество замечательного художника было почти забыто. Статьи о Волкове, написанные в начале 20-х годов, давно уже стали библиографической редкостью, иные устарели по самому подходу к материалу. Интереснейшая личность живописца, педагога, одного из основателей художественной школы советского Узбекистана, оставалась в тени. Лишь в 1967—1968 годах художника вновь открыла большая ретроспективная выставка в Государственном музее искусств народов Востока.

В монографии М. Земской интересно и содержательно рассказано о жизни и творчестве большого художника. Автор изучил огромный неисследованный материал, обширный архив художника, тщательно собрал биографические сведения. Вся эта трудоемкая работа выполнена любовно. Нигде сбор документов не превращается в самоцель, а каждый из них рассматривается в свете всей деятельности художника. Фактическая точность сочетается с глубиной подхода к материалу. Творчество художника существует в книге не само по себе, а в широких, иногда неожиданных сопоставлениях, встает перед читателем в постоянной связи с событиями эпохи.

В книге прослежены те художественные традиции, которые повлияли на формирование живописного языка А. Волкова. Подробно дается анализ художественного наследия Средней Азии, показывается, как это наследие понималось А. Волковым и претворялось в его полотнах.

М. Земская широко цитирует дневниковые и рабочие записи художника, позволяя читателю услышать живой, иногда чуть сбивчивый голос, его интонацию. Автор рассматривает живопись А. Волкова в ее связи с землей, людьми и искусством Средней Азии, которая была его родиной и которую он горячо любил и воспел в своем творчестве. Это обращение к почве, вскормившей его живопись, к атмосфере, ее овевавшей, увеличивает ценность книги.

Е. Львова,
научный сотрудник государственного
музея искусств народов Востока.



С. МОРОЗОВ. Бах. Серия «Жизнь замечательных людей». М. «Молодая гвардия». 1975. 256 стр.

И.-С. Бах — едва ли не самый популярный композитор-классик: концерты из его произведений проходят с аншлагами, его творчеству посвящена огромная литература. К довольно внушительному списку исследований о Бахе на русском языке прибавилась еще одна работа — книга С. Морозова. Это интересная, увлекательно написанная биография гениального композитора. Она рисует живой образ лейпцигского кантора, в ней нет сентиментальных придуманных диалогов, часто встречающихся в подобного рода литературе. Нечастая прямая речь в этой биографии, как правило, основана на подлинных документах: автор использовал

изданные в ГДР в трех томах документы, относящиеся к творчеству Баха. Кроме этих первоисточников, использовано множество материалов, начиная с первой немецкой биографии композитора — известной книги И. Форкеля (1802) и кончая работами общезстетического порядка, например «Закат Европы» О. Шпенглера. Все это, а также искренняя увлеченность музыкой Баха помогли автору раскрыть мир музыки на широком историческом фоне, дать в ряде случаев яркие образные характеристики его произведений, избежав при этом сложностей специфически музыковедческой терминологии.

Воздав должное автору и его книге в целом, мы не можем не обратить внимание и на некоторые неточности или неверные, на наш взгляд, суждения. Так, говоря об одном из последних и чрезвычайно интересном сочинении Баха «Музыкальном даре», С. Морозов, к сожалению, повторяет (стр. 228) неубедительные характеристики, данные этой выразительной и в высшей степени баховской теме некоторыми музыковедами, например Г. Хубовым и К. Розеншильдом, называвшими ее «музыкальным обрубок», «угловатой по рисунку», звучащей «деревяннo» и т. д. В наши дни «Музыкальный дар» исполняется достаточно часто, и каждый без труда может убедиться в неверности таких суждений.

Рассказывая о «Каприччио на отъезд возлюбленного брата», юношеском произведении композитора, С. Морозов утверждает, что Баху «были известны инструментальные произведения французов Куперена и Рамо» (стр. 25). Это неверно. «Каприччио» было написано в 1704 году, тогда как первые пьесы Рамо появились в 1706 году, а Куперена — в 1707 году (изданы еще позже — в 1713 году).

Иногда в книге встречается неточно сформулированная мысль, например: «...он упражнялся в приемах игры, искал новые комбинации постановки пальцев...» (стр. 21). Бах не искал специально новые комбинации постановки пальцев, просто фактура его произведений была настолько сложнее всего того, что создавалось его предшественниками, что исполнение этих произведений требовало новых приемов игры. Г. Нейгауз как-то воскликнул, досадуя на трудности передачи музыки словом: «Вот начнешь описывать слова и музыку и «Допишешься!»...» Это невольно вспоминаешь, встречая фразы вроде: «...начинают «Фантазии» пассажи, всплески страсти...» — или: «...дается картина торжества певучей красоты» (стр. 115) — или чуть ниже: «...каждая из последующих прелюдий и фуг даст свой прирост наслаждению» (стр. 121).

Два слова по поводу «Послесловия» к книге. Раз уж автор касается здесь вопроса судьбы баховского наследия, не грех было бы упомянуть и о первой биографии композитора на русском языке. Напечатана она была в известной «Карманной книге для любителей музыки. На 1795 год». Между прочим, в ней читем: «Сей муж имел

в себе все качества и совершенства многих великих музыкантов. Он мог производить совершенное полногласие во всей силе. Самые сокровеннейшие таинства гармонии обнаруживались им с величайшим искусством».

Восемьдесят лет назад в старой серии «Жизнь замечательных людей» была издана книга С. Базунова «И.-С. Бах, его жизнь и музыкальная деятельность» (СПб. 1894). Сравнив эти две книги, интересующиеся могут убедиться, насколько наше знание Баха стало глубже и полнее.

А. Майкапар.



И. С. АНДРЕЕВА. Проблема мира в западноевропейской философии. М. «Мысль». 1975. 223 стр.

Люди всегда мечтали о мире как о самом желанном идеале. Об этом свидетельствуют и эпос о Гильгамеше, и индийские «Веды», и философские трактаты античности. Бриттский король Артур, гласит предание, дабы покончить с распрями между рыцарями, приказал своему плотнику Корпунаю соорудить круглый стол, за которым могло бы сразу сесть больше полутора тысяч человек и никто бы при этом не чувствовал себя обиженным. Мир воцарялся там, куда приезжал Артур со своим круглым столом. С тех пор круглый стол неоднократно использовался во всевозможных переговорах о мире, но только в наше время, в эпоху перехода человечества от капитализма к социализму, впервые появилась реальная возможность предотвратить войны.

В рецензируемой книге впервые в нашей литературе идея всеобщего мира прослеживается от древности до возникновения марксизма как одна из центральных проблем, занимавших умы западноевропейских философов. Мыслителями было приложено немало усилий в надежде усовестить правителей, убедить их не вести войны, припугнуть их соответствующими цитатами из Священного писания. (Впрочем, на Библию ссылались все — и те, кто стремился к миру и справедливости, и те, кто оправдывал угнетение, ввергал народы в кровопролитные войны.)

Возникновение идеи договора между государствами о вечном мире связывают с именем Э. Крюсе, автора «Нового Киней...» (1623). Крюсе, а за ним Г. Гроций пишут о мире как естественном праве людей на жизнь и благосостояние. Сторонники теории естественного права апеллируют к человеческому разуму и доброте, к религиозной и политической терпимости. Идея достижения мира путем договора между государствами подхватывается Сюлли, Т. Гоббсом, В. Пенном, Ш. Сен-Пьером, Ж.-Ж. Руссо и другими. С наиболее тщательно разработанным «Проектом сохранения вечного мира в Европе» в эпоху Просвещения выступил Сен-Пьер, сформулировавший идею союза государств на базе существовавших политических структур. Оптимизм Сен-Пьера критиковали многие, в частности Руссо, ко-

торый указывал (правда в осторожной форме) на необходимость социально-политических перемен.

Качественно новый этап в развитии домарксистской философии, в том числе и в подходе к проблеме мира, представляет собой немецкая классическая философия. В первую очередь здесь следует назвать трактат Канта «К вечному миру» (1795). Кант исходит из необходимости уничтожения основ всяких будущих войн, иначе «вечный мир» останется привилегией класбища. Он призывает к постепенному разоружению, ратует за демократический строй, за республику. Прочным фундаментом вечного мира может быть только деятельность, основанная на принципах человеческой природы, на принципах морали. Сильные мира сего должны осознать сущность политики как повелевающего долга и придать ей правовую основу. Глубокое проникновение в действительность у Канта сочетается с идеализмом и мечтательностью. Но и по сей день не утратили значения его требование гласности политики, обоснование им связи между прогрессом культуры и свободой и совершенствованием общественного устройства, его призывы к прогрессу морали.

Позиция другого гиганта немецкой классической философии, Гегеля, по вопросам мира сложная, она не раз менялась на протяжении его жизни. Ранний Гегель принимает гуманистические традиции и идеи Просвещения, в том числе и идею вечного мира. Позже он приходит к выводу, что вечный мир — пустое мечтание, и в «Философии права» резко критикует кантовский проект. Если для Канта вечный мир — пусть абстрактная, но все же необходимая, прокладывающая себе дорогу (и это явилось новым словом по сравнению с предшествующими учениями), то Гегель тщетно стремился раскрыть содержание необходимости, которая должна привести к устранению войн. Исторически обусловленная ограниченность философии Гегеля не позволила ему дать ответ на этот вопрос. На наш взгляд, страницы, посвященные анализу проблемы мира в немецкой классической философии, лучшие в книге.

Реальных путей достижения социальной справедливости и всеобщего мира не увидели и великие социалисты-утописты, хотя их критика капитализма, защита идеи всеобщего труда и интересов трудящихся, их вера в преодолимость движения человечества к обществу всеобщего счастья, единства и мира позволяют им занять почетное место среди предшественников научного коммунизма.

Только основоположники марксизма, открыв законы развития общества, доказали существование объективной основы движения всемирной истории ко всеобщему миру и указали реальный путь его достижения. «Образование Советского государства, — подчеркивает автор, — а затем мировой социалистической системы явилось залогом осуществления вековой мечты человечества об устранении войн из жизни общества». Об этом убедительно свидетельствует Про-

грамма мира, провозглашенная на XXIV и XXV съездах КПСС, вся внешнеполитическая деятельность партии и Советского государства, направленная на мирное сосуществование, на предотвращение ядерной войны.

Книга И. Андреевой читается легко и с неослабевающим интересом — немаловажное достоинство научного труда. Автор показывает, что миролюбивая политика социалистических стран, выражающая чаяния всего человечества, опирается на прочный фундамент лучших гуманистических традиций прошлого.

В. Скиба,
кандидат философских наук.



АЛЬМАНАХ БИБЛИОФИЛА. Выпуск второй, М. «Книга». 1975. 304 стр.

Сборник открывается приветствием ЦК КПСС учредительному съезду Всесоюзного добровольного общества любителей книги, в котором подчеркивается, что «любовь к книге стала ныне неотъемлемой чертой советского образа жизни».

Библиофильство, в буржуазных странах преимущественно эгоистическое по своей направленности, в условиях социализма становится фактором культурной жизни, одной из форм служения обществу. Библиофил социалистического общества ставит выше всего возможность делиться другими с радостью познания книги, стремится привить другим любовь, которую он сам испытывает к книге.

Прекрасная иллюстрация тому — статья В. Уткова «Перо Жар-птицы», рассказывающая об уникальной коллекции изданий «Конька-Горбунка» москвичей Суровежиных, о литературных «четвергах» в их семье.

В разделе «Библиотеки и библиофилы» следует отметить обстоятельное, имеющее историко-литературное значение исследование В. Кунина «Две библиотеки Дмитрия Петровича Бутурлина». Богатый аристократ Бутурлин, несмотря на то, что перед ним, адъютантом «светлейшего» Потемкина, открывалась блистательная карьера, вскоре оставил службу, занявшись садоводством и подбором огромной библиотеки, которая получила общеевропейскую известность. Библиотеку Бутурлина видел одиннадцатилетний Пушкин — его родители были в дружеских отношениях с семьей Бугурлина. К сожалению, библиотека погибла в московском пожаре 1812 года. Перебравшись во Флоренцию, Бутурлин опять занялся приобретением книг и рукописей, собрав их до 33 тысяч, как явствует из каталога 1831 года, изданного его сыновьями.

С интересом читается статья Б. Шиперова о тургеневской библиотеке в Париже. Ее история тесно связана с именами видных деятелей революционного движения и русской культуры, ею, находясь в эмиграции, часто пользовался В. И. Ленин.

Разнообразны сообщения о личных биб-

лиотеках литературоведа С. А. Венгерова, поэта В. М. Жемчужникова — одного из соавторов «Сочинений Козьмы Прутькова», великого русского химика Д. И. Менделеева.

Следует отметить также заметку С. Белова «Об одной книге из библиотеки Ф. М. Достоевского». Книгу эту («Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой Земле инока Парфения») высоко ценили Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев и Н. С. Лесков. Достоевский же пользовался книгой Парфения при работе над «Братьями Карамазовыми» и «Подрастком».

Кроме перечисленных материалов, читатель найдет в альманахе еще ряд интересных заметок. Среди них необходимо особенно выделить «Листы» замечательного национального художника Н. Рериха.

В следующих выпусках альманаха хотелось бы увидеть статьи о наиболее ценных библиотеках современных писателей, артистов и ученых с выпиской характерных автографов, а также беседы с писателями на «книжные» темы.

Следовало бы уделять большее внимание архивам (у нас столько неизданных дневников и мемуаров) и историческим журналам («Старые годы», «Голос минувшего», «Былое», «Красный архив» и многие другие), откуда можно извлечь неизвестные рассказы и забытые очерки. Нужно обратить внимание и на охотничье-природоведческую литературу: здесь возможны золотые находки.

В рецензируемом выпуске, как и в его предшественнике, чувствуется увлеченность редакционной коллегии (главный редактор — Е. Осетров) своим благородным делом. В этом залог дальнейшего успеха альманаха.

Ник. Смирнов.



ЛЕОНИД РЕПИН. Трое на необитаемом острове. М. «Мысль». 1976. 111 стр.

В наше время — 70-е годы — трое москвичей оказались на необитаемом острове в Японском море. Один из них, по-видимому, инженер (вообще автор скуп на сведения о профессиях товарищей), второй — ученый, преподаватель какого-то института, третий — журналист, корреспондент «Комсомольской правды». Именно он и организовал эту высадку («кораблекрушение»), а потом написал книгу.

Какие зигзаги судьбы выбросили их на каменистый берег? Почему они забрались туда без всяких запасов еды, даже без спичек? Ответы на эти вопросы составляют сам дух и смысл смелого эксперимента. А искать их, эти ответы, в значительной степени нужно в двух широкоизвестных книгах: «Робинзон Крузо» Д. Дефо и «За бортом по своей воле» А. Бомбара.

Вряд ли было хоть одно поколение мальчишек, которые не заболели бы Робинзоном Крузо, не мечтали бы оказаться на его месте, не хотели бы изведать штормов и охоты в лесах, полных дичи, встретить дикарей, обрести своего Пятницу. Далеко уносились в своих мечтах мальчишки. Но шли

годы, и течением будней постепенно размывало столь четкие прежде черты «образа одинокого острова, затерянного где-то в океанских просторах». Какой может быть остров, тем более необитаемый, если на большую березу и то хочется влезть, как в детстве, а здравый смысл подсказывает: что за прихоть, несерьезно, даже глупо...

Леонид Репин все-таки влез на свою березу, поняв, что это его маленькая победа над трезвостью и рассудительностью. «Я подумал тогда: у каждого в жизни должно быть такое дерево, на которое хочется влезть. Своя мечта. Она иногда может казаться недоступной и близкой, и надо только решиться, чтобы приблизиться к ней. А иногда представляется далекой и недоступной — такой далекой, что даже не осмеливаешься ближе представить ее. Но надо решиться. Без решимости до нее не добраться. Я подумал еще: если сейчас, в самое ближайшее время, не соберусь на остров, о котором с детства мечтал, которого никогда не видел даже на карте и тем не менее который мог представить в деталях — стоило только закрыть глаза и подождать, пока он появится, — если не сейчас, то уж вряд ли когда-либо на это решусь».

Не знаю как другим, а мне эти объяснения, сокровенные мотивы поездки показались логичными и понятными. Так же как логично было и последовавшее решение, выраженное автором, правда не совсем литературно: «...поставить эксперимент на выживание». Здравый смысл, серьезная проза жизни вступили теперь в союз с романтической мечтой. В самом деле, что дали бы современным взрослым людям дни или недели, проведенные на необитаемом острове? Утоление жадности приключений? Осуществление детской мечты? Но ведь в наш век, в наши дни терпят крушение десятки судов. Гибнут тысячи людей. Многие, это доказал Ален Бомбар, погибли не от голода и жадности — их погубил страх. Бомбар решил на дерзкий эксперимент, оказался за бортом по своей воле, несколько месяцев провел один в океане и доказал: человек, жертва кораблекрушения, может и должен выжить, если не поддастся страху, если знает, как добыть пресную воду...

Бомбар ограничил свой эксперимент водной средой. Но ведь бывает и так, что люди, очутившись в океане на плоту или в лодке, наконец-то видят землю, пристают к ней и высаживаются на пустынный остров или островок. Что ждет их там? Как им себя вести? Что и как делать, чтобы дождаться неизвестно когда придущего судна?..

Короче говоря, в один из летних дней на берегу необитаемого острова стояли трое. «Я внимательно обследовал свои карманы... Записная книжка, ручка, носовой платок. Все. Нет даже перочинного ножа, который обычно бывает со мной. У Володи — буквально то же самое: ручка, блокнот. Коваленко оказался богаче: у него в кармане лежала расческа. И — ни спички, ни зажигалки».

Нет, видимо, смысла пересказывать страсти, посвященные жизни на острове. Чи-

татель сам с естественным интересом прочтет эту занимательную книгу. Долгие попытки добыть огонь, удачная и неудачная охота на рыб, крабов, креветок, поиски съедобных плодов, строительство дома, бессонные — из-за мышей и муравьев — ночи, первые пробы сырой рыбы... Все это было всерьез, хотя, безусловно, участникам эксперимента не дали бы погибнуть. У них была рация, и в случае чего... Но связь велась односторонне, москвичи не знали, приняты их сигналы или нет, и не раз накачивали секунды голодного обморока.

Конечно, очень важен главный, основной вывод, относящийся к сути эксперимента: человек, оказавшийся на необитаемом острове «безо всего», даже на таком «неудобном» острове, как описываемый, может проуществовать достаточно долго.

Но не менее важны и «мысли по поводу», те размышления, которые возвращают нас к большим и малым проблемам человечества. Обобщенно эти проблемы можно назвать «человек и окружающая его среда». Загрязнение океана, превращение его во всемирную мусорную свалку. Урбанизация и как следствие — нарушение многих связей с природой, потеря целого ряда качеств, возвращенных в нас эволюцией. Недаром после своей робинзоны Репин пришел к горькому выводу: «Мы поняли, как мало умеем и как мало можем». «Много знали. Но мы не умели использовать знания».

Не все в книге одинаково удачно. Она написана ровно по тону, без эмоциональных всплесков, иногда это приводит к монотонности. «О многом мы тогда говорили», — пишет автор. О чем? Жаль, что Л. Репин «скрыл» от нас хотя бы часть разговоров, как и некоторые нюансы взаимоотношений робинзонов.

В. Гербачевский.



Б. И. МАРУШКИН. Советология: расчеты и просчеты. М. Политиздат. 1976. 160 стр.

В конце 60-х годов в США миллионным тиражом вышла книга Р. Мэсси «Николай и Александр». Она получила самую широкую известность на Западе, по ней в Голливуде была снята картина. На все лады рекламировалась душераздирающая и трогательная, по мнению автора и К°, история царствования Николая II, столь неожиданно и «грубо» оборванная революцией. Книга пытается «внушить» читателю-простаку, что августейшая чета лишилась трона только в результате рокового стечения обстоятельств.

Вообще эту Россию можно понять, только забираясь еще дальше в прошлое. Так решились двое бывших послов США в СССР господа Б. Смит и Ф. Колер, приложившие немало трудов для издания и пропаганды у себя на родине мемуаров французского путешественника маркиза де Кюстина, побывавшего в нашей стране в 30-е годы XIX века, в царствование Николая I. Послы отнюдь не скрывали истинных мотивов своего интереса к русской истории. «Чем дальше жи-

вещь в современной России,— писал Ф. Колер, автор введения к переизданию записок,— тем больше осознаешь ошибочность попыток понять эту страну на основе бытующего заблуждения, будто она возникла лишь пятьдесят лет назад».

Вот некоторые впечатляющие примеры, которыми советский исследователь доктор исторических наук Б. Марушкин иллюстрирует как основное назначение советологии на Западе, так и методы работы бесчисленных советологов. «Советология,— пишет автор,— возникла в качестве комплексной области исследований, обнимающей несколько самостоятельных отраслей знания: историю, философию, право, экономическую науку, социологию, искусствоведение и т. д.» В книге подробно рассказывается о сущности и задачах советологии — это и пропаганда, облеченная во внешне наукообразную форму, направленная против идей коммунизма, и подготовка исходных данных для принятия политических решений в капиталистических странах. Двоякая роль советологии определяет различие в методах работы ученых, подвизающихся на этом малопочтенном поприще. Если по служебным соображениям некоторые советологи в работах, издаваемых небольшими тиражами, пытаются дать адекватно-верное представление об СССР, то подавляющая масса широкой советологической литературы полна самых злобных вымыслов о нашей стране, странах социализма, международном коммунистическом и рабочем движении.

Испытанное оружие советологов — фальсификация фактов. Б. Марушкин критически разбирает наиболее распространенные концепции этих «ученых» относительно нашей страны. Прибегая к традиционным методам анализа профессионального историка, он разоблачает мифы советологов о Великом Октябре, о «цене» индустриализации в СССР, о решении национального вопроса в нашей стране, о «культурной отсталости», о «советском тоталитаризме» и другие. С блеском, на основании глубокого изучения соответствующей литературы автор не оставляет камня на камне от всех этих расуждений, а ведь именно они являются «теоретическим» фундаментом советологии.

Вся книга доказывает, что рассматриваемая «наука» — это на самом деле политика, причем самого дурного пошиба. Ныне, когда в результате усилий СССР и миролюбивых сил в мире происходит процесс разрядки, советология сосредоточила свои усилия на том, чтобы подорвать его. Рука об руку с крайней реакцией, а точнее выполняя ее социальный заказ, советологи выставляют условием разрядки некую «эволюцию» в странах социализма. Именно советологи поднимают на щит диссидентов всех мастей, пытаются придать отщепенцам ореол респектабельности в глазах западной читающей публики. «Другая система аргументации сторонников сохранения атмосферы «холодной войны», — справедливо замечает Б. Марушкин, — сводится к подчеркиванию так называемых «особенностей»

славянского характера и «русской души». Русские традиционно подозрительны к чужеземцам, к их политике и намерениям, заявляют представители данной «психологической школы», и эта «подозрительность» — одно из главных препятствий для достижения нормальных отношений между Западом и Востоком».

Автор создал не статическую, а динамическую модель советологии, показал ее развитие, постоянную смену концепций. Они вызваны к жизни не тем, что советологов озаряют светлые идеи, а тем, что каждая очередная карта в их нечистой игре оказывается битой.

Б. Марушкин написал очень важную и интересную работу, достоинство которой, помимо прочего, состоит в том, что она адресована самым широким слоям читателей. Не снижая высокого теоретического уровня, автор сумел доходчиво и убедительно рассказать об очень сложных вопросах.

Н. Яковлев,
доктор исторических наук.



И. И. ЯКУБОВСКИЙ. Земля в огне. М. Воениздат. 1975. 568 стр.

«Боевым соратником, живым и павшим, посвящаю» — таким эпиграфом открывается книга Маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза Ивана Игнатьевича Якубовского. Он встретил войну в родной Белоруссии во главе сформированного танкового полка и принял первый бой под Минском 26 июня. С того дня и вплоть до 9 мая 1945 года находился на фронте.

Книга И. И. Якубовского — это, с одной стороны мемуары известного военачальника, а с другой — военно-историческое исследование, основанное на научном анализе архивного материала и личном опыте. И в этом, думается, ее главное достоинство.

Читая книгу, как бы встречаешься со многими из тех, чья жизнь — пример бесстрашия, мужества, самопожертвования во имя счастья на земле. С гордостью за наш народ, за его бесстрашных сынов узнаем мы о подвигах советских людей на фронте и в тылу.

В боях за нашу Родину рождался десятки и сотни героев-танкистов. И. И. Якубовский помнит всех, с кем делил радость успехов и горечь неудач, с кем шел к победе. Он помнит их поименно живых и павших, для него нет безымянных героев. Они глядят на читателя книги с фотографий, воскресают в авторских воспоминаниях.

С особым интересом читаются те страницы книги, на которых рассказывается о видных советских военачальниках. Кажется, что нового можно сказать об известных всему миру выдающихся военных деятелях, если о них уже написаны десятки статей и книг. И все же маршал Якубовский сумел привести малоизвестные и совсем неизвестные факты их жизни, прибавить к характеристике их деятельности новые черточки. Командир отдельной танковой бригады пол-

ковник Якубовский много раз получал боевые задачи от командующего 3-й гвардейской танковой армией генерала П. С. Рыбалко. О нем автор пишет с особой теплотой, подчеркивая полководческие качества прославленного героя советских бронетанковых войск.

Ярко нарисована картина битвы под Москвой, много места отведено событиям под Сталинградом, рассказано также о боях на Правобережной Украине и особенно обстоятельно — о величайшем сражении века — битве за Берлин.

Интересны рассуждения автора книги о стиле руководства войсками, о роли партийно-политического аппарата в ведении воспитательной работы, о значении морально-психологической подготовки воинов.

Поучительны те страницы книги, на которых идет речь о тактическом мастерстве командира, его стремлении всегда искать врага, принимать обоснованные решения и уничтожать противника с наименьшими потерями своих сил. Для командира очень важно не только видеть динамику боя, но и понимать роль в нем каждого подразделения, экипажа и даже каждого солдата. Автор подчеркивает также, как необходимо для офицера, особенно в сложной обстановке, находить слова одобрения, рождающие уверенность у каждого бойца.

Книга написана живым языком и хорошо иллюстрирована.

**Р. Португальский,
В. Назаренко.**



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. Избранные произведения в 3-х тт. Т. 3. Октябрь 1918 — март 1923. 856 стр. Цена 1 р. 54 к.

В. И. Ленин. Апрельские тезисы. О задачах пролетариата в данной революции. 16 стр. Цена 3 к.

Ю. Андропов. Ленинизм—наука и искусство революционного творчества (Доклад на торжественном заседании, посвященном 106-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина). 31 стр. Цена 3 к.

Т. Волков. Истоки и горизонты прогресса. («Социологические проблемы развития науки и техники») 335 стр. Цена 1 р. 37 к.

В. Купцов. Детерминизм и вероятность. («Над чем работают, о чем спорят философы») 256 стр. Цена 27 к.

В. Лебедев. Обреченная воля. Повесть о Кондратии Вулавине. («Пламенные революционеры») 431 стр. Цена 88 к.

В. Сапрыкин. Рука доброго друга (Из опыта атеистического воспитания). 62 стр. Цена 12 к.

Я. Свердлов. Избранные произведения. Статьи, речи, письма. 367 стр. Цена 93 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

П. Антокольский. Путевой журнал писателя. Статьи. 303 стр. Цена 85 к.

И. Багмут. Записки солдата. Повести и рассказы. Перевод с украинского. 319 стр. Цена 50 к.

В. Володин. Возьми мои сугки. Савичев. Повести, рассказы, очерк. 222 стр. Цена 29 к.

А. Карпюк. Вершалинский рай. Роман-быль. Перевод с белорусского. 367 стр. Цена 56 к.

А. Ким. Голубой остров. Рассказы и повесть. 334 стр. Цена 67 к.

Матэ Зална — писатель, генерал, человек. Воспоминания. Сборник составила Н. Залка. Изд. 2-е, дополненное. 272 стр. Цена 71 к.

Д. Ортенберг. Время не властно. Писатели на фронте. 359 стр. Цена 87 к.

С. Поликарпов. Куст неопалимый. Новые стихи. 120 стр. Цена 32 к.

Д. Пругула. След облака. Рассказы и повесть. 224 стр. Цена 49 к.

И. Рахим. Преданность. Роман и повести. Перевод с узбекского. 447 стр. Цена 84 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В. Астафьев. Повести. 445 стр. Цена 98 к.

И. Верцман. Жан-Жак Руссо. Изд. 2-е, переработанное и дополненное. 310 стр. Цена 98 к.

С. Есенин. Стихотворения и поэмы. 317 стр. Цена 42 к.

В. Кирпотин. Достоевский и Белинский. Изд. 2-е, дополненное. 301 стр. Цена 93 к.

Ю. Рытхэу. Сон в начале тумана.— Иней на пороге.— Метательница Гарпуна. Романы. 725 стр. Цена 1 р. 40 к.

Страницы европейской поэзии. XX вен. Переводы М. Ваксмахера. Предисловие А. Тарковского. 235 стр. Цена 64 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

А. Ананьев. Версты любви. Роман. 366 стр. Цена 83 к.

Н. Атаров. Крученая нитка. Публицистический сборник о проблемах нравственного воспитания молодого поколения. 255 стр. Цена 58 к.

Г. Белова. Мартовский дождь. Стихи. («Молодые голоса») 31 стр. Цена 8 к.

Р. Бородулин. Небо твоих очей. Стихи и поэма. Перевод с белорусского. 87 стр. Цена 32 к.

В. Даненбург. Путь без привала. Роман. 272 стр. Цена 64 к.

Подвиг. Военно-патриотический литературно-художественный альманах. 193 стр. Цена 69 к.

В. Пронин. Тайфун. Повесть. («Честь Отвага Мужество») 160 стр. Цена 22 к.

В. Солухин. Венок сонетов. 31 стр. Цена 15 к.

Л. Стефанова. Избранная лирика. Перевод с болгарского. 62 стр. Цена 21 к.

«СОВРЕМЕННОК»

О. Баланина. Грань малахита. Стихи. Предисловие С. Наровчатова. («Первая книга в столице») 63 стр. Цена 23 к.

Г. Баширов. Честь. Роман. Перевод с татарского. («Библиотека российского романа») 333 стр. Цена 78 к.

Д. Жунов. Козьма Прутков и его друзья. («Любителям российской словесности») 382 стр. Цена 1 р. 10 к.

С. Зальгин. Соленая Падь. Роман («Библиотека российского романа»). 447 стр. Цена 1 р. 1 к.

В. Ильин. Целый век. Рассказы и повесть. («Новинки «Современника») 269 стр. Цена 41 к.

Л. Комаров. Три ролика магнитной ленты. Рассказы и повести. Предисловие Н. Воронова. («Первая книга в столице») 190 стр. Цена 29 к.

М. Малиновский. До поры, до времени. Повести и рассказы. Предисловие В. Цыбина. («Первая книга в столице») 271 стр. Цена 42 к.

А. Твардовский. Василий Теркин. Книга про бойца.— Письма читателей «Василия Теркина».— Как был написан «Василий Теркин». Ответ читателям. Составила М. И. Твардовская. 694 стр. Цена 1 р. 70 к.

К. Федин. Братья. Роман-симфония. («Библиотека российского романа») 382 стр. Цена 87 к.

Т. Хуусконен. Стальной шквал. Перевод с финского. Предисловие К. Симонова. 316 стр. Цена 72 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

С. Абрамов. Опознать живого. Приключенческие и фантастические повести. 368 стр. Цена 71 к.

Ю. Долматовский. Знакомые и незнакомые. Рассказы об автомобилях. 191 стр. Цена 77 к.

Е. Коковин. Экипаж боцмана Рябова. Рассказы и повести. 176 стр. Цена 44 к.

А. Кондратов. Века и воды. Рассказы о подводной археологии. 208 стр. Цена 72 к.

А. Кулешов. Голубые молнии. Роман. 255 стр. Цена 66 к.

С. Романовский. Пушка из красной меди. Рассказы и повесть. 128 стр. Цена 57 к.

Татарские народные сказки. Составитель Х. Ярмухаметов. Предисловие Г. Ваширова. 191 стр. Цена 67 к.

А. Шаров. Малыш Стрела—Победитель Океанов. Сказки. 128 стр. Цена 44 к.

В. Шевелев. Путник, замедли свой шаг. Очерки. 112 стр. Цена 41 к.

ВОЕНИЗДАТ

А. Вайнер и Г. Вайнер. Эра милосердия. Роман. 384 стр. Цена 73 к.

Б. Зубавин. Июньским воскресным днем. Повести. 222 стр. Цена 60 к.

С. Каширин. Полет на заре. Документальная повесть и рассказы. 256 стр. Цена 51 к.

В. Котович. Фронтовые дороги. Повесть. Перевод с польского. («Библиотека Победы») 223 стр. Цена 1 р.

Н. Пустынцев. На огненном рубеже. («Герои и подвиги») 63 стр. Цена 9 к.

Служба и дружба. Рассказы. Перевод с польского. 221 стр. Цена 79 к.

«ИСКУССТВО»

Р. Захаров. Записки балетмейстера. 351 стр. Цена 1 р. 70 к.

Г. Стернин. Художественная жизнь России начала XX века. 222 стр. Цена 1 р. 11 к.

А. Чегодаев. Искусство Соединенных Штатов Америки. Живопись, архитектура, скульптура, графика. 497 стр. Цена 8 р. 86 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

А. Баева. Стихи. Предисловие К. Кулиева. 190 стр. Цена 66 к.

В. Баталов. Шатун. Повести. Перевод с коми-пермяцкого. 254 стр. Цена 58 к.

К. Ваншенкин. Повести и рассказы. 413 стр. Цена 86 к.

Н. Н. Жуков. Из записных книжек... 159 стр. Цена 52 к.

В. Кожевников. Всю неделю дождь. Документальные рассказы. («Писатель и время») 92 стр. Цена 11 к.

А. Межиров. Времена. Стихи. 319 стр. Цена 1 р. 4 к.

И. Мотяшов. Сергей Михалков. («Писатели Советской России») 108 стр. Цена 21 к.

В. Сорокин. Вагряные соловьи. Стихи и поэмы. 335 стр. Цена 1 р. 27 к.

В. Телпугов. По льду на снегу. Повесть и рассказы. 240 стр. Цена 58 к.

«ПРОГРЕСС»

М. Александропулос. Чудеса приходят вовремя. Три новеллы. Перевод с греческого. 187 стр. Цена 52 к.

Б. Апиц. Голые среди волков. Перевод с немецкого. («Библиотека Победы») 352 стр. Цена 1 р. 43 к.

А. Варела. Стихи. Перевод с испанского. 151 стр. Цена 81 к.

И. Крштек. Дички. Роман. Перевод с чешского. 171 стр. Цена 49 к.

«НАУКА»

Легенда о Тристане и Изольде. Переводы. Издание подготовил А. Д. Михайлов. 735 стр. Цена 3 р. 64 к.

Д. Лихачев и А. Панченко. «Смеховой мир» Древней Руси. («Из истории мировой культуры») 204 стр. Цена 72 к.

Е. Мелетинский. Поэтика мифа (Исследования по фольклору и мифологии Востока). 407 стр. Цена 1 р. 77 к.

Театр в национальной культуре стран Центральной и Юго-Восточной Европы XVIII—XIX вв. Редакторы И. Богданова и др. 343 стр. Цена 1 р. 71 к.

Художественное своеобразие литературы Латинской Америки. Сборник статей. Ответственный редактор И. Тертерян. 372 стр. Цена 1 р. 46 к.

«МЫСЛЬ»

О. Богданов. Валютная система современного капитализма. Основные тенденции и противоречия. 271 стр. Цена 1 р. 7 к.

Н. Зяблюк. США: лоббизм и политика. 207 стр. Цена 71 к.

Ленин и культура. Хроника событий. Октябрьский период. 463 стр. Цена 1 р. 31 к.

Проблемы коммунистического движения. Авангардная роль марксистско-ленинской партии в современном революционном процессе. 326 стр. Цена 1 р. 26 к.

М. Розенталь. Диалектика ленинского исследования империализма и революции. 520 стр. Цена 1 р. 99 к.

Структурные сдвиги в народном хозяйстве социалистических стран. Коллективная монография. 333 стр. Цена 1 р. 85 к.

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

П. Коваленко. Международные неправительственные организации. 167 стр. Цена 54 к.

Т. Левицкая и А. Фитермон. Проблемы перевода. 205 стр. Цена 61 к.

«ЭКОНОМИКА»

А. Грязнова. Производительность труда и социалистическое соревнование. 151 стр. Цена 51 к.

С. Дзарасов. Управление социалистическим производством, 152 стр. Цена 48 к.



Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, М. Б. Козьмин** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян, К. А. Федин**

Адрес редакции: 103006, Москва, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77
Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»
Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 26/V 1976 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 7/VII 1976 г.
Формат бумаги 70×108/16. 28,7 уч.-изд. л. 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)
А 12716. Тираж 175.000 экз. Зак. 1752.

Отпечатано с матриц типографии издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР», Москва, Пушкинская пл., 5, в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна», Киев-47, Врест-Литовский проспект, 94. Зак. 03660.

Журнал «**НОВЫЙ МИР**» в последних номерах 1976-го и в 1977 году предполагает опубликовать следующие произведения.

РОМАНЫ:

- Ч. Айтматов** — новый роман,
- А. Ананьев** — «Годы без войны», книга вторая,
- В. Бубнис** — «Цветенья несеяной ржи», перевод с литовского
- В. Чепайтиса**,
- Б. Васильев** — «Были и небыли»,
- И. Вергасов** — «Останется с тобою навсегда...»,
- А. Рекемчук** — «Пророк в своем отечестве»,
- В. Росляков** — «Трудная правда»,
- А. Рыбаков** — «Тяжелый песок»,
- Г. Семенов** — «Вольная натаска»,
- Ю. Скоп** — «Техника безопасности»,
- Л. Славин** — «Арденнские страсти»,
- Ч. Сноу** — «Хранители мудрости», перевод с английского М. Гуровой и С. Кругерской,
- Ю. Трифонов** — «Герман Лопатин».

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ:

В. Астафьева, Ю. Бондарева, Д. Гранина, И. Грековой, Ф. Искандера, С. Капутикян, В. Катаева, Р. Киреева, В. Комиссарова, Вл. Лидина, Ю. Нагибина, П. Нилина, М. Рощина, Ю. Сбитнева, В. Семина, М. Харитоновна, Г. Шерговой и других.

Документальную повесть Героя Социалистического Труда **А. Бочкина** «Дело моей жизни», главы из документальной книги **Ф. Видрашку** о Петру Грозе, воспоминания **М. М. Громова** «Через всю жизнь», **М. С. Шагинян** «Человек и время» (пятая книга), генерала **В. А. Яхонтова** «Жизнь в эмиграции».

На страницах журнала выступают академики **П. Н. Федосеев, М. Б. Храпченко, В. А. Амбарцумян**, журналисты-международники **Ю. Жуков, Б. Стрельников** и другие.

В поэтическом разделе редакция намерена напечатать стихи **Г. Абашидзе, И. Абашидзе, М. Алигер, П. Антокольского, Б. Ахмадулиной, М. Бажана, В. Бокова, П. Боцу, П. Бровки, К. Ваншенкина, О. Вацietиса, П. Вегина, А. Вознесенского, Р. Гамзатова, Ю. Друиной, М. Дудина, Е. Евтушенко, А. Жигулина, С. Золотцева, Зульфий, Е. Исаева, Р. Казаковой, В. Казина, С. Капутикян, М. Карима, А. Кешокова, Я. Козловского, В. Коротича, Д. Кугультинова, Ю. Кузнецова, А. Кулешова, К. Кулиева, Ю. Левитанского, М. Луконина, С. Маркова, Л. Мартынова, Ю. Марцинкявичюса, Н. Матвеевой, Э. Межелайтиса, А. Межирова, С. Наровчатова, И. Нонешвили, С. Орлова, П. Панченко, Р. Рзы, В. Рождественского, Р. Рождественского, Д. Самойлова, Б. Слуцкого, М. Соболя, В. Соколова, В. Солоухина, В. Сорокина, М. Танка, А. Тарковского, Н. Тихонова, В. Цыбина, О. Челидзе, В. Шефнера, И. Шкляревского и других.**

Будут опубликованы статьи о литературе писателей и критиков **И. Андроникова, Б. Галанова, Н. Гея, В. Коротича, Ф. Кузнецова, В. Новикова, Л. Новиченко, А. Овчаренко, Е. Осетрова, В. Перцова, Н. Потапова, Е. Суркова, И. Черноуцана, Н. Шамоты, А. Эльшевича и других.**

Цена 70 коп.

70636